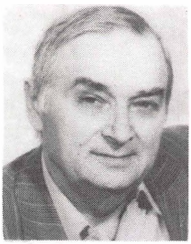
КОНТИНЕНТ

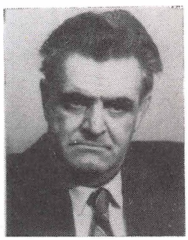
КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

85



Назарет Его не принял. С Назаретом Он уже распрощался, у Него и времени на Назарет не оставалось, ибо там, на западе, продолжал полыхать в небе огненный крест. Но почему этот скромный назаретский очаг все еще продолжал смущать Его душу?..

Ион Друцэ



...Но что за стол? Таймени, пельмени, мозги оленьи, какие-то почки, какие-то грибочки и Черное море икры в странной географической близости с Красным морем икры! А главное—чувствовалось, носилось в воздухе, что за все это не придется платить...

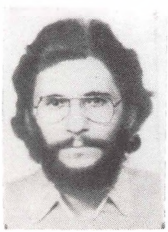
Фазиль Искандер

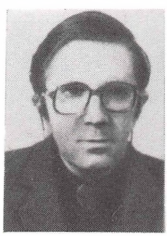
Когда я верить в чудо перестал,
Когда освободился пьедестал,
Когда фигур божественных не стало,
Я, наконец-то, разгадал секрет,—
Что красота не там, где Поликлет,
А в пустоте пустого пьедестала...

Потом я поглядел на этот мир,
На этот неугодный Богу пир,
На алчущее скопище народу.
И, не найдя в гримасах суеты
Присутствия высокой пустоты,
Обрел свою спокойную свободу.

Евгений Блажеевский

Александр Кырлежев: Ставить сегодня в «повестку дня» рехристианизацию общества путем «раскалывания сознания» страхом Божиим—то же самое, что призывать возвратиться к птоломеевой концепции Вселенной. *Сергей Аверинцев:* Если бы серьезность темы не исключала каламбуры, я, наверное, решился бы сказать, что о страхе Божием необходимо говорить со страхом Божиим... *Отец Георгий Кочетков:* Страх бывает разный: есть страх, который сам—манифест ада, и есть страх Божий, который составляет как бы драгоценную оправу для любви, оберегает любовь, оберегает благодать...





В СЛЕДУЮЩЕМ — ПОСЛЕДНЕМ — НОМЕРЕ ЭТОГО ГОДА (86) И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 1996 ГОДА (87 И 88) В ЖУРНАЛЕ «КОНТИНЕНТ» БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ:

Новые стихи
Евгения Блажеевского, **Владимира Салимона,**
Марины Кудимовой, **Владимира Соколова,**
Семена Липкина, **Олега Чухонцева.**

Повесть **Анатолия Азольского** «Двойная спираль»
Драма **Иона Друцэ** «Падение Рима»
Повесть **Сергея Каледина** «Тархана-мерказит»
Новая повесть **Михаила Кураева**
Повесть **Израиля Мазуса** «Березина»
Повесть **Юрия Малецкого** «Любью»
Повесть **Евгения Федорова** «Смена вех»
Рассказ **Зинаиды Гиппиус** «Моя первая любовь»

Новые рассказы
Василия Аксенова, **Юлия Крелина,**
Валерии Алфеевой, **Юрия Кувалдина,**
Сергея Бабаяна, **Владимира Маканина,**
Ольги Бутенко, **Евгения Попова:**

В разделе «РОССИЯ»

«Интервью с самим собой» **Сергея Аверинцева**
Статья философа **Юрия Н. Давыдова** «Гомо экономикус»
Статья **Юрия Каграманова** «Мера пессимизма»
Новая статья **Ларисы Пияшевой** об экономической ситуации в сегодняшней России
Статья-репортаж **Анатолия Стреляного** о чеченской войне
Цикл эссе «Наш век» **Марка Харитонова**

В разделе «ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ»

Очерк в документах **Якова Кротова** «История попа Ивана»

Документы из Ярославского архива о ярославском восстании 1918 г.

Начиная с 87 номера — регулярные публикации из архива «Континента» («парижского» — 1974— 1992), а также воспоминания и эссе о Владимире Максимове — **Беллы Ахмадуллиной** и **Бориса Мессерера, Андрея Битова, Владимира Буковского, Игоря Виноградова, Татьяны Максимовой**

(См. далее 3 стр. обложки)

Финансирование
типографского и редакционно-издательского процесса
выпуска журнала “Континент” обеспечивается
ИНКОМБАНКом

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

МОСКВА • ПАРИЖ

85

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Издатели:

Редакция журнала «Континент»
Ассоциация друзей журнала «Континент» (Париж)
Издательство «Московский рабочий»

Адрес редакции: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8.
Телефон: (095) 928-97-42
Факс: (095) 201-57-41

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

Редакция пользуется автомобилем «Москвич»,
предоставленным АО «МОСКВИЧ»

© ТОО «Журнал «Континент»

© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Василий АКСЕНОВ
Виктор АСТАФЬЕВ
Ценко БАРЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ
Ежи ГЕДРОЙЦ
Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Виктор СПАРРЕ
Витторио СТРАДА
Карл-Густав ШТРЕМ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

Израиль	Юлия Эйдельман Hashaftim 22 64365 TEL-AVIV, ISRAEL ☎ (03) 69-67-375
Италия	Джулия Филиппелли Via Olmetto, 5 20100 MILANO, ITALIA ☎ (2) 86-45-47-23
Канада	Ольга Бутенко 1221, Boul. Rene Levesque SILLERY QC G1S1V8, CANADA ☎ /fax (418) 688-1221
США	Эдуард Лозанский 1800 Connecticut ave., N.W. WASHINGTON, D.C. 20009 USA ☎ (202) 986-6010, fax (202) 667-4244
Франция	Татьяна Максимова 5 rue Chalgrin, 75116 PARIS, FRANCE ☎ (1) 45-00-67-56
Швейцария	Жан-Филипп Жаккар 104 rue de Carouge 1205 GENEVE, SUISSE ☎ (22) 321-4052
	Юрий Гальперин Scheuermattweg 14 3007 BERN, SUISSE ☎ (31) 459-463
	Нелли Биуль-Зедгинидзе 1227 Carouge GENEVE, SUISSE ☎ (22) 301-10-86

СОДЕРЖАНИЕ

Евгений БЛАЖЕЕВСКИЙ
Нет, пожалуй, печальней небес... *Стихи* 9

Ион ДРУЦЭ
Суббота в Назарете. *Повесть* 17

Сергей БАБАЯН
Сто семьдесят третий. *Повесть* 80

Алла ШАРАПОВА
Мир, в котором надо ждать. *Стихи* 147

Фазиль ИСКАНДЕР
Два ностальгических рассказа 155

Литературный дебют
Юрий ЕКИШЕВ
Под защитою. *Повесть в трех рассказах* 170

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

«Мы навели порядок в Венгрии...» (Как возник режим Кадара? Документы бывшего архива ЦК КПСС (ноябрь 1956 г.) 210

РЕЛИГИЯ

Андрей ЗУБОВ
Русская Православная Церковь в посттоталитарном пространстве 243

Обсуждение статьи Юрия Каграманова «О страхе Божием в прошлом и настоящем» 260
Александр КЫРЛЕЖЕВ
К «вопросу» о нравственном оздоровлении общества и привлечении для этого Бога. 263
Сергей АВЕРИНЦЕВ
Несколько слов по поводу статьи Ю. Каграманова. 277
Священник Георгий КОЧЕТКОВ
Страх страху рознь: манифестация дьявола или обережение любви? (*Беседа в редакции «Континента»*) . . 282

ГНОЗИС

Евгений НАКЛЕУШЕВ
О милосердии и справедливости, жёсткости
и потакании. 301

ПРОЧТЕНИЕ

Витторио СТРАДА
Значение «открытия» Бахтина для мировой культуры 324

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Михаил КОПЕЛИОВИЧ
Парадоксы писательской судьбы. (Штрихи к портрету
Елены Ржевской на фоне советской военной прозы). 332

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» 359

РАЗНОЕ

Виктор Ворошильский. Письмо в редакцию 425
К читателям «Континента» 427

НЕТ, ПОЖАЛУЙ, ПЕЧАЛЬНЕЙ НЕБЕС...

Эксперимент

Когда я верить в чудо перестал,
Когда освободился пьедестал,
Когда фигур божественных не стало,
Я, наконец-то, разгадал секрет —
Что красота не там, где Поликлет,
А в пустоте пустого пьедестала.

Потом я взял обычный циферблат,
Который равнодушен и усат
И проявляет к нам бесчеловечность,
Не продлевая жалкие часы,
И оторвал железные усы,
Чтоб в пустоте лица увидеть вечность.

Потом я поглядел на этот мир,
На этот неугодный Богу пир,
На алчущее скопище народу.
И, не найдя в гримасах суеты
Присутствия высокой пустоты,
Обрел свою спокойную свободу.

Евгений БЛАЖЕЕВСКИЙ — родился в 1947 году в г. Кировабаде (ныне Гянджа, Азербайджан). Окончил Московский полиграфический институт. Автор книг стихов «Тетрадь» (1984) и «Лицом к погоде» (1995).

Осенние стихи

Ольге Чулковой

1.

Нет, пожалуй, печальней небес,
Чем над нашей осенней равниной.
Облака надвигаются без
Суеты рококо, и лепниной
Небогато пространство для дум
О развалинах дивного замка,
И невольно приходят на ум —
Штукатурка, известка, изнанка,
Пожелтевших белил густота,
Воронье над развалом помойки...
И такая вокруг пустота,
Словно ты на заброшенной стройке,
Что уперлась в небесную твердь
Арматурою и кирпичами.
О, не с нас ли, Всевышний, ответь,
Началось в небесах одичанье?!.
Ни плывущих в закате бород,
Ни видений воздушного цирка... —
Только белого света разброд
И дождливое небо из цинка.

2.

Когда гуляет листопад
В глухую пору по округе,
И листья, покидая сад,
Кружат по улицам Калуги,
И кто-то шепчет в полусне,
Что старой вишни больше нет,
И только чеховским пенсне
В траве лежит велосипед,
А за оградой строгий дом,
В котором лестница, как локон,
При освещении таком
Похож на Александра Блока... —
То понимаешь, что пора

Избавить душу от привычки
Искать сравненья, что игра
Не стоит даже мокрой спички,
Поскольку знаешь наизусть,
О чем поет лукавый табор...
В провинции такая грусть,
Что обойдемся без метафор.

3.

Родившись между небом и землей,
Жить в облаках, не зная про порядки,
И, скажем, в Ниццу прилетать зимой,
Как проститутки и аристократки.

Парить над парапетами моста
И, уходя воронкой у́же, у́же,
Растаять без дубового креста
В осенней дымке, в придорожной луже...

1994

* * *

Я поздно пойму, что за сказочный дар —
Твое обнаженное тело,
Когда возникает взаимный пожар
Любви за чертою предела.
И хочется эти мгновенья продлить,
Из прошлого взяв по осколку,
Пока между нами незримая нить
Еще не ослабла,
поскольку
Всему в этой жизни приходит конец,
Не долго веревочке виться.
Осталась зола от горенья сердец,
И надобно остановиться.

Октябрь разбросает листву по полям,
Бореем пройдется по лесу,
И нас навсегда разведут по полам,
По признакам, по интересу,
По призракам полузабытых дорог,
Едва различимых под илом,
По судьбам, которые выдумал Бог,
По разным углам и могилам...

1994

* * *

Мысль о тебе — что голуби в окне,
Что в цирке — лошадь или обезьяна,
Естественна.
В сознание ко мне
Ты входишь без нажима, без изъяна.
Ты в сквере и на кончике пера,
В чистилище, где никотина копоть.
И без тебя останется дыра,
Которую, пожалуй, не заштопать.
А, впрочем, занесенный на листы,
Твой облик заслонит собой пустоты,
И нежным светом будут налиты́
Из рамок жизни вынутые соты.

1994

* * *

В том мире, где утро не будит тебя
Надеждой в оконном квадрате,
В том мире, где больше не будет тебя
На старой арабской кровати,

В той жизни, которую выстроил сам
Своей утомленной рукою,
И время течет по моим волосам
Незримой осенней рекою,

Нам больше встречаться уже ни к чему,
Привыкни к дурдому, который
Под «Сникерсы», «Мальборо» и ветчину
Киоски отдал и конторы.

Я больше к тебе никогда не приду —
Любовь не имеет возврата.
Мы встретимся, может, в последнем году
В долине Иосафата*.

1994

* * *

Я просыпаюсь в час самоубийц,
В свободный час, когда душа на воле
И люди спят, а не играют роли,
И маски спят, отлипшие от лиц.
Я просыпаюсь в час, когда сирень
Трагедию являет в палисаде
И мечется морской волной в ограде
Штакетника, и в шапке набекрень,
Познавший по окуркам все сорта
Заморских сигарет и злые муки,
Блуждает бомж, и голубые мухи,
Как искры, вылетают изо рта.
Я просыпаюсь в час, когда метла
Еще не шарит по пустым бульварам,
И ужас бытия ночным пожаром
Тревожит жизнь, сгоревшую дотла.

1994

---

* Долина Иосафата — предполагаемое место Страшного суда.

* * *

Не страшно сознаться, что пыл
Угас, как светило — в овраге.

Не страшно признаться, что пыль —
Сукном на рабочей бумаге.

Не страшно, споткнувшись у скал,
Сказать: «Насмотрелся — и баста!...»

Не страшно подумать — устал...
И вспомнить про Екклесиаста.

Не страшно, но только один
С душой, что знобяще тревожит,
Ты будешь дрожать, и ватин
Согреться тебе не поможет.

Не страшно, но только урод,
Вдев ногу в железное стремя,
Летит,
и скрипит поворот
Спины, раздвигающей время.

Не страшно, но только в упор
Со смертью, уже без обмана,
Как раненый тореадор,
Ты встретишься mano o mano*.

1994

Слава

Когда говорят:
«Пастернак», то имеют
В виду поэта,
Невольно отнявшего
Имя у растения.

---

* один на один (*исп.*)

Религии

Католичество,
Ислам, Православие
И так далее...
О, людские попытки
Разговора с Господом!

Ноябрь

Мимо церквушки
На мокром грузовике
Провезли кирпич,
Как убитое солнце...
А к вечеру выпал снег.

Слово «еврей»

Застенчивое
И скабрезное слово,
Как будто горбун
Жмется на медосмотре,
Пряча в ладонях якорь...

Строка

Зажглась внезапно,
Словно Моисеев куст
Внезапно вспыхнул,
И остолбеневшие,
Молча стояли слова...

Диалог

Спросил в темноте:
«Что с тобой, дорогая,
Не спишь почему?..»
Сладко зевнула в ответ
И придвинула ногу.

Алик Орлов

Он лежал в гробу
Молодой и беспечный.
Казалось, что с ним
Умер солнечный зайчик
В темноте подворотни...

Вдовец

В комоде дома,
В ящике-комнатушке
Живет старичок
Ненужный, словно носок,
Оставшийся без пары...

Январь

Праздник окончен.
Иглы сметаю в совок.
Хвойный скелетик
Вижу в колодце двора
На снегу обещаний...

СУББОТА В НАЗАРЕТЕ

Пять тысяч мужей, не считая женщин и детей, возлежали на густой траве и славили жизнь. Ели ячменный хлеб, густо намазанный лучами заходящего солнца, наслаждались сушеной рыбкой, взращенной святыми водами Галилейского моря, вытирали бороды теплыми ветрами земли обетованной, и неудивительно, что настал час, когда захмелели. Веселый человеческий дух — это Божий цветок, который долго оставаться без посвящения не может, и потому Хозяин великолепного пиршества, поднявшись, запел сильным красивым голосом:

Не нам, Господи, не нам,
Но имени Твоему дай славу;
Ради милости Твоей,
Ради истины Твоей,
Дай славу...

Пять тысяч мужей, не считая женщин и детей, подхватили псалом Благодарения; они пели, потрясенные свершившимся чудом, ибо немыслимо, чтобы пятью хлебами да двумя рыбками можно было накормить такую уйму народа; пели, возвышенные любовью к ближнему, пели, осененные красотой и слаженностью собственных голосов.

Сын Человеческий сиял. Славу израильского дома составляло прежде всего гостеприимство, которое Он был в

Ион ДРУЦЭ — родился в 1928 году в селе Городище (Дондошанский район, Молдавия). Окончил Высшие литературные курсы. Автор многих многих книг прозы и драматургических произведений, получивших широкую международную известность. Публикуемая повесть представляет собой часть более обширной работы, посвященной апостолу Павлу.

что гостеприимство было печатью достоинства израильского дома.

Что и говорить, дом Марии в Назарете был скромным, ему не по силам было соперничество более зажиточных домов. Бывало, на закате дня дальние путники проходили мимо, в поисках большего достатка, и можно только догадываться, как страдало сердце Матери, в доме Которой жил Господь.

Но должен же был когда-нибудь наступить час и для Ее дома! И вот он наступил. Сегодня Иисус Назарей, Сын Марии, принимал у Себя такую уйму народа, которая разве что царским домам была под силу.

Иисус пел и был счастлив вместе со всеми Своими гостями.

Но что-то там, на западе, не давало покоя.

Повернув голову, Он увидел висевший в вечернем небе огромный огненный крест...

Это было знамение, это был Символ, это был Призыв. Во дни земного служения пред Ним часто возникало на небесах это будущее орудие Его казни, и каждый раз, едва увидев Свой крест, Он оставлял все и шел ему навстречу.

Так было и на этот раз. Допев гимн, благословив и отпустив народ, Сын Человеческий повернулся и спешно пошел на запад. Но пять тысяч мужей, не считая женщин и детей, поднялись и последовали за Ним. Возлюбив Его, они уже не могли и не хотели с Ним расстаться. Чтобы не потерять Его, некоторые, быстрые на ногу, даже опередили Его. Они шли впереди, шли по бокам, теснились сзади, так что временами Учителя было и вовсе не видно.

Вдруг, остановившись, Иисус спросил:

— Кто прикоснулся к Моей одежде?

Ученики сказали Ему:

— Ты видишь, что народ теснит Тебя со всех сторон и говоришь — кто прикоснулся ко Мне? Может, кто и случайно...

— Нет, — сказал Иисус, — ко Мне прикоснулся кто-то глубоко страдающий, ибо Я почувствовал силу исцеления, исшедшую из Меня.

Шествие, раздробившись на части, замерло. Пять тысяч мужей, не считая женщин и детей, стояли в ожидании, когда виновник явит себя, освободив народ от подозрений.

Иисус оглядывался вокруг, чтобы найти ту, которая нуждалась в Нем, и женщина, видя, что ей не удастся утаить себя, стала пробираться сквозь толпу. Она шла с покрытой головой, так что плохо видела, куда ступает, и натыкалась то на одного, то на другого. Подойдя, пала пред Ним и взмолилась:

— Господи, прости рабу Твою грешную.

Стоявшие вокруг стали ее попрекать, говоря — кто молит о прощении, не сняв покрова с головы?

— Я не могу этого сделать, — сказала женщина.

— Отчего?

— Мое лицо слишком печально для такого славного дня.

— Что той печали в тебе? — спросил Иисус.

— Господи, — сказала женщина. — Я родилась и живу среди людей, хлеб которых — недоброжелательство. Живя долго среди них, я разучилась улыбаться, быть собой, радоваться жизни. Даже сегодня, на Твоем чудесном пиру, я просидела окаменелая. И вкусить со стола не смогла, и петь мне не пелось. И тогда я подумала — если бы мне прикоснуться к одеяниям Его...

Возложив на нее руки, Иисус сказал:

— Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Встань. Господь нынче с тобой.

Медленно, скидывая с себя горы обид и несправедливостей, она поднималась с колен, обретая свое место среди живых людей. Выпрямившись во весь рост, она оказалась молодой, статной, но нельзя сказать, что ты увидел человека, не видя его лица. Покров же она не снимала. Висевшие вдоль тела руки вздрагивали от волнения, и тогда Сын Человеческий Сам снял с ее головы покров. Народ замер в изумлении.

Женщина светилась. Она светилась умом, красотой, целомудрием. Было что-то завораживающее в том, как она стояла, смотрела, слушала. «Суламифь!!» — воскликнул кто-то из толпы, ибо она в самом деле казалась одной из тех иудеянок, о красоте которых слагались легенды.

Поднялось большое волнение. Всем хотелось поближе разглядеть это чудо, прикоснуться к тому удивительному свету, который она излучала. Началась давка, потому что некоторые мужи, оказавшись рядом, не хотели уступать свое место, наслаждаясь соседством и разглядывая красавицу с нескрываемым вожделением.

Властно подняв руку, освободив Себя от цепких объятий толпы, Иисус долго и задумчиво шел по косогору. Остановился. Помолился. И, преисполнившись Духом Святым, заговорил громко, охватывая молодым голосом все собрание, от края до края.

— Вы слышали, сказано было — не прелюбодействуй. А Я вам говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Лучи заходящего солнца, отражаясь в водах Галилейского моря, слепили глаза, и некоторые мужи ладонями покрыли свои лица.

— Светильник для тела есть око: итак, если око твое будет чисто, то и все тело будет чистым; если же око твое будет худо, то и все тело будет темным. А из темноты до света путь далек и долог.

Народ стоял в молитвенном оцепенении, внимая.

— Вы также слышали, сказано было — люби ближнего и ненавидь врага своего. А Я вам говорю — не допускайте, чтобы зло и обида пустили корни в сердце вашем, дабы они не погубили вас. Ничто да не затемнит ваши души, осененные верой в Господа. И потому, где бы вы ни родились и где бы вы ни жили, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный...

Солнце садилось далеко за горами, и отсвет уходящего светила то угасал, то снова вспыхивал на Его лице. Он был воистину не от мира сего, не по-земному мудр, величествен, и потрясенный Его словами народ, снявшись вдруг с места, стал придвигаться к Нему. Вперед вышел однорукий праведник, прижимая единственной рукой к груди крохотного агнца. Низко поклонившись, сказал:

— Сын Давидов! Прими от нас в знак послушания и будь нам царем.

Иисус взял агнца. Он умел их держать, когда-то в юности многих взрастил на Своей груди. Крохотное создание, уютно устроившись, вмиг заснуло. Держать спящего агнца на Своей груди — что может быть прекрасней для Пастыря? Но далеко на западе продолжал висеть в небе, полыхая, огромный крест...

— Отче, да свершится воля Твоя...

Оставив народ, Он быстрым шагом пересек макушку холма. Толпа неотступно следовала за Ним, но на противоположном склоне росли кусты орешника, и люди потеряли Его из виду. А Он все спешил и спешил с уснувшим агнцем на руках, пробираясь по известным одному Ему тропам.

К полуночи, преодолев крутой горный хребет, спустился в скудное каменистое ущелье, долину Бедных, в которой прошла вся Его юность. В расщелинах скал по-прежнему сочилась родниковая вода; едва Он прикоснулся к ней, как выглянула из-за гор полная луна, и Он увидел в глубине долины пять тысяч мужей, не считая женщин и детей.

— Сын Давидов! — только и сказал однорукий праведник. И осекся.

— Время позднее, — сказал Иисус. — Будем готовить ночлег. — И, собрав вокруг сухие сучья, развел костер.

Богоизбранный народ вел в те годы полукочевой образ жизни. У каждого была плетеная корзина со всем, что может понадобиться в пути. Пять тысяч мужей, сбросив плащи, принялись обживать новые места. И вот суровая каменистая долина Бедных из края в край осветилась веселыми язычками костров.

Укрытый покровом ночи и потому несколько осмелевший, свободно распелся удивительный по красоте женский голос:

Ты избавил душу мою от смерти,
Очи мои от слез,
Буду ходить пред лицом Господним,
На земле живых...

Псало́м подхватили все, но на этот раз пели тихо, задумчиво, чтобы не вспугнуть пламя света, ибо каждый

костер — это очаг одинокой души, гнездо Божьей семьи. Допев, долго еще пребывали во власти былого, потому что дым родного очага — это самое древнее, самое любимое, самое святое воспоминание.

Сын Человеческий был Богом, но Он был еще и человеком. Поток былых воспоминаний не мог миновать Его душу. Он сидел у костра, призадумавшись, и глаза Его были полны слез, потому что за соседней горой все еще дымился очаг, который взрастил и вскормил Его. Но дороги туда уже не было.

Назарет Его не принял. С Назаретом Он распрощался, у Него и времени на Назарет не оставалось, ибо там, на западе, продолжал полыхать в небе огромный крест. Но почему этот скромный назаретский очаг все еще продолжал смущать Его душу? Чье сердце там по Нему так тоскует, кто в том Назарете не успел еще бросить в Сына Человеческого свой камень и ждет не дождется, чтобы покрыть себя позором?..

К полуночи, когда лагерь уснул, у крайнего костра одиноко спал на Господнем плаще ягненок. Самого Пастыря там уже не было.

Он выплыл из ночи вместе с вершинами и был задумчив, безмолвен и печален, как и гора, на которой стоял. Темно-синее, усыпанное звездами небо праздновало новолуние, и Его тень, сорвавшись вниз, по кручам, как бы спешила в ту Божественную Чашу, где в окружении виноградников и садов, досыпала Его малая родина.

— Мир тебе, Назарет.

И — умолк. Это маленькое горное селение было Его постоянной мукой, постоянной болью, ибо среди побеленных плоскокрышных домиков, рассыпанных по склону холма, там, напротив источника, дремало при лунном свете построенное Его руками жилище, которое, в минуты печали и усталости, неизменно вырастало перед Ним, заманивая под свой кров.

Шел третий год после того, как Сын Человеческий, оставив дом, ушел в мир проповедовать. За это время Галилея и вся Палестина были пройдены Им вдоль и

поперек. И в этих трудных хождениях по следам боли и страданий человеческих иной раз нет-нет да и выкатывалась Ему навстречу та единственная тропка, по которой тайно тосковало Его сердце. Но Он упорно обходил ее, направляя Свои стопы в другие, и в другие, и опять в другие края, и никогда в Свое родное селение...

Державшие в руках Евангелие несомненно помнят, что между Спасителем и Его малой родиной были трудные, мучительно сложные отношения. Может статься, что там, в Назарете, разыгралась одна из величайших драм человечества; очень может быть, что именно там в последний раз наш грешный мир встречался лицом к лицу с миром Господа Бога.

Но, как это часто бывало, нас не было дома, когда творилась История. Вернувшись, мы застали только бревна и гвозди. Небесное, отделясь от земного, возвратилось в мир вечности, оставив нас, на две тысячи лет, наедине с земным началом как единственной реальностью, которая нам ведома и которую мы признаем...

— Мир пастбищам, и виноградникам, и садам твоим...

Конечно же, Он любил Свой родной Назарет, конечно же, Он по нему тосковал. На этих выгоревших пастбищах, на этих горных тропах прошли годы отрочества и юношества; годы вызревания Духа, годы постижения Слова. Здесь Он впервые залюбовался той полевой лилией, которая была одета так, как даже царь Соломон, во дни славы своей, не одевался; в этих ущельях, в годы пастушества, искал Он ту единственную заблудившуюся овечку, возвращение которой праздновало потом все селение. Под крышами этих домов жили неверные рабы, на которых хозяин оставил свои виноградники, и блудные сыновья, которым отцы так радовались при их возвращении.

В этой Божественной Чаше, в этом райском уголке возродилась Благая весть; здесь из крошечного семени Он взрастил могучее древо новой веры. Это была тайна, в которую были посвящены только Он и Отец небесный. И когда исполнились сроки и наступило время сева, Дух Господен повелел Ему оставить эти места, уйти в мир, неся людям свет добра и любви.

За неполные три года слава Иисуса Назарянина обошла все земли Израильские. Великое море людское сопровождало его во всех краях, внимая каждому Его слову. Исцеленные Им славили Сына Человеческого у ворот городов и селений; угнетенная страна провозглашала Его Пророком, Учителем, Царем, и только здесь, в родном Назарете, Он оставался по-прежнему просто плотником, сыном Марии.

Паскаль полагал, что в Своей земной жизни Спаситель часто бывал наивным — по нашим земным представлениям. Но этим-то Он нам особенно и близок, и дорог.

В самом деле, если так подумать — Его притчи и проповеди, единожды произнесенные, ходили на своих ногах по всему белу свету. И, обойдя Галилею, Самарию, Иудею, они, несомненно, когда-нибудь добрались бы и до этого горного селения.

Но, как было уже сказано, Сын Человеческий любил Свой родной Назарет; Ему, верно, хотелось Самому одарить Свою малую родину светильником новой веры. Не нам судить о поступках нашего Господа, однако трудно предположить, что те, кто в юности доверял Ему своих овечек, захотят доверить Ему теперь и свои души; трудно допустить, что те, кто приносил Ему для починки деревянные плуги, которыми пахали в ту пору, понесут к Нему на суд и свою темноту...

Но Он все-таки навестил Назарет вместе с учениками уже в начале Своего служения; возможно, именно из этой Божественной Чаши Он и собирался начать Свой победоносный путь. О том, что последовало, поведали нам Евангелисты. «Откуда в нем вся эта премудрость? — стали вопрошать себя назаряне, оборвав проповедь Сына Человеческого в самом начале. — Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Марией? И братья и сестры его не все ли тут меж нами?..» И — соблазнились о Нем, или, другими словами, пренебрегли Им. Ибо если, по словам Евангелиста, даже братья Его не верили в Него, с чего бы уверовать простым односельчанам?

Чтобы утвердить себя в своей неправоте, назаряне потребовали сотворить тут же, при них, чудо. Это была старая болезнь древнего мира. По свидетельству апостола Павла,

греки постоянно требовали мудрости, иудеи требовали чудес. На поле неверия чудеса не произрастают, и Спаситель не захотел в Своем родном селении творить чудеса исцеления, которые творил во множестве в других краях. И, опечаленный неверием ближних, произнес знаменитое, библейское: «Не бывает пророка без чести, кроме как в своем отечестве».

И Он покинул Назарет во второй раз, теперь уж окончательно. Казалось, взаимоотношения Сына с Его малой родиной были исчерпаны, мосты сожжены. Но отвергнувшее Его отечество продолжало следить за Ним недобрыми глазами. И бывало, на путях служения Ему порой попадались хитро спрятанные назаретские шипы и колючки. Маленькое горное селение никак не могло смириться с тем, что мир поклоняется Тому, Кого они начисто отвергли.

Иисус был по-Божественному мудр, и односельчане никак не могли уразуметь, откуда у Него это. Иисус бывал бесконечно добр, и этого односельчане тоже не могли ни понять, ни простить. Оставив колючки, они принялись в спешке копать ямы. Но было уже поздно. Слава молодого Плотника продолжала греметь. С большого приморского пути сворачивали в Назарет новообращенные, чтобы поклониться домику, в котором Он жил, освежиться у источника, из которого Он пил, посидеть возле Его мастерской... И это ставило Назарет в тяжелое положение, разрушая основы исключительного самоуважения, на котором маленькие мирки только и держатся.

Не может быть, в сердцах рассуждали меж собой назаряне, чтобы среди нас жил до тридцати лет Пророк и чтобы мы этого не заметили! Что представляет собой весь их род? Когда их дом славился достатком? А если достатка нет, откуда взяться уму? Они оговаривали Его, злословили, переиначивали притчи и крылатые выражения, произнесенные Им, и в этой неприязни зашли так далеко, что даже понудили Марию и Его братьев пойти за Ним на берега Галилейского моря — с тем, чтобы забрать Его домой по той причине, что Он, мол, не в себе.

Ему сказали во время одной из проповедей, что вот — Твоя Мать и Твои братья стоят подле, но не могут пробить-

ся к Тебе из-за множества народа, окружающего Тебя. Спаситель, конечно, знал, с чем они пришли. Он, конечно же, знал и кто направил их в этот трудный, мучительный для них путь. И потому, глядя на Своих учеников, изрек знаменитое — вот Моя Мать и Мои братья... Это было сказано, конечно же, не родным и близким; это было сказано Назарету, разрыв с которым становился теперь окончательным и бесповоротным.

Мы не знаем, что происходило в Его душе, ибо трудно смириться с тем, что мир, в котором Ты жил и трудился до тридцати лет, начисто отвергает Тебя, считая сумасшедшим, однако доброта Сына Человеческого воистину не ведала границ. В оставшихся свидетельствах Спаситель нигде не произносит ни одного худого слова о Своем родном Назарете. Надо думать, Он оставил их с миром.

Но они уже не оставляли Его. Почти на всех своих проповедях Он видел мелькающие тут и там в толпе каменные лица односельчан, опущенные над затаенными обидами веки, видел их огромные, все запоминающие уши. Они уже не решались вступать с Ним в спор, боясь Его разительного языка, но они нашли себе союзников в лице книжников и фарисеев. Между скромной Назаретской синагогой и величественным Иерусалимским храмом, несомненно, существовала своя особая тропа.

И день за днем, капля за каплей, они-таки добились того, что двери большинства синагог стали закрываться пред Сыном Человеческим. Капернаум, город Его славы, город Его молодости, Его вторая родина, уже с трудом и без особой охоты открывал Ему свои ворота. Хоразин и Вифсаида, города, по улицам которых ходило множество Его учеников, города, которые Он щедро одаривал самым дорогим из того, что уродила Его Божественная душа, теперь, следом за Капернаумом, отпали от Него. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, в сердцах воскликнул Тот, Который все прощал.

Теперь Он вынужден был перенести Свое служение под открытое небо. Берега Галилейского моря стали Его сина-

гогой, каменные выступы гор стали Его кафедрами. Над святым городом полыхал день и ночь символ страданий, символ славы Сына Человеческого. Он спешил к Нему, что было сил, но оставался еще Назарет, и домик, который мучил Его воспоминаниями, и чья-то тоскующая душа, и старая олива во дворе...

И вот Он стоит на вершине горы, у каменных ворот, называемых в народе Верблюжьими горбами. Здесь перед путником впервые открывается во всей своей красе Божественная Чаша. Теперь она нежилась в сказочном лунном свете и была так наполнена, что свет тот переливался через край.

Благословенный Господом уголок, не ведающий горя и печали. Кругом мир, и покой, и Божья Благодать. Темно-синие небеса, начавшие голубеть по краям, в преддверии зари, поют славу Создателю. Вместе с ними славят небеса тающие в туманах горы, омытые росой сады, пахнущие сладким хмелем виноградники, а у Сына Человеческого ком застрял в горле, и глаза полны слез.

— Мир... всем вам...

Запах цветущего миндаля витал в ту ночь над Божественной Чашей. Вокруг одни камни, да обгоревшая от зноя травка, да обглоданные козами каперсы, а миндаль продолжал цвести. Лето было на исходе. Уже ничто не цвело и не могло цвести, и только один миндаль продолжал буйствовать. Он был и там, на вершине, он цвел и здесь, в низине, и вообще следовал за Ним шаг в шаг. Воистину межа времен и судеб была означена теми печальными стихами:«...когда дрогнут стерегущие дом... и умолкнут жернова... и зацветет миндаль...»

Впрочем, здесь, в этом райском уголке, все ночи были окрашены своими особыми запахами. В начале весны ночи пахли молодыми побегами и козьим молоком; потом наступали ночи свежевспаханного поля, ночи цветущего разнотравья, ночи спелых хлебов; ближе к осени по ночам мучил дурманящий запах спелого винограда, канун молодого вина. Миндаль, как известно, цветет очень рано, в

феврале-марте, иной раз даже в январе; миндаль — это предвестник пробуждающейся природы. Из-за раннего цветения его часто настигают холода, и весь урожай гибнет. Как говорится, первым зацвел, первым отцвел, и дело с концом, но после откровений Екклезиаста запах миндаля стал, подобно колоколу судьбы, возвещать о том, что, кто рано цветет, тот может так же рано и погибнуть.

Во времена сотворения мира Великий Творец, восхищенный редкостной удачей, забыл, надо полагать, внутри этой Божественной Чаши массив окаменелой глины, из которой созидались окружающие горы. Вот на этом самом, забытом Богом внутри Чаши холме и был расположен Назарет. Подойти к Назарету было не просто, потому что нужно было сначала по ущельям спуститься на самое дно Чаши; зато потом, словно в награду за труды, с холма мир смотрелся нескончаемым праздником.

Он знал здесь каждую тропку, каждую скалу и каждый обрыв. Он так стосковался по давно обжитому миру, что запах миндаля уже не поспевал за Ним; а когда подошел к дому и коснулся задвижки, чтобы открыть малые врата, которые впоследствии стали называть калитками, запах миндаля и вовсе исчез, уступив свое место отстоявшемуся духу родного дома.

У порога постоял, прислушался к сладкому, колыбельному покою ночи. В минувшие времена Он часто просыпался по ночам и выходил во двор. Мыслителю нужен покой, чтобы додумать свои тревоги до конца, и Он подолгу стоял в раздумье подле дома, перебирая золотистые кудри лунных ночей. Что-то Его там, в этом царстве покоя, тревожило, какой-то стон, какой-то зов о помощи чудился Ему. Вот и теперь, стоя у порога, Он вдруг услышал слабое потрескивание живой древесины. Дерево страдало, дерево звало на помощь.

И Он не стал тревожить покой близких, а, сменив тропинку, которая привела от калитки до порога, на другую, которая вела от порога вглубь сада, направился к зеленому гиганту, покрывавшему своей кроной едва ли не половину всего двора. Богоизбранный народ шел по Исто-

рии рядом с этими великанами, возраст которых приближался к вечности; по ним он исчислял свои предания, свою верность заповедям Господним, свои надежды на лучшие времена.

Господь отмечал дома праведников такими свидетельствами вечности, и, само собой разумеется, во дворе Святого Семейства тоже росло такое чудо-дерево. Под его гигантской кроной прошла почти вся жизнь Иешуа. Здесь, укрытый густой зеленью от зноя, играл Он в детстве; здесь же, сидя на старом верстаке, блаженной памяти Иосиф учил Его Писанию и плотницкому ремеслу. Много лет спустя, возмужав, под этим деревом зарабатывал Он Свой хлеб насущный. Сюда приводили для снятия мерок домашний скот, ибо одно из главных занятий плотников в те времена было изготовление ярма для рабочей скотины. Заказывали эти орудия труда для каждого осла, мула или вола отдельно, сообразуясь со статями самой скотины. По вечерам, оставшись Один, убрав это великое храмовое пространство от усталости и суеты, Он тут же молился, пел псалмы, и часто под этой же листвой проходило Его краткое ночное отдохновение.

Однако славно было это древо не только густой тенью во время летнего зноя, но, главным образом, своими плодами, ибо это была, конечно же, вечнозеленая маслина. Хлеб, масло, вино, сушеные фрукты и маслины — вот, собственно, питание Святого Семейства и всего богоизбранного народа. Остальное — мясо, мед, сыры — доставалось главным образом по праздничным дням, и потому, отправляясь в очередное изгнание, иудеи никогда не забывали брать с собой пшеничные зерна, виноградную лозу и косточку вечнозеленой маслины.

По преданию, росшая во дворе Святого Семейства маслина была посажена сразу после выхода из Египетского плена, и это было похоже на правду. Маслины живут тысячелетиями, и эта старушка славно потрудилась на своем веку, кормя поколение за поколением. Должно быть, за свое усердие она и удостоилась на старости лет содержать Святое Семейство. К сожалению, во дни глубокой старости не только люди, но и деревья переживают некое расстрой-

ство между желаниями и возможностями. Кормилица-маслина во дворе дома Марии — чем древнее становилась, тем обильнее плодоносила, так что по ночам, во время наливания плодов, слышно было, как ее ветки потрескивают от непомерного груза.

Это была вечная забота покойного Иосифа — как бы не рухнула старушка. Бывало, он вставал по ночам ставить подпорки, ибо это большое искусство — врачевать непомерно уродившую маслину. Когда Иосифа не стало, забота перешла к Иешуа. Маслина, должно быть, знала то, чего ни одна маслина на земле не знала, и потому Сын Марии исполнял свои обязанности по отношению к ней свято. Это была не просто маслина; это был храм Его встреч с Отцом небесным. И даже после того, как Он покинул Назарет, каждое лето, когда начинали созревать маслины, где бы Он ни находился, спал ли на горячих камнях Иудейской пустыни, на корме рыбацкой лодки или под чьим-нибудь гостеприимным кровом, Он сквозь сон перебирал тишину ночи и прислушивался, не трещат ли ветки старой маслины.

Боже, как Он соскучился по этому зелено-серебристому царству, как давно Его руки не ощущали нежное тело обкатанных в хозяйстве подпорок! Свисавшие целыми гроздьями маслины вместе с влажной от росы листвой касались Его рук, Его плеч, Его лица, точно приветствовали после долгой разлуки; их трепетное послушание наполняло душу покоем и радостью земного бытия.

Исполнив Свой долг по отношению к кормилице, Иешуа подошел к старому другу-верстаку. Давно уже не светилась на нем свежая стружка, давно его прочность и мудрая неуклюжесть не просились мастеру в помощники. Рядом с верстаком лежала древняя, служившая для разных необходимостей в хозяйстве чурка, на которой так любили отдыхать добиравшиеся издалека.

Что ж, Он тоже издалека пришел. Из очень большого далека и по очень важному делу. У Него был долг в этой Божественной Чаше. Ему не давала покоя по ночам непомерно уродившая маслина. А Он был главой этого дома, Он обязан был позаботиться о кормилице...

Освободив Себя от этого долга, Сын Человеческий уселся на старой чурке, прислонился спиной к верстаку и тотчас уснул.

Мария только и жила, что ожиданием Божественного Сына. Ее часто будил по ночам Его голос, мнимый звук Его шагов. Она и на этот раз проснулась, когда Он был еще далеко от дома. Она слышала, как Он снял засов, отворил медленно калитку и медленно направился к дому. У порога постоял в раздумье — это тоже была одна из Его привычек — не входить в дом, не испросив у Всевышнего благословения. Но вот вместо стука Мария слышит, как шаги удаляются — правда, не в сторону ворот, а вглубь сада. Когда зашелестела маслина, Мария улыбнулась. Так и есть, предчувствие не обмануло Ее. Он-таки вернулся.

Быстро достала светильник из-под старого горшочка, поставила на обычное место. При слабом мерцающем свете оделась, прибрала Себя, но, когда добралась до маслины, Он уже спал на старой чурке, спиной прислонившись к верстаку. Глаза Матери наполнились слезами. Как жестоко и несправедливо обращался мир с Ее Сыном, как Он устал, какая великая печаль томит Его дух!

Тяжело, с болью, вздохнула, ибо чем живет Сын, тем живет и Мать. И вот плечи Матери опустились от великой усталости, глаза не захотели больше видеть мир, голова сникла в печали. Она тихо присела у Его ног и, стосковавшаяся сверх всякой меры, украдкой принялась разглядывать Сына. Давно Она Его так хорошо, так близко не видела. Высокий, чистый, светлый лоб постоянно пребывал в тревогах и молитвах. Винного цвета волосы, расчесанные на прямой пробор, кудрявились над ушами и в самой бороде, но на голове лежали прямые, ровные, пышные. Тонкое, безупречное лицо, освещенное острым умом и постоянной готовностью помочь ближнему...

Сын Давидов — окликали Его повсюду, и в Нем действительно было нечто царское. Ты царь Иудейский? — спросит Его через полгода Пилат, и не потому, что ему особо об этом сообщили, а потому что стоявший перед ним Странник Своим величественным видом, Своей мудрой

неторопливостью наводил на мысль о высоком благородстве Своего происхождения. Даже и теперь, на рассвете, устав чрезмерно, уснув ненароком, припав к верстаку, Его тело еще хранило гордую осанку Сына небес. Сознание богоизбранничества не покидало Его даже во сне, и только ноги, эти бедные, усталые, запыленные ноги, носившие Свет по самым темным уголкам этого греховного мира, лежали рядышком, как бы залечивая усталость друг друга.

А между тем вот-вот наступит суббота, святой для иудеев день. Через час-другой Божественному Сыну предстояло идти в синагогу, предстать пред теми, которые так не любили Его, так злословили на Него. Чем Мать могла помочь Сыну? Ну, по крайней мере тем, чтобы Он предстал достойно в этот трудный для Него день. Обязанности женщин в иудейских домах были выработаны веками. И, стало быть, пока не поздно, по той же извечной дороге, с тем же старым кувшином...

Мария тихими, неслышными шагами спускалась к древнему источнику. Идти было недолго, источник был наискосок, через дорогу. Доставали воду с большой глубины деревянной черпалкой, выдолбленной из цельного куска дуба, подвешенной к железной цепи. Обычно цепь производила шум, и слышно было по всей округе, если кто приходил за водой; теперь же надо было набирать воду как можно тише. Грешно было приходить в субботний день за водой с таким большим кувшином. Празднование субботы у иудеев было расписано по граммам, по метрам, по минутам — что можно, а чего упаси Бог...

Особенно Марию беспокоил стоявший над источником дом, в котором проживал Вооз, начальник Назаретской синагоги. Человек он был славный, благочестивый, дальний родственник Иосифа, как бы опекавший дом Марии; именно поэтому не хотелось его огорчать. Каждую пятницу он обходил соседние дома, напоминая женщинам запасаться водой, потому что в субботний день закон запрещал носить тяжести. Если у кого был больной в доме, тому дозволялось в субботу идти к источнику, но только с маленьким кувшинчиком, в который следовало налить

воды не более одной чаши — ровно столько, сколько нужно для разового утоления жажды. Впрочем, сама суббота еще не наступила, так что если быстро и тихо набрать воду, можно успеть вернуться домой с большим кувшином без особого греха.

Женщины — по природе своей — боятся железа, но чем больше они его избегают, тем непослушнее оно становится в их руках. Звон цепи разбудил Асадия, раба, спавшего во дворе Вооза. Выглянув через зеленую изгородь и увидев Марию у источника, он тут же поспешил в дом, прошел на ту его половину, где спали женщины; войдя в комнату Серафимы, младшей дочери начальника синагоги, шепнул в темноту:

— Мария пришла за водой. С большим кувшином.

Девушка вскочила с постели, точно она только этой весточки и дожидалась. Накинув на себя покрывало, взяла маленький субботний кувшинчик и поспешила к источнику. Мария тем временем отдыхала перед обратной дорогой, ибо, как известно, легко спускаться с пустым кувшином, тяжело подниматься, когда кувшин полон. А может, Она просто сидела и дожидалась Серафимы — видела, как разбуженный раб вошел в дом, и хорошо знала, кто после этого из дому выскочит.

Юная и горячая, полуребенок-полуневеста, девушка бросилась к Марии, открыла было уже рот, чтобы спросить, но Мария, возложив Свой перст на уста, ввергла ее в немоту, и обе замерли у греховного порога; с минуты на минуту должна была наступить суббота, праздник целомудрия, воздержания, а слово — это великий Божий дар, им не следовало пользоваться впопыхах, всуе.

Скинув с себя остатки сна и детской непосредственности, Серафима достала воду, налила в кувшинчик ровно столько, сколько позволял закон, после чего, присев у ног Марии, глазами спросила — верно ли?.. Мария улыбнулась, наклонилась и материнским движением, рожденным в Ее душе еще там, под вечнозеленой маслиной, обняла девушку.

Стало быть, это было правдой. Радость не скроешь. И чем большая радость, тем труднее ее скрыть. Поднявшись, Серафима водрузила себе на голову огромный кувшин,

предоставив Марии идти рядышком с маленьким субботним кувшинчиком. У Святого порога, сняв кувшин с головы, Серафима хотела пройти в дом, поставить его на обычное место, но Мария остановилась, любуясь Сыном издали. Посмотрела и Серафима в ту сторону. Увидев спящего Гостя, ахнула, взяла свой кувшинчик и побежала домой.

Елиша, разбуж ый, как ему показалось, среди ночи, открыл было рот, чтобы издать свой первый вопль, но Серафима стояла уже наготове с мокрым кляпом, который тут же воткнула ему в рот.

Обычно в каждом доме есть то, что принято прятать от посторонних глаз; в доме Вооза это были вопли старшего сына, с которыми тот каждый день просыпался. Правда, тайны тут особой не было. Елише было уже за тридцать, под его вопли выросло целое поколение в Назарете, к ним привыкли; но если Елиша начинал вопить в неурочное время, все прибегали к Воозу спросить, что случилось. И потому, когда нужно было разбудить Елишу пораньше, тем более затемно, нужно было заготовить кляп.

Будучи наделенным от природы недюжинной силой, Елиша попытался освободить себя. Тяжело, нахраписто дыша, он боролся с обидчиками, пытаясь скинуть их с себя, однако сильные руки раба пригвоздили его к постели. Выбившись из сил, Елиша утих. Стал оглядываться и соображать. В полутемной комнатке никого из посторонних — только младшая сестренка, его любовь, и вернейший из рабов, Асадий. Но тогда кто навалился на него, кто воткнул ему в рот это грязное, мерзкое, мокрое?..

Пока Елиша соображал, Серафима, не тратя попусту время, принялась расчесывать дикие заросли на голове брата — так, чтобы он в тот день выглядел поприличнее. А зачем, спросил сам себя Елиша, ей так уж нужно, чтобы я хорошо смотрелся? Собираемся ли мы куда? И тут его осенило. Они решили уйти с ним рано утром из дому — так, чтобы не разбудить отца, заранее зная, что отец будет против. Но что такое могло произойти ночью в Назарете для того, чтобы они чуть свет принялись его собирать?..

— Верна ли моя догадка? — спросил он глазами младшую сестренку.

Серафима утвердительно кивнула, тут же вытащила кляп из его рта и прошептала:

— Да поможет нам Бог!

Они очень спешили — и Серафима, и Асадий. Елиша улыбался в предчувствии возможного счастья — он уже знал, куда они спешат. Сегодня в синагогу придет Сын Марии, и руки, вернувшие к жизни множество увечных и калек, если на то будет воля Божия, будут возложены и на его бедную голову.

— Как ты смогла узнать посреди ночи? — не удержался он, чтобы не спросить.

Серафима повторила жест Марии, приложив палец к губам. Пустословие — великий грех, а пустословие по субботам — один из величайших грехов, искупить который мало кому дано.

Самое трудное было — вынести их за ворота, Елишу и его повозочку. Серафима понесла повозочку. Асадий водрузил себе на спину своего господина и медленно, тихо, на цыпочках — так, чтобы ни одна живая душа... Выбравшись за ворота, стали перешептываться.

— На себе ты его не донесешь, — сказала Серафима. — Лучше сразу усади на повозку.

— Телега наша громыхает и вопит, как дикая ослица. Разбудим весь Назарет, люди догадаются, куда мы спешим, и пока доберемся, опередят другие.

— Большой будет грех, — не унималась Серафима. — Уже начало светать. С минуты на минуту наступит суббота. А по субботам нельзя нести на себе груз, который тяжелее двух сушеных смокв.

— Ничего, — сказал беззаботно Асадий, держа на спине Елиша и болтая его безжизненными ногами. — Главное, чтобы смокв было ровно две...

— Не кощунствуй! — возмутилась Серафима.

— Пусть, — заступился за своего раба Елиша. — Веселое слово по утрам — это же благодать Господня.

Когда с крыши Назаретской синагоги серебряная труба возвестила о наступлении субботы, в дверях синагоги тол-

пились около дюжины немощных калек. Елиша — сосед и друг детства Сына Марии, был первым среди ожидавших в тот день сотворения чуда Господня.

Обязанность будить на рассвете Назарет, призывая его к утреннему жертвоприношению и молитве, лежала на служителе синагоги, но вернувшийся из Иерусалима после завершения учения сын раввина выхлопотал эту обязанность себе. И прекрасно с ней справлялся. Несмотря на юный возраст, Сиф что ни день просыпался вместе с первыми петухами и поднимал Назарет мягко, но неукоснительно. Правда, злые языки утверждали, что в этой службе была у Сифа и своя корысть. Дело было в том, что раввинский сын до зрелых годов сохранил слабый детский голосочек, и существовало такое поверье, что труба может в конце концов пробудить в юноше мужа.

Сиф был правнуком Ира, столетнего старца, который все еще жил — на удивление своей родне и всему Назарету. К великой радости Ира правнук был похож на него, как две капли воды; к тому же, как это и полагалось раввинскому отпрыску в четвертом поколении, Сиф был благочестив и отличался редким законопослушанием.

Завершив обучение в Святом городе у Гамалиила, Сиф вернулся молчаливый, постоянно углубленный в постижение Писания. В разговоры вступал редко и неохотно, вероятно, стесняясь своего голоса, но те, кому удавалось его разговорить, утверждали, что его слова оставляют след в душе слушателя. Божественная Чаша расправила плечи и воспрянула духом, ибо с правнуком Ира назаряне связывали свои самые сокровенные надежды.

Той осенью ожидалась свадьба Сифа. После свадьбы, по утверждению погонщиков ослов, мужской голос начинает матереть, наливается мужской хрипотцой. И как только голос станет на свое место, Сиф займет место отца. И будет он не просто раввином; Сифу суждено было стать б е л ы м р а в в и н о м. И этого Назарет ждал как главного события своей многовековой истории.

Углубленный в постижение вечных истин, будущий белый раввин спустился с плоской крыши синагоги, про-

шел мимо обиженных Богом, толпившихся в дверях. В душе своей Сиф считал себя книжником, а образованные книжники редко снисходили до малообразованных, дабы не растрачивать накопленное. Но может также статься, что он стеснялся своего не устоявшегося еще голоса. Во всяком случае, обходя толпившихся в дверях, он что-то проронил, не глядя на них; ему тоже что-то ответили, так же не видя его. На этом утреннее общение односельчан было завершено, и Сиф стал подниматься по тропинке, проторенной тремя поколениями раввинов, к большому каменному дому, окруженному виноградником.

Двумя вещами гордились назаряне — огромной синагогой со сводчатыми потолками и раввинскими виноградниками. Правда, синагога, по слухам, не заслуживала той славы, которую ей приписывали. Каменная громада, построенная совершенно без окон, освещалась светильниками и свечами, отчего в жаркое время года пожилые падали в обморок. Зато виноградники у раввинов действительно были великолепны.

Часто богатые иудеи из рассеяния по дороге в Иерусалим или при возвращении из Святого города сворачивали с большой приморской дороги и поднимались в предгорья только для того, чтобы купить несколько мехов вина у назаретских раввинов. Смешивая разные сорта винограда, вывезенные, по слухам, из Антиохии, назаретские раввины вырабатывали красное, густое, отдававшее орехом вино, о котором слагались легенды. По мнению знатоков, раввинское вино было незаменимым в дороге; оно укрепляло тело и дух и вселяло надежды на завтрашний день.

Жили назаретские раввины в огромном доме, всем кланом, поскольку глава этого клана, столетний Ир, на удивление своей родне и всему Назарету, все еще держал в своих руках как дом, так и синагогу. Правда, года два тому назад с ним случился удар; теперь он больше лежал, потеряв способность двигаться, но голова его по-прежнему удивляла назарян своей разумностью, так что жители горного селения наиболее трудные дела отдавали на его суд. Слово слепого раввина было законом для всего Назарета,

хотя в действительности Ир вовсе не был слепым. Оберегая свое зрение, он часто заставлял учеников читать в синагоге вместо себя, отчего и был прозван «слепым раввином»; а прозвище, как известно, если уж пристанет к человеку, то это навсегда.

Быть раввином — дело нелегкое. Быть раввином у горских иудеев — дело немыслимое, но, будучи сам горцем до мозга костей, Ир легко справлялся со своей ношей. Ему кланялись не только в Назарете, но и в соседних селениях, и он вполне заслужил эту честь. Отец Ира был погонщиком ослов, прожившим свой век на горных тропах, и надо думать, что у него была нелегкая жизнь. В те времена существовали разные касты погонщиков — погонщики ослов, погонщики волов, погонщики верблюдов. В одиночку выжить было трудно, времена были воистину дикие. Всюду войны и восстания, грабежи, разбой на всех дорогах. Чтобы заработать свой хлеб, погонщикам приходилось вступать в сговоры не только друг с другом.

В Израиле презирали погонщиков, особенно погонщиков ослов, считая их большими грешниками, что было, видимо, недалеко от истины. Святой обязанностью каждого иудея считалось обучение своего сына грамоте, молитвам и Писанию. За этот труд, по утверждению раввинов, Господь отпускал половину грехов; а когда погонщикам, постоянно находившимся в пути, воспитывать своих детей?..

Ир был уже юношей, когда его отец, перед кончиной подозвав его к себе, дал пять динариев и сказал ему:

— Слушай мое к тебе слово, Ир. Встань завтра рано утром, поди в Антиохию, к моему брату Сабу. Он учит детей мудрости и разводит виноград. Поучись вместе с его детьми и поработай на его виноградниках пять лет. Когда вернешься, построишь большой каменный дом на этом месте и обсадишь весь этот склон виноградной лозой.

— Для чего так много винограда? — спросил Ир.

— Для того, чтобы никто не стучался к тебе по ночам и не говорил, что луна взошла, пора в дорогу. Отлепи наш род от греховной жизни, отмой наши корни от ослиного помета. Докажи миру, что нам не только ослы, нам и великие истины послушны.

Ир отправился в Антиохию, а через пять лет вернулся в Назарет, построил дом, обсадил весь склон виноградником; когда назаряне попробовали его вино, они сделали его своим раввином, что было очень мудро. При молодом раввине Назарет проснулся от вековой спячки; слава раввинского вина вывела это маленькое горское селение в большой мир. Когда Ир состарился, раввином стал один из его многочисленных внуков. Но как бы ни менялись раввины в Назарете, все равно главным судьей и воспитателем оставался сам Ир.

Достигнув столетнего возраста, устав от мирских передряг, Ир только тем и жил, что ожиданием Сифа, своего правнука, обучавшегося в Иерусалиме. Он в нем души не чаял; временами ему казалось, что вместе с правнуком сама молодость возвращается к нему. И в самом деле, когда Сиф был рядом, у старика и дыхание становилось более полным, и речь более умудренной. Их беседы продолжались часами, ибо с этим правнуком Ир связывал свои самые сокровенные надежды.

По слухам, Назарет основали в древние времена погонщики ослов, что похоже было на правду. Худая слава, как известно, более подвижна и живуча, чем добрая. Во всяком случае, в Израиле этой легенде поверили. Она, должно быть, и породила известную поговорку: «Может ли быть что доброе из Назарета?»

Само собой, эта поговорка глубоко оскорбляла жителей Назарета, и особенно их честолюбивого раввина. Как известно, бороться против людской молвы — дело пустое, ибо молва анонимна, безлика и потому безответственна. Однако люди, дома которых окружены виноградником, отличаются особой смелостью и часто берутся за дела, за которые другие во веки веков не взялись бы.

Сиф — вот кто должен был, по представлениям Ира, спасти положение. В Израиле существовало поверье, что праведниками становятся раввины в четвертом поколении — при условии, что все они — и отец, и сын, и внук — прослужат в одной и той же общине. Вот этого самого потомка в четвертом поколении и принято было называть «белым раввином». Ему полагалось носить белый хитон, и

за потомками белого раввина сваты гоняли по всему Средиземноморью.

К тому времени добрая часть богоизбранного народа жила в рассеянии, разбросанная по всему миру. Сохраняя веру и обычаи предков, иудеи жили, как правило, маленькими колониями. Грешили понемногу, молились и каялись. Случались, должно быть, и прегрешения, которые Господь не склонен прощать. Но главная опасность была в том, что живя маленькими замкнутыми общинами, женясь и выходя замуж в одном и том же кругу, иудеи обрекали себя на вырождение, и некоторые ветви народа стали чахнуть.

Что было делать, как спастись от этого страшного бедствия?

Мудрые головы решили, что нужна свежая кровь с Земли Обетованной, а роды, которым угрожает полное вымирание, должны породниться с потомками белых раввинов, чтобы обрести себя вновь.

Идея сделать Назарет родиной белых раввинов вынашивалась Иром давно; по сути, он посвятил ей всю свою долгую жизнь. И хотя сам Ир был не очень здоров, худой и с желчным цветом лица, он, тем не менее, никогда не скрывал, что мечтает разбросать свой род по всему миру. Такое желание, видимо, в человеческой природе: чем хилее человек, тем больше у него тяга к тому, чтобы пустить как можно больше корней.

Впрочем, здоровье и цвет лица потомков Ира улучшались от поколения к поколению; а что до Сифа, будущего белого раввина, завершавшего свое обучение у Гамалиила, то он был и вовсе хорош собой. Высокий, статный, умеренный во всем, и только молчаливость, порожденная, надо думать, сохранившимся с детства голосочком, выдавала в нем смурную натуру погонщика ослов.

Но и то сказать: время шло, а голос все не устанавливался на своей оси. Как пробудить в этом юноше мужа? Сифу нашли уже пухленькую развеселую невесту. После свадьбы, утверждали знатоки, они так распоют друг друга, что придется уши затыкать.

Однако Ир этому не верил. Он считал, что существует только один путь выправить положение. Правнука нужно

было бросить в бой. В тяжелый, жестокий, беспощадный бой, ибо только бой превращает юношу в мужа.

Битв в те времена было предостаточно; у ворот каждого дома, у ворот каждого города. Однако это были скорее не битвы, а стычки, которые, как известно, никогда ни к чему не приводят. Только шум, треск и порча нервов. Сифу нужно было то единственное в жизни сражение, в котором участвует весь твой род. Все твои предки. И твои сверстники. И твои потомки. И твой Бог.

И это великое сражение, к счастью или несчастью для Ира, замаячило на горизонте.

Был день, когда Ир, взобравшись на крышу дома, совершал очередную молитву; и поднялся к нему старший сын, и сообщил, что Иешуа, сын Марии, оставив дом, ушел.

— Куда?

— Ушел в мир.

— Для чего?

— Проповедовать.

— Боже мой, Боже мой...

Оглушенный этим известием, Ир, прервав молитву, спустился с крыши, долго блуждал по винограднику, пока не остановился у того каменного выступа, откуда виден был, как на ладони, и весь Назарет, и окружавшие его горы, и даже мир, простиравшийся за горами назаретскими.

— Боже мой, Боже мой... — повторял он без конца, сидя под каменным выступом, и, качаясь из стороны в сторону, посыпал при этом голову пеплом в знак великого, непоправимого горя...

Хуже всего было то, что Иешуа был его учеником. Он был самым трудным учеником из всех, кого Иру приходилось просвещать, а слепой раввин учил детей при синагоге с молодых лет и до той поры, пока мог еще без посторонней помощи подниматься в гору.

Сын Марии был и оставался величайшей загадкой для старого Ира. С первого же дня, как только он переступил порог школы, спокойная жизнь для раввина кончилась. Иешуа был настолько одарен и необычен, что можно

было подумать, будто до того, как переступить порог назаретской школы, он уже успел проучиться в какой-то другой школе. У него было все свое. Свои любимые псалмы, свое понимание древних изречений, своя радость и свои печали.

Худшего ученика невозможно было себе представить, ибо в те времена обучение при синагогах состояло главным образом в том, чтобы во всем копировать учителя. От манеры держать свиток и до полагающихся пауз в тех или иных местах. Конечно, Иешуа был послушным мальчиком; его можно было уговорить повторить молитву с той интонацией, которая традиционно закреплена за тем или иным стихом. Однако спустя время, когда в ходе урока возникал пройденный стих, сын Марии произносил его с собственной интонацией, точно Ира и на свете не было. Нередко он стоял молчаливый, одинокий, отрешенный от царящей вокруг суеты. Однако цепкий глаз его не пропускал ничего значительного из происходящего вокруг, и наступали времена, когда в нем возмущался Дух. Заговорив, он тут же, на глазах, превращался в зрелого мужа. Речь в минуты гнева становилась острой, точной, ослепительной: выражения афористичны, крылаты, неповторимы.

Если сын Марии возмущался посреди урока, Иру ничего не оставалось, как только отпустить детей по домам. Переспорить его было трудно, а с годами и вовсе невозможно. Закрыв синагогу, Ир медленно поднимался в гору с приступами головной боли, а дети всю дорогу приставали к Иешуа, чтобы он открыл им, где вычитал то или иное. К чести слепого раввина, он никогда не выспрашивал у своего ученика, где и что было им вычитано. К тому времени Ир прожил уже долгую жизнь, в его руках истлело достаточно свитков. Он прекрасно понимал, что эти молниеобразные разряды суть цветы Духа Господня, распускающиеся на твоих глазах.

Такие вот чудеса. Прошел Дух Божий по всему Назарету, мимо самых достойных и благочестивых домов, нигде не остановясь, а почил в скромном домике, который иной раз и не замечали, проходя мимо. Что ж, Божии дела неподсудны, помыслы Его неведомы нам...

Однако с годами слепого раввина начали одолевать сомнения — а подлинно ли Дух Господен говорит устами сына Марии? Сомнение возникло от того, что, как известно, святое тянется к святому, а самая главная святыня иудеев — храм Господен в Иерусалиме. Однако годы шли, а сын Марии пас скот да плотничал. И все это — молча, словно главной его заботой был поиск необычайных слов, хотя, как известно, все слова, необходимые для спасения души, уже найдены. Они собраны в Писании, и правоверному иудею нужно только учить их, молиться и жить ими...

Бедный мальчик, временами жалел его про себя Ир. Он и сам еще не ведает, какая буря зреет в нем; эта буря способна потрясти до самых основ не только Назарет, но и горы, на которых он стоял. А Ир не любил никаких трясок и переделок; Ир считал мир и покой высшими благами жизни, но по мере того, как мужал сын Марии, росла тревога слепого раввина за вверенную ему паству.

— И что мне с этим плотником делать? — спрашивал себя бессонными ночами столетний старик.

— А ты обсади его одиночеством, — посоветовал как-то Иру книжник-попутчик, с которым они шли в Святой город на праздник Кущей. Как принято было в те времена, шли пешком, шли долго, почти неделю, и дорогой, как водится, перебирали вслух каждый свои заботы. Ну и, конечно, дошла очередь до плотника.

— Обсадить одиночеством?! — изумился Ир новой идее. — И что будет?

— Дух угаснет сам собой. В пустоту слов никто не бросает; там ничего не растет.

— Возможно ли обсадить кого одиночеством?

— Отчего нет?

— Но... как это сделать?

— Это делается само собой.

— Как?

— Очень просто. Ты же сам говоришь, что плотник временами как бы несет несуразное...

— Нет, я говорил о том, что временами его речь так свежа, остра и необычна, что может показаться как бы несуразной...

— Вот-вот... Надо, чтобы не только ты в Назарете так подумал.

Искусство травли уже в те времена достигло необычайного расцвета — что у греков, что у римлян, что у иудеев. К тому же раввин все-таки был сыном погонщика ослов, прожившим свой век на дорогах, среди воров и разбойников. Не говоря уж о том, что пламя Духа Господня обжигало в Назарете не только одного раввина. Иру нужно было только бросить клич, и от явных и тайных помощников отбоя бы не было. Ничто так не воодушевляет серость, как возможность участвовать в борьбе под собственным серым знаменем.

Вот уж когда Ир стал, что называется, самим собой! Ни разу не проронив худого слова о сыне Марии, не дав никому ни малейшего повода подозревать себя в недобром, более того, помогая, при случае, дому Марии, он вместе с тем постоянно создавал вокруг молодого плотника славу опасного странника. А странников и пришельцев, как известно, либо превращают в своих, либо извергают вон. Работа шла день и ночь. Если к этому добавить многодетную семью, заботу о хлебе насущном — сколько великого, рассеянного Господом, было похоронено под этими мелкими житейскими заботами!..

И вот в Божественной Чаше голос Иешуа слышен все реже и реже. Не видно Его по вечерам у ворот города, среди назарян. Конечно, Он знал, что вокруг Него происходит, но, оставаясь верным Себе, решил уклониться от борьбы, всецело положившись на Отца небесного. Более того, похоже было, что Он даже принял на Себя обет молчания, что было очень даже благоразумно, по мнению Ира. Так или иначе, покой был сохранен в Назарете; слепой раввин готовился отпраздновать великую в своей жизни победу, уверенный в том, что Господь на его стороне.

Что и говорить, нелегко переносить травлю близких тебе людей, но величайшая мудрость жизни заключается в том, чтобы причиняемое тебе зло обернуть во благо. В годы травли и печального одиночества Сын Человеческий вынашивал в Себе стратегию нового мира. Шлифуя очередное ярмо для шеи бедной скотины, Он в то же время шлифовал

основы новой веры, очертания Нового Завета. Ибо только наивный может полагать, что Нагорная проповедь родилась в одночасье на склоне горы, экспромтом. Посеянное Господом произрастало по законам естества, медленно, трудно, в означенные сроки. Все вынашивалось, рождалось в муках, обретая себя в священной борьбе противостояния...

Но уж когда эта огромная, непостижимая для человеческого духа работа была завершена...

Тогда-то и настал тот самый день, когда ранним утром во время очередной молитвы к слепому раввину поднялся его старший сын и сказал, что Иешуа, сын Марии, оставив дом, ушел в мир проповедовать.

— Боже мой, Боже мой...

Целый день и целую ночь Ир просидел под каменным выступом, расположенным над виноградником, откуда был виден весь Назарет, и окружавшие его горы, и даже мир, стоявший за теми горами, и, посыпая голову пеплом, повторял без конца:

— Вернись, Иешуа... Не смущай души людские, я ведь больше твоего прожил, я лучше знаю природу человеческую. Те, которые тебя примут, завтра же предадут; ученики — это самые ненадежные люди, а мы, как были, так и останемся односельчанами. Вернись, Иешуа, не сей смуту в этом мире, полном радости и покоя...

Сын Марии все не возвращался, а Ир настаивал на своем. Он уговаривал его еще один день и еще одну ночь, пока на третий день не хватил его удар.

Вызванный из соседнего селения врач застал дом раввинов в большом смятении. Парализованный старец лежал под каменным выступом и кричал, чтобы к нему не прикасались; он, мол, единственный в состоянии вернуть обратно сына Марии, а без этого возвращения мир погибнет...

— Вернись, Иешуа! Именем Господа нашего заклинаю — вернись!..

После пиявок, которыми облепили шею и виски, старец впал в спячку, и врач ушел, наказав не трогать его с места, если он сам того не пожелает. А поскольку старик, отоспав-

шись, и не подумал сменить место своего наблюдения за миром, сыновья наломали веток, соорудили над ним шалашик. Постепенно, день за днем, шалаш тот укрепляли и украшали, так что он стал похож на сторожку, которые в ту пору строили для охраны виноградников. Странность состояла только в том, что старик, лежавший в той сторожке, и не думал заботиться о сладких гроздьях.

— Вернись, Иешуа...

Боже, что Ты в нас такого заложил, если стоя уже двумя ногами в могиле, охваченная местью тень не желала думать о своей кончине. Больше того, Ир решил, что для спасения мира нужно дать Бой, Великий Бой, а это означало, что все еще впереди. Теперь главное было в том, чтобы как можно тщательнее подготовить генеральное сражение.

И вот сыновья, внуки, правнуки Ира отправляются в дальний путь — у Ира всегда были огромные связи по всему Израилю. Дело шло о величайшем грехопадении, и Ир трубил во все трубы, бил во все колокола. Тревожный звон из Назарета расходился по всей Палестине; целая армия ортодоксов принялась помогать слепому раввину. С рассвета и дотемна в шалаше над виноградником шла работа — старый Ир плел гигантскую сеть вокруг молодого Проповедника. Все Его высказывания и притчи собирались сюда, растолковывались, переосмысливались, извращались и уже в новой упаковке отправлялись в Иерусалим. Слепой раввин не спускал глаз с Сына Марии.

И вот, через книжников и фарисеев он добился-таки того, что целые города начали отпадать от Сына Человеческого. Закрывались двери синагог, в которых Он раньше проповедовал; принявших новую веру начали одолевать сомнения. Ир хорошо знал свою работу. Он укорачивал пути Иешуа, загоняя все ближе и ближе к Назарету, откуда Ему было уже не выбраться.

И день тот настал. Конечно, Мария первой услышала шаги приближающегося Божественного Сына, но ненависть не менее зряча, чем любовь, ибо вместе с Матерью, а может и чуточку раньше слепой раввин заметил стоявшего в лунном свете, меж Верблюжьими горбами, Сына Человеческого.

Подставив ладонь козырьком, Ир все глядел и глядел, не веря собственным глазам. Лицо разрумянилось, дыхание стало полным, и с игривой интонацией, вернувшейся Бог весть с каких времен, он вопросил сам себя:

— А никак гости к нам пожаловали?..

Подойдя к дому, Сиф снял сандалии и дальше пошел босиком, однако шалашу над виноградником все эти хитрости были известны.

— Сиф! — позвал его сиплый голос прадеда. Ир, конечно же, слышал, как правнук вышел с трубой и направился в синагогу; слышал призыв к утреннему жертвоприношению; слышал, как Сиф возвращался после исполнения долга.

Сиф стоял босой у порога дома и раздумывал. Чрезмерная привязанность старика угнетала его. Есть какой-то разумный предел в человеческих отношениях, и прадеду с правнуком почти всегда уже не о чем говорить. Возникает несовместимость поколений. В этом, может быть, и заключена тайна ритмического обновления мира...

— Чего тебе?

— Войди.

Под утро выпала обильная роса, и Сифу не хотелось тащиться в праздничном хитоне через весь виноградник, но что делать? Тот же белый хитон был задуман, пошит и побелен стараниями прадеда. К неумеющим переборотъ себя Господь не благоволит.

— Тут я.

— Подойди ближе. Ты чего лицо как бы отвращаешь, подходя к шалашу?

— Повторяю псалом. Готовлюсь к утренней молитве.

— Ты уже помолился. Поднять с постели Назарет — это большая заслуга пред Господом.

Присев у входа в шалаш, Сиф любовался светлой зарей, накинутой горами на плечи предгорий, а старец лежа любовался правнуком.

— Ты сегодня славно исполнил призыв к жертвоприношению. Лучше, чем вчера.

— Вчера была пятница. Сегодня суббота.

— И то правда. Но отчего они так шумят?

— Кто? Где?

— Там, возле синагоги.

— ...и никакого там шума. Мир и покой.

— Какой покой, когда я отсюда слышу шум и гомон!

Они были больные, неуравновешенные, они безбожно там шумели, и Сифу пришлось вспомнить:

— Верно, стоят там некоторые в ожидании...

— Что рано так пришли?

— Божью милость взыскивать.

— Если они пришли помолиться, почему все время суетятся, скрипят, стучат? Их что, на повозках привезли? Они на костылях притащились?

— Всяко. Кто на повозках, а кто и на костылях...

— Прибежали за исцелением, — пожаловался Ир каменному выступу, который торчал над ним и был, видимо, посвящен во все раввинские дела.

— Елиша, сын Вооза, тоже там?

— Елиша?!

— Да, Елиша. Сын начальника синагоги.

— Что-то я его там не видел.

— Как же ты его там не видел, когда я отсюда слышу голос раба, на спине которого живет Елиша.

— Верно, — вспомнил Сиф. — Асадия я там видел. Он чуть ли не первым стоит в дверях.

— А если там раб, как ты не подумал, что где-то рядом должен быть и его господин?

— Я так и подумал. Где-то рядом должен быть Елиша.

— А если так подумал, почему ты его там не увидел?

— Как не увидел! Елиша там.

— А если увидел Елиша, притащившегося чуть свет в синагогу, как ты мог пройти мимо, не спросив его... ?

Тяжело вздохнув, Сиф высоко поднял голову. Видит Бог, он оберегал здоровье прадеда, но Иру тихая жизнь была не нужна. Ему нужен был бой. И только бой.

— Я спросил.

— И что же? Верно ли то, что сын Марии?..

— Верно. Он вернулся этой ночью.

Не успело солнце взойти, не успели дома назарян наполниться запахом хлебного жертвоприношения, как по улицам горного поселка прокатилась волна оглушительного лая. В древней Иудее собак во дворах не держали, но они тем не менее жили при каждом селении. Назаретские песики целыми днями копошились за воротами, в мусорных ущельях, куда назаряне сбрасывали всякие нечистоты. В самом селении жили две-три дворняжки; стоило, однако, хоть одной из них залаять, как из ущелий выскакивали полуголодные своры и заполняли Назарет оглушительным лаем.

Благочестивый Амалик, живший на самой окраине поселка, произносил вдохновенную речь перед своими тремя сыновьями, готовясь к службе в синагоге, где ему предстояло читать Писание. У порога дремала тихая и добропорядочная сучка, увязавшаяся за Амаликом где-то в горах года три тому назад и так и не отходившая от него. Когда собачий набег оказался у них во дворе и сучка заскулила, Амалик вынужден был прервать речь и пойти спасать честь дома.

Выбежав во двор, он разогнал собак, но вернулся чем-то встревоженный. Поставил палку на место и сказал сыновьям:

— Слепой раввин зовет. Что-то случилось в Назарете.

— Как ты это узнал?

— Ир спустил с цепи Легионера.

Уже много лет раввинский виноградник сторожил коренастый, черной масти римский кобель, прозванный Легионером. По причине свирепого нрава приходилось держать его на цепи, и только изредка, когда Иру нужен был Амалик, с которым у слепого раввина постоянно были какие-то дела, он спускал с цепи Легионера. А поскольку в Назарете была только одна сучка, Легионер единым духом мчался к дому Амалика, ибо не только один Ир мечтал разбросать свое потомство по всему миру.

— Что ему от тебя надо в такую рань? — спросил старший сын.

— Боюсь, не случилась ли беда какая, — предположил Амалик. — По пустому делу Ир не стал бы в субботу, рано утром, спускать с цепи собаку.

— Храни вас Господь, — напутствовала их жена Амалика, когда они выходили из дому. Она панически боялась как раввина, так и его Легионера.

Амалика отличала тихая, вдумчивая, вкрадчивая походка. Что и говорить, погонщику всегда надо быть осторожным, готовым ко всяким неожиданностям. Горы — это не только вулканическое нагромождение окаменелостей, но и способ жизни. Беззаботные в горах не выживают; и потому благочестивый Амалик был осторожен. Даже в своем родном селении. Даже в субботний день. Даже по дороге к слепому раввину. Все в руках Господних, любил повторять Амалик, то и дело оглядываясь.

Не зная толком, зачем их позвали и что их там ждет, Амалик благоразумно оставил сыновей за воротами; пошел по винограднику один.

— И сколько раввин может ждать погонщика!!!

— Тут я, мой господин.

— Войди в мое жилище.

— Ничего, я постою подле.

— Войди. У виноградных кустов иногда вырастают уши. Особенно в засушливые годы.

— И то правда, — сказал Амалик, не без труда заставляя себя переступить порог наполненного тяжелым духом лежбища.

— Слушай мое к тебе слово, Амалик. Ты мне должен. Надеюсь, помнишь?

— Достойные люди каждое утро сами себе напоминают свои долги.

— Это хорошо, что ты себя считаешь достойным человеком и помнишь свои долги. А задолжал ты мне немало.

— И это помню.

— По правде говоря, и отец твой задолжал мне немало, но по прошествии семи лет, как того требует закон, я вынужден был простить ему тот долг.

— Видит Бог, что это было именно так.

— Я уже не говорю о твоем деде, которому дважды, каждые семь лет, списывал долги.

— Господь воздаст тебе сторицей.

— Наученный твоими предками, ты, должно быть, думаешь, что через два года, когда наступит новый срок списывания долгов, я спишу и тебе, как списывал отцу и деду?..

— Грешно сознаться, но мысль такая посещала меня...

— Так вот, напрасно она тебя посещала, ибо нового списывания не будет, Амалик! Сегодня наступил тот день, когда ты должен вернуть мне долг сполна.

— Как я могу это сделать, если пояс мой пуст?

— Никто и не помышлял о твоем поясе.

— О чем же тогда речь?

— О твоих руках.

— Что могут для тебя мои руки?

— Они могут в течение дня заменить мне ноги.

— Каким образом?

— Найди себе троих помощников, и весь день, от восхода до заката, будете при мне. Нынешний день, возможно, будет лучшим днем в моей жизни.

— Ир! Ты хочешь... в счет того долга, унизить меня?..

— Избави Бог! Я хочу, чтобы ты помог мне приблизиться к Господу. А что может быть почетнее для иудея, чем помочь своему Учителю приблизиться к Предвечному?

— Ир, но почему ты хочешь, чтобы лучший день в твоей жизни оказался худшим в моей?

— Тебе зазорно нести на себе своего Учителя, который выучил тебя грамоте, Писанию и всему тому, что ты сегодня знаешь?

— Мне не зазорно, но в твоем доме полно мужей.

— Они мне ничего не должны. А ты должен. И немало.

— Грешно унижать своего должника, Ир. Ты хорошо знаешь, что я не последний человек в Назарете. Я занимаю первый стул среди старейшин, и при судебных разбирательствах, когда отсутствует начальник синагоги, я замещаю его. Не говоря уже о том, что у меня трое взрослых сыновей. Что скажет Назарет?

— О Назарете забудь на один день.

— Как можно забыть о Назарете, если я в нем живу?

— Очень просто. Забудь и все. На один день.

— И для чего я должен сказать себе, что Назарета нету?

— Для того, чтобы быть свободным. Бывают дела, которые решаются вдвоем. Только ты и я, и никакого Назарета.

— Живя среди людей, постоянно видя и слыша их...

— Не лукавь, Амалик! Когда вы ко мне приходили среди ночи и нужно было за вас поручиться, и нужно было вытащить, о Назарете никто не вспоминал.

— Так, — сказал Амалик упавшим голосом, ибо считал ту историю канувшей в Лету, однако она, оказывается, еще не канула. — Положим, я приму твое условие, соглашусь, но где мне взять помощников? Кто согласится согрешить вместе со мной в субботу, неся на себе такой груз?

— Какой там груз! Не человек, а одуванчик. К тому же не забывай, что я раввин. Бог может за это кое-что простить сверх того.

— Да, но в субботу, рано утром, найти троих!..

— А позови своих сыновей, которых ты оставил за воротами.

— Ир, на тебе Бога нет! Ты безжалостен.

— Ничего, — сказал Ир, — сыновьям твоим такой труд пойдет на пользу.

— Они что, от этого поумнеют?

— И очень даже.

— Нет, — сказал Амалик. — Сам я, хоть и неохотно, могу оставаться при тебе весь день в счет погашения того долга, но сыновей своих втянуть в это дело — ни за что!

— Так, — сказал Ир и призадумался. Потом вдруг спросил:

— Сколько у тебя верблюдов, Амалик?

— Четверо, а что?

— Если по правде, у тебя их не четверо, а только два.

— Это почему же?

— Два из них — мои.

— Отчего так?

— Оттого, что моя доля в том нашем деле была половинной, а ты дал мне только треть.

— О каком деле ты говоришь, Ир?

— Ночью, тогда, в Илафских ущельях...

— Господи!! — взмолился Амалик. — Эта голова, хоть и усохла, но все помнит!..

И онемели оба. Илафские ущелья лучше было не вспоминать. У погонщиков есть дела, в которые непосвященным людям вникать не стоит. Деликатность ситуации, однако, заключалась в том, что Ир уже выбрался из ямы прошлого, он прожил уже две человеческих жизни наверху, в то время как благочестивый Амалик только выбирался. Ему нужна была еще помощь Ира, чтобы окончательно порвать с прошлым.

— Что же — ты идешь за сыновьями или не идешь?

— Иду, мой господин, иду!

Вернувшись, при сыновьях, Амалик был весь покорность и услужение. Ир облегченно вздохнул; половина дела была сделана.

— А ребята у тебя славные, крепкие. И голосами, надо думать, их Бог не обидел.

— Голосами наш дом знаменит. Иной раз распоемся так, что светильник в доме гаснет.

— Рад это слышать, хотя сегодня вряд ли понадобятся ваши голоса. Не на свадьбу идем.

— А куда? — спросил старший сын Амалика, не отличавшийся особым воображением.

— Сынок, видишь вон там, подле забора, старое плетеное седалище?

— Как не видеть?

— Принеси.

Тот принес и поставил.

— А теперь вытащите из забора пару кольев, привяжите их крепко-накрепко по бокам седалища так, чтобы удобно было нести.

— Нести кого?

— Нести меня.

Сыновья вопросительно посмотрели на отца — возможно ли такое? А что — и будем нести, говорил решительный вид отца.

— Для четверых тут нет работы, — сказал тоном большого знатока старший сын.

— Конечно, нет. Пока двое будут готовить седалище, другие двое пусть снимают с меня это провонявшее тряпье и окунают меня в тот каменный чан с дождевой водой.

— А ты, это самое... не захлебнешься? — спросил Амалик.

— Ну, захлебнусь — так захлебнусь. А если вытащите живым, позовите из дому женщин; после того, как они переоденут и расчешут, усадите в седалище, и двое спереди, двое сзади; с Божией помощью поднимете в синагогу.

— Чего тебя поднимать, когда синагога — вон она, в низине. Не поднимать, а спускать тебя будем, — сказал Амалик.

— Нет, поднимать, — настаивал Ир.

— Отчего так?

— Синагога, конечно, в низине, но я уже третий год не видел Назарет в лицо; с тех пор, как потерял подвижность. И потому, прежде чем переступить порог синагоги, я хочу облобызать свой родной Назарет...

«Он-таки хочет опозорить нас», — подумал про себя Амалик, но вслух спросил:

— А по силам ли тебе столь долгий путь?

— Восседать на плечах своих учеников — это не работа.

Что было делать! Раздели старика, сунули в воду, переодели. Старик посинел, и трясло его так, что казалось, конец.

— На-на-на-на всякий случай... При-прихватите-те два горшочка. О-о-один пустой, другой с водицей...

— С водицей-то зачем? — спросил старший сын, которому явно не хотелось таскаться с горшками через все село.

— В синагоге, от духоты, часто старики падают в обморок... тогда нужно смочить голову...

— Ну, а пустой-то зачем?

— Сын мой! Об этом не принято спрашивать у стариков, а я уже трижды стар...

Зрелище шествующего в плетеном седалище слепого раввина, который уже и голову по-настоящему держать не мог, она у него, как у малых детей, постоянно валилась с боку на бок, потрясло весь Назарет. Уж если старого Ира собрали по черепку и понесли в синагогу, стало быть, это и есть тот самый день, ради которого нас матери рожали. И скорые на подъем назаряне, едва успев умыться и накинуть на себя плащи, поспешили в синагогу.

Теперь самое главное занять место поудобнее — так, чтобы увидеть все собственными глазами. Достоверными считались только свидетельства очевидцев. Показания слышавших, но не видевших своими глазами в расчет не принимались. Ну, а видя все своими глазами, недолго и самому поучаствовать в утверждении справедливости, иначе зачем бы они именовали себя сынами богоизбранного народа?

Иудеи подарили миру единого животворящего Бога; они пробили туннель сквозь горы дикости и варварства, и эта великая историческая заслуга навсегда останется за ними. Поэтому, должно быть, они и стали народом, избранным Господом. И заплатили иудеи за свое избранничество немыслимую цену. Почти сорок раз на протяжении его истории Иерусалим грабили и опустошали. Ни в одном городе мира не пролилось столько крови, сколько пролилось ее в Святом городе. Египетское, Вавилонское пленение; трижды разрушенный до основания храм, поколения павших, поколения проданных в рабство — и все это только часть цены, которую иудеи заплатили за свою веру.

По природе своей иудей — это человек, посвятивший себя поискам вернейших и кратчайших путей постижения Истинного Бога. Остальное для него — второстепенное. Именно поэтому иудей каждый день, каждый час должен соотносить свои помыслы, свои поступки, свои слова с тем, насколько они согласуются с законом.

Иудей следит за собой и за своими близкими постоянно, причем так уж человеческий глаз устроен, что за ближним он легче и охотнее следит, чем за собой. Иудей готов за малейший проступок поставить ближнего перед судом, зато и сам безропотно станет, если к тому пойдет дело. Иудей живет в тревожном ожидании, что в любой момент кто-нибудь рядом возопиет: «Смерть ему!» За то и сам он, если будет нарушен закон, готов издать этот клич и первым поднимет камень, лишь бы сохранить в святости и чистоте имя Господне.

В большинстве своем назаряне, травившие Сына Марии одиночеством, весьма зауважали Его после того, как Сын

Человеческий прославился. Однако суть конфликта оставалась, и заключался он в том, что Иешуа продолжал заявлять о Своей особой близости к Богу. А это, по мнению назарян, унижало Самого Бога, и потому, хотя в синагоге уже некуда было ногой ступить, люди все шли и шли.

Любое общество людей — это дом в каком-то смысле, а добровольно из своей среды никто никого не отпускает. За свободу принято платить, и чем больше ты уносишь с собой, тем большая будет наложена на тебя дань. Сын Марии, по мнению некоторых назареян, вынес из этой Чаши величайший Божий дар, и долг его перед малой родиной был неисчислим. Ибо, рассуждали меж собой назаряне, если он действительно отмечен Господом и в нем действительно Дух Святой, зачем он тратил время у верстака вместо того, чтобы просветить и направить на путь истины окружавшую его темноту? Ну, а если все это пустое, тогда камням пора сказать свое слово...

Стояли смурные, выращивая в себе громы и молнии; они пришли сюда сегодня не молиться, а отстаивать своего Бога. «Слыханное ли дело!» — вдруг прорвется у кого-нибудь, и весь зал содрогнется, ибо это маленькое горное селение буквально болело Сыном Марии. Трудно смириться с тем, что у кого-то созревает рожь, тогда как твое поле остается в запустении. Единственный путь — оболгать урожай труженика. Первые вести об успехах молодого Плотника на ниве проповедничества были встречены в Назарете усмешками. Разговоры о творимых Им чудесах вызывали только улыбки. Ну, а легенда о воскресении Им дочери Иаира, начальника синагоги, вызывала повсеместный хохот.

Все эти россказни, по мнению светлых голов Назарета, не стоили даже того, чтобы выслушивать их до конца, однако их скептицизм не находил поддержки за пределами назаретскими. И получалось, как если бы назаряне плевали против ветра. Твое возмущение тебя же и припечатывает. Тогда раздосадованные горцы стали выходить на стоянки больших караванных дорог — то застрянут у водопоя, то у ворот чужих городов, пытаясь втолковать простодушным овечкам, что есть зерно истины, а что чистая мякина. Ибо

этот сын Марии, если уж на то пошло, если вы уж так хотите всю правду знать...

Святого оболгать невозможно, этого Господь Бог не позволяет. Настойчивость назарян привела лишь к тому, что их всюду стали избегать, как чумных или больных другой какой заразой. И пока растерянное горное селение прикидывало, как быть и что дальше делать, слава Сына Человеческого стала просто оглушительной. Следовавшие за Ним толпы были столь преданы каждому Его слову, что опасно было стоять на их пути.

Оскорбленный Назарет замкнулся в своей среде, затих, и это не предвещало ничего хорошего, ибо когда горец замыкается в себе, тогда он опасней всего. Униженные грешники затаились и ждали. Ждали долго и терпеливо; более двух лет прождали, уверенные в том, что слепой раввин вернет Сына Марии обратно.

И вот этот долгожданный день настал. Синагога была битком набита. Не сумевшие протиснуться вовнутрь, толпились в притворе; не попавшие даже в притвор заполонили двор, обступив синагогу со всех сторон.

Стояли молча, хмурились и ждали. За долгие века своего существования никогда еще Назаретская синагога при столь великом скоплении народа не сохраняла столь долгую, столь глубокую тишину. Защита веры — дело святое. Страшно промахнуться, еще страшнее самому согрешить. Чтобы, не дай Бог, этого не случилось, нужно было ко всему присмотреться, прикинуть возможное развитие событий...

Вот в правой стороне Возвышения, с которого читалось Писание, собрался весь раввинский клан. Стоят смиренно, молча охраняя покой столетнего старца, ибо когда дело будет запутано вконец и нужно будет сказать Слово, тогда вспомнят его, куда денутся.

Родня есть родня, а это что такое? Каким образом среди раввинов затесался благочестивый Амалик, вместе со своими сыновьями? Осторожный Амалик выделялся среди прочих поразительными озарениями здравого смысла. Назарет мог год пробегать по кругу в поисках истины и ничего не найти, а вот Амалик едва выйдет на тот круг, нагнется

и поднимет столь искомое всеми. Бывали даже случаи, когда он оспаривал раввинов и доказывал, что раввины неправы: видимо, опасаясь его строптивой натуры, раввинский клан каким-то чудом заманил, замкнул его внутри себя, вместе с сыновьями, и видно было, что в ту субботу ему оттуда уже не выбраться.

С другой стороны Возвышения смиренно стояли в ожидании своей участи около десяти увечных и калек. Пристыженные репликами из зала, они стояли понуря головы и молились про себя. Конечно, будучи назарянами, они тоже считали себя глубоко оскорбленными уходом Сына Марии, но, обиженные Господом, они все-таки жили мечтой об исцелении, и тот же Иешуа, по слухам, мог им это исцеление принести. И потому, стоя с опущенными головами, каждый раз при скрипе входных дверей они вздрагивали, ибо в то самое мгновение могло войти Спасение.

Труднее всего, однако, приходилось Воозу, начальнику синагоги. Человек он был мирный, добрый; сосед и дальний родственник Святого Семейства. С раввином у него были хорошие отношения, с раввинами — сложные, чтобы не сказать плохие. В житейских передрягах не всегда две головы лучше, чем одна. Ну, а если их целых три, а рядом с ними выросла вот четвертая, будущий белый раввин, тогда как быть?

Допустим, что все они сегодня промолчат в пользу слепого раввина, ну, а толку что? Ир был в том возрасте, когда с человеком опасаешься спорить, дабы не навредить его здоровью, а спорить было о чем. Ир не любил Сына Марии, предчувствуя с ранних лет Его будущую славу. Плотнику нет места среди звезд на голубом небосклоне. Раввины полагают, что небеса — это их вотчина.

Положим, Вооз грешит в своих подозрениях; положим, Ир просто решил перед кончиной попрощаться с синагогой, с назарянами. В таком случае его притащили бы сыновья и домочадцы, или соседи, или родня, охотников нашлось бы немало. Ир прожил такую умную жизнь, что на старости лет все ему были должны. Но нет, ему подавай в услужение праведника, благочестивого Амалика, красу и гордость Назарета, обладавшего первым голосом в совете

старейшин. Как без его ясного и трезвого ума управлять этой разъяренной массой народа?

Но и это бы еще ничего, не по этой причине так тяжело вздыхает бедный Вооз, постоянно переминаясь с ноги на ногу. Главная его боль заключалась в том, что минувшей ночью на рассвете Елиша без его ведома покинул дом и вот стоит, ждет исцеления. Своим появлением он связал отца по рукам и ногам. К тому же исцеление для него было совершенно невозможно, по понятиям Вооза.

А все дело было в том, что пока Иешуа не покинул дом, Елиша дружил с Сыном Марии. Не было дня, чтобы Ели, на плечах верного раба, не поднялся бы во двор Марии, чтобы часок-другой помолчать в обществе Плотника, потолковать с Ним о Писании или попеть вдвоем псалмы. Елиша был хорошим другом, но хотя он этого никогда не говорил, в душе своей он почитал себя равным Сыну Человеческому, а кое в чем и превосходящим Его; при таком состоянии Духа ни о каком исцелении не могло быть и речи...

Спаситель, конечно, знал, что будет происходить в день Его возвращения, и не был удивлен царившим вокруг столпотворением. Грех неправоты мучителен, и редко кому удается преодолеть его; потому все и норовят так или иначе подкрепить его какой-нибудь маленькой правденкой.

Стояли, сопели, сердитые и недовольные. Мало того, что прождали два года, так нужно было еще дожидаться, когда солнечные лучи, пробившись сквозь зелень, разбудят Сына Марии. Чтобы не сорваться раньше времени, они старались не смотреть, не видеть Иешуа, хотя при Его появлении расступились, дав Ему пройти. Он шел мимо, касаясь их, а они по-прежнему не видели Его. В Назарете это был один из самых расхожих методов оказать давление. Стоишь и не замечаешь человека, заставляя его таким образом почувствовать себя виноватым. А уж когда, как и в чем провинился, сам думай.

— Сын Давидов! Мир Тебе! — воскликнул из густой зелени кипариса, растущего за оградой синагоги, местечковый чудак, но его быстро достали оттуда и заткнули ему рот.

— Мир тебе, Серух!

Сын Марии шел по образовавшемуся коридору скромно и достойно, как и полагалось идти Тому, Кто шел под сенью Духа Святого. Окружающая неприязнь нисколько Его не смущала. Другого и не могло быть. Он шел медленно, задумчиво, готовя Себя к молитве, ибо не собирался вторично стучаться в двери, которые единожды затворились перед Ним.

Года два назад, в начале служения, Он попытался произнести здесь проповедь, но был отвергнут. «Откуда в нем вся эта мудрость? Не он ли сын плотника» — и так далее... И все-таки за два года кое-что изменилось даже в этом горном селении... Хоть и ненавидя, они понимали, что Он идет не один. С Ним шел целый мир, и потому, когда Он был еще в притворе, как-то сама собой широко открылась входная дверь...

Едва Он переступил порог, переполненная синагога в приступе смиренности ужалась, образовала посреди дорожку, так чтобы Сын Марии мог свободно пройти к Возвышению, с которого читалось Писание. Рядом был поставлен стул — с тем, чтобы читающий мог присесть и растолковать прочитанное...

Конечно же, это была ловушка, чтобы заманить Его в богословский спор. Сын Человеческий не собирался спорить с назарянами в тот день, не затем Он посетил Назарет. Он искал глазами укромное местечко, чтобы, встав, помолиться. Но как быть с тем, что когда двери большинства синагог закрывались перед Ним, дверь родной синагоги как бы отворилась сама собой?

«Отче?» — вопросил Он, как всегда, в трудный час, и Дух Господен сказал: — *«Поди, исполни Свой долг»*.

Сын Марии прошел по образовавшемуся коридору, встал на Возвышение. Служитель молча подал Ему свиток. Открыв его, Спаситель начал читать:

«Дух Господа Бога на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу...»

Свернув свиток, отдал служителю. Сел и задумался.

— Что он такое сказал? — вопросил слепой Ир.

— О помазании говорил, — ответил один из его сыновей.

— А мне показалось, будто он сказал: «Дух Господа Бога на мне».

— Так и было, — подтвердил внук Ира. — «Дух Господа Бога на Мне» — подлинные его слова.

Омертвевшие морщины Ира начали оживать. Предстоял бой.

— Но кто, разумный, может сказать про себя — «Дух Господа Бога на Мне?»

— Нет, — сказал Сиф, будущий белый раввин. — Он ведь не от себя говорил. Он читал из пророка Исайи, но стоял боком и ты, верно, свитка у него в руках не заметил.

Переполненной синагоге этот примирительный жест не понравился. Не с этого начинают белые раввины, не с этого...

Но что такое? Похоже, Сын Марии не принимает протянутую Ему веточку? Поблагодарив Сифа улыбкой, Он тем не менее заявил:

— Верно то, что читалось со свитка; теперь же, сидя перед вами, я повторяю те же слова, но уже без свитка. «Дух Господа Бога на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу...»

Синагога замерла. С Назаретом, оказывается, уже не считались. Более того, ему бросали вызов.

— Вот уж спасибо, Сиф, что ты выставил меня на посмешище, — разнеслось вдруг на всю синагогу.

— Я не выставлял тебя на посмешище.

— Как не выставлял, если предположил, будто я не видел свитка, с которого читалось! Мало того, что я и так, будучи зрячим, прожил свой век с прозвищем «слепой раввин», так тут еще и ты стал на сторону моих хулителей.

По залу прошелся смешок, принесший некоторую разрядку. Ощущение того, что он все еще владеет людскими душами, помогло Иру прийти в себя. Как там ни толкуй, а слава — великое одухотворяющее начало, и то, что до этого тебе было не по силам, вдруг дается легко.

— Я видел свиток, который держал в руках читавший, — заявил воинственно Ир, — но я также хорошо знаю сына Марии. Знаю его голос, его ход мыслей, его способ чтения. Знаю, потому что сам же и учил его некогда в этой синагоге. И, конечно, я в состоянии отличить, когда он читает со свитка, а когда, держа свиток раскрытым перед глазами, говорит от себя. Ты протянул ему масличную веточку, а он пренебрег тобой.

— И разумно поступил, — сказал сын Ира, дед Сифа.

— Очень разумно, — подтвердил Ир, — потому что в синагоге добрых людей не бывает. В синагоге есть только ВЕРНО и НЕВЕРНО толкующие Писание, СОБЛЮДАЮЩИЕ и НЕ СОБЛЮДАЮЩИЕ закон.

— Одно дело неверно толковать, — сказал внук Ира, отец Сифа, правивший раввин, — одно дело неверно толковать, и другое дело присваивать себе слова Писания, переложив их как бы на себя. И что это, если не святотатство?

В Израиле обвинение в святотатстве почти всегда обретало образ Скалы Позора и цвет проливаемой крови. Зал недоумевал. Обвинение было оглашено слишком преждевременно. Скорый суд почти всегда есть суд неправый.

— Раввин неправ, — заявил вдруг Елиша, сын начальника синагоги. — Он сказал неверное слово.

Зал замер, потому что Елиша почитался самым образованным в Назарете. Его споры с раввинами были украшениями служб.

— А как будет верно? — спросил не без ехидства правивший раввин.

— Вот, — сказал Елиша. — Мы каждый день воспеваем псалмы, омывая их слезами свои судьбы, и никто нам это не ставит в упрек. Святое — оно потому и Святое, что от веков и на века. Для всех.

— Это так, — согласился с ним его отец. — Воспевая псалмы, мы молимся молитвами, одухотворенными Господом, которыми другие молились до нас, то есть присваиваем себе слова царя Давида, чтобы выразить ими стенания своей судьбы. Но, сын мой! В том-то и дело, что молитва обращена ко Господу, а прочитанные сегодня слова пророка обращены к миру и народам. А это совсем другое.

Синагога растаяла в удовлетворении. Отец поставил сына на место. На этом стоял и стоит Израиль, на это нанизана вся его история.

Однако Вооз не принимал подарки в тот день.

— Иешуа, — произнес он мягко, ласково, с любовью. — Ты сегодня среди старых и добрых друзей. Здесь с нами твои братья и сестры. Твои близкие и твои друзья. Прости нас, если мы что не так сказали, или не так поняли, но объясни нам, ради всего Сущего объясни, для чего ты второй раз повторил Пророка, уже без свитка?

— Для того, чтобы помочь вам уйти от греха.

— От какого греха?

— От самого тяжкого, от нелюбви к ближнему. Ибо, вот, хотя сегодня суббота и собрались здесь мои родные и друзья, что-то не похоже, чтобы вы настроились на молитву. Бремя сотворенной неправоты не дает вам покоя, и вы все стоите и вздыхаете. Должно быть, нелегко стоять на ногах с полной пазухой камней.

— Вот! — сказал Вооз. — Я снимаю пояс с себя, чтобы ты видел, что ничего на пол не упадет.

— Не утруждай себя понапрасну, Вооз, — сказал Сын Марии. — Снятием пояса ты ничего не докажешь, потому что в Назарете все — камень. На камнях живете, камнями разговариваете, камнями грешите и каетесь.

— Потому ты и ушел от нас? — спросили вдруг из зала.

И наступила долгая, мертвая тишина.

— Вот-вот, — сказал Сын Человеческий. — Одно только это и есть у вас на уме, только ради этого вы и собрались сегодня; вам хочется непременно узнать, отчего Я ушел от вас.

— А в самом деле, отчего ты ушел? — подал вдруг голос благочестивый Амалик. Он, хоть и находился в тот день в униженном услужении, но все-таки был совестью Назарета, его праведником, его душой, его голосом.

Вместо ответа Сын Марии в третий раз медленно, вдумчиво, печально произнес:

«Дух Господа Бога на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу...»

— Так, — сказал Амалик. — И после этих твоих слов, мы — где?

— На тех же камнях, в той же яме, где и были.

— А ты где?

— В миру, среди нищих, сокрушенных сердцем; среди пленных и измученных. Мне Господом завещано оставаться среди них, и не нужно плести против Меня интриги, не нужно копать ямы, ибо можно убить пророка, но невозможно вернуть его обратно.

Назарет вздыбился и замер. Дышал глубоко, играя мускулами. Это уже становилось опасным, очень опасным, и Вооз начал издалека.

— По-моему, всякий разумный человек, — сказал он, — может пойти вперед, может свернуть в сторону или даже вернуться обратно, если что не так. Почему же пророку, если он разумный, невозможно повернуть обратно?

— Потому что у Господа обратного пути не бывает.

Синагога замерла. Сын Марии опять как будто намекает на свое особое познание Господа. Что скажут раввины? Теперь слово остается за ними.

— Где написано, — вопросил Сиф, — что у Господа обратного пути не бывает? Ибо вот создав Адама и Еву, изгнав их из рая, Господь уже сколько веков мается с нами, каждодневно возвращаясь к делу рук Своих!

— Это не Он к нам возвращается, — сказал Сын Марии. — Это мы, отбившись от пути истины, все время пытаемся возвратиться к Нему. Но даже если когда Господь к чему и возвращается, Он все равно идет вперед, ибо у Отца небесного только один путь. В Нем все начала и концы.

— Как говорит! — размягчился вдруг зал. — Что ни слово, то ангел с крылышками!

— А ведь еще недавно стоял у моих ворот в ожидании, когда женщины выдоят коз, чтобы пойти пасти их.

— В его словах живет мудрость...

— Пустое! Этому возрасту мудрость неведома.

— Очень даже! В юношеские годы Давид, плетясь за своим стадом, восхвалял Господа песнями, которые мы поем до сих пор!

— Сын Давидов! — воскликнул вдруг Серух, который каким-то чудом оказался в зале. — Благословен день, когда Ты покинул эту яму!

— Сгинь!! — зашикали на него.

— Иешуа, — мягко, ласково, с любовью произнес Вооз. — Я знал тебя с малых лет. На моих глазах ты рос и мужал. Как глава всех мастеровых здесь, в Назарете, я помогал, чем только мог. Часто входил в ваш труд, вы с Иосифом входили в мой. Я человек мирный и, как говорит царь Давид, ищи мира и следуй за ним. Что копаться в прошлом? Мы все перед тобой виноваты. Ты прожил среди нас тридцать лет, и мы, видевшие тебя что ни день, на самом деле не видели, и слушавшие тебя, на самом деле не вникали в суть слов твоих. Но это только одна половина правды. Вторая половина состоит в том, что и ты сам немало перед нами виноват. Все, что ты несешь сегодня миру, все эти преисполненные мудрости слова, все эти притчи и поучения, все было посеяно Господом и взошло на ниве народной мудрости здесь, в этой Божественной Чаше. И мы вправе спросить тебя — отчего ты, на нашей ниве взрастив тот дивный свет, когда пришло время собирать урожай, собрал его и поспешил одарить им мир, оставив нас в той же тьме, в которой мы издревле пребываем?..

— Мало того! — воинственно заявил вдруг Сиф, и весь зал оживился, потому что впервые детский голосочек начал наливаться мужской хрипотцой. — Мало того, — повторил Сиф, уже с видимым удовольствием, — в одной из своих проповедей сын Марии даже утверждал, что у кого есть, тому дадено будет, а у кого нет, у того отнимется и та малость, которой он живет...

— Как же так? — принялся размышлять вслух слепой раввин. — Если, скажем, наша синагога построена без окон, только несколько отдушин там под потолком, так что мы вот в полдень светим себе светильником, то что же? У нас отнимут и ту каплю света, вокруг которого собрались?..

— Вы ее уже потеряли, — было сказано.

— Когда? — возопила вся синагога.

— Когда Сын Человеческий вам говорил, а вы не смогли то вместить.

— Да почему мы должны то в себя вмещать!!

Зал неистовствовал. Ярость сотрясала синагогу. От бесконечных воплей в самом деле погасли оба больших светильника, оставался только маленький, дежурный, и пока от него зажигали потухшие, Назарет безумствовал. Увы, если правда то, что гений — это бедствие для государства, то Сын Человеческий был поистине невыносимым испытанием для маленького горного селения.

— Иешуа, — с болью, со слезами на глазах проговорил начальник синагоги. — Я, вот, от имени всех прошу простить нас; мы же, в свою очередь, прощаем тебя. Возвращайся в свой дом, живи среди нас, и пусть все останется по-старому.

— По-старому оставаться уже никак не может.

— Но по-че-му?

— Потому что вы от нижних, Я — от вышних; вы — от мира сего, Я — не от мира сего.

— Да как ты не от мира сего, когда вот мои тельцы уже который год пашут в игах, изготовленных твоими руками?! Почему это ты не от мира сего?!

— Потому что Дух Господа Бога на Мне.

— Кто так сказал?

— Сказал Господь устами пророка, и пророчество то сегодня сбылось. Я три раза привел вам эти слова, вы три раза слушали и не услышали, вникали и не смогли вникнуть. А все потому, что в греховных заблуждениях своих вы стали пустыней, а пустыни, как известно, гласу Божьему не внемлют.

— А ты верни этой пустыне утерянное. Сотвори такое чудо...

Слово было брошено, и вдруг вся синагога в него вцепилась.

— Чу-до со-тво-ри! Чу-до со-тво-ри!!

Елиша, стоявший неподалеку, поднял руки вверх в знак того, что он — первый. Сын Марии, встретив умоляющие глаза старого друга, подошел, опустился на колени, обнял его.

— Помоги мне, Иешуа, — попросил тот, и голос его дрогнул.

У него было все, что нужно человеку в этом мире, и только ног не было. О ногах просил. Больше ни о чем. Иешуа поднялся. Лицо Его было в глубокой печали, ибо старый друг просил об исцелении тела, а оно невозможно без исцеления духа. Время шло. Сын Марии стоял в печали. Елиша умоляюще смотрел на Него, но в его глазах, на самом их донышке, можно было прочесть — а все-таки в школе я был лучше тебя, и дом наш зажиточней вашего, и мы с отцом работаем по меди, а вы с Иосифом по дереву, а это вещи совершенно разные... Бедный Ели! Он и два года назад мечтал об исцелении, и в его глазах было то же самое...

— Чу-да, чу-да, чу-да!! — вопила синагога.

— Ели! — вопросил Сын Марии. — Веришь ли ты, что Дух Господа Бога на Мне?

Бедный Елиша! Он хотел верить, очень хотел верить, и — не мог. В растерянности поблуждал по лицам в поисках опоры, в поисках поддержки, но нет, в такие минуты горцы предпочитают оставлять человека одиноким, чтобы посмотреть, на что он способен.

— Так, — чуть слышно прошептал Елиша. — Верую.

Опечаленный Сын Марии стоял рядом в раздумье, но Елише не терпелось вернуться в мир ходячих. Ухватившись за Сына Человеческого, он рванулся вверх что было силы. Он почти поставил себя вровень со здоровыми, но стоять ему, бедному, по-прежнему было не на чем, и, мгновение спустя, он грохнулся на пол. И заплакал.

Озверевший зал не спускал глаз с Сына Марии.

— Зачем же ты, Ели, сказал неправду? — с укоризной спросил его Сын Человеческий, опустившись опять к нему. — Ведь ты же не веришь?

— Так, — сказал Елиша сквозь слезы. — Верую, но не совсем. Не до конца. Я слишком тебя знаю, чтобы этому верить...

Синагога расхохоталась, а Елиша, спохватившись, что сказал лишнее, разрыдался так, что Вооз испугался — вот-вот начнутся его невыносимые вопли. Чтобы этого не произошло, Вооз присел рядом, обнял сына, утешая, как мог, что-то ему на ушко нашептывая, а синагога тем временем безумствовала:

— Чу-да! Чу-да!! Чу-да!!!

Обиженные Богом изо всех сил рвались к Сыну Марии, и жалко было на них смотреть. Иешуа отошел; вернулся на Свое место и сел.

— Чуда сегодня не будет.

— Отчего не будет?

— Во дни пророка Илии, когда небо было заключено на три года и шесть месяцев и сделался большой голод по всей земле, много вдов в Израиле бедствовало, но ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую...

— Сарепта Сидонская... там ведь... язычники!

— Что делать! Не на всякий булыжник падает милость Господня!..

«Что это сын Марии думает о нас? — вопросили себя вдруг назаряне. — То мы у него — камни, то пустыня, то булыжники...» Ярость, так долго клокотавшая в глубинах, прорвалась, и этот великий, горячий, в каком-то смысле непостижимый народ восстал против Сына Человеческого.

— Смерть ему!

— Что ж, — сказал Вооз после того, как первая волна ярости несколько поутихла. — Ступай себе с Богом, Иешуа.

Синагога, однако, стояла на своем.

— Смерть ему!!

Амалик вдруг почувствовал, что народ выходит из повиновения и он должен подать Воозу руку помощи; раввины, однако, заслонили его своими могучими спинами; к тому же сыновья поддались общему возбуждению и тоже принялись орать.

— Мы будем следить за тобой, Иешуа, — тихо, ласково проговорил Вооз, точно они тут были вдвоем и больше никого не было. — Будем молить Бога за тебя, потому что, как бы ты нас ни обходил в своих путях, как бы мы тебя ни оговаривали, мы повязаны вместе этим райским уголочком, и куда бы ты ни пошел, тебя повсюду будут звать Назарянином.

— Смерть ему!!!

— Мы проводим тебя до пределов назаретских, до Верблюжьих горбов...

— А как же Имя Господне? — спросил вдруг Амалик.

Уходила суббота, в которой его голос не звучал в синагоге, а это невыносимо для праведника.

— При чем тут Имя Господне? — вопросил Вооз.

— А при том, что сын Марии, тут при нас, бросил тень на Имя Господне, заявив, что он Его Помазанник и что на нем Дух Господа Бога.

— Приравнивание себя к Господу, — сказал отец Сифа, правивший раввин, — есть святотатство. Пройти мимо такого греха невозможно, иначе он останется на нас и на наших детях.

Синагога взвыла. Мало ей своих грехов, так тут еще и грехи сына Марии нести на себе?

Но вот кто-то из глубины бросил спасительную реплику:

— Пусть Ир скажет.

И вся синагога подхватила:

— И-ра! И-ра! И-ра!!

А Ир тем временем, как на грех, вздремнул. Даже показалось, что он отошел, и всех охватил ужас. Этого еще не хватало, чтобы раввин помер в синагоге во время спора! Нет — говорят, дышит. Сидели тихо, перешептываясь — в ожидании, когда Ир проснется. А Ир, просыпаясь, попросил:

— Горшочек.

Амалик и трое его сыновей стояли в растерянности:

— Какой горшочек? — спросил старший сын. — Тот, что с водой?

Ир проснулся в бешенстве.

— Да зачем он мне, дурья твоя голова, горшок с водой! Амалик, ну, быстро!!

Бедный Амалик! Вернуть долги Илафских ущелий оказалось тяжелой, почти невыносимой ношей. Согнувшись в три погибели, взял горшок, подбежал, нашел что, где и как, подставил. Вялая струйка великого винодела заставила синагогу улыбнуться.

— Ну вот, — сказал Ир, освободившись от этого адового бремени. — Так оно свободней. Разумней. Веселее. Что вы все о небесном, да о небесном, пора бы и о земном вспомнить.

Окинул взглядом переполненный зал, зевнул и как бы между прочим проронил:

— Смерть ему.

И этот слабый старческий шепот окончательно взорвал субботу в Назарете. Смерть ему — кричали улицы и дома; смерть ему — вопили камни и заборы; смерть ему — грохотал весь народ. И, не теряя времени, поспешили к Скале Свержения, чтобы оттуда, сбросив в пропасть, добить камнями.

Мария тем временем готовила дом к празднику возвращения Божественного Сына. Чистота, простота, благочестивость — вот главные достоинства Ее дома, но стол был безжалостен. Стол требовал должное. Столу не хватало хорошего вина и сочных плодов. Что делать?

Пока Назарет был в синагоге, Мария сбегала к женщинам раввинов. Мария славилась рукоделием. Ее этому обучили в приюте для сирот при Иерусалимском храме. Со временем Она достигла такого мастерства в рукоделии, что была избрана одной из двенадцати женщин Израиля, которым поручалось праздничное убранство Первосвященника. Скромная и целомудренная Мария не тратила это Свое умение на пустое, но в трудные минуты жизни, когда была острая нужда, Она брала под него в долг. Красиво одеваться любили всегда.

От раввинского дома Мария возвращалась с кувшином вина и чашей спелых гроздьев. Чтобы не смущать праведников, возвращалась низиной, а сама синагога стояла несколько выше по косогору. Мать шла счастливая, углубленная в предстоящие радости Своего дома, но вдруг остановилась, пораженная оглушительными воплями. Безумствующая толпа гнала впереди себя Божественного Сына, Он шел с высоко поднятой головой, воистину не от мира сего; спокойный, просветленный, а толпа бесновалась вокруг, выкрикивая какое-то страшное, жуткое, непостижимое слово, которое никак не доходило до Ее Материнского сознания.

Но вот мягко сполз кувшин с Ее головы; следом за ним улетела чаша с гроздьями. Она не слышала, как они грох-

нулись, не видела, как брызнули черепки во все стороны, и только потом приметила краешком глаза темно-красное, густое, липкое пятно, растекавшееся по камням, как кровь во дни большого жертвоприношения. И желтые, прозрачные, похожие на глаза приносимых в жертву агнцев виноградинки, подпрыгивая и резвясь, понеслись наперегонки в самую низину.

— Господи, не сокрушай меня...

Помолившись, Мария стояла в ожидании осенения. Не подлежало сомнению, что Назарет был вне себя. Она видела уже не раз Свое селение в состоянии возбужденного безумия. Оно опасно тем, что говорить не с кем; каждый сам по себе очень даже разумен, а вместе они уже вне себя. Но если молитвами и любовью иной раз удается отвести безумие от одного человека, почему не попытаться отвести безумие от восставшей толпы?

Только бы догнать их. Женщине нелегко догнать мужчин, особенно когда они несутся к Скале Свержения. Но был еще один путь. Если пойти напрямик, садами и виноградниками, их можно опередить — с тем, чтобы выйти навстречу, встать посреди дороги на колени и уже не сойти с того места, что бы с Ней потом ни случилось.

Подгоняемая хриплым ревом толпы, Она бежала; затем, выбившись из сил, пошла шагом, но подумала при этом, что так может и не поспеть, и дальше побежала уже кое-как. От спешки и волнений Она запыхалась; скалы, деревья, тучи — все прыгало в Ее глазах, все неслось неведомо куда. Но вот Она их опередила-таки.

Скала Свержения находилась к югу от Назарета. От окраины села и до горных вершин дорога шла по иссохшему руслу ручья. Мария уже стояла на берегу этой иссохшей речки, а они только подходили. Вот они все ближе и ближе; теперь самое время сделать еще несколько шагов, ступить в это иссохшее русло, опуститься на колени и покорно ждать Своей участи, но...

Господь не допустил этого. У Марии вдруг отнялись ноги, и Она как стояла, так и села у самого бережка. Подняла голову, чтобы посмотреть, как этот ужас выглядит вблизи. Впереди шел Ее первенец. Хотя и печален сверх

всякой меры, Он шел достойный, не по-земному красивый, осененный Духом Святым, и потому выше их на целую вечность. Увидев сидящую у дороги Марию, улыбнулся Ей, но тут же отвел глаза, чтобы не доставлять излишнее страдание.

За Ним шли, безумствуя, те, с кем Он играл в детстве. Те, на кого Он работал, — многие, воспользовавшись Его трудом, так и не отдали должное. В упоении, заводя друг друга, они выкрикивали на все лады вынесенный ими же приговор и были счастливы тем, что наперекор всей Галилее, всему Израилю, на чем стояли, на том и стоят. Что им окружающий мир, когда в одной руке закон, а в другой камень!..

Замыкал это шествие измученный разваливающимся на ходу седалищем Амалик. Конечно, он был и оставался совестью Назарета. Конечно, он был единственный, который мог бы как-то осадить это обезумевшее сборище, но что делать, если вот седалище разваливается по кускам, а привязанные к нему по бокам колья прямо изранили все плечи?

Старик тем временем неистовствовал. Как известно, подниматься в гору и кричать — дело нелегкое. Когда толпа, выбившись из сил, умолкала, разрумянившийся от прогулки старец кидал ей вдогонку:

— Смерть ему!

И все начиналось снова.

Но вот, преодолев ровный путь долины и не очень крутых подъемов, назаряне оставили русло речки, взяли левее и, продравшись сквозь дикие заросли алоэ, подошли к самой Скале. Была она темно-серой, не очень высокой, с выдолбленными тут и там уступами — так, чтобы осужденные сами могли взбираться на ее макушку. С противоположной стороны Скала опускалась вниз крутым обрывом метров на тридцать, до неширокого карниза, называемого в народе «кровавым порогом», а уж от кровавого порога Скала спадала новым обрывом метров сто, пока не упиралась отвесной подошвой в долину Ездрелонскую.

— Но где же камень? — нервничал старик. — Почему вы до сих пор не подобрали мне острый камень?

— Не хватает рук, — жаловался погонщик верблюдов, с трудом переводя дыхание.

— А вы разделитесь, — посоветовал старик. — Пускай трое несут, а четвертый идет следом и ищет камень для меня.

— Троим будет не по силам. Можем уронить.

— Ну, уроните, так уроните. Главное, чтобы камень был хорошим...

Добравшись до Скалы, толпа стала сжиматься полукругом, от обрыва до обрыва, как бы заключив Сына Человеческого вместе со Скалой внутри себя. Теперь для Него оставался только один путь — пропасть. Устрашающая глубина на миг подействовала на толпу отрезвляюще, но тут благочестивый Амалик с сыновьями донесли-таки полуразваленное седалище с полуразваленным старцем.

— Смерть ему!..

Сын Марии легко взобрался на макушку Скалы. В годы пастушества Он часто взбирался на эту Скалу, чтобы полюбоваться Ездрелонской долиной, полем вековых битв богоизбранного народа за свое существование. Кто бы мог тогда подумать, что юному Пастуху придется еще раз, уже в зрелые годы, будучи Сыном Человеческим, взбираться на эту Скалу и не по Своей воле?..

Но нет. Пустота нагоняет тоску, а дух и так в изнеможении. Сын Марии повернулся лицом к разъяренному Назарету, чтобы еще раз увидеть мир, в котором прошла Его жизнь. Боже, такие знакомые, милые, почти родные лица, и в то же самое время такие чужие, озлобленные, некрасивые. Он всегда знал истинную цену миру, в котором жил; эту холодную гору Он пронес на Себе до тридцати лет. Внутри этой темной горы Он взрастил семя любви к ближнему; отсюда, помазанный Отцом небесным, Он понес миру Благую весть, и под эти же каменные жернова суждено было Ему вернуться, чтобы завершить Свой земной путь...

Произошла, однако, заминка. Забыли прихватить с собой рожна. Для того, чтобы спихнуть осужденного в пропасть, нужны были длинные палки с острыми наконечниками,

которыми обычно погоняли скот. Руками спихивать было опасно. Случалось, что осужденные увлекали с собой в пропасть наиболее рьяных блюстителей закона.

Поблизости росли невысокие дикие яблони. Сыновья Ира и его внуки — и даже будущий белый раввин — бросились к тем деревцам. Наломали веток, счищая их зубами, но нет, ветки яблонь были коротки, для спихивания совершенно непригодны. Спустились вниз поискать что другое. К тому же капризного старика никак не устраивали камни, которые ему подбирали; он их поносил и отбрасывал один за другим.

Сын Человеческий стоял на Скале, лицом к Своей малой родине; Он не хотел их больше видеть, но глаза Назарета Его уже не отпускали. Утром, когда Он вошел в синагогу, они делали вид, что не замечают Его; теперь же не спускали с Него глаз. Вероломство глубоко заложено в человеческой натуре. Тот, кто не смог утвердить себя правдой, тот силой спешит утвердить себя, но чтобы на том свете не возникло какой-либо путаницы, кто и кого и по какой причине сверг; всем хотелось, чтобы именно их запомнила жертва в минуту своего свержения. А Сыну Марии не хотелось оказывать им эту услугу. Не стоили они того.

Отводя глаза в сторону, Он увидел на отшибе старого друга, Ели. Он добрался последним, потому что рабу было тяжело в одиночку тащить повозочку в гору. Елиша сидел на взгорке с высоко поднятой головой, и был он в то мгновение красив, величествен; ему не удалось в тот день получить исцеление, но он увидел, он понял то, что не каждому дано увидеть и понять.

Рядом, опечаленный сверх всякой меры, вытирая со лба пот, стоял вернейший из рабов Асадий. А может, только делал вид, что вытирает пот; может, он на самом деле плакал, ибо Сын Человеческий, помазанный Господом принести рабам освобождение, стоит на Скале и ждет, когда принесут рожна...

А неподалеку, прислонившись к молодому деревцу, плакала, содрогаясь вместе с деревцем, Серафима. Она выросла возле Его верстака, играя стружками. Теперь, вот,

за какие-то два года, стала невестой. Она не скрывала своего горя, рыдая перед всем Назаретом. На нее злобно смотрели, шикали со всех сторон, и Сыну Марии стало жалко ее. Заставив сестру Елиша посмотреть на Себя, поймав ее помутневшие от слез глаза, Иешуа подбадривающе ей кивнул, как бы говоря — погоди, ничего еще не потеряно. Но Серафима после этого еще сильнее разрыдалась.

Сын Человеческий вспомнил о женщине, сидевшей на берегу пересохшего ручья. Ее тут, конечно, не было; не хватило сил дойти. И еще Он подумал, что если **это** произойдет, Она, брошенная всеми, так и не сможет дойти до Своего дома.

Тем временем обезумевший Назарет продолжал требовать Его скорейшей смерти, совершенно не понимая, что если это произойдет, гнев Господен будет беспощаден. Вечное проклятие покроет Божественную Чашу. Она превратится в пустыню, жители ее никогда не отмоются от этого греха. А между тем вокруг стояли и те, кто был Ему по-прежнему дорог; были и те, кого Он по-прежнему любил.

— Отче, — взмолился Спаситель, подняв к небу глаза, полные слез. — Если такова Твоя воля, пусть это свершится не сегодня. Не здесь. Не их руками...

Стоял жаркий полдень. Небо было чистое, солнце пекло в зените, но вдруг откуда-то с севера повеяло прохладой — и даже не прохладой, а каким-то пронизывающим холодом. Восставшая было толпа дрогнула и замерла с камнями, зажатыми в потных кулаках. Выскочив из-за северной горы, черная туча с лохматой седой бородой неслась прямо на Божественную Чашу. И не столько сама туча, сколько ее седая борода привела толпу в состояние оцепенения.

Должно быть, Назарет действительно основали погонщики. Жизнь у них была нелегкая; многие из них погибали в пути, во время бурь и непогоды, когда горные тропки становятся скользкими, а рядом ни скалы, чтобы прижаться к ней, ни деревца, чтобы уцепиться, укрыться под ним. У погонщиков было крайне обостренное чувство перепадов погоды, они улавливали малейшие перемены на небесах. И хотя уже несколько поколений назарян проводили дни и

ночи в своих домах, умение почувствовать возможное небесное потрясение было у них в крови.

Тем более, что черная туча с белой бородой была наполнена градом — потому и несло от нее таким леденящим холодом. Назарет часто страдал от града — или, как это называлось в арамейском языке, дождя с камнями. Добро бы еще ранней весной, когда поля можно заново обсеять, а теперь, когда урожай созрел, но еще не собран, дождь с камнями был бы истинным бедствием!

На какое-то мгновение безумствующая толпа остепенилась и подумала — а что, если этот самый плотник, сын Марии, в самом деле Помазанник Божий? Что, если все-таки мир прав, а они неправы? Что, если свергнув его со Скалы и забросав камнями, они не успеют добраться до своих домов, как рассерженный Господь набросает в Божественную Чашу столько камней, что им некуда будет возвращаться?..

Железная подкова, прижавшая было Сына Марии к пропасти, на миг дрогнула, размягчилась, местами даже как бы разломилась.

«А теперь пройди сквозь них и оставь эти места...»

Сын Человеческий спустился со Скалы Свержения, прошел сквозь них. Обогнув подкову с внешней стороны, подошел к краю пропасти, подобрал свисавшие над бездной корни диких маслин, повис на них. И тут же спрыгнул на какую-то никому неведомую тропу. Еще мгновение, и Он исчез. Какое-то время ветки диких зарослей качались на склонах, затем замерли и они, укрывая Его путь.

Тем временем черная туча, сбросив свою устрашающую белую бороду, свернула на восток и, как это часто бывает в горах, стала удаляться с той же скоростью, с которой появилась. И опять стоял жаркий день, опять солнце пекло в зените.

— Смерть ему! — завопил в восторге старый Ир, потому что, наконец, был найден камень, о котором можно было только мечтать. Овальная пластиночка с режущими краями. — Спустите меня с седалища и поддержите. По закону я первым должен бросить в него камень.

Амалик вместе с сыновьями не столько спустили, сколько разобрали под ним остатки седалища. Поставили на

ноги, но стояли подле: все-таки старик был без ног. Однако то, что они стояли рядом, мешало старику развернуться плечом.

— Да отойдите же, наконец! Что вы, словно мухи, облепили меня!

Он, конечно же, не то хотел сказать; в его возрасте часто произносишь совсем не то, что думаешь; однако оскорбленный Амалик отошел вместе с сыновьями, решив, что на этом их служба завершена. Парализованный старик стоял на своих омертвевших ногах одинокий и беспомощный, не понимая, что случилось, почему все вдруг бросили его. Что же, сказал он сам себе, им еще предстоит узнать, кто таков раввин из Назарета. Еще раз обжил свой камень, удобно обхватив его по краям; развернулся и только в самое последнее мгновение увидел, что бросать не в кого. Скала зияла голой макушкой.

— Где он? — тихо, в ужасе спросил старец.

Ему не ответили, потому что в самом деле никто не видел, когда, как и куда мог исчезнуть Сын Марии.

Тем временем вернулись посланные в Назарет за настоящими рожнами; они сложили их под Скалой и стояли взмокшие, удивленные тем, что никто не оценит их труд. Потом увидели, что спихивать некого.

— Где он?

Некоторые предположили, что, возможно, пока они все следили за черной тучей, он, сорвавшись сам по себе, полетел вниз. Растянувшись на животах, долго исследовали кровавый порог, но порог был и чист, и пуст, и сух.

— ГДЕ ОН?? — что было силы возопил слепой раввин, потому что в его голове казнь уже шла полным ходом, ее невозможно было остановить. Развернувшись еще раз, чтобы изо всей силы запустить камень, он потерял равновесие, рухнул наземь и испустил дух...

А Мария все сидела на полувысохшей травке, плакала и молилась. Она не то чтобы встать, Она головы поднять была не в силах. Сидела и ждала приговора. Ждала, когда Ей скажут, что самое страшное, что только могло случиться в Ее жизни, уже случилось.

И вот — слышно, как спускаются с верховьев. Идут молча, точно стадо какое. Гулкие шаги, тяжелые вздохи; шуршат сандалиями о камни, и опять чей-то вздох заглушен чьим-то сморканьем. Горячая пыль, поднятая их ногами, обволакивает Марию, но вот пыль оседает, толпа удаляется. Они прошли рядом, в двух шагах, они все Ее хорошо знают, и хоть бы один подошел, хоть бы одно слово участия...

— Господи, не вмени им сего греха...

Хотя, кажется, еще не все прошли. С верховьев доносится скрип деревянной повозки. Верный Асадий, полусогнувшись, управлял колесами, держа за плечи своего господина, а за ними шла, не видя, куда ступает, и потому спотыкавшаяся о все камни Серафима. Вдруг она заметила сидевшую на обочине дороги Марию. Подбежала, села рядом, взяла Ее холодные руки в свои, заставив Марию поднять глаза.

В самом деле, странно что-то, подумала Мария. Лицо девушки в разводах, явно после большого плача, но глаза улыбались. И даже не то что улыбались — они искрились счастьем, они торжествовали!..

— Воз... можно... ли?

— Он ушел, — шепнула девушка. — ОН УШЕЛ!!!

Руки матери начали наливаться теплом.

Под вечер они медленно входили в Назарет. Божественная Чаша уже жила своей жизнью. У источников женщины набирали воду и несли в огромных кувшинах по крутым тропкам. Крутили жернова, месили тесто, доили коз. Мужи, закрывшись в домах, заново принялись изучать Писание. Был шестой час, и хотя серебряная труба еще не оповестила, все знали, что суббота уже прошла. Завершилась. Сошла в Вечность.

К закату Сын Марии добрался до Верблюжьих холмов, открывавших вид на Божественную Чашу. Это было святое место для каждого назарянина. Здесь лежал рядом с дорогой Прощальный камень, отшлифованный хитонами селян, которые, покидая Назарет, присаживались, чтобы еще раз полюбоваться красотой родного гнезда.

Иешуа все еще был назарянином, Его ноги сами по себе остановились на том месте, где принято было прощаться с Назаретом. Теперь Он покидал его навсегда, и невозможно было, зная, что в последний раз можешь на него взглянуть, — невозможно было, прожив там жизнь, уйти не попрощавшись, не оглянувшись...

Но...

Оглядываться было нельзя. Каждый прожитый день несет в себе свое послание Отца небесного. Господь не пишет буквами, Его послания невозможно держать в руках, но Дух наш с трепетом внимает им. И посему по вечерам Сыну должно постигать послания Отца, а уразумев, — исполнять. И день, когда Сын не приблизился к Отцу, — потерянный день.

Он стоял у Прощального камня, прохлада опускающейся ночи освежала Его лицо, и Он сказал:

— Возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад не достоин Царствия Божьего.

И, не оглянувшись, стал спускаться по ту сторону горы.

В долине Бедных было пустынно; одни потухшие костры, да крошечный ягненок, зябко вздрагивая, оглядывал мир удивительно добрыми, чистыми глазами. Одев плащ, взяв агнца на руки, Сын Человеческий пошел на запад — в ту сторону, где уже во все небо полыхал крест.

В сумерках, когда Он проходил мимо какого-то селения, некто, узнав Его, попросил:

— Господи! Я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел...

Печально улыбнувшись, Он ответил:

— Лисицы имеют свои норы, и птицы небесные — гнезда, а Сыну Человеческому негде голову приклонить...

Третьи сутки Он не ведал покоя, но крыша родного дома больше не манила.

Господь освободил Его от этой муки.

Путь на Голгофу был открыт.

1993

СТО СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ

1.

Когда они поднялись наверх, небо было уже черно — только над Центром, недосягаемо далеко впереди, разливалось тусклое багрово-серое зарево. Саша, который шел перед нею, с трудом поймал наотмашь брошенный турникет — кто-то, облитый с головы до ног разноцветной, мерцающей перламутром пластмассой, жизнерадостно-скрипучей хлопушкой выстрелил навстречу дождю зонтом. Она с ненавистью смотрела в энергично удалявшуюся широкую глянцевитую спину, пока Саша, чертыхаясь, раздирал ее зонт, обминая переламывающиеся спицы. Зонт не открывался, и это ожидание, подобно десяткам и сотням других наполнявших ее жизнь мелочей, вдруг отозвалось в ее душе в последнее время уже привычной, испуганной, унизительной какой-то тревогой: даже приличного зонта у них нет, у всех кругом есть, а у них десятилетней давности разболтанное складное чудовище — и когда теперь будет?..

С неба лил вязкий, неторопливый осенний дождь, готовый сгуститься снегом; огромная площадь перед метро поблескивала агатово-черными лужами, как ночное болото. Она стояла сгорбившись, чувствуя, как влажный колючий холод забирается ей под пальто, и смотрела, как Саша

Сергей БАБАЯН — родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский авиационный институт. Инженер, работал по специальности на ряде предприятий. Писать начал в 1987 году, опубликовал два романа в издательстве «Вагриус» — «Господа офицеры» (1994) и «Ротмистр Неженцев» (1995).

отгибает спицы то с одной, то с другой стороны, а задыхающийся ветер снова и снова с остервенением задирает уже намокшую юбку полотнища, — смотрела терпеливо, молча, не пытаясь помочь, — на нетерпение сил уже не было... Она дождалась, когда в нем вспыхнуло раздражение, — он плюнул на спицы, с треском разнял зонт до конца, и навалившийся ветер вывернул наизнанку колючую чашку купола. Над головой сразу отрывисто, зло застучало.

Бесконечное море мертвенно блестящих зонтов и спин волна за волной накатывалось на сумрачные обочины — оседало на них черными брызгами человеческих тел, вязко колыхалось, выплескиваясь на кипящую огнями дорогу — наконец, успокаивалось, застывало, в своей терпеливой неподвижности напоминая уже окаменевшую лаву на морском берегу... Противоположный выход бледным лимонно-желтым пятном тонул в дегтярно-черном пульсирующем муравейнике. При виде огромной площади, — обрамленной молчаливой, безжизненно-плотной стеной из тысяч, десятков тысяч (иногда, вопреки разуму, подавленно думалось — миллионов) людей, над которыми висел водянистый, мутный, слабо фосфоресцирующий полумрак, — она в который уже раз, почти уже привычно среди толпы остро почувствовала свое безликое, никому не нужное, никому даже не известное и никем не замечаемое — ничтожное одиночество... Упадешь, будешь кричать, умрешь — никто не только не поможет, но и не заметит. Разве думает дерево о падающем в пропасть листе?..

Редкие фонари бросали с высоты клочковатых фиолетовых облаков смазанные дождем блеклые желтые тени. Удушливый, зловонный туман дрожал от рева десятков автобусов, буксовавших в грязи у зияющих ободранными каркасами остановок. Автобусы осторожно, медленными толчками подвигались к обочинам — как будто опасаясь неистовства валившейся под колеса толпы; визжали полузадушенно двери, гудела под ударами кулаков и локтей скорлупка обшивки, и мерцающий безжизненным светом салон быстро наливался чернильною синью — как будто из гигантской мясорубки комковатым, плохо нарезанным фаршем заполнялась его полупрозрачная, окольцованная

поясками оконных переплетов кишка; мотор начинал хрипло, пробуя и не веря в свои силы, реветь, скрипучая коробка автобуса раскачивалась и вздрагивала, как полузатонувшая бочка на океанских волнах, выхлопная труба плескала ядовитыми испарениями бензиновой крови — и наконец с мучительным воем, как издыхающее, последним усилием рвущихся жил выползающее из ямы животное, автобус выдирался из огромной, рядом с его старым и слабым телом, толпы и со стоном и хрустом рессор, переваливаясь с колеса на колесо, тащил свое надорвавшееся внутренней тяжестью брюхо в ночь — в черную пропасть, в спасительное безлюдье и тишину. В зыбком полумраке залитых грязной водою окон, как в огромном мутном аквариуме, проплывали угловатые человеческие фигуры — тяжко ворочались, оседая на дно, цеплялись изломанными руками за прогибавшиеся струною поручни, на голубых, залитых подводным свечением лицах кричали, захлебывались квадратными ямами рты. Толпа вздыхала вязким могучим телом, как рыба, сорванная с мясом с крючка и брошенная на обжигающий лед, подрагивала, задыхаясь, с минуту — и вновь обреченно замирала под иглами проливного дождя, врастая в истерзанный скелет остановки...

Впереди была вечность.

Она шла и чувствовала, как злая упрямая струйка царапает ее правый рукав и плечо. За долгие, казавшиеся уже бесконечными годы Саша так и не научился ходить рядом с ней под зонтом: первые несколько минут он, не жалея себя, оберегал ее от дождя, но достаточно ему было отвлечься сторонней мыслью, как рука его инстинктивно наклонялась — и ее начинало заливать... Пятнадцать лет назад она смеялась над ним, называя подсознательным эгоистом, иногда минутно сердилась — если была в легком платье и собравшийся в русле полотнища ручеек прожигал ее платье насквозь, — чтобы уже в следующую минуту почувствовать еще более счастливую — по контрасту холода и тепла — и немного виноватую в своем раздражении любовь и жалость к нему: к его беспомощно обескураженному лицу, к его неуклюжему подпрыгиванию (поменять ногу, чтобы идти в ногу с ней, и после этого приземлиться

конечно в лужу), к его угловатой костистой руке, напряженно сжимавшей короткую для нее, неудобную ручку женского зонтика...

Сейчас ей было уже все равно. В тоскливой удрученности тела она чувствовала, как ей холодно, неудобно и мокро: правое плечо уже покалывала как будто острая льдинка, левый сапог протекал, и пальцы в колготках — неприятно, с ощущением какой-то нечистоты — скользили по стельке; левую руку, лежавшую на сгибе Сашиного влажного локтя, все время тянуло сорваться вниз от его неровных шагов, а правая, прижатая к груди, с упакованным разрезными картонками тортом — завтра Мише исполнялось четырнадцать лет, — онемела от холода и усталости... Ей было очень нехорошо — но она даже не терпела: все существо ее — и тело, и душа — как будто безнадежно застыло — в уверенности, что это уже навсегда. Быть может, в другое время надежда и теплилась в ней, не умирала совсем, но сейчас ей казалось: ничего лучшего — да и вообще уже ничего — в этой жизни не будет...

От метро, обтекая их, вдруг побежала какая-то свежая, энергичная, подтянутая толпа — даже вспыхнула как будто разноцветными зонтиками, — и у нее стеснилось дыхание от внезапно налетевшей к этой толпе неприязни: всем этим людям, казалось, было лучше и легче, чем ей, все они были лучше — сильнее, умнее, красивее — и счастливее ее, и все они были — как будто вместе... Проходя мимо радужного фонаря коммерческого киоска, она с размаху наступила на что-то твердое, скользкое, показавшееся облитым отвратительной слизью, и, не успев отдернуться, поехала всей подошвой, раздавливая *его*, закричавшего жестяным, озлобленным, как будто кусающимся криком: какой-то подонок, спекулянт бросил под ноги банку из-под иностранного пива — пиво стоит пятьсот рублей, полкилограмма мяса... Она чуть не упала, Саша что-то буркнул — раздраженно, себе под нос, не любя ее, — и она подумала со вдруг подступившими к горлу слезами о том, сколько еще таких неуклюжих, мучительных, спотыкающихся на сбитых набойках (поставила неделю назад, заплатила тысячу рублей...) шагов ей предстоит, пока они не войдут в свой

теплый, сухой... да, заплеванный окурками, пропитанный застарелой вонью уборной, изуродованный подтеками краски из распылителей, кричащий на каждом шагу выломанными дверцами ящиков для газет, сожженными до пружин кнопками лифтов, разбитыми и украденными стеклами на лестничных клетках (что стекла, на третьем этаже рамы утащили!) и все равно свой родной подъезд, — потому что не было сейчас ничего тягостнее вида, запаха и шума этой моросящей, всхлипывающей под мокрыми ногами, тесной толкающейся преисподней...

Она представила себе, сколько еще ей предстоит сделать таких шагов — сколько, представить она не смогла, представила время, невыносимо долгое, от выхода на работу до возвращения домой, — и ноги ее подкосились от слабости, она невольно замедлила шаг — отставая от зонтика. Сколько сегодня, сколько завтра, сколько всю жизнь... Прочитанные или услышанные где-то, когда-то слова однообразно и тупо, как резиновый молоток, бились в мозгу, дергая болью голову: «Так — было. Так — есть. Так — будет...» Нестерпимо хотелось одного: лечь на софу, спрятаться под старый шотландский плед с головой, выключить в доме все, что способно породить хоть какой-нибудь свет и звук — люстру, радио, телевизор, Мишин магнитофон (Миша, Мишенька, задрожало сердце, все ходят в наушниках, а у него старая, страшная, хрипящая как мегафон «Электроника»...), — выключить и лежать под пледом недвижно, вечно, представляя себя в неприступной пещере на необитаемом тропическом берегу, где она надолго (нет, навсегда!) безопасно одна, — и знать, что Мише и Саше сейчас хорошо, но чтобы и их рядом с нею не было!..

Она почти физически встряхнулась — привычно, без участия разума, металлическим внутренним голосом обрывая себя: «Ну, милая!.. Ну!», — и ускорила шаг, сжав Сашину руку с проснувшейся злой, готовой к отпору энергией...

2.

Еще год назад от Речного вокзала до Планерной ходил двести тринадцатый; кроме того, от Сокола до Алешкино можно было добраться на сто втором — он останавливался

на кругу, а от круга до ее дома идти было близко. На Сто семьдесят третьем они не ездили никогда — кроме одного, первого — и, им казалось, последнего — случившегося по незнанию раза. Как называл его Саша, это был автобус-убийца: перед гастрономом «Ленинград» он поворачивал на Беломорскую и медленно — казалось, часами — вязал длинную, узкую, обрывавшуюся на каждой минуте петлю, подавлявшую правобережного пассажира тягостной бессмысленностью движения в обратную сторону, — пока не возвращался на Ленинградское шоссе перед самым мостом, чтобы еще с полчаса кружить на границе Москвы, пересекая кольцевую дорогу...

После того первого, случайного раза, на который они решились, измученные бесконечным и бесплодным ожиданием двести тринадцатого, они были твердо уверены: больше — никогда. Но Бог — или дьявол? — «проклятая ваша власть», сказал как-то Саша, и она искренне удивилась: «моя?» — решил по-другому.

В прошлом году маршрут двести тринадцатый сняли — она, успокаивая себя, не поверила, что это надолго; с практической стороны это показалось ей преступлением— или безумием: оба номера и так ходили самое частое раз в полчаса, и всегда — даже в воскресные дни, забивались так, что вспучивались облупившимися боками... Но двести тринадцатый сняли безвозвратно, а еще через месяц — удар, который она, оглушенная первым, почти не почувствовала, — перенесли с Сокола в Тушино конечную спасительного сто второго. От Речного в сторону Планерной шел еще сто девяносто девятый, который огибал Алешкино с противоположной им стороны; она думала ездить на нем — самые цифры Один, Семь, Три после нескольких петель вдоль Беломорской были ей ненавистны, — но наступила осень, алешкинские дворы погрузились в аспидную, кладбищенскую черноту, и ей стало страшно. Московские газеты со сладострастием запертого в анатомическом театре маньяка ежедневно расписывали, как в Москве насилуют, уродуют, убивают, — фотографировали полуразложившиеся трупы, отрезанные головы... — Саша категорически запретил ей сто девяносто девятый, да она и сама боялась:

на автобусном кругу от века работал грязный пивной притон, который последовательно превращался из уличной забегаловки в пивную на два этажа, из пивной в ресторан, из ресторана опять в пивную, но истребить который было, видимо, невозможно — по крайней мере, не удалось ни при Брежневе, ни при Андропове, ни при Черненко, ни при Горбачеве, куда уж теперь... У входа в него неизменно толклись какие-то нечеловеческие, кошмарные лица — старые и молодые, бледные с просинью, как рыбное брюхо, и медно-красные, цвета остывающего металла, с губчатыми клубнями черных носов и глазами наркотизированных убийц, — страшно, а в добрую минуту больно, безысходно тоскливо было смотреть... На дочку Светланы Васильевны, возвращавшуюся с курсов, напали прошлой зимой — хорошо, мимо проходил участковый, сам, кстати, похожий на непроспавшегося убийцу, — но помог, разбежались...

Она стала добираться домой на Сто семьдесят третьем.

3.

Они подошли к устало роившейся вокруг остановки толпе, блестевшей чешуей мокрых и, казалось, однообразно черных зонтов. Сто семьдесят третьего не было, и она знала, что еще долго не будет. Он никогда не появлялся раньше, чем через четверть часа после ее прихода: это был закон, природу которого она объяснить не могла, но в нерушимости которого не сомневалась. Ноги уже промокли, промокло правое плечо, Саша стоял съежившись, втянув серую голову в плечи. На кончике его носа висела прозрачная капля — зонт протекал. Она машинально подняла левую руку и вытерла ему нос. Он чуть приподнял уголки небритого рта — сегодня с утра не побрился. Раньше такого не было.

Страшная наваливалась тоска — как будто холодный, мутный кисель обволакивал душу. Ревели автобусы. В толпе было много пьяных — привычно, устало-равнодушно, подумалось: «На что люди пьют?..» Один, в мокро набрякшей куртке — холодно было смотреть, — стоял в одиночестве у фонаря, по щиколотку в густо рябившей

луже, и тазом совершал безостановочные вращательные движения — как будто его раскручивал тяжелый невидимый маховик. Широкая, раскачиваемая ветром струя, лившая с крыши автобусной остановки, упруго хлестала его по голове, по спине, по плечам, попадала, наверное, за ворот... Чуть подальше кто-то, едва различимый в темноте, тяжко ворочался в грязевой луже — вырастал над смолистой гладью горбатой ломающейся спиной, подрагивал несколько секунд в зыбком, неверящем равновесии — и покорно и мягко валился назад, лоснясь жирно облитыми грязью плечами; две неустойчивые, волнообразные, как будто спотыкающиеся на месте фигуры стояли над ним, неуверенно протягивая к нему руки... Она как будто почувствовала ладонями — и неожиданно, обжигающей дрожью — внутренней поверхностью бедер — ледяную жидкую грязь и, мучительно передернувшись, отвернулась.

Ревели автобусы, из последних, казалось, сил пробиваясь сквозь тягучую толщу дождя. Она знала, что бесполезно на них смотреть — Сто семьдесят третий вообще никогда не придет, сломается в пути или отменят, — и все равно не могла удержаться, смотрела, потому что упираться взглядом в неподвижную, казалось, обмерзающую ледяною корой, без конца и края толпу было и вовсе невыносимо...

С реактивным пением двигателя, высоко подняв сухое, гибкое тело на упругих дисках колес, проплыл служебный львовский автобус с редкими снисходительными головами — пружинисто покачнулся на ухабе, как будто застигнутый волной тяжкой ненависти, плеснувшей из тысячеглазой толпы, выправился легко и полетел, улыбаясь, к млечному пути Ленинградки. Прогрохотал, раздавливая асфальт, чудовищный грузовик, дрожа колючими ребрами кузова, от избытка скованных городом первобытных, яростных сил; по-змеиному шипя, скользнула, отдуваясь, к обочине длинная светящаяся гармошка сто девяносто девятого... Люди полезли, как на крепостную стену, замелькали над поручнями дрожащие руки и головы. На двойные автобусы пассажиры Сто семьдесят третьего смотрели равнодушно — или не смотрели вообще: Сто семьдесят третий всегда был старым, одиночным вагоном... Сто девяносто

девятый, задыхаясь от злобного напряжения, суставчатыми дверями вмял в свое распираемое нутро последних людей. В центре огромной площади, там, где беспросветным черным плато сгрудились ожидавшие расписания пригородные маршруты, взвыло медноголосой сиреной...

Фестивальная на всю свою сумрачную, мигающую истощенными фонарями длину была безнадежно пуста.

Сто семьдесят третьего не было.

4.

«Плохо, Елена Анатольевна, — сказала она себе. — Очень плохо».

Плохо казалось все — на душу давило мокрой холодной тяжестью, которую в сознании трудно было даже разделить на составные части, — трудно уже потому, что одно отделенное «плохо» тут же цепляло за собой и начинало разматывать бесконечную цепь неудач, ошибок, унижений, обид...

Наверное, самое плохое, с усилием признавалась она себе, было все-таки то, что не было денег. Это простое, проклятое «не было денег» — которых, если правду сказать, раньше тоже не было, — раскладывалось на множество болезненных — ноющих — мыслей-ощущений.

Во-первых, их было просто мало — так мало, как, наверное, никогда не было: когда мясо стоило два рубля килограмм, она получала сто двадцать, сейчас мясо стоило тысячу, а она зарабатывала двадцать пять...

Во-вторых, это «мало» никогда не ощущалось ею так унизительно: ее труд — труд, который она молчаливо, глубоко про себя, уважала, — приравнивался сейчас к трем килограммам сырокопченой колбасы или шести бутылкам импортной водки.

В-третьих — газеты, радио, телевизор называли это завистью, оправданием своей неумелости, даже — «агрессивностью маргинального люмпена»... пусть их! — в-третьих было то, что в наступившей жизни, каким словом ее ни называй, преуспевали дурными средствами и только дурные люди. Впрочем, так было всегда — недавно ей

пришла в голову мысль, что в этом отношении жизнь нисколько не изменилась... то есть изменилась, но только в количественную сторону: преуспевали (слово-то какое!) те же самые люди, что и раньше, — но только с несравненно, несопоставимо большим размахом. Если раньше ее директриса, статная, высокогрудая, холодноглазая, с греческим профилем и голубоватыми от ранней седины волосами женщина (которая стала директором потому, что была членом партии, а школьный товарищ ее мужа был чуть ли не заместителем министра просвещения) носила каракулевую шубу, а она — пальто с коротким песцом, то сейчас у директрисы появилась машина, которая стоила несколько миллионов — сумму, которую Лена даже представить себе не могла, — а у нее не появилось вообще ничего...

Откуда взялись эти миллионы, все знали или, по крайней мере, догадывались. Под школой — торжественной барельефно-кирпичной постройкой начала пятидесятых годов — тянулись лабиринты обширного бомбоубежища, которое открывалось в полуподвальный спортивный зал и началом своим служило для детей раздевалкой. В самый разгар перестройки бомбоубежище сдали в аренду какой-то фирме под склад — «школе нужны деньги, — говорила Валерия Николаевна с видом государственным и строгим (в этот момент она была похожа одновременно на Фурцеву и на скульптора Мухину с нестеровского портрета), — в роно с пониманием отнеслись к предпринятым нами («нами!») шагам на пути к экономической самостоятельности школы...» Тон ее в сравнении с партсобраниями застойных времен ни на иоту не изменился. «Школе нужны деньги», — говорила Валерия Николаевна, льдисто поблескивая серо-голубыми, в смоляной оторочке ресниц глазами, и завуч Ленина Константиновна согласно — сокрушенно («торговцы в храме — но что поделать!») и озабоченно — кивала крупной, по-мужски стриженной головой...

И действительно, в первый же год отремонтировали актовый зал — не циклюя, покрыли лаком насквозь проеденный чернью паркет и побелили облупившуюся лепнину, — а Валерия Николаевна купила себе «Жигули». Завуч Ленина Константиновна в тот год приобрела японский

видеомагнитофон — об этом всей школе по секрету рассказывала Настя, завхоз, наверное, обиженная тем, что ей достался отечественный цветной телевизор...

Впрочем, справедливости ради в отношении наступивших времен надо сказать, что и в прошлые — брежневские, андроповские и так далее — догорбачевские годы после каждого летнего ремонта на даче у Валерии Николаевны (Ирина Петровна, обиженная биологичка, ездила специально смотреть) вырастал то сарайчик для садового инвентаря, то балкон с перилами-столбиками, то новый забор из острого, молодого штакетника, а уж сам финский домик ежегодно, с постоянством прихода весны, расцветал вслед за школьным крыльцом свежей лазурной краской... Ничего не изменилось — масштаб увеличился.

Володя, старинный Сашин приятель, филолог из какого-то Богом забытого академического института, который они в застойные годы насмешливо — но и немного завистливо — называли «Володиной синекурой», приходя к ним в гости и стремительно напиваясь (в последнее время он много пил), неизменно шипел под конец, размахивая тонким, как карандаш, суставчатым пальцем: «Коммунистам нечего было терять, кроме своих партбилетов... приобрели же они весь растерявшийся мир! — он кривился бледным, жилковатым, остроугольным лицом, слезился страдающими глазами: — Р-революция?! Покажите мне, кто был против! Н-нет, ты покажи!.. Все — за! Раньше он за ежемесячную баночку черной икры должен был столько перелизать... ты извини меня, ну — извини, Ленуля! — а сейчас он на «мерседесе»... м-миллионер! Да им просто мало показалось! Сопротивление... перестройке?! Покажите мне хоть одного райкомовца, кто пострадал!..»

Наверное, так оно и было, и ничего сделать было нельзя... иначе, наверное, и быть не могло. Тот же Володя, трезвый, грустно однажды сказал: Я понял: глобально мне не нравится то, что все человечество — плохое, да и сам я — плохой человек...»

Старая Клавдия Александровна, историчка, в которой раньше заискивала не только вся школа, но и роно, потому что в четырнадцать лет она была связной в партизанском

отряде, каким-то чудом не умерла, когда во время перемены на ее стол положили латвийскую газету с карикатурой, на которой была нарисована раздавленная в слякоть — сапогом перестройки — змея с ленинской головой. Но когда по школе забегали стриженные ежиком парни с говяжьими лицами в обнимку с разноцветными коробками пива и сигарет, на которые, открыв рот, смотрела восхищенная и готовая ради пачки резинки на все пионерская детвора, она не выдержала и пошла к директору: «Я не знаю, что сейчас строят, социализм с человеческим лицом или капитализм, — но у нас пока школа, а не нэпманская лавка!..» Что ей ответила директриса, дословно осталось неизвестным, но на следующий день старуха пошла в роно, из которого в школу уже не вернулась: к вечеру попала в больницу, а из больницы сразу вышла на пенсию. Впрочем, нельзя сказать, чтобы о ней жалели: от старой партизанки с ее субботниками, воскресниками, вечерами памяти и ленинскими уроками, от которых, как от пули, увернуться было нельзя, всегда можно было ожидать только возложения какой-нибудь бессмысленной, тягостной, съедающей жизнь обязанности...

И так было везде. В соседнем со школой безнадежно пустующем кинотеатре кассовый зал отдали под выставку-продажу «Жигулей»; она сначала не понимала — как это так? — но потом поняла: ах да, ну конечно, в кинотеатре своя директриса, и, конечно, по согласованию с роно... или что там у них — в кинотеатре? В аптеке центральный прилавок занял коммерческий магазин; теперь там висели кожаные пальто, одни проценты от продажи которых, наверное, равнялись аптекарской выручке, и сидел молодой человек, с обязательным ежиком на удивительно маленькой, как у древнего ящера диплодока, рядом с могучими шеей и туловищем голове. Даже в их доме подвал отдали под склад кавказцам, и в подъезде теперь круглый год стоял пряный запах осеннего сада. Еще одна директриса из «ЖЕКРЭУДЭЗА», как называл его Саша в проклятые счастливые застойные времена, кладет себе деньги в карман, — а на этажах скоро не останется ни одной застекленной рамы...

5.

...Рыча подошел автобус — провалился, как неповоротливый зверь в ловушку, в накатанную тысячами колес глубокую колею — и закачался на месте, постанывая рессорами...

Толпа бросилась.

Задние двери не успели открыться до конца — их вмяли в косяки, раздавили плечами... Она с ужасом смотрела на кипящий черными пузырями голов светящийся прямоугольник, в который рвались, переплетаясь угловатыми щупальцами, жадные руки, — как будто кривые тощие пальцы раздирали квадратно распахнутый рот. Передние сшиблись у дверей, отжимая друг друга, сбились в тугую рычащую пробку, но пока никто не сумел войти... У первой двери оказались проворнее: темные клубки парашютистами посыпались внутрь — раскрываясь на ходу, закидываясь на кресла; у задней яростно, обреченно взревели, взорвались короткой судорогой — кто-то длинный, остроугольно худой выдрался руками и ногами из капкана толпы, вскарабкался на подножку — растопырясь летучей мышью, метнулся в салон... За ним — будто выдернули затычку — пополз, неровно пульсируя, толстый клубящийся жгут...

Сто семьдесят третий вдруг нетерпеливо, тяжело задышал — со всех сторон закричали... Она обреченно вздохнула, подняла перед собой уже поплывший жирными пятнами торт и, как в воду бросаясь, шагнула в коротко приоткрывшуюся и уже готовую смяться плечами щель — между суррогатной кожаной курткой в дурацкой шляпе игривым молодящимся пирожком и коренастым женским пальто ядовито-розового, кричащего о своей глупости и подлости цвета. Ее сразу стиснуло так, что перехватило дыхание; кожаный локоть пошел бревном от плеча к плечу, раздавливая груди... Невидимое розовое пальто тяжко ворочалось за спиной, как огромное просыпающееся животное; все вокруг испуганно и злобно стонало, хрипело, хлюпало... Сзади приглушенно чертыхнулся Саша, она оглянулась — его усталое, зеленовато-бледное лицо с намокшей прядью волос толчком подалось назад — со всех сторон, как в кошмаре по видео, полезли ожесточенные,

бессмысленные, однообразно широкоскулые лица... Могучая, топью засасывающая сила тянула ее к дверям, норовя развернуть и бросить спиной на ступени — она боролась, отчаянно, как за жизнь, цепляясь правой свободной рукой за плечо человека в кожаном: у него было мясистое — вполоборота — лицо со щетинистыми складчатыми щеками, хищно поблескивала оскаленная полоска зубов, закрученный жирным колечком ус был похож на червеобразное крымское насекомое... В метре от дверей движение застопорилось: двое пьяных заплелись вокруг поручня, как макароны на вилке, узлом закупорили вход; одного напором пробило внутрь, и он утонул, матерно вскрикнув, в набухающей спинами темноте; второй зацепился одеждой — толпа, надрываясь, полезла мимо него, размазывая плоскую распятую фигуру по створке...

Дверь приближалась. Розовое пальто вломилось в проем, вдавив пьяного внутрь с треском отрываемого книжного переплета; со всех сторон лезли — задыхаясь, не глядя друг другу в лицо... «Что вы делаете!...» — ножом о сковородку визгнуло у передней двери. Сзади кто-то валил ее, помогая себе руками. Поручень, казалось, бросился прямо на ее незащищенный живот — она уклонилась в последний момент, поймав его правой рукой, и, упершись, изо всех сил, чувствуя, как лицо ее раздирает плачущая, злобная, отвратительная гримаса, ударила в навалившуюся на спину мягкую бугристую стену напрягшимися ягодицами... Кожаная куртка, расплющивая хрустящую створку плечом, полезла справа от поручня. Прижимая торт, она провалилась следом в вонючее, темное, рокочущее нутро, едва успев перенести через ребристые ступени вдруг ватно ослабевшие ноги, и, не столько увидев, сколько угадав звериным чутьем открывшийся у перегородки просвет — там, где раньше торчала коробка билетной кассы, — юркнула в него, как спасающаяся мышь (за спиной с тугим, раздавливающим кожаным стуком ударились друг о друга тела — как будто столкнулись тяжелые турникеты), — и, перевесив через горизонтальный поручень бессильную руку с тортом, перевела рвущееся дыхание...

В автобус все лезли и лезли, до конца толпы было еще далеко — и от метро, видно было, бежали, как от собак,

все новые и новые люди. В дверях уже опять инфильтратом сгущалась пробка, середина салона неохотно уплотнялась, звучали возмущенные усевшиеся и устоявшиеся голоса. Она поискала глазами мужа — не приведи Бог, если остался *там!..* — увидела его голову, стеклянно блестевшую от дождя, залысину на левом виске — сердце затеплилось готовой расплакаться нежностью, отголоском первобытного чувства — «и он у костра, в пещере, рядом со мной!..» Сашу кидало из стороны в сторону, ворочало щепкой, но уже в спасительном далеке от дверей, в которых бурлили, вспухая и откатываясь назад, все новые и новые мокрые плечи и головы. Кто-то лез, разрывая в клочья толпу; ужалило ядом освеженного перегара... Далекий старческий голос монотонно причитал у двери, захлебываясь в шуме дождя: «Сыночки, сыночки, сыночки...»

Водитель попробовал дверь — под панелью над створками что-то завыло и всхлипнуло. На подножке, конвульсивно подрагивая, висела пухлая черная гроздь; двигатель взвыл, как будто вгрызлась в пустую бочку пила, автобус затрясся — одна за другой посыпались в толпу виноградины...

Передняя дверь, слышно было, закрылась. «Закройте заднюю дверь», — устало сказал репродуктор. Как будто услышав его, из набежавшей толпы на подножку опять бросились люди... «Освободите заднюю дверь!!!» — заревел, вызверяясь, водитель. Растопыренная на тонком запястье пятерня ласточкой влетела в проем, помучилась несколько секунд поисками опоры, коротко впилась, ломая ногти, в решетчатый микрофон — сорвалась и с криком улетела в шахтную черноту... Двери схлопнулись, как створки гигантской раковины.

«Оплачивайте проезд», — хмуро сказал водитель. Она почему-то вспомнила, как раньше еще говорили: «Покупайте абонементные книжечки...» «Книжечки» — какое чудесное, ласковое, навсегда ушедшее слово.

«...твою мать», — прошептал кто-то, стоявший по левую руку. «Да не толкайтесь же вы!..» — задрожал интеллигентный голос. «В такси надо ездить! В такси!» — плеснуло ненавистью ядовито-розовое пальто. Автобус зарычал, проседая в глубокую выбоину; пальто еще пробивалось

истончившимся голосом сквозь нарастающий гул: «В такси надо ездить! В такси! В такси!..» — потом сдалось и умолкло...

6.

Перед Ленинградкой Сто семьдесят третий остановился, ожидая поворот. Стало тихо, только подрагивала в сдавленной тишине спотыкающаяся аритмия двигателя. Невыносимая мука ожидания вдруг стиснула ее сердце — показалось, что если автобус сейчас не тронется, произойдет что-то страшное — она не просто умрет, даже это казалось не страшным, а что-то взорвется внутри, и грудь, голова, живот — все в красные клочья...

Сто семьдесят третий, натужно урча, пополз на шоссе, заваливаясь на левые колеса. Кто-то серый и мокрый справа от нее, в грязно-пятнистом драпе и грязной вязаной шапочке петушком (мелькнула мысль: «Боже, ведь это — мужчина...», и от этого «мужчина» — в чисто плотском смысле «мужчина» — ей стало противно до тошноты), повалился спиной на нее, на ее руку с тортом, свесившуюся с перегородки... Она отшатнулась, прижав коробку к груди, — тесня кого-то, стоявшего сзади. Этот кто-то коротко — чувствовалось, из последних сил сдерживая вскипевшее раздражение, даже бешенство, жажду ударить, быть может убить, — толкнул ее так, что она повалилась на поручень животом, и, видимо, разрядившись, что-то сердито и виновато забурчал у нее за спиной. Грязный драп выправился в последний момент, ухватился за ламповый плафон дрожащими костлявыми пальцами — из-под засаленного обшлага вылезло шишковатое, с редким и длинным волосом, обезображенное одиноким прыщом запястье...

Она отвела глаза и мельком взглянула на тех, кто сидел к ней лицом — на последнем в ряду сиденье за перегородкой. В черное зеркало окна, не отрываясь, смотрела малиново-румяная баба в лопающемся на арбузной груди голубом итальянском плаще (о таких она всегда думала — «баба») — наверное, продавщица или завсекцией, лет сорока. «Да нет, какие сорок!.. — вдруг обреченно изумилась она; последние несколько лет она искренне завышала

возраст встречавшихся ей незнакомых женщин — никак не могла привыкнуть к летящему своему: смотрела на них глазами своей далекой — десятилетней давности — молодости... — Какие сорок?! Ей тридцать лет... и чудесный плащ... Боже, какая корова!» И, с неожиданно вспыхнувшей — от чувства воспитанной с детства, казалось, инстинктивной уже справедливости — мстительной неприязнью к себе, быстро подумала: «Да она на... — подсознательно испугавшись, хотела сказать — «три», потом, уступая правде, поправилась — «пять», и безжалостно, ледяным внутренним голосом отчеканила: — ...лет на *восемь* моложе тебя!..»

Но чувство справедливости тут же угасло залитым костром: баба сидела наглая, с вишенными глазами навыкате, с вывороченными карминовыми, до ушей намазанными губами. Сытая — и в то же время какая-то ненасытная: сыта — и сожрет еще, — торт, огромное мороженое (когда-то за сорок восемь копеек), коробку сникерсов; только что от одного мужика (грубо — кольнуло стыдом — подумалось: «из-под») и с жадностью схватит другого... «Что я несу?! — ужаснулась она. — Боже мой, что я несу... какая дура!..»

Рядом с бабой сидел мужчина в сильных очках — худощавый, прямой, со светлыми, гладко зачесанными, седеющими волосами, просто и чисто одетый — в старомодном (видно было — еще из застойных времен) сером плаще, — похожий на... почему-то — логарифмическую линейку, на которой их еще в школе учили считать. Сейчас на линейках уже никто не считает, даже школьники и старики, — впрочем, Саша рассказывал о пожилом инженере из его лаборатории, Эдуарде Евгеньевиче, который калькуляторов не признавал и всегда — когда институт еще жил и была работа, — доставал из нагрудного кармана маленькую раздвижную дощечку и начинал гонять по ней стеклянную рамочку с визирным волоском — никто на машинке не мог угнаться... Она почувствовала к этому немолодому, скромно сидевшему перед ней человеку такую жалость и симпатию (и Эдуард Евгеньевич, по Сашиным рассказам, был очень хороший и несчастливый человек), что у нее защипало в глазах...

Но она стояла на расстоянии вытянутой руки от него и потому смотреть на него — в упор — было ей неудобно. А жаль — она бы могла, успокаиваясь, смотреть на это немного грустное, доброжелательное лицо всю дорогу — такие лица в наше время не встретишь, на каждом написано отталкивающе-вызывающее, готовое к бою: «Чего-о?!»

Она незаметно вздохнула и, избегая встретиться взглядом с продавщицей, посмотрела наверх. Над окном прилепилась полосатая, как зебра, реклама — к счастью, она научилась их не читать, названия фирм отскакивали от глаз, как мячики, — вот и сейчас только жирное слово «ДЕШЕВЛЕ» впилось, как клещ, в сознание (Мила, из параллельного класса, говорила ей: «Все. Теперь я согласна на любую власть, которая запретит рекламу по телевизору и звуковую сигнализацию под окном»). Она опустила глаза.

Становилось жарко. Она почувствовала, что кто-то на нее посмотрел — малиновая баба, развернув шоколадную конфету, отправила ее, как в топку, в красномясый, сверкнувший золотом рот. Она опять опустила глаза. Вдруг нестерпимо захотелось конфету — тающего теплого чуда,— а ведь раньше она была почти равнодушна к сладкому, все девчонки завидовали... Проклятая жизнь. Наверное, они с Сашей оказались слишком слабы, чтобы встретить достойно бедность. Роза (ее муж два года назад ушел с головой в коммерцию и там загулял — как будто вырвался в сорок лет из монастыря; но Розу еще в институте мальчишки называли «товарищ Люксембург», и она не просто выгнала его, а выгнала искренне, с отвращением), — так вот Роза (прозвище которой относилось к ее характеру, а не преданности идее) смеялась и говорила: «За что боролись, на то и напоролись! Помнишь, как мы с тобой на митинги на Манежную площадь ходили?..»

Нет, неправда, бедность — черт с ней; мучает унижение — пусть даже по высшим меркам это тщеславное, суетное унижение: покупать хлеб не тот, который нравится, а тот, что подешевле, а главное — стоять в очереди и — и за это чувство тоже презирая себя! — мучиться, что все перед тобой говорят: «сто... сто... сто...», — и вдруг ты подходишь и говоришь — и все слышат: «за семьдесят...»

Покупать двести граммов колбасы, полкило помидоров, килограмм мяса, — жадно смотреть на весы и напряженно, чуть не шевеля губами, считать, бессмысленно пытаясь угнаться за такой вот откормленной продавщицей, — забыть, что такое шоколад, апельсины, бананы, шампанское, увидев со спины, обходить знакомых — чтобы избежать усилий улыбаться беззаботным лицом и не видеть их самоуверенные, жизнерадостные — и не приведи Бог сочувствующие! — лица... И при всем этом знать, что полуграмотный мальчишка, торгующий пивом в ларьке, получает в четыре раза больше тебя!..

7.

Она вдруг вспомнила, как месяц тому назад Саша вернулся с работы не один — привел с собой кого-то незнакомого, чужого, как будто даже враждебного ей и их непривычному к таким посетителям дому: плотного, почти толстого, багрово-румяного мужчину лет тридцати пяти, с глазами блестящими и круглыми, как спелые вишни, — да! действительно, похожего на эту малиновую бабу у окна!

Но лицо она рассмотрела потом, сначала бросилась в глаза — неприятной, почти болезненной вспышкой света — его одежда: длинный распахнутый кожаный плащ — из настоящей, мягко лоснящейся кожи, под ним — диковинный, ярко-голубой, с ослепительными оранжевыми полосами полуспортивный костюм, на ногах — кричаще белоснежные кроссовки с широкими, толстыми — как полузабытые говяжьи языки — торчащими почти до колен языками... Еще два года назад это нелепое, вульгарное, дикое сочетание форм и цветов вызвало бы у нее безудержный, даже добродушный — безвкусно до жалости, не осуждения — смех и породило бы бесчисленные повторяющиеся рассказы подругам. Но сейчас, когда она сразу, еще подсознательно, зрительной памятью комиссионных витрин, поняла и представила себе, что это может стоить и сколько на все эти деньги можно всего купить — того, что составляет не прихоть, не украшение, а жизнь, и сколько ей надо работать, чтобы приобрести хотя бы один — любой, самый дешевый — предмет из этого вопиющего о

себе великолепия, — сейчас в ней вспыхнула злобная, постыдная для нее — интеллигентного человека, которому по всему его воспитанию и, казалось, долженствующим быть вечными убеждениям следовало только снисходительно про себя улыбнуться, — да, обжигая, в ней вспыхнула зависть, и она почувствовала почти физическую (неприятен, приторен, казалось — несвеж был даже запах, сложный запах дорогого одеколона, душистого мыла, сладкого табака), отталкивающую неприязнь...

Саша стоял чуть впереди (но казался позади) этого буйноцветного чудовища, похожего на гигантскую тропическую осу, и неловко держал в правой руке радужно переливающуюся золотыми барельефами букв иностранную бутылку. Рядом со своим соседом и этой бутылкой, в своем старом сером плаще (пять лет назад беззаботно шутил: цвета «мышь с молоком»), он выглядел — сердце ее защемило — жалко и унизительно...

Но все это подумалось и почувствовалось потом, а в первый момент она удивилась так, что в ответ на белоснежную — снегом на солнце — улыбку гостя даже не смогла улыбнуться. У них не было «подобного типа» даже знакомых, не то что приходившим к ним в гости друзей; единственный когда-то знакомый им человек, о котором им было известно, что он крупно, в их понимании, разбогател (купил квартиру и две машины, одну из них иномарку), был Сашин однокурсник Фомин; по Сашиным рассказам, знаменит он был тем, что в институте и по его окончании пил горькую, распродавая оставшуюся по наследству от отца-генерала квартиру, и лет десять назад, прийдя в гости к приятелю и с ним вместе напившись, ночью вынес огромный узел редких в то время книг — собрания Вальтера Скотта, Лондона, Конан Дойля, кого-то еще... по тем деньгам — на несколько сот рублей, — продал их и пропил все до копейки; приятель необъяснимо его пожалел и не стал заявлять в милицию — а может быть, просто побоялся за свою репутацию — у него была надежда попасть за границу; впрочем Фомин, кажется, часть денег потом вернул. Вскоре пронесся слух, что Фомин вшил себе «торпеду», — и вот, пожалуйста... Саша и не удивился, узнав об

успехах Фомина: тот постоянно что-нибудь продавал, от золота до пластинок, а тут еще и украл — поэтому странным сейчас было бы иное...

Этот, пришедший с Сашей, оказался его одноклассником — ей никак не удавалось спросить, где и, главное, зачем Саша его зацепил. Она накрыла в кухне на стол, страдая опять от проклятого унижения... и перед кем?! Есть в доме, как назло, было нечего — двести граммов колбасы Саше на ужин и яйца на завтрак. Она нарезала колбасу и отварила картошку — одноклассник все порывался бежать в магазин, покупать какие-то консервы, но тут они с Сашей — даже с раздражением (Саша, как это ни странно, казался тоже недовольным его приходом) — его удержали. Она поставила маринованные грибы, едва раскрывшиеся опята, и чуть не плача смотрела, как одноклассник (подумала: «с аппетитом рабочего слона»), который вежливо отказался есть бумажную вареную колбасу, банку за банкой поглощает эти грибы — прямо банку за банкой, а банки были по восемьсот граммов, и съел с ее и Сашиной слабой помощью — три! — а они с Сашей в этом году только однажды попали на гриб и несколько банок заготовили на зиму, чтобы на завтрак по выходным — по старинной, из ее семьи перенесенной традиции — понемногу есть эти грибы с горячей картошкой, — так, чтобы хватило до марта, когда солнце согреет жизнь, до Нового года открывать и не собирались...

Одноклассника звали Андреем; он сидел, положив нога на ногу — налившись лоснящейся ляжкой, безостановочно ел грибы — маленькие, крепкие, с благородным дымчато-карим отливом, — с помощью хлеба захватывая вилкой зараз столовую ложку, при этом сыто — и телесно, и душевно сыто — широко улыбался, попыхивая сахарными зубами, — и рассказывал (у него был неторопливый, как будто с удовольствием прислушивающийся к себе благодушный басок), как они в детстве с Сашей и другими мальчишками играли в игру под названием «на кого бог пошлет»: вставали кружком у черного входа в овощной магазин и по очереди, не глядя, подбрасывали высоко вверх найденные на помойке подгнившие и треснувшие

арбузы — «помнишь, Шнырю по ореху — крэк! — одноклассник брызнул слюной, — всмятку!!!» — и оглушительно хлопал себя по ляжке — треск раздавался такой, как будто свернутой в несколько раз газетой на гулком столе убивали мух...

В сущности — она призналась потом себе в этом, — она была несправедлива к нему. Это был действительно добродушный, даже, наверное, добрый, бесхитростный — хотя и недалекий — человек; он ничего не говорил о своей работе — ей казалось, даже не из деликатности, на которую по простоте своей он скорее всего был неспособен, а просто потому, что о работе — с Сашиной и ее стороны — не заходил разговор, а ему самому неинтересно было о ней говорить... Во всяком случае в нем было довольство, добродушная уверенность, но не было ни на иоту самодовольства — самодовольство было в его одежде и его бутылках, но тут уж он был ни при чем. И только из-за резкого первого, трудно преодолимого сразу предубеждения ее не тронуло то, что он привычно, как будто подчиняясь рефлексу, сбросил, переступив порог, свои языкастые чудовищные кроссовки — «по-простонародному», сказала бы мама, — и никакие уговоры уже не могли заставить его их обратно надеть: так и сидел в разодранных чуть не надвое Сашиных тапочках, потому что вторая мужская пара оставляла человека вообще почти босиком...

Да, именно так — незлобивый, толстокожий, бесхитростный человек — но все, что происходило из-за него и вокруг него: и ослепительный, какой-то неземной вид его иностранных бутылок, которые она вообще первый раз в жизни видела на столе, и то, как Саша непривычно и осторожно брался за плоскую бутылку «Смирновской» и неумело — переливая — ее разливал, и неотступное сознание того, что этот даже не просто недалекий, а, судя по его разговору, откровенно неумный и необразованный человек беззаботен и богат, а ее умный и образованный Саша подавлен жизненной неустроенностью и беден — ходит с мокрыми ногами и, экономя на всем, отказывается покупать новые сапоги, ожидая спасительных морозов, — все это (уже, впрочем, без особой враждебности к гостю) отравляло ей каждую минуту ее пребывания за столом...

Но добили ее — сигареты.

Проклятая водка подходила уже к концу — Саша ожил, глаза его заблестели, на щеках загорелся непривычный румянец, и движения его, когда брался он за бутылку, стали уверенными и даже небрежными; одноклассник же почти не переменился — только цветом лица стал совсем уже как салатный украинский помидор... Оставался еще ликер с приторным ореховым привкусом, она прочла — «Амаретто» — и поразилась: надо же, я пью «Амаретто»! — и, через силу усмехнувшись, страшным внутренним шепотом подумала о себе: «Рррразвррррат!!!» Ликер ей очень понравился, но, не в силах себе в этом признаться, она с наслаждением пила его — и неприязненно думала: «Наверное, какая-нибудь химия...» Ликер вдруг пошел очень быстро — и потому, что пили его втроем, и потому, что одноклассник, видимо, засобирался домой и часто стал наливать, — это даже приятно ее удивило. Сашины и ее друзья, «гнилая интеллигенция», всегда заводились — и ближе к ночи поднималась полупьяная кутерьма: выворачивались карманы в поисках последних — теперь уже сотен, когда-то просто рублей; если денег не хватало — кричали, или шипели, или униженно упрашивали (смотря по темпераменту) своих жен и подруг, и наконец шумной гурьбой вываливались — почему-то чаще всего в стылую зимнюю ночь, на которую трезвому человеку и в окно взглянуть было страшно, — и возвращались неизменно — кто бы ни был в стране у власти — с бутылками; после этого хорошо еще если только половина гостей оставалась у них ночевать, — и утром просыпались опухшие, виноватые, молчаливые до немоты, цвета парникового огурца на срезе...

Ликер подходил к концу, она поставила чайник и вышла из кухни в большую комнату, чтобы достать из серванта чашки для чая. Она стояла перед открытым сервантом и выбирала чашки без трещин (почти все они были в бурых от чая прожилках, раньше редкий случался месяц, чтобы кто-нибудь не был в гостях), когда услышала металлический выстрел защелки — Саша или его приятель пошел в туалет, — и почти сразу же вслед за ним — громкий не то свист, не то всхлип, короткую как будто возню, завер-

шившуюся странным отрывистым, звонко поквакивающим звуком... Удивленная и встревоженная, она поспешила почти бегом... дверь на кухню была открыта; Саши не было видно — он лязгнул шпингалетом и вышел в коридор за ее спиной, — а одноклассник, с длинной угольно-черной сигаретой в зубах, держал перед собой какую-то темно-зеленую книжку (через секунду она узнала ее: Шолохов, том из собрания сочинений с «Судьбой человека», Мише задали в школе) и трясся, прямо ходил ходуном от зажатого мясистыми губами неудержимого хохота... Она вышла, заставив себя растерянно улыбнуться; одноклассник поднял глаза на нее и на Сашу — и буквально лопнул, лицо его вздыбилось, выворачиваясь клавишами зубов, — казалось, брызги с грохотом полетели... «Бога-тенький... — задыхался он, скашивая на страницу залитые слезами глаза, — ...богатенький, браток... — и взвизгнул: — Папироски... куришь!!!» Сначала она не поняла и, наверное, взглянула с недоумением — одноклассник, тыча в текст коренастым розовым пальцем, хватил воздух распахнувшимся настежь ртом и на выдохе заревел так, что заложило уши (казалось, выскочат внутренности — и смешно, и от непонятности страшно было смотреть): «Бо-гатенький!.. А-ах-ха-ха!.. браток... папироски куришь!!! Ааа-ах-хах-ха-ха-ха!..»

Вдруг — она поняла: когда рассказчик — Шолохов — сушил намокшие папиросы на берегу, кто-то к нему подошел — кажется, главный герой, усыновивший мальчишку, — и произнес эту фразу...

Саша стоял у нее за спиной; последний год он курил «Беломор», иногда «Дымок», от которых в уборной и на кухне нечем было дышать, и она ругалась — не из-за себя, из-за Миши. Но сейчас он тоже смеялся — и смеялся, казалось, искренне: и потому, что был пьян, и потому, что за столом тоже курил эти черные, в мерцающей синим лаком коробке сигареты (и, наверное, с проснувшейся пьяной надеждой и самоуверенностью решил, что скоро все переменится и такие же сигареты будут каждый день лежать у него на столе), и потому, что одноклассник, заражая, смеялся искренне, от души, не думая никого обидеть: неискренне, с задней мыслью невозможно было смеяться — так...

Она стояла, прижав к груди сервизные чашки (одну из них, с трещиной, она держала в левой руке, приготовив ее для себя), и криво — наверное, криво — улыбалась: ей казалось, что, улыбаясь, она смеется над Сашей, над сыном, над Шолоховым, над собой, над всей своей прошлой, сейчас казалось, счастливой жизнью, — как будто оскорбляя, предавая этим смехом и Сашу, и сына, и Шолохова, и всю прошедшую жизнь. И ей было горько, противно, — стыдно...

На другой день она спросила у Саши: «Ну, и зачем тебе сдался этот попугай?» Саша, наутро совершенно раздавленный, ответил: «Ни за чем, я и в детстве никогда с ним не был особенно дружен... Просто мы встретились в магазине, узнали друг друга, и он сказал: ты знаешь, у меня позавчера сын родился — давай выпьем. Парень-то он неплохой...»

В этом был весь ее Саша: он ни в чем, кроме откровенной подлости, не мог никому отказать (иногда она в смятении думала: может быть, и другой женщине?..). И она, глядя на его серое, несчастное, измученное постоянной тревогой лицо, вдруг ясно, с закипевшей слезами жалостью к нему и обессиливающим холодком малодушного страха — что она теперь одна, в любви и борьбе за Мишу и за него, — и с проснувшейся физически сердечною болью — изнутри, иголкой в левую грудь, — подумала: в этой новой, казалось, такой долгожданной, вдруг наступившей жизни — Саше не будет места...

8.

...Воздух был влажен и нечист, как в грязной распаренной душевой. По запотевшим матовой зернью стеклам бежали, извиваясь, черные блестящие струйки. Это торопливое, переливчатое движение вдруг вспыхнуло в ее памяти далеким весенним ручьем... бежали, бежали в начале апреля голубые с разноцветными огоньками ручьи, гравировали черные с прозеленью узоры на склонах Покровского-Стрешнева...

Она в ужасе посмотрела вокруг. Вот оно, дьявольское число — Сто Семьдесят Три! Как могло произойти с ней все это?

На слепые окна наваливалась черная ночь; ломались, корчились на стенах и потолке смутные тени. За что?! Какая у нее начиналась жизнь... ах, какая у нее была жизнь! не потому, что была давно, она на самом деле была — не казалась — прекрасной... Где ее семнадцать лет?

«Где твои семнадцать лет?!» — когда-то хрипел, надрываясь, Володя Кузьмичев, а она слушала с сочувствующей (к тому, кто спрашивает об этом), а больше с недоуменной усмешкой, — на школьных вечерах, которые тогда назывались «огоньками», на лавочке в соседнем дворе, откуда она должна была вернуться домой не позже половины одиннадцатого, в двухдневном походе в десятом — ах, как они торопились в жизнь! — последнем в их жизни классе... Где май семьдесят второго года, голубой снег на цветущих вишнях в школьном дворе, выпускной вечер — волшебное, упоительное ощущение в первый раз завитого в парикмахерской локона на щеке, волнующе-незнакомые прикосновения длинного платья, обнимающего колени, одним торжествующим мигом пролетевшая ночь — навстречу звенящему сладкой печалью прозрачному утру?.. Где это лето — в сиреневой дымке торфяных далеких пожаров? Где ее лодочная станция на ВДНХ, ее первый букет цветов — три солнечно-красные, неуверенно приоткрывшиеся луковицы тюльпанов, на одной — золотые крапинки на лепестках, где шоколадно-сливочный лед усыпанного ореховой крошкой мороженого? Где Сережка Лукин, как будто мягко ударившийся взглядом об ее высоко открытые ноги? — и где ее счастье, и гордость, и робкое сомнение в правильности (по-старинному — в благопристойности) этого счастья и гордости при виде его плывущего взгляда, — как будто влекомого неведомым, неодолимым течением к еще не загоревшим фарфоровым чашечкам — о, как она ими гордилась! — ее точеных колен? и неожиданная тоскливая — до задержки дыхания, до вдруг наступившего слепого равнодушия ко всему — еще не ревность, а злость, когда Никишина — на скамейке, в тени облитых золотом лип — положила нога на ногу, и ее кримпленовая — летом! вот дура!.. — юбка поползла до трусов, и взгляд Сережки беспомощно и тревожно

метнулся в сторону ее бесстыдно оголившихся пятнисто-розовых ляжек...

Сережка Лукин — спокойные, серые, мягкие и в то же время — едва уловимо — уверенные в себе глаза... В тот день они сидели под липами, и вдруг подошли трое, один — в повязанном вокруг шеи пестром платке, с глазами как лезвия — такие сейчас торгуют в киосках, — спросил закурить. Сережа выщелкнул сигарету и протянул ему пачку, тот взялся за выбитую и полез за второй, — но Сережка прикрыл большим пальцем отверстие: «Хватит», — не дерзко, не зло, спокойно сказал; парень полоснул по нему взглядом, как бритвой, ей даже стало страшно — за Сережу (и Никишина сказала потом, зябко задравши ноги — она и думала, дура, ногами: — «Я так испугалась...» — и закатила на Сережку глаза, как китайский болванчик). Этот, в пестром платке на неприятно жилистой шее, посмотрел — как ударил в лицо — на Сережу, и дружки его тоже остановились. С ними был тогда еще Валька Егоров, но он оказался не в счет, сразу начал покашливать и подрагивать худыми ногами, — а Сережа посмотрел как-то странно на остроглазого, и у того вдруг сломалось лицо... Он повернулся и пошел прочь, прикуривая на ходу, — наверное, чтобы скрыть свою лишившуюся самоуверенной развалистости походку...

Она не видела Сережку уже давно, с тех пор, как переехала в этот проклятый Богом район (в ней уже навсегда, без воспоминаний, умерла казавшаяся вечной радость *своей* квартиры). Но она знала, конечно, что Сережа вторым браком женат — на Никишиной (подумать только!), что у него двое детей и он сильно пьет; в институт он тогда не попал, один из немногих в классе, да он и учился больше на тройки... но кто из них думал в то время о том, кто на какие отметки учится, — и какая судьба — карьера, как теперь говорят, — кого ожидает? Тогда могло быть только две судьбы: с тобой — или без тебя...

9.

Сто семьдесят третий повернул на Беломорскую — в обратную сторону от дома. «Ну ничего, ничего, ничего,

ничего... — привычно успокаивала она себя. — Все равно каждый метр, каждая минута, каждый даже самый медленный оборот колеса — все ближе к концу, к Планерной, к дому...»

Зажатый где-то в углу, за дверью, проснулся и тяжело завозился пьяный, внесенный толпой, — что-то зашипел, заворчал, забулькал: «Бр-бл-бр... бл-бр-бду... п-поликили... п-поликлиника...»

«Поликлиника — это сейчас выходить», — подумала она. Вокруг равнодушно молчали.

«П-поли-кли-ника...»,— опять пробормотал тонущий голос. «Его увезет на Планерную — и конец, — с тоскою подумала она. — Оттуда ему не выбраться». Сто семьдесят третий показался ей смертельно опасным, ненавидящим человека чудовищем.

Пьяный опять что-то бессильно, жалобно заурчал. В мозгу ее вдруг всплыла совершенная чушь: «Мы с тобой одной крови — ты и я...»

Салон подводно молчал. «И ведь никто не предупредит...»

Она с ненавистью взглянула на гастрономическую продавщицу, на грязно-пятнистый драп, на ядовито-розовое пальто со вспученной колбасным батоном сумкой, на показавшиеся ей благополучными ряды затылков и спин, уходящих в желтую заволочь сумрачного салона. «Никто не предупредит... сволочи... А ты?..»

При этой мысли ей стало жарко: она от природы была застенчива; окликнуть какого-то пьяного — не видимого ей, далекого от нее, так, чтобы все слышали, — даже представить это было ей нестерпимо...

Она стояла и мучилась, терзалась угрызениями совести, ей захотелось плакать — тихо, долго, чтобы никто не мешал и не слышал... «вот дура!..» От этого внутреннего восклицания она вся напряглась, в душе вспыхнула злость — на себя, на этого проклятого пьяницу, на всю эту жизнь... Она пошевелила пальцами, которые держали Мишенькин торт, стронула с онемевших рубцов пластмассовые веревки, и они впились в занывшие от боли подушечки. «Боже, какая мерзость... мерзость, мерзость, — с мстительным наслаж-

дением повторяла она про себя. — Кругом мерзость, все сделано для того, чтобы мучить, унижать, убивать людей, — и все им мало, все кричат — рожайте, рожайте еще, Россия вымирает, нам скоро некого будет мучить и убивать... Скотину так не возили, при царе, рабов так не возили... При Сталине, в гражданскую войну, — поднялась она на вершину представляемого ею человеческого несчастья, — не возили так! И при Брежневе — да, при Брежневе! — было лучше... был двести тринадцатый, был сто второй! Ну погодите... погодите...»

Она сама не знала, кому и чем она этим «погодите» грозит, — лишь смутно промелькнули в сознании безглазые лица за дымчатыми стеклами «мерседесов»... Пьяный опять забормотал, завозился в своем углу. «Ну скажите хоть кто-нибудь, скажите, что ему сейчас выходить! Боже, когда же все это кончится!» Она глубоко, с неслышным в гуле мотора стоном вздохнула. «А Саша? Почему Саша молчит?.. О, будьте вы все прокляты!» Рывком, не боясь никого задеть, она повернулась — и уже приоткрыла на вдохе запекшийся от долгого молчания рот.

— Вылазь, командир, — ударил мрачный баритон за ее спиной. — Поликлиника.

Она почувствовала такое облегчение, что даже ослабли ноги. Сзади заскрипели трущейся одеждой, зашоргали подошвами. Ударились настежь двери — с улицы ворвались скользящий шепот дождя и клочья истерично-веселой музыки. Люди за ее спиной подались в разные стороны, стало свободнее и даже как будто легче дышать; она переступила с ноги на ногу — поменяла опорную ногу — и оглянулась было на Сашу, — но тут на ступени обрушились мокрые тупые удары, и со всех сторон, как трясина, навалились опять... Кто-то вошел с магнитофоном. «Аме-ри-кен бой!» — закричал женский растерзанный голос — хулиганский, с распутными нотками. Кажется, она слышала эту песню. «Амери-кен бой! амери-кен бой! амери-кен бой! — уеду с тобо-ой!..» Казалось, она должна была разозлиться, но на крике «с тобой» голос сорвался совсем на девчоночий... «Уезжай, — вдруг устало, почти бессознательно подумала она, — уезжай... Что же тебе, подыхать вместе с нами?..»

— Выруби-ка свой матюгальник, — негромко, со злинкой сказал голос из глубины — хриповатый, осевший, сухо поскрипывающий согласными. — Люди с работы едут.

— Мы тоже с работы, — с готовностью откликнулся кто-то веселый и молодой. — Живи веселей, батя.

«...Амери-кен бой! амери-кен бой!..» — билось в гудящей тишине автобуса.

— Тебе чё, парень, не по-русски сказали? — зарычал кто-то у заднего окна. Она подумала, что мальчишка, скорее всего, безобидный и совсем молодой, раз на него так насели. На «загривков» в пластмассе так не рычат. — Уедешь в Америку, там будешь слушать. Здесь пока что Россия.

«Здесь пока что Россия» громыхнуло металлом. Она инстинктивно напряглась — и от звука как будто готового сорваться чем-то опасным голоса, и от неожиданно пришедшей мысли о том, что где-то между магнитофоном и голосом стоит ее Саша... и вместе с тем — она была очень внушаема, хотя и знала об этом, — в ней поднялось раздражение. «Америка... Уезжай, куда хочешь, — кто тебя держит? Только кому ты там нужна... разве в публичный дом?..»

Сто семьдесят третий остановился. Смольная. Американ бой утонул в шуме дождя. Он и садился, наверное, на одну остановку. Она подумала так, успокаивая себя: если бы его согнали — а ему из-за мальчишеского самолюбия, наверное, трудно было выключить магнитофон, — ей было бы неприятно.

— Он работает...

— Спекулянты проклятые, — сказало ядовито-розовое пальто.

Это был вечерний окраинный автобус, в час пик. В центре такие слова уже редко можно было услышать.

Двери — в скрипучий разнобой — закрылись. Сразу стало душно.

10.

Музыка — пусть бесконечно далекая от нее, чужая, — вдруг разбудила в ее душе, казалось, навсегда замолчавшие, вместе с ней состарившиеся песни ее студенческих,

школьных гитар. Да, состарившиеся — потому что для тех гитар она была уже старая, старая...

У нее перехватило дыхание — от нежности, от неяркой, как вечер, радости тогдашних нечаянных встреч, от ласковой печали о юной, безвозвратно ушедшей любви. Плачут гитары... У нее зарябило в глазах, головы теснившихся в салоне людей поплыли смутными концентрическими кругами. В бе-лом пла-тье с пояс-ком... Как молоды мы были!..

Она сморгнула, и под нижними веками стало мокро. Ей показалось, что продавщица опять смотрит на нее. Плевать. И она почти не накрашена. Ты помнишь, как все начиналось?..

Она уже не помнила, как все начиналось, помнила только — радостно и светло, как в залитом солнцем июньском дворе в первые, еще непривычные дни школьных каникул. Все было в свету — в яблоневом, вишневом, сиреневом свету — годы бежали, окрашенные весенним розовым цветом: уроки, лекции, семинары — зайчик ползет по столу, отгоняя мысль, осенняя картошка — светлые медленные дожди, светлый ветер над полем, светло хрустящие заморозки под непроснувшимися ногами; защита — приглушенный стук в последний раз мягко закрывшейся двери, счастье и робость при мысли о, казалось, навсегда обретенной свободе, горящая дорожка паркета в золотых от воздушной пыли лучах... Саша — как она любила его! нет — она и сейчас любит его, но глупо говорить, что сейчас то же самое, — это не та любовь, это совсем другое — другое чувство... «это вообще не любовь», — нарочито безжалостно к себе и к нему, еще более безжалостно потому, что была уверена — это несправедливо, это не так, сказала себе она. Но тогда, десять — пятнадцать! пятнадцать уже лет назад... Каждое утро просыпаться и первой мыслью вспоминать, что в четыре позвонит *он*, — да как это может быть?! Будь проклята жизнь, которая все это сломала! Американ бой... А ведь у нее даже мысли — ни разу, она придирчиво покопалась в себе, — не мелькнуло тогда о том, что Саша не москвич и жить им придется в двухкомнатной хрущевской квартире с ее родителями, — впрочем, в той квартире тоже все было светло, черемуха улыбалась в окна, сирень

дышала медвяным ароматом, они сидели в ее комнате у окна, завешенного кудрявым зеленым пологом, и Саша ее ласкал — да, только это, и не потому, что берегла себя от него, а потому, что дома всегда кто-нибудь был, мама уже не работала, а где-то в общежитии или в гостях — она не хотела...

И когда родился Миша, тоже все было светло — даже асфальт светился, как речная дорога. Таксист, который вез из роддома, спросил: «И сколько?» Она ответила — конечно, с гордостью: «Три восемьсот!» — он вспучился губами, мотнув головой: «Т-ты, ч-черт!..», и она заплакала от несказанного, неудержимого счастья, а Саша вместо двух заплатил пять рублей... Наверное, и тогда было что-то нехоро- шее, недоброе, но она не помнила... Денег, конечно, не хватало, у нее сто пятнадцать и у Саши сто двадцать пять, — впрочем, никогда не было, чтобы их не хватало так, как сейчас. Двести сорок рублей на двоих, сто двадцать килограммов мяса, сейчас это сто двадцать тысяч рублей — они не имеют и половины этого... Жизнь бежала не по ступенькам, не вверх или вниз — по ровной дороге: лето, осень, зима, весна, сейчас казалось — вечная была весна... Наконец, папе дали на заводе квартиру, они переехали — кажется, после этого что-то уже началось. Она впервые почувствовала себя усталой — после тех нескольких месяцев, когда покупали мебель: каждое утро ездили отмечаться в магазин, просидели весь отпуск в Москве, — на софу, на кухню, на проклятую стенку — эта стенка ее сломала... Родители сняли с книжки все деньги, Саша сидел ночами, чертил дипломные проекты бездельникам, она взяла группу продленного дня — одна девочка, до сих пор помнила — Люда, была не совсем нормальной, часто уходила — и она бегала, с обмирающим сердцем искала ее по дворам. Эта несчастная девочка вынула из нее душу, просто доконала — но не могли же они оставить ее стариков без денег, которые копились всю жизнь! Страшно подумать, что все это оказалось напрасным: деньги они вернули, а сейчас они превратились в ничто — три тысячи превратились в три килограмма мяса, потому что старики верили всем этим премьерам и президентам, держались за

сберегательную книжку до последнего, — а ведь с этих трех тысяч, наверное, все и началось... Саша не вступил в партию — в институте вступить было трудно, да и характер у него был не тот, — дошел до ведущего и остановился. Сейчас института нет: побежденные коммунисты, начиная от завлабов и кончая директором, организовали свои малые предприятия, купили на биржах — за те деньги, которые в короткое кооперативное время заработал отдел, — брокерские места и сейчас торгуют под вывеской института, платя за помещение государству гроши; все связи со станциями и заводами потеряны, проектная и научная работа прекращена, половина помещений сдана неизвестно кому — в Сашиной комнате сидит артель вышивальщиц, вышивают и поют — поют, Саша говорил, хорошо... Полуподвал арендует коммерческий банк, в зале заседаний — компьютерный склад, в холле первого этажа — коммерческий магазин; столовая, которой некого кормить, печет пирожки и торгует навынос. Саша не хочет и не умеет торговать, он инженер, его охладители работают на всех станциях Советского Союза... бывшего Советского Союза; работать же по специальности — невозможно... Недавно какая-то станция по старой памяти прислала заказ; начальник отдела, занятый перепродажей апельсинов, отдал его нескольким уцелевшим сотрудникам, они (дураки! — сказал Саша о них и о себе) обрадовались: серийного изделия, отвечающего запросу, не оказалось, взялись за разработку, составили план-график... Завод-изготовитель потребовал за новую разработку несусветную сумму, начальник отдела накрутил еще столько же и поставил условием стопроцентную предоплату, у станции таких денег не оказалось... начальник сказал: какие новые разработки? пусть берут то, что есть, — прибавил к заводской цене на серийное изделие двадцать пять процентов себе и велел посчитать гидравлику...

Конечно, мы дураки, — говорил Саша, — поэтому другие живут, а мы голодаем. С ребятами с той станции они работали много лет, каждый год ездили друг к другу в командировки, вместе пили — здесь водку, на станции спирт, — поэтому они сделали и послали им расчет с заключением: серийные охладители не позволяют полу-

чить на выходе пар с требуемыми параметрами... Тем временем начальник отдела — он же директор брокерской конторы, Саша называл ее «контора рогов и копыт», — ни о чем не подозревая, выслал договор и платежные документы. Разразился страшный скандал, старики после него разошлись кто куда — дорабатывать два-три года до пенсии, Благов, знавший начальника двадцать лет, в последнем разговоре назвал его «райкомовской б....ю» — еще три года назад тот был райкомовским активистом; Саша пока остался, в отпуске за свой счет — еще не уволившуюся половину сотрудников не сокращают, потому что в институте должны числиться люди, — чтобы в министерских бумагах он мог числиться как институт. Саша ищет работу и, наверное, скоро найдет — у него есть уже два, хотя и более чем скромных — в сравнении с уличным продавцом — предложения. Но в нем, кажется — не дай Бог!.. — что-то уже сломалось...

11.

Сто семьдесят третий, завывая, полез на мост через канал Москвы. Продавщица с мясо-красными губами оторвалась от окна — сидела и, раздражающе поглядывая на нее и ее пальто, постукивала тесно окольцованными пальцами по кожаной сумке бочонком. Лена вспомнила, как несколько лет назад по Москве прошла мода — среди определенного «контингента», сказала бы мама, — ходить с двумя обручальными кольцами. Однажды Миша, увидев в трамвае огромную цыганистую тетку с двумя перекрывающими фалангу золотыми бочонками, спросил: «Мама, а что, у тети два мужа?» Многомужняя услышала, Лена, извиняясь, улыбнулась ей — но в душе была очень довольна...

У продавщицы была красивая сумка, натуральной кожи, с кудрявой перистой бахромой... Она с досадой оборвала себя: ты уже сама в своем заглядывании в чужие кошельки превращаешься в продавщицу! — и все-таки ей было очень обидно: у нее была черная сумка с красными надписями «Галант», сумка неприличная — не потому, что была выцветшей или рваной, она очень ее берегла, а потому, что вся Москва эти сумки уже несколько лет как относила...

Посередине моста автобус тряхнуло на стыке — она испуганно придержала расползающуюся коробку свободной рукой. Завтра Мише исполняется четырнадцать лет — в последнее время, когда она думала о Мише, — а думала она о нем неотступно, всегда, — ей становилось страшно. Людмила советовала сходить к психоневрологу — при чем тут психоневролог? Поможет ей закрыть глаза на реальную жизнь, заставит не видеть то, что существует независимо от нее? Дешевый самообман, с таким же успехом можно жить наркоманкой или алкоголичкой...

Миша... что будет с Мишей? Характером он тих, даже робок, еще недавно боялся темноты — ему не прожить одному среди этих новых людей. Все это, конечно, рано или поздно кончится — она не дура, она без экономических выкладок понимает, что не может долго существовать страна, в которой все вдруг перестали работать и бросились воровать и торговать, — впрочем, сейчас это почти одно и то же: торговать с такой прибылью — все равно что обирать производителя... а как иначе?! У Галки муж строитель, зарабатывает сто тысяч в месяц, а однокомнатная квартира стоит двадцать миллионов; он никогда — никогда! — не заработает на однокомнатную квартиру, потому что сто тысяч его без остатка уходят на первую жизнь. Получается, что строитель за всю свою жизнь не может заработать — построить себе — квартиру? Какую же часть заработанного у него отбирают? Производство падает с каждым годом, это не может продолжаться до бесконечности, скоро все это кончится... но когда? и как? Наверное, когда начальники-коммунисты и мафия скупят и украдут все, что есть в этой стране, — а так и будет, какой нормальный человек воспринимает всерьез эти ваучеры, за которые на рынке дают килограмм колбасы? После этого они заставят нас работать на себя за гроши — Америка двадцатых годов...

Или еще хуже: Саша говорил, что в Германии перед приходом Гитлера к власти зарплату выдавали два раза в день — деньги к вечеру обесценивались... Эти бело-розовые по телевизору — и откуда они взялись? где те люди, которых мы ожидали? — понимают все это не хуже нас. Но им это не страшно, у них все уже есть, они не волнуются за своих

детей, их дети давно за границей — эмигранты с советским паспортом...

Что будет с Мишей?

У Тани, соседки, сын спивается на глазах — какое спивается, уже спился, в двадцать пять выглядит на все сорок, — и если только спивается, а не что-нибудь хуже. На днях поднимался с ней в лифте и вдруг попытался ее обнять, — она так удивилась — даже не успев испугаться, — что он от ее лица как от холодной воды протрезвел...

Что будет с Мишей?

Учится он неважно, интересуется — для нашей жизни смешно и страшно подумать чем — биологией... и не хватает слов, да и собственного убеждения для того, чтобы внушить ему необходимость учиться: перед глазами живым примером отец — институт, аспирантура — и нищий, — у Гены Моисеева отец бывший дворник, торгует баллонами с подкрашенной водой и покупает вторую машину... Бывали хуже времена, но не было подлей — кем и о каких временах это сказано?

Миша слишком поздно родился, вдруг подумала она... или рано? Родиться бы ему... когда ему надо было родиться?

Эта мысль ее захватила; мучимая любовью, она увлеклась — стала с тревогой и надеждой считать, вспоминать, прикидывать... В сорок первом была война, в сорок пятом закончилась, в пятьдесят третьем умер Сталин, в семьдесят девятом был Афганистан, в восемьдесят пятом началась перестройка. Это были те вершины и пропасти (до войны она просто не воспринимала себя, тем более как мать), между которыми ей надо было лавировать. Это было очень трудной задачей — задачей оптимизации, как в таких случаях говорил Саша, — надо было, чтобы Миша и благополучно родился, и вырос, и уже взрослым не разбился на взлете или в падении... О себе она не думала — механически отсчитывала свою жизнь от года его рождения, не боясь оказаться в пропасти.

Если бы он родился... в сорок пятом? За восемь сталинских лет с ним бы ничего не случилось, сейчас ему было бы сорок восемь... в сорок восемь лет сейчас, если человек не подлец, делать — «ловить», как сказала бы Мила, —

нечего. Но ей не хотелось бы, чтобы ее сын был подлецом... даже если бы ему было лучше? Что значит лучше? Кому лучше — подлецу, когда ему хорошо, или хорошему человеку, когда ему плохо? Не знаю... отстань!..

Пусть бы он родился в шестидесятом, сейчас ему было бы тридцать три, он бы уже что-нибудь знал и умел... ну и что — вот они с Сашей на несколько лет старше тридцати трех, многое знают и умеют — и что толку? Кроме того, они с Сашей были бы нищими пенсионерами, которые не только не смогли бы ему помочь, а наоборот, сами нуждались бы в помощи (кольнуло сердце: мама! чем я помогаю тебе?..); сейчас они с Сашей что-нибудь придумают — например, она будет вязать, у Вити жена ушла из академического института, где сидела за двадцать тысяч, и вяжет на дому, получает сто пятьдесят. И она тоже уйдет, бросит детей, если людям не надо, чтобы их дети учились... А если бы он родился в шестидесятом — чем бы она сумела ему помочь? Пошла бы собирать пустые бутылки у метро или спекулировать сигаретами?

Мама рассказывала вчера по телефону: пошла прогуляться по парку, сейчас там на каждой лавочке сидят мальчишки и молодые мужчины, пьют пиво; проходя мимо одной такой лавочки, замешкалась, открывая сумку достать платок, — какой-то кожаный парень сказал с досадой: «Бутылки оставим, бабка, только иди, не стой над душой!» Но мама у нее молодец, хотя они иногда и ссорятся. «Мне, молодой человек, — сказала она, — ваших бутылок не надо... но вы, пожалуйста, не думайте, что отдавая бутылки, делаете старухам одолжение. Это они вам сделали одолжение. Государство отняло у них все, что они заработали и построили за семьдесят лет, и отдало вам, а их оставило помирать с голоду. Они слабые и не могут постоять за себя (мама, которой было шестьдесят восемь лет, вовсе не считала себя старухой), а вы молодые, сильные, вас государство боится». — «Ничего и не поэтому, — сказал кожаный, — вы же нас сами, бабушка, учили: кто не работает, тот не ест». Сидевший рядом с ним на скамейке, мама рассказывала, пробурчал: «Да помолчал бы ты, Коль...» Мама вздохнула. «Может быть, и

так, молодой человек, только имейте в виду: вы тоже будете старыми, и случится это гораздо быстрее, чем вы думаете...» Молодец, мама. Милая мама, мой самый верный единственный друг, другого такого уже не будет... как сказала одна из Наташиных подруг, которая уехала к больной матери в Рыбинск и из-за этого рассорилась с мужем: «Мужей у меня может быть много, а мать у меня одна». Мама все время подбадривает ее, говорит: «Что ты, Леночка, как тебе не стыдно? Разве то, что сейчас, это беда? Знала бы ты, что мы пережили в тридцать восьмом, когда арестовали дедушку... или в сорок первом — я возвращалась из школы домой и попала под бомбежку. Один раз услышать свист падающей бомбы — это страшнее, чем была вся моя жизнь. Вот газеты пугают голодом — да разве же это голод? Мы в эвакуации ели картофельные очистки, а тетя Маша из Чехова еще в пятидесятом году пекла хлеб с лебедой...» Молодец мама, после ее слов на душе становится легче — да что там легче, просто легко. Но проходит час-другой — и снова плоть, мерзкая плоть — потому что уныние, зависть, страх, все самое низкое в человеке — порождение не души, а плоти, — мерзкая плоть снова берет свое...

Да — так когда Мише лучше было родиться?

Наверное, в этой стране — никогда... А как еще?! Мало того, что ты рожаешь ребенка для себя — только для себя, для своего удовольствия, все, что с ребенком связано, это — пусть порой мазохистское, но удовольствие, то, без чего ты не можешь жить, — так ты хоть в этом своем эгоизме подумай, какую ты ему даришь жизнь! Что — не тебе, а ему — лучше: спать в теле вселенной или, как модно сейчас говорить, всемирного разума, не подозревая о возможности своего земного существования, своего появления на свет, — или жить в нищете, грязи, опасности — в муках?.. Она увидела — казалось, с раннего детства задумчивые, неуверенные, чуть удивленные глаза сына — и рядом с ними стальные молнии наглых, самоуверенных, ни в чем не сомневающихся глаз...

Что будет с Мишей?

12.

Если бы еще сама она была другим человеком, подумала вдруг она. Нет, она, конечно, не герой и не чудо принципиальности, она может и согласиться, и пойти на попятную, она вообще не боец, — но единственное и главное, что она не умеет и не сможет уже — и не хочет! — научиться делать — это притворяться, — а без этого жить нельзя... Директриса ее не любит, и это понятно: люди чувствуют, как к ним относятся, даже без слов — особенно женщины, а ей на директрису последнее время неприятно даже смотреть... За прошлый месяц она два раза была у нее на уроке и ушла, не сказав ни слова, — это же издевательство! Раньше она бы не выдержала, пришла бы и спросила: «У вас какие-то претензии ко мне, Валерия Николаевна?» — сейчас она понимает, что это бесполезно. Для этих людей нет ничего святого, кроме собственной шкуры, — раньше с оловянными глазами и электронным голосом говорила о решениях партии и правительства, сейчас с такими же глазами и тем же голосом говорит о реформах... Она давно поняла, что секрет административного успеха не в труде и даже не во всякой подлости — главный секрет в бесстыдстве, которое она, применительно к служебному поведению, определила так: надо уметь не стесняясь, с уверенным видом говорить неправду в лицо тому, кто заведомо знает, что ты говоришь неправду... Если этого дара нет — будь ты хоть трижды гений, святой или злодей, ничего не получится.

«Да, но директриса просто издевается, — с физической, потянувшей за сердце тоской подумала она. — Я обыкновенный человек, я могу и согласиться, и даже солгать, но я не могу в угоду другим вести себя как полная идиотка».

Полгода назад (когда она рассказала об этом Саше, он схватился за голову и произнес вполголоса несколько слов, которые — как пишут в старинных романах — не следует произносить даже наедине с собой...), — полгода назад директриса появилась в учительской, когда она уже собиралась уходить — стояла у своего стола, укладывая в сумку тетради. Она сразу напряглась — ну ничего не могла с собою поделать... Валерия Николаевна, обменявшись па-

рой замороженных слов с Клавдией Александровной, историчкой, — она, конечно, навострила уши, но ничего не услышала, — подошла к ней, приподнимая уголки воскового рта. «Елена Анатольевна, я вот что хотела у вас спросить... Жизнь так быстро меняется; вы не пробовали в третьих классах расширить словарь новыми профессиональными терминами? Например, *ди-лер, бро-кер...*» — «*Ди-стри-бью-тор*», — продолжила медовым голосом Аллочка, учительница русского языка, сидевшая за соседним столом, — глазами умирая от смеха. Аллочка была совсем молодой, сразу после института, не замужем, но с очень обеспеченными родителями, и ничего не боялась; чувствовалось, что она не собирается здесь надолго задерживаться, но девочка она была хоть и чужая — и по возрасту, и по психологии уже чужая, — но очень милая. Лена ее любила.

— Ну, это, наверное, им будет сложно, — директриса растянула нитку плотно сжатого рта, показывая, что она понимает и даже ценит хорошую шутку. — А вот двусложные — вы подумайте.

Но Лене было не до шуток — в первую секунду она просто потеряла дар речи. Ведь рассказать кому-нибудь — не поверят... В третьем классе — дилер? Да и не в этом дело!

— Валерия Николаевна, — волнуясь, сказала она (всегда, когда она видела или слышала глупость или подлость, она начинала волноваться, от этого, знала, теряются слова, путаются мысли и речь теряет убедительность — вызывает у собеседника только неприязнь и желание дать отпор. Она страстно завидовала политикам, способным хладнокровно выслушивать и опровергать любой горячечный бред, обрушивающийся им на головы, — но с собой ничего не могла поделать). — Валерия Николаевна, — твердо сказала она. — Я думаю, что, во-первых, в развитии речи десятилетнего ребенка эти слова не могут играть заметную роль, а во-вторых... во-вторых, мне кажется, что это просто ненужное засорение русского языка иностранными элементами: ведь у этих слов имеются полностью адекватные переводные значения — брокер, например, это посредник...

— Ну, мне представляется, что полной адекватности быть не может, — любезно сказала директриса, — потому

что у нас отсутствовала социальная база для этих профессий. Например, брокер — это не просто посредник, а биржевой посредник, — а до недавнего времени у нас не было бирж.

— Ну почему, — сказала Аллочка, кончавшая университет (а директриса какой-то провинциальный педагогический), — сказала таким голосом, что она подумала: девочке надо на сцену... Учительская насторожилась: историчка Клавдия Александровна перестала писать — то есть не оторвала глаз от письма, но прекратила водить по бумаге ручкой, химичка Наталья Леонидовна явно остановилась глазами на книге, а обиженная биолог Ирина Петровна, ревизовавшая директорскую дачу, уже взявшая было сумку и полностью одетая, столкнула на пол стопку тетрадных листов и, легко опустившись на корточки — молодец женщина, в пятьдесят с лишним лет, — начала неторопливо их собирать... — Ну почему, — сказала Аллочка, — первая биржа была организована еще при Петре Первом, в тысяча семьсот двадцатом, кажется, году... и биржевой посредник всегда назывался в России маклером. Слово, правда, немецкого происхождения, но в русском языке существует уже почти триста лет. — Клавдия Александровна поставила какую-то торжествующую закорючку. — А вот брокер — это любой посредник, в нашем языке это слово появилось лет двадцать назад. Кстати, торговый посредник на Руси издавна назывался — маклак, производные — маклачество, маклачить... Впрочем, может быть, это просто народная этимология — от маклера.

— Мак-лак? — спросила директриса несколько даже брезгливо, приподнимая писаные полукружья бровей (по слухам, ее сын работал именно брокером), — и вместе со звучанием этого слова злорадно показалась Лене похожей на дядюшку Скруджа.

— Совершенно верно. В дореволюционных газетных объявлениях писали: «Продается дом. Маклаков просим не беспокоиться».

— Оч-чень интересно, — сказала директриса. — А почему бы вам, Алла Сергеевна, не провести несколько этимологических уроков — так сказать, в факультативном порядке? Хотя бы в старших классах, раз Елена Анатольев-

на, — ласковая улыбка, — беспокоится — впрочем, вполне справедливо — о чистоте русского языка... («Где тут логика?» — подумала Лена. Но ей было уже все равно — она готова была расцеловать легкомысленную умницу Аллочку). Ну хорошо, мы об этом еще поговорим. Всего доброго.

«Аллочке хорошо, — вдруг с завистью подумала она — с доброй завистью, то есть с сожалением, что у нее не так, но без враждебного чувства к Аллочке. — Аллочке двадцать четыре года, и у нее никого нет. Счастливая Аллочка...»

13.

...Дорога тянулась медленно, как погоня в кошмарном сне. Продавщица зевнула, не прикрывая рта, — маслено блеснули уходящие во влажную багровую темноту золотые ступеньки, — и пухлой рукой размазала по запотевшему стеклу дуговое оконце. Вязко блеснула черная в редкую искру поверхность реки. Сто семьдесят третий, постанывая, пошел под уклон — казалось, ему мучительно, через силу было любое движение: наверх, по ровной дороге, под гору... Его больное, разбитое тело забыло — в застарелой, уже неизбывной усталости, — что такое радость движения, отдыха, жизни... Он и жил уже по инерции.

Она тоже забыла. Даже... даже в любви у нее все превратилось в короткую и тоже как будто усталую судорогу. Невозможно было поверить, невозможно представить себе, что когда-то она с нетерпением, с мечтами и фантазиями, заставлявшими вздрагивать колени и загораться лицо, днем ожидала ночи. Что когда-то, в полусне жгучих до сладкой болезненности ощущений, она забывала обо всем — о жизни, о Мише, о себе, порой даже — к изумлению и стыду своему — о Саше, дарившем ей все это, — не было ничего, кроме упоительного чувства утоления, казалось, неутолимой, умоляющей о вечности жажды... Сейчас это казалось ей каким-то недостойным человека добровольным безумием. Последнее время она почти и не хотела этого, и если бы не Саша... но и Саша этого теперь почти не хотел, может быть, раз в две или три недели. И она видела — он мучается, переживает из-за этого, ложится поздно, когда она

уже спит, если же приходится лечь вместе с ней, прячет глаза, — ей жалко его, но она не знает, как сказать ему, что ей сейчас и не надо этого, что все силы отнимает поселившаяся даже не в сознании, а как будто во всем ее существе тоскливая, настойчивая тревога...

А ведь они еще молоды — молоды! — с каким как будто заново родившимся, ничуть не потерявшим за долгие годы жаром любви они и сейчас приходят друг к другу в те редкие дни, когда неожиданно блеснувшая мысль или счастливое воспоминание затеплят в бездонной ночи огонек надежды; какой вихрь полузабытых и новых чувств рождается в их объятиях, какой незнакомой в юности нежностью и теплом дышит каждое прикосновение!.. Но уже на следующий день, с чувством безвозвратной утраты — всё... как будто навсегда всё — как прощальный отблеск уходящих в морскую воду часов, которые она — десять лет назад — уронила в голубую волну с палубы крымского пароходика...

И дело тут вовсе не в бедности — хотя ей уже давно безнадежно-стыдно спрашивать уличную торговку о цене, зная наперед, что почти наверное ничего не купит, — и поэтому, если не видно ценника, она все чаще просто проходит мимо; дело тут вовсе не в бедности — Бог с ней, с колбасой, раньше они вообще не ели ее, после того как Рубинов в ЛГ описал мясорубную грязь вперемешку с крысами... Дело в том, что впереди кажется — *пустота*, природу которой она объяснить не в силах: ну не умрут же они с голоду — в конце концов, дети рождаться будут всегда, и их надо будет учить, и инженерам, после того как уголовные и секретари райкомов поделят страну, работа найдется... Тогда почему *пустота*?

Неделю назад к ним пришел тот самый Володя, старинный Сашин приятель, тихо сидевший до сих пор в своем гуманитарном академическом институте, — среднего роста, с серыми, казалось, от рождения грустными глазами, с серыми волосами и бровями енотовым домиком, с тихим и как будто виноватым — но в последнее время все чаще срывающимся визгливыми нотками — голосом, давно и тихо выпивающий, — отчего она, при всей своей симпатии к нему, и не приветствовала его частые встречи с Сашей.

Впрочем, не приветствовала про себя — сказать против Володи слово у нее не поворачивался язык: Володя в ее представлении был почти святой человек — из тех, которые — особенно в минуту душевного разногласия другого человека с собой — вызывают своей святостью раздражение. Два года назад его грубо, отвратительно жестоко оставила жена: ни слова ему не сказав — «мне было тяжело с тобой говорить», — сказала потом она, — уехала на юг отдыхать с любовником — утром ушла на работу и домой не вернулась. Прождав ее допоздна, Володя позвонил ее матери, и та, осведомленная обо всем, с давно накопившейся и, наконец, с безнаказанно — мстительно — прорвавшейся ненавистью матерой торговки к испортившему дочери жизнь интеллигенту — объявила: «А Оля уехала отдыхать». — «Как? Куда?..» — конечно, спросил Володя (он приехал к ним на следующий день, не похожий на себя — тень человека, выпил и все рассказал: они были его друзьями, кроме того, Володя был человек, у которого была гордость — но не было самолюбия...). «А вот этого я не знаю», — отрезала теща и, зная, что все уже кончено, повесила трубку. Володя не стал разменивать двухкомнатный кооператив — хотя, может быть, дело тут было не в святости, просто у него не было сил, — и переехал в однокомнатную квартиру к матери...

Так вот этот Володя приехал к ним неделю назад — и привез полуторалитровый баллон из-под импортной фруктовой воды, залитый до короткого горлышка чуть мутноватой, с оранжевой желтизной — подкрашенной стружками апельсиновых корок и пухлыми ягодами шиповника — жидкостью. Она даже не поняла, что это такое. «А это самогон, — чуть смущаясь, сказал Володя. — Надоело оплачивать пиратский акциз... Кроме того знаешь, что не отравишься. Мне знакомый врач недавно рассказывал: в больницах медицинский жаргон пополнился новым термином — «роялисты». Это те, кто отравился спиртом «Рояль»... Да ты не волнуйся, — заспешил он, увидев, что она со страхом глядит на огромную пластмассовую бутыль, думая при этом: «Полтора литра...» — Он слабый, я разбавлял — не горит».

Она... ну да не в этом дело... Так вот Володя в тот вечер сказал:

— Вы понимаете, оптимизм и пессимизм — это не просто характер восприятия человеком своей обыденной жизни, коньяк пахнет клопами или клопы коньяком. Это философские мировоззрения, взгляд на судьбу человечества в целом, признание смысла или наоборот бессмысленности жизни. И наша жизнь, хотя мы этого часто и не осознаем, определяется именно этим мировоззрением. Ну, упрощенно говоря, буддизм и родственные ему течения есть чистейшей воды пессимизм: жизнь человеческая есть страдание, хорошего в ней ничего нет, и высшая цель и благо для человека в том, чтобы даже не просто прийти к концу своей жизни, но чтобы разорвать цепь бесконечных превращений в других людей, в кошек, в собак и так далее. И навсегда уйти из этого мира — исчезнуть, раствориться в мировом разуме, перестать ощущать свое собственное «я»... А если взять, чтобы далеко не ходить, вульгарную марксистко-ленинскую философию, то это, наоборот, чисто оптимистическое мировоззрение: человечество неуклонно совершенствуется, идет пусть через огонь классовых битв, но верной дорогой к счастью, жизнь прекрасна и удивительна, коммунизм неизбежен, — то есть все будет хорошо... Хотя почему, вообще говоря, — то есть по каким объективным законам развития человечества и природы, — все должно быть хорошо? Потому что сорок лет не было войны? Но ведь если будет — а почему нет? — то она будет последней... да и не в войне дело: мировой океан загрязняется, в атмосфере накапливается углерод, разрушается озоновый слой, не сегодня-завтра потечет Антарктида, — если подумать, на земле идет пир во время чумы, человечество ведет себя как умалишенный, который смеется, стоя на краю пропасти... То есть почему мы уверены, что люди завтра не погибнут, как динозавры? Это я говорю к тому, чтобы пояснить: казалось бы бесконечно далекая от философии основная масса человечества строит тем не менее свою жизнь исключительно на оптимистической философской основе — то есть верит либо в эволюционно-исторический прогресс, либо в коммунизм, либо в могущество

справедливого и опекающего человечество Бога... Ну посудите сами: с каким настроением мы бы жили, работали, строили дома, писали статьи, учили детей — да, самое главное — рожали и воспитывали детей, если хотя бы на пятьдесят процентов были уверены, что через двадцать, пятьдесят, даже сотню лет наша земля погибнет? Ну, ковырялись бы кое-как... детей, я думаю, вообще бы не рожали. А ведь если подумать — почему нет? Я даже не беру космическую катастрофу, очередной Большой Взрыв — астрономы уверяют, что в видимой части вселенной она просчитывается, — а ядерная? Вот уж действительно пятьдесят на пятьдесят — ведь тридцать лет назад Хрущев и Кеннеди уже чуть не превратили нас всех в порошок... Но мы в это *не верим*, — во всяком случае раньше не верили, — ну, признайтесь, кто из вас — не предполагающим разумом, а испугавшимся сердцем — искренне верил в то, что все эти запасы боеголовок в один прекрасный день действительно разнесут земной шар на куски? То есть кто-то конечно верил — но долго они этой веры вынести не могли, и сейчас они кто по доброй воле в мире ином, кто в сумасшедшем доме.

Мы же всегда были уверены в том, что человечество идет к совершенству, что его жизненный путь — технический и духовный прогресс, что нас ждет не вырождение и гибель, хотя почему нет? — а гармоническое развитие и расцвет. Мы впитали это в себя в строю пионерских линеек, мы все были — прогрессистами... Причем вот что важно: я вовсе не хочу сказать, что все мы верили в коммунизм или тем более в этот наш райкомовский социализм — вовсе нет: и шутили, что капитализм загнивает и при этом чудесно пахнет, и чуть ли не с детского сада рассказывали анекдоты о пятилетке в три года, некоторые даже — кто прочитал «Гулаг» или Антонова-Овсеенку — этот социализм ненавидели... Но внутренняя вера в то, что все будет не хуже, а лучше, от этого не ослабевала! Эрудиты шепотом говорили о конвергенции двух систем, сверхрадикалы — о многопартийности, совсем уже отчаянной умственной смелости люди — о многоукладности экономики... Допущенные к государственному телу товарищи уверяли, что и так все хо-

рошо, — но стержнем у всех, кроме совсем уже мрачных депрессирующих типов, было одно: все к лучшему в этом лучшем из миров. И, вообще говоря, нас можно понять: почему нет? В семидесятые годы инакомыслящих уже не расстреливали, а скрепя сердце высылали за границу — или давали несколько лет; сам уровень наказуемости инакомыслия поднялся на заоблачную высоту — по крайней мере, анекдоты мы рассказывали первому встречному; на семинарах по экономике — спорили о преимуществах рынка и плана, — я сам помню, спорили с нашим доцентом; смотрели не «Волгу-Волгу», а «Сталкера», читали не «Далеко от Москвы», а «Мастера и Маргариту»; слушали и пели не «Широка страна моя родная», а что пожелает душа... Наконец о колбасе: в тридцатые голодали, а в семидесятые ломали голову, где достать к празднику черной икры. Жить стало лучше, жить стало веселей... другое дело, за счет чего и насколько лучше по сравнению с теми, кто гнил за железным занавесом. Но мироощущение было: ладно, пусть не совсем хорошо, пусть даже плохо, но — лучше, чем раньше, и все эти ласточки свободы — машины времени, сталкеры, мастера и маргариты — поддерживали, окрыляли наш оптимизм... Так. Что имеем теперь? То, что выяснилось, что не совсем туда шли, об этом говорить не буду; это многим было ясно и тогда, независимо от уровня понимания, верным или неверным путем вели нас товарищи, мало кто верил, что идем мы не просто не туда, не крюком, не параллельно и не в сторону — а прямо в пропасть, самое утешительное — в тупик... Вдруг выяснилось, что падали в пропасть, — в последний момент спаслись, повисли, уцепившись за брошенную валютным фондом веревку (иногда мне кажется, что дело было так: «Послушайте, что вы с этой толпой уже пять лет топчетесь на краю? Прыгайте! — а вам мы бросим веревку...»), — но! — оптимизм наш не только не умер, он даже не поколебался — расцвел: возненавидели Сталина, пожурили Никиту, посмеялись — незло — над Брежневым, — полезли наверх, налегке, сбросив — даже не просто уронив, а еще и наподдав — груз проклятого прошлого: вот она, земля обетованная, евроамериканский капитализм!

вот он, рай, нашпигованный общечеловеческими ценностями!

Вы что думаете, я такой умный? я сам думал так! Все к лучшему — а мы и раньше знали, что путь человечества — только прогресс: в средние века за безбожие сжигали на кострах — сейчас хочешь верь, хочешь не верь, хочешь верь во что хочешь; до Христа убивать было хорошо, после семнадцатого года одних хорошо, других плохо, сейчас никого нельзя; раньше ходили пешком и уборная была во дворе — сейчас полмира на колесах и сидит в теплых ватерклозетах... Нисколько не пошатнулась философская наша система — оптимизм, — еще крепче стала: еще бы — всю нефть разбазарили по дешевке, темпы роста как у первобытных охотников и собирателей, народ спился и разуверился, страна подошла к краю пропасти, зависла одной ногой, шагнула... — но бац! перестройка — спасли, оттащили. Так и должно было быть, думали мы, — ну, пошли не туда, ну, проклятые большевики, ну, несчастный народ, — но опомнились в последний момент, увидели верный путь, теперь все будет все лучше и лучше, народ ведь у нас — хороший... а как иначе? мы же с пионерского лагеря оптимисты. Каждый удар по отжившей системе — ура!.. Шестую статью еще не отменили, только предложили отменить, — у нас Струков от радости так запил, что отпуск взял на неделю. Когда Власов назвал перед всей страной КГБ преступной организацией, поверите ли, чуть не заплакал: Боже мой, думаю, неужели дожил? Помню, Афанасьев в первый раз в советской истории прошелся по Ильичу — зал заревел! — у меня тут же звонок, Андрюша Сабуров: «Слышал?!» — «Слышал!» — «Ну, я сейчас к тебе подъеду с бутылкой...» Пошли первые кооперативы, коммерческие банки, малые предприятия... уже тогда можно было сообразить, что будет к чему, — когда начальство оседлало все эти кооперативы и начало писать себе цифры с тремя нулями, — но никто не насторожился: ну и что, это ведь бывший секретарь парткома, он всегда был сволочью, что с него взять, — от личного сволочизма, как говорил Анчаров, ни один строй не гарантирует, — но вот мы выкарабкаемся из прошлого, выйдем на прямую дорогу — и ура!

Мы же оптимисты, мы с детства верили и пели, что завтра будет лучше, чем вчера, мы рожали детей, зная, что не будет войны и дети наши будут жить лучше нас — лучше! лучше! лучше! — ну покажите мне, кто не верил, и если у него есть дети, я скажу, что он — сволочь!..

Они уже много выпили — пластмассовый баллон опустел больше чем наполовину. Она сидела с ними — так было заведено, Володя сам всегда об этом просил, — и только время от времени выходила минут на пятнадцать, на полчаса — заняться неотложными делами и дать им возможность без стеснения поговорить о своих, чисто мужских делах — и отвести душу, выругаться... Ей конечно не нравилось, что они так много пьют, но она и сама выпила рюмку, хотя в первый момент ее как-то подсознательно потрясло, что Володя принес самогон! — правда, только в первый момент, потому что разум ее уже устал удивляться... — Она не знала, горит этот самогон или нет, но на вкус это была отдающая какой-то пряной гадостью водка, даже наверное крепче, чем водка, — она проглотила ее с трудом и не удержалась — поморщилась. Но сказать она им ничего не сказала — в последнее время, после ухода его жены, на Володю было жалко, даже больно смотреть (непостижима душа человеческая: с этой бабой Володя не знал ничего, кроме измен и скандалов). А останавливать Сашу, чтобы Володя пил больше его, не хотела — опять-таки жалко было Володю... будь на его месте любой другой, она конечно бы взбунтовалась. Три бутылки на двоих!..

Впрочем, завтра была суббота. Саша налил еще — пузатый баллон мягко вздрагивал, пробулькивался желтыми пузырями, — чокнулся с Володей, посмотрел на нее, выпил и закусил маринованным грибом. Володя тоже выпил и потянулся за сигаретой, не стал закусывать, — она, испытывая жалостливое материнское чувство — а Володя был старше ее, — придвинула к нему тарелку с грибами, строго сказала: «Закусывай». — «...Так вот, — продолжал Володя, закусив и закурив сигарету — «Приму», — мы все и всегда были оптимистами. Мы верили — неважно в какое: коммунистическое, социалистическое, капиталистическое, конвергер... конвергенциальное, но непременно в светлое будущее. И вот — империя рухнула, Литва, за которую мы

жизнь готовы были отдать, обрела независимость, на монетах появился двухголовый орел, новые правители провозгласили долгожданные свободы — слова, печати, предпринимательства, цен... В августе девяносто первого жизнь окончательно укрепила наш оптимизм. Мы, конечно, испугались в первый день нового года колбасы, которая стоила — убейте не помню, кажется, пятнадцать рублей, но ведь при все нашем оптимизме мы не только никогда не отрицали, но и с младых ногтей («к борьбе за дело коммунистической партии — будьте готовы!..») были уверены, что за счастье надо бороться и что на пути к светлому будущему нас ожидают не столько розы, сколько шипы... Тем более, что вожди наши — ей-богу, может быть, искренне, они ведь тоже с рождения оптимисты, ну не умнее же они нас?! — пообещали, что скоро все будет хорошо. Мы особенно и не сомневались — а как же иначе?..»

Володя налил еще водки. Каждые пять минут. Она посмотрела, прикинула — оставалось еще много больше бутылки. Впрочем, она внимательно слушала. Во-первых, она считала, что Володя не просто много знает, но и очень умен; во-вторых, ей и самой непонятно было, отчего на душе такая непроглядная ночь: ну не только же из-за того, что не хватает денег на крысобумажную колбасу, что от Речного вокзала до Планерной остался один маршрут, проклятый Сто семьдесят третий, и что в подземных переходах на каждом шагу румянятся голые груди и задницы, на которые каждый день смотрит по дороге в институт и домой ее Саша... Володя конечно, прав — оптимизм. Завтра должно быть лучше, чем вчера. Ну, если не завтра, то послезавтра, — через месяц, через год... через двадцать лет, наконец, когда дети вырастут. Иначе жить невозможно. Лучше. Так... а, действительно, почему? Потому что Ленин сказал?

— Ну, фактическую сторону того, что случилось дальше, я описывать не буду, сами знаете, — сказал Володя и тронулся было к бутылке — но, видимо, вспомнив, что он только что выпил, смутился и не просто убрал руку, но и спрятал ее под стол. — В общих чертах... как понимаю я. Вдруг оказалось, что хорошего, вообще говоря, не получилось ничего... Раньше было мало хорошего — вы меня

знаете, я в восьмидесятом перепечатанный на машинке «Гулаг» читал и вам приносил почитать, — так вот, я это специально подчеркиваю: раньше не было ничего хорошего, но сейчас — ни вот на столько не лучше. Сравнивать здесь, наверное, бесполезно, это разные вещи — как, например, где лучше жить нормальному человеку — в тюрьме или в публичном доме? — разные, но и то, и другое отвратительно. И вот сейчас я смотрю и вижу: в России — нехорошо, да и сама Россия оказалась... нехороша. Во-первых, у власти — реальной власти — стоит и еще долгие годы будет стоять — зло. Это ясно — кто сидел на собственности, то есть власти, тот и хапнул ее... а даже кто и не сидел — хапать способно только зло, а в России сейчас (а я думаю, что и во всем мире и во все времена) крупную собственность можно не заработать, а только — хапнуть... Потому и революция наша — и ведь какая революция! переход от социализма к капитализму, шутка ли! — произошла не только без физических, но и без материальных для власть имевших — тех, власть которых мы якобы свергли, — потерь: как только они, благодаря терпеливому разжевыванию Горбачева, уяснили себе, что, выражаясь высоким слогом, имеет произойти, — они все — кроме самой верхушки, там действуют другие законы и побуждения, там главное — власть, — они все стали — за! Им за семьдесят лет — в том числе и генетической памятью, накопившей недовольство родителей, — надоело трястись гостями на государственных дачах в ожидании того дня, когда их отправят на пенсию и вышвырнут вон; надоело ездить на «Волгах» того и только того цвета, который положен по рангу; надоело, покупая молчание шоферов, возить комсомолок в загородные сауны по ночам и за сотню верст; надоело срывать голос на партсобраниях, обсуждая брежневские мемуары, чтобы заслужить туристическую поездку во Францию, — во время которой им до смерти надоело жевать печенье и варить в умывальнике суп, чтобы привезти пару колготок жене и штампованный плэйер для сына. Это надоело всем, от начальника цеха до министра — что-то одному, что-то другому, — то есть всей государственной власти СССР, наружным пропуском в которую

служил партбилет в кармане. Они — не вдруг, поэтому покочевряжились сначала, — но поняли, что можно при тех же или даже меньших затратах сил получать не в три, а в тридцать три раза больше своего рабочего, что можно открыто жить с десятком экс-комсомолок, опасаясь только своей жены, что можно на каждый день завести по автомобилю другого цвета и построить дачу с музыкальным фонтаном и зеркалами на потолке, — и никто не обвинит тебя в нескромности и не доберется, как до кащеевой иглы, до твоего партбилета, потому что «проклятого партбилета» — именно так, я уверен, думали они, — в природе уже не будет...

Это — о нынешней власти, и хватит о ней. Более серьезное и потому печальное — это народ. Оказалось, что когда объявили свободу всего, народ наш в первую голову бросился не работать и зарабатывать, а воровать и торговать. А кто не бросился — значит, тому нечего украсть или он не умеет... или он святой человек, на которых Россия держится, — но таких единицы. Оказалось, что никакой свободы слова или печати народу на самом деле не нужно — то есть она нужна, но не для того, чтобы узнать запрещенное ранее по мотивам идеологическим — о чем и стоял диссидентский плач, — а для того, чтобы упиваться запрещенным по соображениям духовного здоровья, нравственности: народ набросился на разоблачения первых лет перестройки не столько из жажды познания, которая в принципе неутолима, — сколько потому, что читать о пыточных камерах ГПУ и экспериментах Гулага было интересно и страшно. Но за два года он начитался и потерял к чтению всякий интерес: люди покупают за бешеные деньги детективно-порнографическую смесь для клизмирования мозгов, а книги — то, что лежит на лотках, я не считаю за книги, это как рюмка водки до и после обеда, выпил — и голове покойно, и в животе тепло, — а книги никто не читает и поэтому не издает...

Володя быстро налил свою и Сашину рюмки и машинально ей и, не чокаясь, выпил.

— ...Тарковский надорвался и умер — зря! Он никому не нужен. Во всех кинотеатрах торжествуют бескровную

победу головоногие имбецилы, и попасть в эпоху свободы на порядочный фильм труднее, чем при Лёне на закрытый просмотр. Пресса и радио — при полной свободе слова — продались с потрохами, — даже если со всем согласен, невозможно читать: пресса семидесятых-восьмидесятых годов строго соблюдала правила игры — «мы пишем бред, вы понимаете, что это бред, мы знаем, что вы это понимаете, и надеемся, что вы не будете читать первую и третью страницы...» — но никогда не проституировала столь изощренно и изобретательно — поддерживая комариными уколами иллюзию независимости, — как это делает нынешняя в отношениях с новой властью. Церковь, в которую в первые годы повалили распаленной толпой, тоже оказалась никому не нужна... я вам больше скажу: вся — не марксистко-ленинская, а просто человеческая мораль, все нравственные устои — полетели к черту. Понятно, что если они так легко полетели, значит были слабы, но при любой нравственной слабости опорой человеку, за которую он может хотя бы иногда уцепиться, служат нравственные идеалы; и если эти, пусть малоценные для него, идеалы вовсе убрать — сказать, что они ложные, забудьте о них, — получится общество нравственного уровня Германии или России конца тридцатых годов, получится сообщество — не людей, а бактерий... И идеалы рушатся не семидесятилетней — тысячелетней давности! Христос говорил: легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие... Никогда на Руси, в культуре России не было духовным мерилом человека богатство; те люди, которых в своем многомиллионном чреве вынашивала по одному для своего спасения Русь, — Гоголь, Достоевский, Чехов, Толстой, — всегда говорили, повторяли вслед за тысячелетним русским Христом, что богатство, стяжательство, гордыня есть обман ближнего, безнравственность, зло, — и вдруг бывшие секретари обкомов в сопровождении хора рептильной прессы кричат: «Обогащайтесь!..» Христос говорил — не прелюбодействуй, смотреть на женщину с вожделением — уже грех, а сейчас стриптизерша дает миллионным тиражом интервью и сравнивает разбуженную ею полупьяную похоть с впечатлением от «Обнажен-

ной махи» и Венеры Милосской. Христос говорил — делись, отдавай последнее, — они кричат: завладевай, возвышайся, конкурируй... здоровое желание — подавить ближнего, конкуренция! Здоровое желание кого? человека или тарантула? Про «не убий» я не буду и говорить — той крови, которая льется сейчас на территории бывшего Советского Союза — старой России, не считая уголовных убийств каждые полчаса, — этой крови не стоит никакая перестройка, никакие реформы... но в газетах уже считают: Пиночет убил всего тысячу или две человек, зато в магазинах появились масло и колбаса. Мы присутствуем при рождении новой общечеловеческой ценности — колбасы! Это уже даже не другая мораль, и не другая культура — это зоологический образ жизни, этология — причем вида, поставленного в противоестественные природные условия и потому обреченного на вымирание... Это то, что происходит у нас. И возвращаясь к нашему оптимистическому мировоззрению: я не знаю, чем это кончится, но уверенности в том, что Россия будет лучше — здоровее, добрее, счастливее — жить, у меня нет. Я даже не уверен, выживет ли вообще Россия, хотя бы — и это самое безобидное — потому, что духа России нет, а сто пятьдесят миллионов плохо говорящих по-русски людей — это еще — это уже! — не Россия. Моего сорокалетнего оптимизма больше нет. Он — умер.

Они еще выпили. Саша сидел молча — и смотрел на крутившийся в пальцах спичечный коробок.

— Теперь о тех, кто и раньше на Россию не надеялся, — и о тех, кто смотрит сейчас на Россию и говорит: ничего, перемелется — мука будет... превратимся в Америку. Теперь — положа руку на сердце, о более главном — о целом мире. Здесь нас поджидал еще более тяжелый удар. Всю нашу жизнь нам показывали и рассказывали, что люди на Западе живут неправильно, нехорошо. Кто-то в это верил, кто-то нет, но когда несколько лет назад нам доказали, что в двадцатом веке мы шли по порочному, преступному даже пути, медленно убивая себя и мешая жить всему миру, — мы все, с чувством вины и готовностью научиться добру, повернулись на Запад. По нашей азиатской роже в очеред-

ной раз потекли слезы фанатичного умиления... и вот здесь свобода познания сыграла с нами презлую шутку. Она не ударила нас с одной стороны жестоким кнутом прозрения и не протянула тут же с другой сладкий пряник надежды — нет, она хлестнула нас справа и слева, наотмашь. Мы увидели, что после мастерской добросовестного реставратора преподнесенная нам картина Земли кардинально изменилась только одной, по революционной терминологии, — *левой* своей половиной: из надежды всего прогрессивного человечества мы превратились в империю зла — и это в общем справедливо и правильно, хотя многие из нас (не знаю, как нас называть, русская интеллигенция погибла, советской, как показали последние годы, в России нет — наверное, просто люди нефизического труда) об этом подозревали... Но *правая* половина полотна, то есть ставший за несколько лет сакраментальным Западный мир, ненадолго ослепив нас контрастом с нашим бетонно-серым в колючую клетку холстом, быстро поблек — как дешевые краски папаши Танги, — и из-под наспех положенных родными ремесленниками жизнеутверждающих, экспрессивных мазков выглянуло нечто, похожее на рекламу кисти старого Босха. Это, может быть, оказалось не повторением той апокалиптической картины, которая долгое время была намалевана на опущенном занавесе, но... занавес подняли — и мы увидели: лучше? хуже? все равно — отвратительно. А разве нет? На двести пятьдесят миллионов душ сто пятьдесят миллионов машин, семьдесят процентов имеют собственные дома, слон, как в бамовском анекдоте, стоит десять рублей, — а преступность растет в несколько раз быстрее роста процветающего населения. Нам говорили об этом раньше, мы не могли проверить и потому не верили, — но теперь-то мы знаем, что это не материалы съезда КПСС, а данные американской президентской комиссии. Новые олимпийские боги, гаранты сохранения общечеловеческих ценностей, — Володя налился ядом, — корпорации Фольксваген, Мицуи, Мицубиси и иже с ними ежегодно сводят по сто двадцать тысяч километров тропических лесов — почти три Московских области, — хладнокровно роют нам всем могилу: к началу двадцать первого

века тропических лесов не останется, начнется резкое потепление, Антарктида растает, уровень океана поднимется на несколько метров, затопит прибрежные города, с другой стороны — ускорится опустынивание... международный научный мир — не коммунисты — криком кричат! — не слышат капиталисты с человечьими лицами... Да зачем я это вам все говорю? Если кто-то поверил, что человеческая природа изменилась и все-таки найдется такое преступление, на которое ради стопроцентной прибыли не пойдет капиталист, — блажен, кто верует... Но дело даже не в этом — не в отдельно взятом капиталисте. Дело в том, что западная цивилизация, достигнув того изобилия, о котором как о вершине счастья мечтают у нас, полным ходом идет в тупик. В нравственный, в духовный тупик — это не я говорю, это они сами сейчас говорят, на своем симпозиуме в Ватикане. Человечество стоит перед угрозой нравственного перерождения — читай: вырождения, «пере» — для подслащивания пилюли: у тех общечеловеческих ценностей, которые мы надеялись там найти, уже давно появился страшный и успешно наступающий враг — массовая антикультура. Из ее клоаки вылез и внедряется в перекормленное сознание неизвестный в истории тип антигероя, попирающего все без исключения христианские заповеди: он и убивает на каждом шагу, и прелюбодействует с неутомимостью хряка, и врет без зазрения совести, и все время стремится что-то у кого-то отнять... и даже — вот едва уловимый, но потрясающий штрих — вернее, его отсутствие; авторы, быть может, на подсознательном уровне, понимают, что это будет как на корове седло, — даже родителей у этого нечеловекообразного по ходу действия никогда не бывает... Похоть и месть — вот два определяющих его жизненный путь мотива. И *неизвестный в истории* — сказано не ради красного словца: возьмите литературу за две тысячи лет, причем героическую, массовую литературу — для той массы, которая тогда умела читать: древнегреческие поэмы, рыцарские романы средних веков, романтиков нового времени — Купера, Скотта... казалось бы, тоже колют, рубят, режут, — но вы почитайте! да девяносто процентов времени герой там молится Богу или

богам, рассуждает о нравственности своих и чужих поступков и обливается слезами под балконом своей — единственной! — возлюбленной...

Короче, там, на Западе — тоже свинство, только в отличие от нас там не голодает и не мучается комплексом неполноценности, а чревонеистовствует сытая, опрятная и очень уверенная в себе свинья. Я тупица, дурак, что не понял этого сразу: если человек с седла пересел за руль — станет ли он от этого лучше?..

Володя уже пьяно посмотрел в плачущее снегом окно и прикурил сигарету от сигареты.

— О третьем мире... я и не говорю: четыре миллиона каждый год умирает от голода, миллиард голодает — и это в то самое время, когда в Англии сплошь и рядом закапывают в землю новорожденных бычков; преступные режимы, которым пороха доверить нельзя, разрабатывают ядерное оружие, — и все эти черно-желтые миллиарды люто — до жажды убийства — ненавидят благоденствующую за их счет осьмушку человечества... Я понимаю, что все свалил в одну кучу, в огороде бузина, а в Киеве дядька, — но вы чувствуете, какая получилась картина мира? Самое время переносить на нее оставшийся оптимизм... И вот теперь я спрошу: Лена, ты уверена, что, распростившись с одним злом, Россия идет к добру?

— Нет, — сказала она. Уж в этом она не просто была не уверена — она не верила в это.

— А весь мир?

— Я не знаю... — Отчего-то — быть может, все обострил выпитый самогон — ей стало страшно.

— Ну, так что?

— Я не уверена в светлом будущем человечества, — послушно сказала она. — Я больше не оптимистка.

— Ну вот, — шумно вздохнул Володя и всколыхнул бутылку. В ней оставалось еще не менее трети. — А ты говоришь... Ну, давайте еще... вонзим точию по единой...

Она посидела еще немного и ушла спать. Ребята, конечно, напились — полтора литра на двоих; засыпая, она слышала задушенный дверью Володин срывающийся сип: «Не трожьте Россию, сволочи!.. (Именно так — «не трожьте».) Какая

она ни есть, а моя! Не трожьте!..» Она еще устало, в полусне удивилась: в прежние, застойные времена Володя иначе, чем «тюрьма народов», Россию не называл. И в этой мелочи она ярко в очередной раз осознала: как много и неожиданно для них в этой жизни переменилось...

14.

Сто семьдесят третий, кряхтя, подошел к кольцевой — остановился, задыхаясь, у поворота, пережидая трассирующие в обе стороны вереницы хвостатых огней. Огни со свистом проносились мимо, оставляя на мутных стеклах смазанные радужные следы... и вдруг она ясно подумала: пролетает, уходит жизнь, горько и страшно, — и больше никогда не вернется!..

Дома, на книжной полке, перед сине-зеленой рубчатой лентой собрания Виктора Гюго, стояла ее фотография семнадцатилетней давности — только познакомилась с Сашей: чистый и светлый, без единой припухлости или морщинки, овал лица — казалось, ретушированного, кожа не может быть такой гладкой; губы лукавой игрушечной треуголкой, широкие брови крыльями — выщипывала, дура, не знала, что будет... старой, — а несколько лет спустя — еще обрадовалась! — они почему-то плохо стали расти; глаза... глаза широко — ничего не боясь — раскрытые, с ласковым отблеском как будто только что отзвучавшего смеха, с неистребимыми даже на фотографии золотистыми точками в глубине бархатистых радужек, — опушенные перьями длинных ресниц, невидимо тронутых краской... — как она любила эту фотографию, как она сейчас любила и жалела себя на ней!..

На днях ей пришла в голову дурацкая, робкая, в глубине души самоуверенно надеющаяся — это ее и убило — мысль: дома никого не было, она разделась до трусов и встала перед узким высоким зеркалом, с двумя тумбочками с резными карнизами по углам, — мамино зеркало, мама и с детства она вслед за ней называла его «туалетом»; она смотрела на себя, в первую минуту прищурившись от инстинктивного страха, и так, прищурившись, осталась довольна собой, — несколько секунд поборолась с трусли-

вым желанием отойти и одеться — и, наконец решившись, собрала все свое мужество и широко открыла глаза... Зеркало как будто ее ударило. Боже мой. Боже, Боже мой... Замирающим взглядом она скользила по себе сверху вниз — веки как будто тянула друг к другу умоляющая, испуганная сила. На книжной полке в правом углу лучистым пятном расплывалась старая фотография. Боже мой... Шею окольцовывала темная прерывистая морщина. Глубокая послеродовая складка пересекала живот. Колени — ее колени! — были похожи без колготок на две кричаще не симметричные опухоли. Груди с потерявшими форму сосками устало смотрели вниз... Она вспомнила интервью со стриптизершей в бульварной газете: «подложенный под грудь карандаш должен упасть». Карандаш... Линейчатый свет от каскадной люстры обливал ее одинокую фигуру полосатой мертвенной желтизной. Она решилась — стыдясь перед собой за себя, — спустила трусы до колен, посмотрела на — показалось ей, порыжевшие, раньше были темнее, и даже как будто развившиеся — волосы, потом повернулась спиной... этого не могло быть, об этом она не подозревала, — она бросилась к туалету, выхватила из ящика зеркало, испуганно и нетерпеливо задрожавшей ногой сорвала трусы, — повернулась спиной к окну и поднесла зеркало к ягодице... ужаснулась так, что лицу стало жарко, — и после этого — на душе обреченно спокойно: ягодицы были рыхлыми, чуть не ноздреватыми внизу — как Мишина детская греческая губка, — она не сразу восприняла это на себе, но потом вспомнила, как видела это на пляже у других, — бросила зеркало на софу, рискуя промахнуться и разбить — страшная примета, — и медленно, надеясь никогда больше не встать, опустилась на стул. В голове не было ни одной мысли — потом неохотно, вяло всплыло воспоминание: Наташа говорила, что надо сидеть в тазу с соленой водой — кожа подтягивается... Сидеть в тазу. Господи. Устало — и почти равнодушно — подумала: теперь днем — никогда. И к лету другой купальник...

Сто семьдесят третий повернул с кольцевой направо — к умирающему островку бутаковских садов, окруженных

россыпью городских тлеющих углей. Черная осень. Она вспомнила облетевший липовый парк напротив метро «Аэропорт», двадцать лет назад, — стволы, как погасшие черные свечи на медном блюде. Каждый месяц тогда был неповторимо красив — даже ноябрь, похрустывающий первым нетающим, сахарным снегом. Двадцать лет пронеслось — тогда бы она не поверила, что их не заметит. Мише завтра четырнадцать... В ней поднялась такая любовь — нежность и жалость — к сыну, что задрожали глаза. В понедельник она спросила его, заранее подавленная подсчетом предстоящих расходов: «Кого ты собираешься пригласить?» Миша поднял на нее ореховые бархатные глаза — ее глаза двадцать лет назад — и небрежно сказал: «Никого. Я еще не так стар, чтобы отмечать юбилеи». Она стала его уговаривать — искренне, даже с ожесточением, его неожиданный отказ всю ее виновато перевернул, — но сын стоял на своем, она его не убедила, хотя под конец чуть не плакала — это уже нужно было и ей... Почему он отказался — Боже мой, неужели постеснялся стола? Раньше все столы были на одно лицо — а сейчас на дне рождения у Димы Сморчкова детей угощали киви... Конечно, она купила торт — какую-то кооперативную дрянь, других нет, наверное, с химическими красителями, с надписью «ТОО» на дряблой картонной коробке — как красная тряпка на быка, действовала на нее эта кричащая на каждом углу аббревиатура... Ну, ничего, мой мальчик, ничего. Когда-нибудь и это кончится.

15.

Разрывая тягостную цепь воспоминаний, она повернула голову — и мягко натолкнулась глазами на незнакомые, смотревшие на нее глаза.

В середине салона стоял мужчина — и смотрел на нее.

Она не успела отвести взгляд — он отвел первым. Ему было лет сорок, может быть сорок пять — мешала велюровая синяя шляпа, скрывавшая волосы, — впрочем, оставлявшая гладкие, не тронутые сединою виски. Она задержалась на нем на мгновение — ведь он смотрел на нее, и

это смутило и почти взволновало ее — и почувствовала физическое, инстинктивное желание поправить прическу. Но почти сразу же это ощущение-мысль — что на нее смотрел молодой («интересный», сказала бы мама) мужчина, затянула болотом лишь на миг отстранившаяся жизнь, — она вспомнила вдруг сегодняшнее замечание директрисы: «В третьем «А» безобразная дисциплина. Дети как будто спустились с гор!» — и, переживая, вернулась в слепое окно. Сто семьдесят третий огибал умирающие сады — за окном ничего не было видно.

Оставалось еще самое большее десять минут, и в ней, разбуженное надеждой, вспыхнуло нетерпение. Жизнь казалась непрерывной цепью физического и душевного насилия над собой, но после каждого пройденного звена дарила хотя и короткую, но передышку. Еще раз, два, три... четвертая остановка. Дождь вдруг усилился, огромной кошкой зацарапался в гулкую крышу. Она машинально взглянула вперед — не потому, что там можно было что-то увидеть, а потому, что в том направлении был ее дом.

Он — опять смотрел на нее.

И опять она не успела отвести взгляд — он легко и плавно отвел его первым, и этим скользящим движением как будто погладил ее по лицу. У нее вдруг сбилось дыхание, и щекам стало жарко; она незаметно, медленно разгибая отдыхавшую правую ногу, выпрямилась и, осторожно перебирая пальцами левой руки, пауком вцепившейся в пластмассовую веревку, собрала их в небрежную изящную кисть. Голову чуть направо... чуть-чуть — левый полупрофиль всегда ей нравился больше. Все эти движения она проделала почти механически, а когда осознала их, в первый момент растерялась и удивилась себе — и рассердилась на себя: «Оптимизм, пессимизм, как жить дальше... Немного же тебе надо!» Но душа ее счастливо улыбалась — хотя разум как будто неприязненно отстранился от души. Она вдруг поняла, что уже давно — казалось, очень давно — незнакомые люди — и знакомые тоже! — на нее не смотрели *так*, — оживившим взглядом вдруг выделив ее из толпы, уходя и вновь возвращаясь к ней, с бескорыстными — перед расставанием навсегда — интересом и даже нежно-

стью... — не смотрели так давно, что она уже забыла об этом — что может такое быть... Она всегда была верна мужу, без усилия над собой: наверное, она была так воспитана — матерью, книгами, в несравненно меньшей степени — жизнью других людей, в которой она видела мало верности и больше привычки, чем настоящей любви; измена была для нее в первую очередь ложь, даже унижение, тяжкое оскорбление, нанесенное близкому человеку, это был бы для него не просто удар, но такой удар, от которого он бы не смог защититься, был беззащитен, — и потому после этого, думала она, она почувствовала бы отвращение к самой себе, как если бы обидела ребенка, — и неизлечимое глухое отчаяние, как при воспоминании о зле, нанесенном уже умершему старику, которое невозможно исправить... Она была Саше верной женой — хотя, конечно, всякие мысли ее посещали. Одна такая мысль — оставившая в душе тревожный, немного виноватый осадок, — пришла к ней полгода назад. Голощекина забыла на парте тетрадь, следующим уроком у третьего «А» была физкультура — она взяла эту тетрадь и спустилась в спортивный зал; дети еще раздевались, зал был гулок и пуст — только в дальнем углу, в окружении нескольких уже переодевшихся спичечноногих мальчишек, висел на турнике физкультурник Николай Николаевич, в темно-синем с лампасами спортивном костюме, — и раз за разом, плавно, казалось, почти без усилий подтягивался — как будто его завели; она увидела его загорелые, мускулистые, черноволосые запястья, набухший атласными жилами столб его шеи, плавно переходившей в завитую крупными блестящими кольцами голову, его красиво вылепленные, как будто ласково обхватившие отполированную перекладину руки, — и вдруг подумала, что было бы, если бы он этими руками ее обнял... взметнувшимся языком пламени — захотела, почувствовала — обнял за бедра: вся вспыхнула — загорелось лицо — и быстро прошла в раздевалку... Мысли случались всякие, но не было ничего — если не считать того случая несколько лет назад, когда они накануне восьмого марта собрались в учительской, немножко выпили и уже собирались разойтись по домам — оттаявшие друг к другу, размягченные

непривычной близостью, радостно удивленные приоткрывшимися друг в друге обыденными, домашними, странно общими житейскими черточками: директриса Валерия Николаевна, оказывается, умела печь пироги и принесла шарлотту, завуч Ленина Константиновна поставила банку собственноручных соленых грибов — ну не мог разум понять и принять, что эта сухая, по-мужски стриженная, с улыбкой Железного Дровосека женщина, вместе со своим никогда ими не виденным и оттого космически загадочным (как может мужчина — жить с такой женщиной?..) мужем — способна, как они с Сашей, пойти по грибы, — и при этом будет в брюках и в сапогах, поношенной куртке и вязаной шапочке с детским помпоном — или даже в завязанном вокруг шеи — по-деревенски — платке; казалось, тут ничего не было странного, но сознание упрямо видело ее вышагивающей по лесу в своем темно-синем с тонкой белой оторочкой костюме — казалось, не менявшемся много лет, хотя костюмы, конечно, менялись — перед этим был посветлее и с поясом, еще раньше — без оторочки, — просто она своим массивным каменным ликом подавляла любой костюм... Да что директриса с завучем, если даже партизанка Клавдия Александровна, испекшая — уму непостижимо — легкомысленные, игрушечные безе, — рассказала вдруг анекдот о муже, вернувшемся из командировки, — и первая залилась так, что с физичкой Валентиной Сергеевной — наверное, от неожиданности — случилась веселая истерика... За столом были и мужчины, за которыми ухаживали дружно, трогательно, тянулись даже и с другого конца стола: физрук Николай Николаевич, необычный и даже красивый в темно-сером костюме и сером галстуке, Петр Ильич, трудовик, пятидесятилетний невысокий плотный мужчина с красным, как сырая говядина, хитроватым лицом, человек поведения скромного, но очень уверенный в себе — он уже много лет ежегодно выезжал со старшеклассниками в природоохранные экспедиции, спасал каких-то муравьев, о нем писали в журналах и его знали не то что в роно — в гороно... и военрук Иван Дмитрич Покатило — фронтовик, с прищуренным от контузии правым глазом, в кителе с погонами майора и с почти квад-

ратной — странно большой для его тихого, стеснительного, даже как будто неуверенного в себе нрава — колодкой наград на груди. Мужчины освободились сегодня рано, Николай Николаевич вторым, а Петр Ильич третьим уроком, а у Ивана Дмитрича и вовсе было сегодня окно и пришел он к столу, наверное, восприняв как приказ вчерашнее напоминание директрисы, — и уже успели выпить по случаю праздника, видимо, в кабинете труда: сколько раз она сегодня ни проходила мимо него, у дверей всегда стоял кто-нибудь из троих и осторожно выстукивал в ритме хоккейных аплодисментов: тук! тук! тук-тук-тук! тук-тук-тук-тук! тук-тук!.. После этого двухчасового застолья — (воздух над которым, умиротворенно согретый принесенным в коробках и баночках домашним теплом, ближе к концу нет-нет да и сгущался тучами старых обид и даже — впрочем, едва уловимо — посверкивал молниями), — когда она поднималась в учительскую из директорского кабинета, куда помогала относить чайный сервиз, на лестнице ей повстречался Николай Николаевич — с доброжелательным, как обычно при встречах с ней (он был простой и, наверное, добрый человек, если при своем здоровье и энергии возился за нищенскую зарплату с детьми), и вдруг смутившимся и даже как будто напрягшимся лицом... и когда она, коротко улыбнувшись (всегда помнила, сторожила свои неосторожные мысли о нем, и потому была с ним немного суха), проходила мимо него, — неожиданно взял ее за локоть и быстро — как клюнул — поцеловал... Она почувствовала волнующе-незнакомый рисунок губ, услышала незнакомый запах — вернее, отсутствие привычного (родного! — вспыхнуло укоризной в мозгу) табачного запаха — и все-таки больше всего удивилась — но не рассердилась, — разумом уже потому, что по своей быстротечной невинности и спокойному, только чуть смутившемуся — не «задышливому», как сказала бы Мила, — выражению при этом его лица это не столько был поцелуй, сколько признание — в том, что она ему нравится, — и сказала твердо, без тени колебания — как отвечая таблицу умножения, — глядя в его опустившиеся глаза, впрочем смягчая голос: «А вот это, Николай Николаевич, уже лишнее». Эта мягкость его

ободрила — он улыбнулся с оттенком детской проказы, удивительно шедшей его сильному и твердому лицу, — и сказал: «Извините...» И упруго побежал вниз по ступенькам...

Сто семьдесят третий, тяжело дыша, поднялся на мост; в черных окнах рябила расплывающимися огнями река кольцевой дороги. Она чуть повернула голову — к тому, кто смотрел на нее, повести только зрачками показалось ей нарочито — и прямо встретила его взгляд. Глаза были серые с голубым, окаймленные тенью длинных ресниц, она как будто почувствовала их осторожное, бережное прикосновение. Сердце ее застучало — испугав и смутив ее, само по себе. Еще никто и никогда так на нее не смотрел. Она видела только эти глаза, все остальное смутно — лицо подчинялось им, почти незаметными и незначащими были прямой тонкий нос, крепко сжатые — но по-доброму, с чуть опущенными — что-то переживающими — уголками губ, матовая голубизна по-вечернему заросшего точками подбородка... Ее глаза заколебались — перехватило дыхание, тревожно пристукнул носок не видимого никому правого сапога, — глаза скользнули мимо — недалеко, остановившись на едва уловимом расстоянии от теплых лучей его глаз, — уперлись, почти не видя — улавливая трепещущим краем зрачка ласковый луч, — во что-то смутное, мясистое, красное, наползающее тройным подбородком на широкий — в ладонь — узел кричащего галстука... «Ну, что... что?..» — прошептала она про себя. Незнакомое, обессиливающее чувство овладело ею, как будто она впервые в жизни — не принадлежала себе. — «Ну что вы... что *ты* смотришь?..» Сто семьдесят третий в изнеможении заурчал, одолев подъем, — ей послышалось в плачущем переборе мотора: «Туманом... сладким... веяло....» В груди шевельнулась светлая, нежностью и печалью истаивающая пустота. Как давно, как счастливо это было — солнце, туманы, дожди — летние рассыпчатые дожди, после которых дышали росным обжигающим ароматом ветки старых черемух; майское утро с золотыми брызгами на подоконнике, майский вечер в лиловых кистях сирени, стук высоченных каблуков по асфальту, торопивших, самоубий-

ственно подгонявших жизнь, плеск загорелых коленей под лентой чудовищной мини-юбки, — глаза встречающие, уходящие навсегда, возвращающиеся к ней, — молодость, молодость, молодость!.. Какая была прекрасная, долгая молодость — смеялась бегущим годам в лицо, казалась навеки! Она против воли своей тронула снова глаза — он почувствовал это и несмелой улыбкой глаз встретил ее — ласково, чуть смущенно проник в ее глубину, надеясь и радуясь, что ей хорошо, волнуясь, забыв о себе, хорошо ли ей, — она не выдержала, ускользнула опять — отступила... Но глаза оставались с ней, она видела их перед собой — в этих глазах оживали, увлекали ее и его за собой далекие, незнакомым счастьем по-новому осветившиеся картины: Каменный мост над Москвой-рекой, убаюканный осенью парк Речного вокзала, улица Горького в струящемся калейдоскопе платьев и лиц, ялтинская набережная, белая от полуденного солнца, серебряная с узорчатой чернью стена новогорских берез, лазурная мягкая грудь уснувшего моря...

Они стояли рядом, не замечая разделяющих их десятков безликих голов, — встречались, коротко прикасаясь друг к другу, как на волнах случайного вальса, — расходились, уже переживая разлуку, — вновь нерешительно, сомневаясь, искали глазами друг друга... Ах, какая могла быть жизнь!.. Глаза дрогнули, засветились вопросом, ожиданием, надеждой — освобождая от воли и силы, увлекая в волшебный, вечно юный, скрытый от жизни мир, обещая неизведанное счастье, незнакомое — сладкое — горе, оставшуюся недоступной — ненайденной, невостребованной — любовь... Анна Герман пела хрустальным голосом в волнующейся ожиданием ответа, затаившей дыхание тишине; звали глаза — уставшие без нее, страдающие от разлуки с ней, поверившие в нее, теряющие терпение от долгого ожидания, — чуть удивленные, что она не идет, почти счастливые от уверенности, что она придет, готовые ко всему ради нее, — родные...

Сто семьдесят третий ударило брюхом — голос Анны разбился, хрустнули под колесами голубые осколки. Она выпрямилась, вся дрожа. «Планерная, двадцать шесть!» — рявкнуло с высоты, разрывая тишину в черные клочья. Ее

остановка! Глаза растерялись, плеснули волной испуганной нежности; она бросилась к ним, сердце ее кричало... Сто семьдесят третий заскрежетал тормозами, как споткнувшаяся на невыдернутом гвозде пила...

Все кончено. Кончена жизнь! Не будет рассветов, закатов, сумерек, не будет летнего смеющегося дождя и хрустящего под их идущими рядом шагами снега, не будет скрипа подъездных дверей, открывающих дорогу в их дом, не будет молчаливых прощаний и задыхающихся встреч — не будет ничего, чего не было и уже никогда не будет... Глаза отпрянули, неверяще вскрикнув в нахлынувших сумерках зыбкого, как трясина, салона — она моргнула — обреченно, не таясь, скривившись лицом, — горячая капля обожгла задрожавшую щеку...

Сто семьдесят третий остановился, как налетевший на стену бык. Жизнь ушла, впереди холодная, бесчувственная, неподвижная как болото, бесконечно долгая старость...

Ядовито-розовое пальто, раздвигая серый туман, толчками поплыло к выходу. Будь ты проклята, жизнь! Ты должна была знать, что все так быстро и бесполезно закончится, — ты меня обманула!.. Ступеньки грохотали под тяжестью густо валившихся ног. Она вдруг почувствовала, как что-то настойчиво, грубо стеснило локоть правой руки. Что тебе еще надо, жизнь?! Она резко обернулась. Незнакомый Саша с серым от вошедшей в автобус ночи лицом тянул ее за рукав. На пороге стояла дождевая стена — стена, за которой все было кончено. Саша протянул руку за тортом — застарело, безжизненно улыбаясь.

— Лена?..

Она беспомощно оглянулась. Глаз больше не было — они покинули ее, они навсегда ушли. Она рванула руку так, что хрустнула, переламываясь, разрезная коробка.

— Оставь!.. Я сама!

И прыгнула, не жалея сапог, в набежавшую вязкими чернилами лужу.

Москва, 1993

МИР, В КОТОРОМ НАДО ЖДАТЬ

На «Поплавке»

Как ты была бессильна и красива
Среди разбушевавшейся воды,
На «Поплавке», в последний час разлива,
Когда весна уже ломала льды!

— Не плачь, еще чего-нибудь добьемся!
— Чего? Дипломов? Денег? Райских роз?
— Не мне тебя спасать. Пошли напьемся.
— Да, но учти: я буду пить всерьез.

И ты пила, до одури, до рвоты,
Бессильной бранью подавляя плач, —
Так пьют врачи, не спасшие кого-то,
И те, кому уже не нужен врач.

А ветер выл, гасил нам сигареты,
Швырял окурки в черное окно,
Вычерпывал ковшами воды Леты,
Под желтым светом обнажая дно.

Алла ШАРАПОВА — родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Подборки стихов публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Смена», «Очарованный странник». В издательстве «Аргус» готовится сборник стихов. Переводила П.-Б. Шелли, Т. Мура, У.-Б. Йейтса, Д. Уолкотта, Н. Ферлина, Б. Бергмана и других англоязычных и скандинавских поэтов. Автор перевода «Пер Гюнта» Г. Ибсена. Живет в Москве.

Такому б ветру разносить устои,
Расшатывать земное естество —
А он из люков выплеснет помои
И не изменит в мире ничего.

Как будто нет иного дела бурям,
Как сбрасывать в бурлящий водоем
То, что мы курим, то, зачем мы курим,
Тех, с кем мы пьем, тех, за кого мы пьем...

И в ту же круговерть мы взяты сами.
Ты шла по трапу, белая как мел,
Ребенок с подведенными глазами
С нездешней болью на меня глядел.

А ветер хлынет, бросится, прохватит,
Набросит ночь на порт пяти морей,
Растреплет флаги. Успокойся, хватит —
Ты маленький, ты слаб для наших дней.

* * *

Мне голос был из буйного мерцанья,
Осыпавшего сумрак заоконья:
«Не выдержит природа созерцанья,
Как не выдерживала беззаконья.

Чем ярче звезды, тем кровавей зори...
Взгляни: они уже не те мерила.
Не чистота и не печаль в их взоре —
Одна всеразоряющая сила.

Они давно уж не зовут к покою,
Не стерегут всеобщего закона.
Взгляни, какой бестрепетной рукою
Прошил Стрелец рубаху Ориона.

И обнажилась грудь Кассиопеи:
«Возьми меня, Кентавр, — ведь я прекрасна!»
Всех заблуждений, может быть, глупее
Считать, что твердь гармонии причастна.

В полях широких истлевают злаки
И гнев наполнил чаши до мениска,
Пока ты, сидя, превращаешь в знаки
Комочек мышц, задуманный для риска...»

Я собрала в душе остаток веры,
Дом наполнялся шорохом мышиным,
Но луч упал на желтые портьеры,
И все исчезло с криком петушиным.

Куропаты

За городскую вырвавшись черту
И надышавшись воздухом медовым,
Останешься пожить на всем готовом,
А встретишь горе, слезы, нищету...

— Нет, не Тетерева, а... Куропаты!

И, торс подняв от черенка лопаты,
На клок брезента землекоп кладет
Планшетку мытаря и крест игумна.

Но сеятеля нив, чью кровь и пот
В себя вобрали золотые гумна,
Не отличить от городских господ,
Что были образованны, безумны,
Сверхчеловечны... Рыжий мак расцвел
В колосьях серых... Верно, в этой шири
Есть место всем. Учась в начальном мире,
Мы склеены то льдом, то медом пчел,
Но беден сердцем тот, кто не учел,
Что в высший мир экзамен держат дети,
Где, как в бору полдневном каждый ствол,
Душа стоит в своем отдельном свете
И ты один становишься в ответе
За общий стыд. Во все века гоним

Возвысивший за правду властный голос,
Но в мире том как равный будет с ним
Мальчонка, со стерни поднявший колос,
И так и не донесший до стола.

Все глубже лемех вспарывает глину.
Ребячья кость упала в домовину.
Над сладким венчиком жужжит пчела.

Плач безвыходности

Отдайте мне три золотые осени,
Косарей на безумном лугу,
Погорельца и сеятеля,
Глашатая солнца и светлого скальда,
Пилигрима и эллина,
Флейтиста и капитана,
Свободный парус
И легкую пену моря.

Воронежская ночь

В граде Воронеже с кошкой-зимой
Всласть мы хворали разлукой-чумой.

Я все гадала: возврат? невозврат?
Кошка-зима повторяла: навряд.

Знала же я, что в конце декабря
Мне отдадут твою тень лагеря.

Не говори: нехорош, не одет —
Я же умею сквозь тело глядеть.

Тень водокачки пусть смоет с ресниц
Сажу пожаров и пыль колесниц.

Я и сама уже на волоске —
Хилая тень на приречном песке,

Вся на бегу, на кругу, на моту —
Милостив Бог, что послал хромоту,

Я б измотала себя и сожгла...
Помнишь, как ты подарил мне щегла?

Черного с желтым, как месяц в смоле?
Не было птицы мне этой милей.

Но отпустила, чтоб смерть в нем избыть,
Чтобы нам вечно друг друга любить.

Скажут: свобода его без креста
И не от мира его красота —

Он же щегол, не напомнит орла —
Все-таки царская дочь я была.

Кто меня вклеит в парадный альбом
С нищим горбом и с простреленным лбом?

Правда — щегол. Но какой был щегол!
Пушкинский был ему впору глагол,

И в удалую словесную даль
Выдал ему подорожную Даль!

За многодонную флейту твою
Я проворонила место в Раю,

Кошка-зима увела тебя в ночь
За хромоножку, за царскую дочь!

Только с небес долетал сюда свист:
— Умер вчера окаянный флейтист!

Только волчиха провыла чуть свет:
— Умер вчера неизвестный поэт!

* * *

Сомнительный и лживый идеал

Прав, кто сказал: любить его не надо.
Я знаю: он, когда-то бывший всем,
Посланник звезд, властитель многих дум,
Иным любовник грубый и хмельной,
А мне простой и легкий покровитель,
Он дружества лишил меня, родства,
Увел из круга тружеников мирных,
Все слезы отнял, кроме слез обиды,
И опрокинул в прошлое мечты.
Я не должна любить его. Зачем же
Я все еще люблю?..

* * *

Вы помните? Завтра
Без четверти в два,
На бывшей Мясницкой,
У старого льва,

Подальше Почтамта,
На спуске крутом,
У каменной арки,
Где лев под щитом.

Я, право, забыла,
Откуда он взят,
И сколько то было
Столетий назад.

Иронией странной
Прищурился взор,
Как будто прочел он
Себе приговор.

И, зная, что тысячи
Бедствий и смут,
Прыжков и метаний
Его не спасут,

Он принял решенье,
Замолк и застыл
Во всем напряженье
Божественных сил.

Когорта машин
У Почтамта трещит —
И каменный лев
Выставляет свой щит.

Осыпана снегом
Его голова...
Я в Эрфурте знала
Такого же льва;

Я видела строгий,
Изысканный Львов
Под властью таких же
Смеющихся львов;

Вкруг Черного моря,
Вдоль желтой Невы
Застыли на страже
Гранитные львы.

Хоть редкая сила
Бывает святой,
Мечта наделила
Тех львов добротой.

И заняли мир
Простодушные львы,
И львиную долю
Московской любви

Забрал у меня
Этот каменный дом
На Кирова, в арке,
Где лев под щитом.

Через кольцо продергивая локон
И путая в сознанье времена,
Ты ждешь его, и нет на свете окон,
Горящих дольше твоего окна.

Спят корабли у маленькой Итаки,
И маяки укачивает бриз.
Плывут года. Уже гремят атаки
На островах, где побывал Улисс.

У стен Мадрита, у развалин Трои
И в желтых руслах пересохших рек
Под белым солнцем тихо спят герои —
Им тоже снится твой спокойный смех.

И те, кого в объятья принял воздух, —
Они сгорят в заоблачном огне,
И упадут, и превратятся в звезды,
И нежно вспыхнут у тебя в окне,

И озарят рассыпанные пряди,
И пряжи недопряденную прядь,
И город, отразившийся во взгляде,
И гордый мир, в котором надо ждать.

ДВА НОСТАЛЬГИЧЕСКИХ РАССКАЗА

1. ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК

Небольшая делегация молодых московских писателей по командировке ЦК комсомола прибыла в большой сибирский город. Нас встречал местный комсомольский вожак, крепкий молодец с добродушными плутоватыми глазами. Он был похож на замаскированного мастера каратэ.

Он отвез нас в местную гостиницу, но, увы, нам велели подождать, пока освободятся номера. Свободных мест не было. Помощники вожака что-то напутали, и нам не заказали номера.

Был вечер. Мы уныло ждали, когда выедут другие постояльцы. Но они не выезжали, и уже некоторые командировочные, почему-то неизменно в лиловых кальсонах, выходили из своих номеров и шлепали в единственную на этаже уборную. Время тянулось и тянулось.

— Я сейчас позвоню в одно место, — вдруг сказал комсомольский вожак и сверкнул своими плутоватыми глазами. — Или пан или пропал.

Он решительно подошел к телефону, висевшему на стене, набрал номер и стал с кем-то разговаривать. Когда

Фазиль ИСКАНДЕР — родился в 1929 г. в г. Сухуми. Окончил Литературный институт (1954). Автор многих книг поэзии и прозы, романа «Сандро из Чегема». Лауреат нескольких отечественных и зарубежных премий. Член редколегии и постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

его соединили, глаза его стали излучать мягкий блеск, а голос заурчал.

— Делегация ЦК комсомола, — урчал он, — неудобно, люди устали, а номеров нет.

Потом он некоторое время говорил про какой-то таинственный терем-теремок. Было странно слышать это словцо из детских сказок, которое произносилось без всякого подобия улыбки.

— Спасибо, спасибо, Марья Дмитриевна, — прощаясь, сказал он, наконец, низко склонив голову к трубке, словно пытаясь поцеловать далекую женскую руку.

Он возвращался к нам от телефонной трубки, как мастер каратэ, только что выигравший трудный бой.

— Сейчас, — сказал он загадочно, — поедем в одно местечко. Там перекусим и там вы переночуете.

Он вынул платок и вытер вспотевшее лицо. Видно, не легко ему дался этот разговор, но он был доволен результатом.

— Пошли отсюда, — не без брезгливости сказал он, и мы вышли из гостиницы. А на улице холодина, метель.

— Сейчас придут машины, — успокоил нас неунывающий крепыш.

Знаем это ваше сейчас, думал я, дрожа от холода и отворачиваясь от ветра. Про гостиничные номера он тоже говорил: — Сейчас! Сейчас! — а мы прождали часа три, так ничего и не дождавшись.

Все это время он неутомимо расспрашивал одного нашего поэта, работавшего в комсомольском журнале. Он расспрашивал о смещениях и перемещениях кадров в аппарате ЦК комсомола, сладострастно выслушивал новости далекой аппаратной жизни.

На этот раз мы прождали минут пять, хотя и успели за это время основательно продрогнуть. Лихо подкатили две «Волги», и нас повезли куда-то. Шоферы были радостно возбуждены. Наш, во всяком случае. Машины ехали быстро, резко и неожиданно сворачивая в какие-то переулки, выезжая из них, снова сворачивая, словно стараясь сделать неведомый нам город еще более неведомым, словно заметая следы, и без того заметенные метелью.

Наш шофер время от времени озирался на нас, как бы дивясь чуду несоответствия наших лиц нашему маршруту. Это чудо явно вдохновляло его для собственных будущих надобностей. И я заметил, что он имеет отдаленное сходство с нашим вожаком. Так сказать, недошлифованный алмаз.

Наконец, машины резко затормозили. Мы с чемоданами стали вылезать.

— Саша, заедешь за мной через два часа, — сказал наш провожатый шоферу.

Мы подошли к подъезду ничем не примечательного дома. Он как-то не был похож на гостиницу. Однако, как только мы поднялись к дверям, они распахнулись и оттуда высунулся крепкий молодец. Он с гостеприимной улыбкой провел нас в переднюю и указал на вешалку. Он был удивительно похож на нашего провожатого. Он тоже напоминал мастера каратэ, даже не слишком замаскированного. Оба прочно сбитые, румяные, а главное — у обоих тот особый лоск на лице, который свойствен, как говаривал дядя Сандро, людям, допущенным к столу.

Он ввел нас в теплое помещение с тяжелыми золотистыми занавесками и коврами на полу. Комната была уставлена несколькими столами со слепящими белизной накрахмаленными скатертями.

На одном из столов громоздились закуски, скромно светились коньячные бутылки и, позабыв о всякой скромности, сияли в вазах огромные апельсины, словно здесь в Сибири они и созрели, выращенные мичуринским способом.

Мы уселись за стол. Мы приступили к закускам с некоторой поспешностью, как бы опережая возможность ошибки случившегося, однако стараясь не клацать вилками и зубами. Процедуру никто не прерывал. Окончательно обнаглев, мы стали посылать вдогон закускам золотистые струи армянского коньяка. Ни один из нас никогда не сидел за таким столом, а некоторые поэты вообще жили впроголодь. Но пить умели все.

Но что за стол? Таймени, пельмени, мозги оленьи, какие-то почки, какие-то грибочки и Черное море икры в странной географической близости с Красным морем икры!

А главное, чувствовалось, носилось в воздухе, что за все это не придется платить. Да и кому платить и какие деньги? Экспроприаторов экспроприировали! Деньги отменены! Мы ворвались в царство коммунизма. Это он, родимый, сближающий моря и народы!

Хотя стол был переполнен, нас обслуживали официантки, принося горячие блюда. Хрустящие молодые официантки, хорошенькие, как на подбор. Они приоткрывали тайну тщательно продуманного и промытого отдыха государственных людей от государственных дел.

После нескольких рюмок коньяка наш провожатый признался нам, что звонил жене самого секретаря обкома, умнейшей женщине, и она дала добро на наше воцарение в тереме-теремке.

А я-то по простоте душевной, когда он звонил, думал, что он разговаривает с директрисой другой гостиницы. Лихой человек, решил я, быть ему в ЦК комсомола, о деятелях которого он так подробно расспрашивал.

Кстати, в течение нашего застолья, он, впадая в служебный лунатизм, то и дело невпопад обращался к нашему поэту из комсомольского журнала.

— Агапов теперь в отделе пропаганды? — заискивающе спрашивал он, как бы заранее умиляясь, что тот в отделе пропаганды, но как бы и готовый умиляться, если того из отдела уже вышвырнули.

Наш поэт, на мой взгляд, давно исчерпал свои скромные знания аппаратной жизни, но чтобы угодить ему за царский прием, явно блефовал. Но тот не замечал. Он зачарованно прислушивался к чему-то, словно по скудным обрывкам мелодии восстанавливал и восстанавливал в голове всю грандиозную симфонию этой жизни.

С самого начала опьянев от сказочной пещеры, куда мы попали, мы уже почти не пьянели от многих рюмок коньяка. Конечно, в этом и закуски сыграли свою выдающуюся, тормозящую роль: таймени, пельмени...

Нет, мы, конечно, все-таки пьянели, но я заметил, что по мере нашего опьянения, как бы для равновесия ситуации, строжали и строжали лица наших молодых официанток. И чем больше они строжали, тем яснее

проступала в их чертах суровая мощь монастырского блуда.

И по мере опьянения, может быть, из-за явной недоступности официанток, хотелось броситься на шею руководства страны и крикнуть ему, содрогаясь от преданности:

— Так вот что вы готовите народу, наши избранники! Сегодня вы нас допустили к столу как бы для пробы! А завтра или послезавтра весь народ хлынет в распахнутые двери теремков!

После ужина второй каратист, обегая нас, как добрая овчарка, и не давая разбредаться по дому, всех уложил спать в просторных комнатах, в душистых от свежести постелях.

Утром он провел нас в это же помещение завтракать. Первый каратист был уже здесь и, попивая боржом, дожидался нас. Стол теперь, прямо скажем, не ломился, но всего хватало. А главное — не забыли дать опохмелиться. Хотелось зарыдать от этой прославленной партийной чуткости. Хотя некоторые из нас считали, что в прославлении партийной чуткости есть немалые преувеличения.

И вот сегодня из совсем другой эпохи я кричу:

— Была! Была! Эта чуткость! Сам на себе ее испытал! И не раз!

Под строгим надзором нашего вожака мы опохмелились на джентльменском уровне. Официантки уже были другие, но такие же хрустящие и хорошенькие. И мы дивились: в каких парниках их выращивают?!

Днем и вечером мы выступали перед рабочей и студенческой аудиторией. Нас отлично принимали. Комсомольский вожак, сопровождавший нас весь день, был очень доволен. Такой уж прыти он от нас не ожидал. Да мы и сами от себя не ожидали такой прыти. Если еще, в сущности, не зная нас, нас так угощали, что же будет после наших искрометных выступлений! Может быть, нас посадят рядом с Марьей Дмитриевной? Мы даже гадали: нет ли ее в зале, инкогнито?

После вечернего выступления мы вышли на улицу. Пиршество близилось неотвратимо. С болью отдираясь от

разгоряченных студентов, приглашавших нас на вечеринку, мы ввалились в машины и поехали. Машины были те же и шоферы те же.

Но через некоторое время я почувствовал какую-то тревогу. Наш шофер больше на нас не озирался. В его езде не было вчерашнего азарта, а главное — вчерашней извилистости пути. С какой-то тупой прямолинейностью нас привезли не в терем-теремок, а в ту же протухшую гостиницу. За что?!

— А как же вещи? — ушибленный обидой, спросил один из членов нашей делегации, возможно надеясь, что наш вожак привез нас в гостиницу по какой-то дурной инерции. И, вероятно, сейчас опомнится...

— Уже здесь, уже все на месте, — доброжелательно отвечал вожак. Однако голосом он дал знать, что такая сказка может присниться только раз в жизни и то благодаря Марье Дмитриевне, за золотое сердце которой мы вчера пили.

Открывая дверь номера, куда нас водворили с моим приятелем, я успел заметить, как некий командировочный — все в тех же лиловых кальсонах — прошаркал в сторону уборной. В соседнем номере громко переговаривались и злобно щелкали фишками домино.

Я открыл дверь. Наши чемоданы были на месте. Прислонясь лбом к оконному стеклу, я долго дивился административной гениальности нашего вожака. Ничего ни у кого не спрашивая, он точно разместил нас всех так, как мы хотели. Даже чемоданы не спутали. Или бумаги о нас шли впереди нас? Трудно поверить.

Нет, думал я, эту систему никто, никогда не победит. И в самом деле — ее никто не победил. Она рухнула сама. Не потому ли, что на тебя ушли все силы, терем-теремок?

А где же наши каратисты?

Они теперь главные фирмачи или главные охранники фирмачей. Иногда встречаю их или их подобия на презентациях и чувствую всей шкурой: ох, главней, главней они остались!

2.МОЛОДОЙ АРХИТЕКТОР И КРАСОТКА

Молодой архитектор Павел Богатырев после окончания московского института приехал в один среднерусский город. Он попал сюда по распределению. Проработав здесь с полгода, он уже обзавелся друзьями из местных интеллигентов и новым заграничным костюмом, который на нем хорошо сидел. Такого у него еще никогда не было. Но пальто у него было старое, студенческое, мешковатое.

Однажды один из его новых друзей привел его в местный педагогический институт на какое-то праздничное мероприятие. Начались танцы. Во время танцев он заметил, что на него очень смело поглядывает хорошенькая девушка. Она поглядывала на него из-за плеча своего кавалера, с которым танцевала, как из-за ограды, через которую можно легко перемахнуть.

Своими взглядами она как бы радостно удивлялась тому, что до сих пор его никогда не видела. Возможно, она его принимала за студента и тем более удивлялась, что до сих пор его никогда не видела. Где ты пропадал, скорее ко мне, как бы восклицала она своими большими, зелеными, распахнутыми глазами.

Минут через десять он ее пригласил танцевать, и они довольно долго топтались в танцах, охотно переговариваясь. А потом гуляли по коридорам института и даже заглянули в одну пустую аудиторию и сели рядом.

Сидя в пустой аудитории с очаровательной девушкой, он вдруг совершенно ясно почувствовал, что вот сейчас он может обнять и поцеловать ее и она его не оттолкнет. Это было абсолютно ясно.

Но он решил не торопить события. Конечно, она его предпочла всем остальным молодым людям. Какая проницательная девушка, думал он. Как здорово, что ее красота сочетается с такой проницательностью.

Из их разговора получалось, что она ждала его приезда в этот город, а он как бы только для этого сюда и приехал. Ясно, что он ей нравится. Проницательная девушка, думал он. Собственно говоря, она его и привела в эту пустую аудиторию, чтобы получить от него первый урок любви.

Так он думал. Но он не решился на этот урок отчасти потому, что аудитория была не заперта и сюда могли забрести другие студенты со своими уроками.

После танцев он ее провожал домой. Он подал ей в гардеробной ее легкую шубку и надел свое пальто. И тут он краем глаза заметил, что его красотка сильно и неприятно удивлена. Старое пальто, мешковатое и неуклюжее, скрыло его красивый костюм. Он не без юмора подумал, как это все в ее головке укладывается: пальто с чужого плеча или костюм? Или он вообще архитектор-самозванец?

Все это промелькнуло в его сознании, но не сильно расстроило его. Он еще верил в возможность идеальной любви, которая ни с каким пальто не считается. Тем не менее он подумал, что сдержавшись там в аудитории, он допустил шахматную ошибку. Тут нужен был более атакующий стиль. Она, видимо, этого ждала, еще ничего не зная о его плохо прикрытом фланге, о его пальто.

Он проводил ее домой. Они еще во время танцев, когда она ничего не знала о его пальто, договорились встретиться на вечеринке у его друга. Она охотно приняла приглашение, тем более, что слышала об этом доме. Это была известная в городе семья.

В парадной ее подъезда, расставаясь с ней, он понял, что поцеловать ее сейчас нельзя. Мешало пальто. Он скромно попрощался с ней и почувствовал, что она ему благодарна за сдержанность. По тем авансам, которые она выдавала в институте, еще не зная о его пальто, он мог бы теперь быть посмелей. Но сейчас она видела, что он не требует платить по счетам. Она была так благодарна ему за это, что на прощанье с необычайной смелостью поправила ему кашне на горле, правда, ему показалось, что она при этом старалась не прикасаться к его пальто. После этого она облегченно взлетела на свой этаж.

На вечеринку к друзьям он пришел с ней в том же пальто. Просто другого у него не было. На его спутницу все обратили внимание. А девушка хозяина дома с тайным поощрительным восторгом закивала ему головой. Он знал, что он ей нравится. Но она была подружкой его товарища,

и он никогда не пытался сделать шаг в ее сторону, хотя и она ему нравилась. Иногда ему казалось, что она ждет этого шага. Но это было не в его правилах. И сейчас она поощрительными кивками благословляла его уход к другой. Если уходить, то только к такой, как бы говорила она.

Потом было веселое застолье с выпивкой и танцами. С его девушкой зачастил танцевать один молодой, но уже известный в городе журналист. Они танцевали очень хорошо, почти с недопустимой по тем временам чувственной смелостью. Тем более, что этот журналист был здесь со своей женой.

Молодой архитектор почувствовал, что его захлестывает багровая ревность. Он старался как можно больше пить. Но это не помогало. Чем больше он пил, тем больше трезвела ревность. Мы всего второй раз видимся, уговаривал он себя, она мне ничем не обязана, и я ее не люблю. Откуда же эта ревность?

Он все-таки попытался что-то восстановить и пригласил ее танцевать, заранее предчувствуя какой-то провал.

— Вы танцуете примитивно, — вдруг заметила она ему во время танца своим задыхающимся, грудным голосом, который так волновал его до этого. Она это сказала, как бы кивнув на его пальто. Он и в самом деле плохо танцевал. Но ведь в институте они довольно долго танцевали, и она как будто не замечала этого. Тогда она его неуклюжие движения приняла за новомодную московскую небрежность. Но потом, увидев его пальто, сообразила, что никакой новомодной небрежностью тут и не пахнет. И теперь она как бы дважды его уличила.

И он больше с ней не пытался танцевать и вообще не танцевал. Она продолжала танцевать с этим журналистом. Жена журналиста, чтобы скрыть свою ревность, стала бешено кокетничать с хозяином дома, и тот, может быть, под влиянием выпивки, поддался этому напору и не сводил с нее глаз. А девушка хозяина дома, в свою очередь, чтобы скрыть свою ревность, так разрезвилась в танцах, что, в конце концов, подвернула ногу и ее уложили на диван.

Выпивка и танцы продолжались. А бедная девушка, подружка хозяина дома, бросала на молодого архитектора взгляды, исполненные грусти и упрека.

Ее взгляды означали: если бы ты вовремя обратил на меня внимание, ничего такого не произошло бы со мной. Еще ее взгляды означали: если бы ты со своей красоткой не явился сюда, ничего такого не произошло бы ни с тобой, ни со мной. А так теперь мы оба страдаем.

Какая умница, подумал он о ней, она уловила всю цепочку и поняла взаимосвязь того, что произошло. И только эти двое ничего не понимали. Его красотка и этот ничтожный, модный журналист со своими тошнотворными либеральными намеками. Они продолжали танцевать как ни в чем не бывало. Кошмар, тупицы, думал молодой архитектор и тянулся к рюмке.

После вечеринки он проводил ее домой. Голова его была ясна, но не настолько, чтобы уследить за тем, как разъезжаются его ноги. Идти по заледенелому тротуару было скользко, и ему казалось, что держа ее под руку, он как бы цепляется за нее и продолжает, как в жутком сне, еще более неловкий и унизительный танец.

О попытке поцеловать ее в подъезде теперь не могло быть и речи. Теперь она была далека, как на северном полюсе. Добраться до нее, да еще в таком пальто, было абсолютно невозможно. Он попрощался с ней и пошел домой, ничего не сказав о возможности встречи.

Однако испытания того вечера на этом не кончились. Была глубокая ночь. Недалеко от его дома он заметил, что навстречу ему идут два человека, и он вдруг подумал: что-то будет. В самом деле, они попросили у него закурить. Он протянул им пачку и взял сигарету сам. Дул сильный ветер, поэтому он сначала сам прикурил от спички, а потом протянул горящую сигарету одному из них, чтобы тот прикурил. И тот долго у него прикуривал, и молодой архитектор с бьющимся сердцем тоскливо понял: да, что-то будет! Тот, наконец, прикурил и, подняв голову, вдруг рявкнул:

— А теперь сымай пальто, падло!

Страх сдунуло. И ему стало яростно и весело. Все-таки нашелся человек, который польстился на его пальто!

Сильным неожиданным ударом он сбил его с ног и повернулся ко второму, готовый и с этим подраться. Но тот явно уклонился от драки.

— Ладно, ладно, пошутить нельзя, — проворчал он угрюмо и стал поднимать своего товарища.

Молодой архитектор благополучно добрался домой. Он с удивлением подумал, что если бы этот негодяй потребовал от него денег, он, пожалуй, отдал бы ему свой тощий бумажник. Тем более, что рука негодяя, когда он рявкнул про пальто, опустилась в карман его телогрейки, где, вероятно, лежал нож. Но с этим пальто они его достали!

Несколько раз после этого вечера он встречал ее на улице. Она явно шла из института, и ее всегда сопровождали франтоватые студенты. Иногда ее сопровождал один и тот же студент, без компании. Молодой архитектор вежливо кивал ей, она тоже кивала ему, и они проходили мимо друг друга.

Так прошло месяца два. Он сменил свое пальто на вполне приличный плащ, потому что наступила весна. Но это уже не могло ничего изменить, а он продолжал о ней думать. Он не мог забыть о том ощущении странного волшебства, которое его охватило, когда они познакомились и особенно, когда они, тихо переговариваясь, сидели в аудитории. Казалось — тайна счастья приоткрылась ему и захлопнулась в гардеробной. И он не мог об этом забыть. Но, в конце концов, ему надоело думать о ней. Он решил совсем выкинуть ее из головы и перестал при встречах здороваться с ней. Когда он первый раз прошел, не поздоровавшись, она окинула его долгим, удивленным взглядом. И ему это понравилось. Ему показалось, что он поставил ее на место.

Шумная гурьба франтоватых студентов продолжала провожать ее домой. Она царила среди них. Иногда ее провожал один и тот же студент, и как победно, как радостно он вышагивал рядом с ней!

Молодой архитектор продолжал одиноко и мрачно проходить мимо нее, не здороваясь. И он заметил, что она каждый раз внимательно вглядывается в него и как бы чего-то ждет.

По-видимому, она решила, что упорство молодого архитектора слишком далеко зашло. Вероятно, она никак не могла поверить в то, что чары ее на кого-то перестали

действовать. Было похоже, что она готова простить ему старое, мешковатое пальто. Тем более, что он теперь был во вполне приличном плаще. А впереди предстояло долгое лето, и, в конце концов, к осени он мог купить новое пальто. Но он еще был так молод и ему так надоело его одиночество-одиночество!

И вскоре молодой архитектор познакомился с милой девушкой, и у них начался довольно бурный роман. Она не только не презирала его старое пальто, но даже, можно сказать, пользовалась им. В каморке, которую снимал молодой архитектор, было всегда прохладно, и они, ложась, накидывали его пальто поверх одеяла. Однако и о той красотке он почему-то никак не мог забыть, хотя и стыдился этого.

Однажды он шел со своей девушкой по улице и вдруг увидел, что навстречу идет она с победно вышагивающим студентом. И она его увидела издалека. И она была потрясена. Она резко отстранилась от своего провожатого, словно отбросила его, и быстрыми шагами, почти переходящими в побежку, стала приближаться. Она жадно вглядывалась в его спутницу и одновременно очень дружески и виновато улыбалась ему. Брошеный студент остановился, ничего не понимая и ошарашенный случившимся. А она быстро, быстро двигалась ему навстречу, дружески и виновато улыбаясь и одновременно жадно оглядывая его спутницу.

В ее облике была какая-то безуминка. И ему вдруг захотелось все забыть и все начать сначала! Но он взял себя в руки. Ему потребовалось собрать все свое самообладание, чтобы не улыбнуться и не рвануться ей навстречу.

Поняв, что он и на этот раз не собирается с ней здороваться, она уже в двух шагах от него вдруг сникла, даже подурнела и прошла мимо. Девушка молодого архитектора, слава Богу, ничего не заметила. Он почувствовал, что это полная победа, но никакой радости она ему не принесла.

Какая красотка погибает, наивно думал он, имея в виду, что теперь уже совершенно невозможно восстановить знакомство. Других он считал недостойными ее красоты. Иногда он в себе ощущал такой мощный прилив сил, что был готов срыть этот кургузый город и построить новый. В

такие минуты он изо всех сил хватался пальцами за стол или за стул, на котором сидел, чтобы не взлететь на высоту своего воображаемого шедевра. Но этот неожиданный прилив сил, который он порой испытывал, к его удивлению, никто не замечал. Впрочем, опомнившись, он и сам осознавал, что не скоро дождется заказчика, если дождется вообще.

Красотка и в самом деле была потрясена. Возможно, она даже влюбилась в него, потому что впервые в жизни получила от ворот поворот. Этого она еще не могла ни понять, ни принять.

В тот вечер, один придя в свою каморку, он сильно захотел выпить. Вспомнил, что есть в запасе бутылка вина. Он достал бутылку, но никак не мог найти штопора и стал вилкой выковыривать пробку. Пробка долго сопротивлялась, но он ее, наконец, выковырял. В борьбе бутылки с человеком — всегда побеждает человек, подумал он, усмехнувшись чему-то. Он спокойно выпил три стакана вина, а когда выпил четвертый, вдруг взгляд его остановился на пальто, уныло висевшем на гвозде, и вдруг так сжал стакан в руке, что он хрустнул и рассыпался. Осколки сильно поранили его ладонь, и обильно потекла кровь.

Он открыл кран и подставил ладонь под холодную струю воды. Теплая боль, теплая кровь и ледяная струя воды успокаивали его. Минут через двадцать кровь перестала сочиться, он перевязал ладонь платком и лег спать. Теперь он окончательно успокоился.

Однажды, побывав в гостях у своих друзей, он вместе со своей подружкой, оба навеселе, вернулись в его каморку.

После близости она вдруг вскочила с постели полуголая, накинув его пальто, сымпровизировала очаровательный дикарский танец, пародирующий все современные танцы. И танец этот, приперченный насмешкой, пародируя пародийную свободу современных танцев, приобретал истинную свободу и смысл. Пальто, как бы ликуя и одобряя ее, взлетало и болталось на ней. И она кружилась по комнатке, хорошея и хорошея и каждым движением доказывая неисчерпаемость комических оттенков не только танца, но и всей жизни. При этом она каким-то образом, словно

угадывая, прихватывала в своей пародии и его страсть к красотке. И это было так смешно, что он хохотал до слез. Юмор, подумал он, это музыка правды, не требующая доказательств.

Этим танцем, сама того не ведая, она навсегда уложила на лопатки и его, и его красотку, но уложила не рядом, разумеется, но вдали друг от друга.

Вскоре они поженились и покинули этот город. Через несколько лет он стал известным архитектором. И те порывы творческой энергии, которые никто не замечал, остались в его памяти как единственная реальность, связанная с этим городом.

* * *

Но ему было суждено еще один раз встретиться с красоткой. Через двадцать лет по его проекту и под его личным присмотром, что было гораздо трудней, чем создать проект, учитывая пьянство и вороватость рабочих, был воздвигнут прекрасный курортный комплекс на берегу Черного моря.

Строили вместе иностранные и наши рабочие. Он давно заметил, что иностранные рабочие трудились превосходно, если не соприкасались с нашими рабочими. Но если на стройке они работали вместе с нашими, их хватало почему-то ровно на три месяца. Дальше их можно было отсылать домой. Начав пить с нашими рабочими, они через три месяца теряли всякую работоспособность и уже работали хуже наших рабочих, которые и в пьяном виде кое-что кумекали. Почему не добросовестные влияют на разгильдяев, а наоборот? Он часто над этим задумывался и пришел к выводу, что человек от природы больше склонен опускаться, чем подыматься. Это был горький вывод из наблюдений над человеком, но не горше других.

Так вот. Местное начальство пригласило на открытие здравницы почетных гостей из Москвы и других мест. И она приехала сюда с мужем, тайно прославленным генералом. Он где-то, кажется, в Африке кого-то свергал. Нашему архитектору об этом шепнул директор здравницы. Для

генерала генерал очень молодо выглядел. А ее он просто не узнал. Глядя на генерала, он подумал: в нашей дряхлеющей стране молодеют и молодеют генералы. К чему бы это? Не придется ли генералу в следующий раз ехать куда-нибудь поближе, мелькнуло у него в голове.

В разгар банкетного пиршества, когда все подвыпили, жена генерала, поймав его взгляд, вдруг нежно улыбнулась ему и кивнула. Они сидели за соседними столами. И он улыбнулся ей и благодарно кивнул ей в ответ, думая, что она приветствует его как творца этого сооружения. Тем более, что в этой праздничной суматохе, с многочисленными общими тостами, об архитекторе, который все это создал, никто не вспомнил.

Она была довольна его приветливой улыбкой, ей показалось, что она, наконец, победила его упорство и последнее слово осталось за ней. Боже мой, вспоминала она, в каком задрипанном пальто ходил он в нашем городе и нравился мне и влюблен был в меня, но за что-то обиделся на меня, гордец, и перестал здороваться. Она никак не могла припомнить, за что он обиделся на нее. Я же не виновата, что я всем нравилась, подумала она, припомнив, что всегда была окружена поклонниками. Глядя на него, ей и в голову не могло прийти, что он ее мог не узнать. Кажется, волнуется, подумала она. Я тоже, кажется, волнуюсь.

Но у него была другая причина для беспокойства. Вокруг нового курортного комплекса, сильно нарушая его гармонию, были наляпаны хибарки местных жителей. Их было не очень много, но они были. Чтобы снести эти хибарки, он для их обитателей выстроил новые коттеджи с такими удобствами, о которых они и мечтать не смели.

Но пока шла стройка, эти жулики успели прописать в своих хибарках несметное количество родственников, чтобы потом, перейдя в коттеджи, оставить за собой и хибарки. В курортный сезон лишняя площадь сулила здесь немалые доходы. Предстояла скандальная разборка. Но он был уверен, что победит. Его душу уже обжигал замысел нового проекта. Надо было поскорее освободить голову от всякого мусора, а в таких случаях он бывал неукротим.

С Юрием Екишевым меня познакомил — сначала заочно — Сергей Юрский. Однажды он рассказал мне, что прочитал несколько пьес некоего молодого зырянина из Сыктывкара и они показались ему настолько интересными, что он — уже в качестве члена редколлегии «Континента» — хотел бы обратить мое внимание на этого человека как на возможного автора журнала. Я прочел эти пьесы, а чуть позднее и присланный Ю. Екишевым роман — присутствие в них несомненного литературного дара было и в самом деле очевидно. А характер человеческой содержательности текстов вызывал желание познакомиться не только со всем тем, что еще успел написать Юрий Екишев, но и с ним лично.

Вскоре это знакомство состоялось. И оно полностью подтвердило то первоначальное мое ощущение, что писательство начинающего автора благодатно питают собою не только дар подлинно образного мышления, тонкое чувство слова, врожденный художественный вкус и другие необходимые составляющие природного литературного таланта, но и зрелый, прочно сложившийся мир души с твердо и ясно очерченными духовными ориентирами — уже определившаяся и не только за письменным столом, но и в самой жизни реально осуществляемая человеческая ***судьба****.*

Юрий Екишев родился в Сыктывкаре в 1964 году, там же окончил физико-математический факультет университета и какое-то время преподавал в нем. Но вскоре оставил стезю обретенной в университете надежной специальности и вступил на иной путь, совсем не такой надежный. Он начал писать, пробуя свои силы в прозе и драматургии, причем писательство сразу же соединилось в его жизни некой неразрывной связью с делом, которому он, православный христианин, молодой интеллигент, воспитанный в русской культуре, тоже отдался как жизненному своему призванию и долгу. Отдался как истинный сын своего многострадального народа, по которому каток тоталитарного атеистического коммунизма прокатился не менее страшно, чем по другим народам России. Юрий Екишев почувствовал всю жизненную насущность его религиозного просвещения, всю жизненную необхо-

димость для него возвращения к христианским истокам, и до революции-то далеко не напитавшим собою народную почву. И его жизненным делом стала миссионерская просветительская деятельность по переводу и изданию православной литературы на языке коми. Добавлю, что ко всему этому он еще и собственными силами — вместе с отцом и тремя односельчанами — выстроил в родном селе отца Вотча деревянную церковь по проекту XVII века, и читатель, полагаю, сумеет оценить все значение этого как бы частного факта, если примет во внимание, что на необъятных просторах родного края Юрия Екишева — лишь несколько действующих церквей, хотя нетрудно догадаться, что каких-то долей процента от тех фантастических сумм, которые брошены на то же чеченское безумие, хватило бы, чтобы восстановить или даже заново поставить десятки и сотни обычных небольших храмов по городам и селам этого некогда христианского края — везде, где они были и где живые люди все еще — или уже — нуждаются в них. А сколько таких краев на российской земле?..

К счастью, там, где Господь лишает разума и совести власти, общества, гражданские и даже церковные организации, поднимает свой голос совесть частных людей. Тех самых подвижников, без которых не было бы у России прошлого, нет настоящего и не будет никакого будущего.

Вот почему я с особенной радостью представляю читателям «Континента» это новое в нашей литературе имя. И надеюсь, что познакомившись с публикуемой нами небольшой повестью молодого писателя, читатель согласится, что и с чисто литературной точки зрения это имя достойно привлечь к себе самое расположенное наше внимание. Я надеюсь, что он по достоинству оценит эту тонкую, прозрачную русскую прозу, ее поэтичность, ее высокий и чистый духовный строй.

Хочется верить, что этот литературный дебют станет началом интересной и яркой писательской судьбы Юрия Екишева, за человеческую судьбу которого можно уже, кажется, не беспокоиться.

Игорь ВИНОГРАДОВ

Юрий ЕКИШЕВ

ПОД ЗАЩИТОЮ

Повесть в трех рассказах

Сир-барак[1]

Казалось; но .....
.....узлы к узлам.
И постепенно сетью тайной
Россия.....
Наш Царь дремал.....

А.С. Пушкин. Из "десятой главы" «Евгения Онегина», раскрытие шифра принадлежит Б.В. Томашевскому

— Смола мерзнет! Не поспеваем! Не поспеваем!

В последние дни старики молчали, но эти мысли мальчик отмечал во всех их движениях. Уж ровно неделя, как с рассветом они втроем выезжали за живицей и возвраща-

[1] Сир — по-зырянски то же, что по-русски смола; живица — подобье смолы, выделяемое хвойными деревьями при порезе. Сир-барак — жилище в тайге, где обитают летом сборщики живицы, так называемые **вздымщики**. Таких домов по обыкновению несколько. И вздымщики весь сезон переезжают от одного к другому, собирая по их окрестностям смолу-самотеку. Живицу улавливают, делая на наиболее крепких и смолистых деревьях несколько насечек, одна над другой, наподобие латинского v, называемых **карры**. И помещают под каррами воронки, из которых все стекает в кованые баки. Впоследствии, совершив многодневный круг по сир-баракам, вздымщики едут в сир-завод, т.е. смолокурню, тоже расположенную в тайге, где живицу **курят**, т.е. гонят из нее деготь, скипидар, канифоль... Там же, в сир-заводе, **жгут** уголь, т.е. наиболее смолистые деревья складывают в ямы, заваливают землей и поджигают. При малом доступе воздуха и получается древесный уголь, а также **жижка**, водянистая масса, из коей впоследок и выделяют смолу...

Еще заметим, что никто так ловко не разбирается в дереве, как вздымщик. Мастер может безошибочно определить, каковое из деревьев наиболее смолистое, даже не подходя, издалека, скорее всего по неуловимым, ему одному понятным приметам: каков мох, или песок, или почва, или положенье ветвей... Он с годами буквально узнает и запоминает все деревья в тайге. За это вздымщиков ценят особо — дом, составленный из указанных ими деревьев, простоит века без поправок. А обучаются этому весьма просто: стукают молоточком и слушают.

лись в сир-барак в потемках, почти наощупь, под шелест настырного мокрого снега, который пригибал ветки, заслоняя и так уже узкую для телеги дорогу. Чуть заденешь — снег падает комком за шиворот и отпускает еще полную листьев ветвь, которая с шумом вновь выбрасывает их вверх, как пальцы, — опять ловить снег, опять держать небо: фффух... не поспеваешь!..

И как назло, падает с телеги воронка, и надо бежать назад, минуя лужи и оставленные то ли охотничьей собакой, то ли волком яркие желтые пятна и колодцы в снегу, светящиеся в сумраке, надо схватить за горло проклятую воронку — и догонять, теряя напрочь тепло, еле сохраненное с утра под одеждою.

— Не поспеваем! Не поспеваем! — ворчал про себя мальчик, глядя на спины стариков, увязывавших в лодку груз, который надо было доставить на зиму в деревню: ягоды, грибы, мед...

— Конечно, не поспеваем... Целый день лодку смолили, горе-мастера... Чтоб один раз проплыть...

Мальчик смотрел на радужные пятна, веерами раскрывшиеся на темной поверхности, когда старики вдвоем опустили на воду вторую лодку.

— Три дня ягоды собирали, смех... Как бабы... Одному тут ягодки мелковаты... Другому там — горьковаты... То пресноваты, то кисловаты... Не те! Какие ж не те!..

Мальчик поморщился, вспомнив жгучий вкус брусницы, и чуть-чуть пошевелил плечами. Поерзав шеей, определил, насколько промок воротник, и вновь замер, встав затылком в только что оставленное им еще теплое место.

Вот так он часто как бы спал стоя на привалах, наблюдая сквозь прикрытые веки, как старики притаскивают хворост, поджигают бересту или смоляную щепку, разводят костер — считая, что так и должно быть: старики, когда он устал, и должны заботиться о нем — разжечь костер, поставить чаю, сварить кашу. А он — может притащить веток, если не тяжело, или не притащить, найти себе бревнышко для сидения или не искать, побродить вокруг или вот так стоять. Да какие они старики! Они такие же долговечные, как смолистые сосны, они еще сильные, как

медведи, — вон груженая лодка, как перышко в их руках!.. Да хоть бы раз из них кто-то устал!..

Рядом журчал ручей — и это было мальчику неприятно. Потому что из-за него приходилось идти к сир-бараку не напрямик, а вокруг, лишнюю версту. Хотя сир-барак — тут, рядом, рукой подать. Но вдоль ручья не пройдешь — там чаща, там дерево лежит на дереве. И приходится идти сначала вдоль берега, потом по едва заметной тропинке к крутому подъему, к необъятной горе в лесу, и потом с этой же горы спускаться по другой стороне к дому. А подъемы, а спуски — как в ущельях! Кругом — кусты, и Бог знает, кто может оттуда выскочить...

Мальчик представил, как старики вдруг исчезли — и он остался один, и ему надо идти домой.

Вот он крадется вдоль речки, оглядываясь, потом переходит ручей, в котором громко дрожит страшно холодная вода, и ее зябкие ладони вечно ждут его...

Вот он находит примету — валяется колесо, от него отходит едва заметная тропинка, которую потеряешь — и пропал...

И вот в темноте встает впереди склон, и путь идет вверх, а по бокам его зажимает обрывистая земля, на которой чьи-то свежие следы...

А сверху — склонились руки кустов, нагруженные снегом. И вот Он...

Мальчик вздрогнул, произнеся вслух: «И вот — Он...»

Один из стариков, Волшебный Тош[1], обернулся и подмигнул ему, похлопав ладонью по деревянному сиденью лодки, предназначенному на завтра для мальчика.

Другой, Олёксан[2], тоже разогнулся и удовлетворенно крякнул. Но мальчик, испугавшись своих грез, смотрел на них недовольно. Веселятся!.. А ведь могут вдруг исчезнуть!.. И даже не знают об этом! Даже не думают!..

Пока старики взбирались на берег и чистили сапоги от налипшей прибрежной грязи, мальчик неподвижно смотрел, как холодная вода, огибая лодку, уносит пленку смолы,

---

[1] По-зырянски это прозвище означает Волшебная Борода.

[2] Т.е. Александр.

источаемую досками, подбираясь все ближе и ближе к бортам.

— Ну, пойдем, — позвал мальчика Олёксан, тронув за плечо.

Они пошли друг за другом, впереди Олёксан, за ним мальчик и позади Волшебный Тош. Сначала вдоль берега, потом, нащупав под снегом колесо, от него по тропинке к склону, и — вверх по ущелью.

Не дойдя до высшей точки, Олёксан обернулся и кивнул на полузасыпанный черный пенек, лежавший на обочине: — Вон!

Это вчера медведь-шутник подкрался сзади к Олёксану, бросил в него этот пенек, и — прыг в кусты! И тихо-тихо затаился там...

Волшебный Тош тонко засмеялся: — И-хи-хи-хи-хи...— и подтолкнул пень сапогом. А мальчик поежился. Да еще этот медведь! Из-за него ведь тоже один день потеряли!..

Тогда, в потерянный день, наловив целую банку живцов, они с Волшебным Тошком[1] спустились к реке, а банку оставили наверху, на берегу. Поднимаются — ох! — живцы уже еле прыгают по траве, а банка, железная банка — разодрана за края, как будто кто-то хотел сыграть на ней, как на гармошке... Кто? Кто-то очень сильный... Тот, кто кидается пеньками сзади, а как наступит ночь, приходит и ложится за сир-бараком на колодец и лежит там всю ночь... Поэтому ночью никто выйти не смеет — ни Олёксан, ни Волшебный Тош...

Вспомнив про медведя, старики шли до дома посмеиваясь, а мальчик наоборот — замирая от страха.

Дома он сразу же взобрался на полати и свернулся там замерзшим зверьком, а уж старики растопили печь, поставили самовар и вышли во двор — увязывать на телегу бочки с живицей. Завтра Олёксан повезет последнюю живицу в сир-завод, а мальчик и Волшебный Тош поплывут на двух лодках вниз по реке, к пастухам, а затем на их лошадях свезут груз в деревню.

---

[1] При склонении слова «тош» зыряне добавляют еще один звук перед окончанием, получается «тошк».

Мальчик укрылся полушубком с головой и стал представлять в темноте, как поплывет завтра в лодке, впервые — один... И вот — лодка ударяется об камни и дает течь... И вот — падает одно из висящих над водою деревьев, перегораживая реку и придавливая его ко дну... И вот — он выходит на берег и из кустов выскакивает волк и хватает его за шею, и взваливает на спину... И вот — никто не слышит...

Не надо плыть, не надо... Не надо плыть одному... — ищет он выход в темноте, под шубой, боясь, что откинешь ее — и проникнет безжалостный свет — и придет вечер, и ночь, и утро — и придется плыть...

Он лежал очень долго — уж много раз кто-то входил и выходил, шуршал, стучал; наконец, вошли оба старика и сели за стол, стали разливать чай. Внутри самовара что-то чуть-чуть поскрипывало, как будто терлись об медную стенку всплывающие пузырики кипятка; за окном то одна ель, то другая отбрасывала белую ненужную тяжесть: пп-пух-хх...; и иногда сыпалась сквозь щель в потолке тонкая струйка песка; и редко вздыхали старики.

Наконец, Волшебный Тош, поднеся чашку ко рту, вместо того, чтобы отхлебнуть, негромко произнес, еле-еле отклоняя дымящийся, льнущий к бороде пар:

— А вот как Царь?..

Когда был жив дед мальчика, которому Волшебный Тош и Олёксан приходились братьями, то Волшебный Тош так же спрашивал его:

— А что, Буду Василь[1]... А вот как женщины?..

---

[1] Здесь Буду — родовое прозвище. У зырян оно ходит наравне с отчеством и фамилией. Часто люди уже и не помнят, как отчество и фамилия человека. Жена получает прозвище мужа, а дети — прозвище отца. Однажды при переписи муж никак не мог вспомнить — как же зовут жену даже по имени, настолько привык к прозвищу, которое означало «журавушка». Он так и обращался к ней — «моя журавушка». Но часто прозвища не имеют уже какого-либо смысла, ведь происхожденье их — скорее всего очень древнее, языческое.

Спрашивал — и посмеивался, как позвякивающий колоколец. А дед уж, помолчав, как бы долго раскачиваясь, бухал вдруг, как Царь-колокол, просто и твердо:

— Что ж... Ищи, Волшебный Тош, душевной любви... Потом — свободной жизни... А потом — покоя душевного... Тут и помирать придет время...

И Волшебный Тош хихикал, да смотрел на деда, с любовью и смехом, как пономарь на попа. А дед — на славу поразмыслив над простым ответом, вздыхал, будто после тяжкой работы.

Мальчик, хотя дед и умер за два года до его рождения, все это отчетливо представлял, подслушивая иногда, как вспоминает его речи Волшебный Тош: «А я его спрашиваю... А вот, Василь, как насчет баб?.. А он мне отвечает: что ж... Ищи то-то и то-то... И-хи-хи...»

И сейчас мальчик ждал, что Олёксан, как старший, так же загудит, отвечая: «Что ж, Царь...»

Но Олёксан что-то молчал — мальчик, лежа под своей шубой, приоткрыл щель для воздуха, но было видно лишь его лицо, закрытые глаза, неподвижные губы — будто он спал сидя, а может думал, крепко рассевшись на лавке, как большая картофелина в земле.

Мальчик, как был, вместе с шубою, подполз к стене, так что в щель был виден только срез бревна, и стал считать годовые линии, сбиваясь, начиная вновь, рассеянно слушая, как Волшебный Тош снова, мелкими позвякиваньями, тихо зачастил, прихлебывая из чашки, — наполовину непонятное, так что приходилось додумывать:

— Вот... Вернемся домой... Что мне делать?.. Кто-то же должен хозяйство вести, по справедливости... Вот и выбирай, как жить...

...Кого хотел выбирать Волшебный Тош?.. Мальчик не знал...

... И вот бегает Тош по деревне, хлопочет, что-то ищет: везде его бородка мелькает — в церкви, в хлеву, всех собрал на поле: девчонок, баб, лошадей... Кто будет из них «вешти» — шепелявит так, что не поймешь — «везти» или

«вести»? Все стоят, мерзнут, ежатся, а он, как всегда, шебуршится, бегает, все выбрать никак не может: ох-хо-хо, не поспеваем... Выбирают-то все по очереди, а его-то очередь сейчас кончится. И тогда опять хозяйство на зиму без **нее** — без какой-то силы, без власти, без хозяйки, без справедливости...

Вот бы отец не забрал в город на зиму — вздохнул мальчик — хоть бы посмотреть... Я бы выбрал... Они не знают, какой я сильный, — и повел палец вверх по отполированным и потемневшим за век, стесанным изнутри избы бревнам. Они все были из тончайших струн-линий, которые иногда так сгущались, что конец тонкого ногтя зажимал целый многозвучный аккорд, который по неосторожности можно было перепрыгнуть враз.

— Сто тридцать семь... Сто тридцать восемь... Сто тридцать девять...

... — Ты ведь не пойдешь, Олёксан, как и с Василем-то, в прежние времена... — видимо, волновался Волшебный Тош. Ах, это он, наверное, за брата, за его очередь — кому она достанется. А дед-то, конечно, не ходил: у него и бабушка была, и конь... чего ему еще?

Олёксан, видимо, кивнул: нет, не пойду, забирай мою очередь — а Волшебный Тош-то так и знал, егоза:

— Ну да, знаю я... Как и он, тоже скажешь — нечего выбирать, да и нечем... Понимай, как хочешь...

Олёксан, видать, и тут кивнул: — Нечего... И нечем...

Да и Волшебный Тош сразу продолжил, зная наперед ответ: — Ну вот скажи мне — как это нечем? Что за загадки... Голова-то на что?.. Да вот. Рукой показать! Просто взять и выбрать — нечем! Ох, народ темный... Ох, жуки...

И точно — как это нечем Олёксану выбирать? Ну, может, все оттого, что у деда руки не было, — так у Олёксана обе есть, или у деда нога правая тоже отнята была — так ведь у Олёксана все на месте... Может, из-за бороды?.. Может — у деда бороды не было, и у Олёксана нет... А у Тоша есть. И поэтому он — Волшебный Тош! В ней какая-то сила у него, в бороде. Чародейская, звериная!..

... — А я помню случай, как Буду Василь мне говорил про то же самое... — совсем уж в чашку зашептал Волшебный Тош, так что выходило гулко и необычно. — Я ему: «Да как же нет! Вот ты — есть... Не путай уж про себя-то... Скажи: я есть! Аз-то есмь! Или как?» А он мне через день отвечает, строго так, ух! — «Тело — есть, правда твоя, Борода... А вот и Бог есть. Его суть и правда, и суд, и справедливость, Его и выбор. Как же я, мелкий жук, выберу что-то сам? Тело-то ухватит Его правду, да потянет, да утащит в себя!» Тут Василий как хватанет рукою что-то невидимое, да как вложит себе в грудь, да с силой-то какою, Царствие ему Небесное!.. И гляжу я — чистый он паучина...

Волшебный Тош, видно, перекрестился и продолжал тем же чародейским голосом.

— А он тянет меня к себе, пальчиком, как муху, и приговаривает: «И вот получается: **я** думаю, **я** знаю — что хорошо, а что плохо... Кто хорош, кто плох... Обрел, украл справедливость, ну и вот — выбираю... А потом и забыл, что не мое, что украл... Так?» Ох, страх! Ххох-ххох, испугал он меня! А потом сплюнул через плечо и смотрю — рука-то опять повисла, не тянет уж за жилы... И откуда ж силы-то были — ведь рука-то без кости у него была, а чуть не утянул, чуть не оплел паутиной... У-у-ух, бродяга! А он смеется: верь или люби, а не выбирай, иначе сил не хватит...

«А может, они просто болтают?» — подумал сквозь сон мальчик, устав отсчитывать слипающиеся полоски, пройдя уж пальцем почти до сердцевины. Все лето молчали — дело было! А вот поспели сегодня чуть раньше — можно и поболтать. Ох, так все проболтают... Завтра плыть! Жизнь уходит, а они...

Он закрыл глаза и представил Волшебного Тошка и Олёксана, обычных, как они запомнились, с тоской в сердце. Как будто они вот-вот преставятся. Все было больно вспомнить: выщербленные зубы, почерневшие руки, старую одежду, даже хилую бородку Волшебного Тоша...

Вот, прожили, ничего-то у них нет, ничего-то им и не нужно, ничего не боятся — выберешь, не выберешь, будет у тебя что-то, не будет... — он вновь открыл глаза и перевел

щель шубы на стариков, чтобы пожалеть их, а потом так, чтобы был виден только образ, висящий в углу, над их склоненными головами. Боясь завтра плыть, он стал читать сначала под шубою «Отче наш...», но потом передумал — вроде не подходит — и спрятался совсем. Наконец, надумав дело, на миг выставил из шубы лицо, как кукушка из ходиков, быстро прошептал: «Продли мне жизнь» — трижды. И опять глубоко спрятался.

— А ведь за них тоже надо. Пусть болтают... Я за Олёксана сначала, а потом и вместо Волшебного Тошка...— он выпятил подбородок и грозно, как Олёксан, прошептал, закрывая лицо, кроме рта, чтоб не узнали: «Продли мне жизнь, продли мне жизнь, продли мне жизнь...» Потом, напротив, открыв только хитрые маленькие глазки, сощурившись, пропищал: «Продли мне жизнь... Это я, Волшебный Тош, продли мне жизнь...»

... — Вот я думаю, знал он что-то... А сказать не решался... Аж до того, что язык бы себе отрезал, только б не сказать... — тихо вспоминал Волшебный Тош, так уж сжавшись, что ни мальчик, ни тот, к кому он обращался, его настоящего и не увидели б. — А вот когда простыл, в бреду-то проболтался... Я ему пить несу, а он зовет, Ош, говорит, братец... Ош, где ты?.. А я слышу: Тош, братец... А уж когда подошел, то разобрал — кого он зовет... *Медведя!*[1] А сам уж говорю — я это, я, Волшебный Тош... А он-то слышит: «Я это, я, Волшебный Ош...» Да и зашептал мне: «Вот! Слышу! Хоть ты и медведь, и говорить-то не умеешь — а ведь слышу вот тебя... Слушай... Ведь Слово-то было Бог, Миша... И Слово было у Бога... А потом и люди от Него научились говорить... И ведь как говорили, пока не соблазнились... А как соблазнились, так и первое же пустое слово слетело с языка, новое, другое... Потом были пророки и не-пророки... И все сбилось в один род. Не-про-

[1] Дело в том, что на зырянском «медведь» — «ош» произносится почти как «борода» — «тош». Так что путаница легко объяснимая, и, видимо, все дело в происхождении обоих слов, ведь и борода и медведь — нечто пушистое, или же человек, обросший бородой, похож на медведя...

роки к пророкам... Все заговорили разом — одни, пророки, теми же словами, что были раньше, другие — от нового, пустого слова, которые уж и забыли и какое Оно было, первое, вспомнить уже не могут... А вспомнить, так, может, все еще и вернется, как было, пока не соблазнились. Сидит ведь Оно где-то в нас, Миша, в людях, и пока мы не найдем с тобой Его — то, первое, чужое, — каким пророкам верить? Может, нам и дано отыскать Его, как думаешь, Миша?.. Послушай, Миша, давай вот начнем с поэтов. Вот они-то, может, ради рифмы куда и вставили Его?.. Вот как, Пушкин — пророк?.. Стихи-то он нам оставил, но как сирот — чтоб ему дело-то самому бы доделать?..»

«А это дерево было раньше Пушкина», — удивился мальчик, сложив приблизительно вековой возраст дома и полуторавековой — сосны. И протянул руку, и погладил ее, уж нагревшуюся за долгий вечер. Линии были неразборчивые, как страницы в учебнике мелким шрифтом... И страницы такие же желтые...

— И стал он тут стихи читать... А мне — страшно... Не выдержал я... Это я ведь его спрашивал, год назад: а вот как, Василек, положим, Пушкин... Год назад! И ведь не забыл! А я-то еще хотел когда-нибудь его спросить: а вот как антихрист? Испугался я тут страшно, подхватился — и наутек... И чашка из рук вывалилась, разбил я чашку...

Наверное, Волшебный Тош дрожал всем телом, слышно было, как он плескал из чашки чай, давно, видно, остывший. Олёксан все молчал, не шевелился — то ли спал, то ли прислушивался к чему-то.

Мальчик, освободившись от ненужной шубы, все гладил теплую грубо струганную стенку и тоже прислушивался. И вдруг явственно различил за стеной какую-то приближающуюся силу. В безветренной вечерней тишине что-то надвигалось... Раздался далекий, еле уловимый треск — и все ближе и ближе — с той стороны дома, где брал начало ручей, — да, да, будто нечто плеснулось и захрустел тонкий лед...

Сила приблизилась и стала за домом.

Олёксан спокойно пробормотал, не открывая глаз:

— Что ж... Антихрист уже приходил. Ты сам знаешь... Что ж!... А вот как...

Вдруг он открыл глаза и кивнул, улыбнувшись, Волшебному Тошку на ту стену дома, за которой остановилась сила. Он поднял палец — в знак, что придумал кое-что, тихо встал и так, с поднятым пальцем, подошел к печи, взял две кочерги, сунул одну Волшебному Тошку и поманил его за собой, чтобы тот неслышно следовал за ним.

Они тихо отворили дверь и вышли — Олёксан твердый и уверенный, а Волшебный Тош все еще испуганный. Стараясь не скрипеть снегом, братья подошли к стоявшей рядом с домом сосне («Моя ровесница» — называл ее Волшебный Тош). Они встали с разных сторон от нее, и — одновременно со всей силы ударили по стволу.

Ровесница от удара вздрогнула, задрожала страшной дрожью, загудела, как огромный колокол, так, что с крыши и с соседних деревьев сошел снег...

Олёксан осторожно прокрался вдоль стены и заглянул за угол — сила исчезла... Он позвал Волшебного Тошка, и они, осмотрев там что-то, с ног до головы обсыпанные снегом, который тут же таял, вернулись в жаркий дом, как пьяные — еле держась на ногах от неудержимого смеха. Олёксан хохотал ровно, от души, а Волшебный Тош тонко, с причитаниями: — Ой, не могу... йех-хей-хей... Мелким пунктиром!.. Мелким пунктирчиком! — отмечая рукой в воздухе, как мчался медведь и как со страху позорно усеивал путь... — мелким пунктирчиком! Хаха-хха-ххх...

Мальчик поначалу испугался вернувшихся шумных и обснеженных стариков, раскрасневшихся и прекрасных, потом тоже рассмеялся над хохотавшим до изнеможения Волшебным Тошком, но, тотчас перестав смеяться, быстро спрыгнул с полатей и выбежал вон.

Ведь это был Он — Тот, Кто узнал ответ, Тот, Кто ждал и стерег, чтоб сказать, прорычать его, то единственное Слово...

Он подбежал к стене леса и позвал: Деда-а-а...

Лес ответил только падающим с деревьев снегом: ...ах!

Под защитою

Блаженни беспечные...

Мальчик старался не проснуться от холода. Сначала стал подмерзать кончик носа и коленки — это поднялся Олёксан, чтобы растопить печь. А затем и спина — это вскочил Волшебный Тош, кое-как навалив на мальчика шубы и оставив невидимые щели, сквозь которые холод будто пробирался и дергал сзади за одежду. Мальчик все более сжимался и сквозь полудрему ждал, когда ослабнет холод и протечет по тем же щелкам запах любимых пятничных лепешек из картофеля — **особых** и **заговоренных**. Так завлекал обычно Волшебный Тош, все еще полагая, что мальчик только потому и спускается каждое утро — полакомиться, как маленький.

Но сквозь ущелья и пещеры смятых шуб то тут, то там проникали только тревожные зябкие пальцы холода — значит, Олёксан печь не растопил, значит, Волшебный Тош лепешек не испек, значит — правда, придется сегодня плыть... Мальчик свернулся в клубок и постарался не шевелиться, чтоб сквозь присмиревшие запахи все ж уловить тот, обнадеживающий, особый и заговоренный...

В дом кто-то вошел, что-то звякнуло, вроде кочерги или печной заслонки, но затем этот кто-то взобрался на полати, нащупал мальчика через шубы и легонько потряс: — Пора вставать, золотой... Пора вставать...

Мальчик закрыл глаза и недовольно буркнул, будто бы сквозь глубокий сон. Но Волшебный Тош — это был он — опять настойчиво тронул за плечо. Мальчик резко, с недовольством, дернулся, заворчав что-то обиженное, уткнулся в подушку.

— Вставай... Вставааааай... Смола-то ведь хитрая — ждать не будет...

Мальчик опять недовольно толкнул руку — все эта смола, надоела уж до смерти.

— Вставай, вставай, а не то убежит... Не будет тебя ждать-то... Самая-то огромная... Твоя-то...

Да Бог с нею, со смолой... Пусть бежит куда хочет... Это ж смола, куда ей бежать... Аааа, да он про щук говорит![1] **Огромная...** Прямо как маленькому... Еще скажи, что сегодня-то уж точно на **мою** попадется...

— Сегодня на твою точно попадется...

Мальчик, сохраняя как можно более недовольный вид, попытался сесть, но не смог рывком одолеть все шубы, и Волшебный Тош тут же ласково поддержал его за затылок, разгребая спутавшиеся рукава и полы. — Вот, ангел... Проснулся... А дедулька чаю уж накипятил... Что, попьем, и в дорогу, а?

Он бережно снял еще мягкого и податливого мальчика с полатей, опустил его ногами сразу в валенки, накинул пальто и повел на двор, придерживая за руку.

На заднем дворе, среди пораскиданного в стороны снега догорал маленький костер, над которым висел котелок с чаем.

Мальчик присел к костру — погреть остывающие ладони, затем принял горячую кружку и долго ждал, когда можно будет отхлебнуть. Волшебный Тош быстро куда-то сбегал, вернулся с ворохом шуб и стал связывать их, покряхтывая и ласково подмигивая. Мальчик вздохнул, махом выпил весь чай, налил себе еще, поставил кружку рядом, у костра, и принялся за холодные вчерашние лепешки, лежавшие тут же ворохом на колоде, около дорожного мешочка для сахара и трав на заварку.

Волшебный Тош несколько раз все обежал, обследовал, прикрыл, вернулся к костру и смаху плюхнулся на шубы. — Ну, присядем на дорожку...

Мальчик чуть прислонился к колоде, смотря на вовсю разгоревшийся костер.

— Ну... Попил? Поел? Может еще? Нет? Ну тогда с Богом... — Волшебный Тош перекрестился и начал уже вставать с мягкого сидения, как мальчик спросил: — Олёксан уже уехал?

---

[1] Сир — на зырянском, кроме смолы, имеет еще и другое значение — щука.

Волшебный Тош кивнул — да, и опять стал выбираться из мягкой меховой трясины.

Мальчик подумал вслух: — Надо было, наверное, с ним поехать...

Волшебный Тош, так все еще и не выбравшись с проваливающегося ложа, весело закопошился: — Да зачем же с ним! Сейчас вот шуб тебе накидаем — сядешь и поплывешь, как Царь! Хочешь — спи, хочешь — лежи...

Мальчик недовольно хмыкнул: — Спи... Все равно холодно... Не поспишь.

Волшебный Тош пропустил это холодное замечание и бодро предложил: — Ну что, может еще чайку?! Сегодня оставлять некому...

Мальчик сурово помотал головой, подошел к костру и вылил чай из кружки на угли. Волшебный Тош кой-как выпростался из мягких, как болотное покрывало, шуб, и, пока он сбивал их вновь в кучу, мальчик стал вытаскивать из костра заостренные горячие головешки и решительно втыкать их в снег. Потом остановился и спросил: — Ты молитву на дорогу прочитал?

Волшебный Тош ласково обернулся: — А как же! Все по чину, как надо...

Мальчик вновь строго спросил, глядя старику в спину: — Ты думаешь, Он услышит? Он же далеко... — и принялся за костер.

Волшебный Тош, покончив с шубами, подскочил к мальчику и стал делать то же самое, хватая руками самые горячие головешки и приговаривая: — Да конечно услышит! Он ведь недалеко, Он тут вот, у тебя за плечиком, все время...

— Как это? — мальчик остановился. — Он же на небесах!..

— А так! Не-из-ре-чен-но... Молча то есть, таинственно! Ведь небеса-то где начинаются, а? Вот тут, — и он похлопал себя по плечу. — Тут у Него и место!.. Чтоб смотреть за порядком. Ему же интересно — что это Он сотворил, надо же все осмотреть, чтоб все было правильно... Вот Он смотрит и радуется миру потихоньку!.. Где кто траву косит, или в городе — кто урок не выучил, или вот солнце

выглянет — вот Он и глядит, как кто живет. Если дети в прятки играют, так и Он с ними играет, а что? В ком еще резвиться... А во мне, к примеру, — рыбу ловит или смолу собирает, да и болтать со мной тоже приходится...

Мальчик недоверчиво слушал, оставив Волшебному Тошку довершать расправу над костром. Потом осторожно спросил: — И в медведе? И в зверях тоже Он сидит? И в волке?

— А вот этого не знаю... Незаметно, может быть... А как это увидишь? Они ведь не понимают кой-чего... Может, они и видят за спиной, да только не знают, кто это там таков — и не скажут никак! Да что звери, они глупые слишком, что Ему с ними делать?.. А вот с людьми так все и есть...

— Да как же Он тогда защитит, если Он такой! И зачем Ему молиться, если Он и так здесь? Пусть тогда все так и будет! Если волк или медведь нападут, как же Он защитит и спасет! Невидимый-то! Без рук! Слабый... — Мальчик стоял над склонившимся Волшебным Тошком и спрашивал, наблюдая, как тот спокойно отбрасывает по одному мелкие угольки и шепчет в ответ:

— Ну что ты говоришь, ангел... Какой же Он невидимый... Какой же Он слабый... То, что на иконе — это то, что сзади у тебя и есть, за спиной... Только правильно надо на себя поглядеть, не как в зеркало, а по-простому, и вот тут за плечиком-то у тебя и будет видно... — Волшебный Тош встал и взял его за плечо.

Но мальчик неодобрительно дернулся и сказал: — Так защитит Он или нет? От медведя? От волка? От воды? Холода?

— А ты, ангел, у Него спрашивай!.. Мы ведь для Него — тоже всегда рядом, тоже как бы защитники... Не грешим, значит — Его и защищаем. Наши грехи-то, может, Ему, как нам — волки и медведи! Вот можем мы Его защитить или нет? И Он нас точно так же — может. А если не можем — то и Он поди не может...

Волшебный Тош закидал кострище снегом, вылил остатки чая из котелка, затем сложил в него кружку, лепешки, травы и протянул мальчику: — Ладно, ангел, идем... Пора уж...

Мальчик помотал головой: — Нет.

Волшебный Тош усмехнулся и погладил его по затылку: — Да не бойся, ангел... Дедулька болтает глупости-то... Не слушай!.. А вот мы потихонечку поплывем, да будем чем-нибудь постукивать... Да полегонечку попугивать их, волков-то... Они же еще больше нас боятся — звери-то сплошь трусы... Вот так и доплывем, а? И ничего нам больше не надо, а? — И дал мальчику котелок, а сам взвалил за спину шубы, ожидая мальчика. Тот, сильно стиснув зубы, вздохнул, взял еще снегу, накидал на шипящие, опять протаявшие угли, затем с силой растоптал их, постоял и пошел вперед, погромыхивая котелком, а за ним засеменил и Волшебный Тош с грузом одежды.

За ночь речка изменилась, будто сжалась от холода — по ней уже сплошным потоком плыл накрошенный мокрый снег со льдом, словно по озябшей руке проступили мурашки. Лодки за ночь вмерзли в тонкий лед, как будто влипли в сладкую пленку на дне остывшего переслащенного чая. Мальчик впрыгнул в свою лодку и стал решительно ее раскачивать, круша этот ненастоящий лед, который разламывался на куски со слабым стоном и скрипом и тут же старался заплеснуться подальше от бешеного борта лодки на края целого льда, сникая там и почти исчезая от воды, делающей его бесцветным и униженно слабым.

Волшебный Тош повторил то же за мальчиком, затем, собираясь обустроить мальчику лодку потеплее, притянулся к ней за борт, окончательно разрушив ледяной строй, и стал переваливать и разворачивать шубы одну за другой. Но мальчик остановил его на половине: — Хватит. Все, больше не надо...

Волшебный Тош воскликнул было: — Да ведь замерзнешь... — но мальчик холодно его оборвал: — Нет. Поплыли скорее...

— Ладно, ладно, ангел, не сердись... — Волшебный Тош обстоятельно утеплил и свое сиденье, быстро соскочил на берег, отмотал веревки, первой оттолкнул мальчикову лодку, затем свою и впрыгнул на корму, весело прикрикивая: — Ну, поехали!.. А? Ну что ж! Оп-ля!.. Вперед, а?

Сначала они пробовали плыть борт о борт, но у Волшебного Тошка не получалось грести со своей стороны вровень с мальчиком, который очень аккуратно поднимал весло, нес его вперед, опускал, волнуясь и вздрагивая, когда лодки начинали поворачивать в его сторону. Отчаявшись в такой гребле, постоянно горячившийся Волшебный Тош привязал мальчикову лодку к корме своей и стал быстро грести, с шумом разбрызгивая воду и снег во все стороны. Мальчик все еще не оставлял весло и так же правильно загребал то с одной стороны, то с другой, но, правда, теперь без особого толка.

Это продлилось недолго — как только доплыли до места, откуда начинались снасти на щук, — пришлось отвязываться, чтобы не мешать Волшебному Тошку, который, все так же что-то горячо приговаривая, подплыл потихонечку к снасти, привязанной к ветке, склонившейся к воде. Мальчик, подгребая как можно тише, чтобы не спугнуть рыбу, пристал к кусту на противоположном берегу, ухватился обеими руками за ветку, чтоб не утянуло течением, и стал наблюдать за Волшебным Тошком, который долго обкалывал неприятный лед вокруг лески, так что мальчик не выдержал и зашептал: — Ну как там? Есть? Это ведь **моя**? Есть?

Он хоть и не вытаскивал еще никогда снасти, но по уговору — через одну снасточка и рыба на ней считались — **его**. Как бы его.

Волшебный Тош поддернул легонько лесочку вверх и разочарованно вздохнул: — Неа... Твоей здесь нету... — и стал сматывать лесу на деревянную моталку. Потом, не отрываясь, спросил мальчика: — Может ты вперед поплывешь пока, а? А я тебя мигом догоню... Только плыви да проверяй и свои и мои — если что есть, то... Аааа, вот она где! — Волшебный Тош привскочил на одно колено и что-то стал с силой тянуть. Вода вместе с крошками льда вдруг взбурлила, что-то мотнулось, что-то пятнистое, черно-серое, еле видимое, чуть не утянув Волшебного Тошка под лодку за руку. Но Волшебный Тош оперся другой рукой о борт и вдруг с силой выдернул из реки рыбину, которая в воздухе изогнулась, ударилась о край

борта и, сорвавшись уже с крючка, будто повисела в воздухе. И — отскочила обратно в воду.

Волшебный Тош с мальчиком одновременно вскрикнули: — О-о-о-а-а-а... — и вскочили на ноги, но Волшебный Тош тут же рухнул обратно, запустив руки в реку, где еще стояла ошалевшая рыбина, и чуть не перевернул лодку. Только замочившись по плечи и спугнув прикосновеньем щуку, он опомнился и сел на место, налив себе еще и на одежду воды с рук. Наконец, очнувшись, он стал отряхиваться от воды, посмотрел с испугом на все еще стоящего в лодке мальчика, виновато улыбнулся ему: — Только вот схватила... Когда вытаскивать уже стал... Поперек, наверное, не зацепилась...

— Что ты! Ну что ты! Ну как же ты! Это же **моя**! — несколько раз воскликнул мальчик.

— Вот, смотри!.. Поперек схватила... — оправдывался Волшебный Тош, поднимая повыше уцелевшего живца и показывая мальчику следы щучьих зубов, потом опустил и стал сам разглядывать... И — неожиданно стал удаляться от мальчика, который от слабости давно разжал руки, и его лодку потихоньку начало относить вниз.

Мальчик обернулся к своему берегу и попытался достать какую-нибудь ветку, чуть не задев воду, но его понесло мимо. Тогда он схватил весло и стал неловко подгребать резкими нервными движениями, так же, впрочем, безуспешно — только тянет и несет и разворачивает...

Волшебный Тош бросил свою спутавшуюся снасть и крикнул ему вслед: — Там еще много, осторожней проверяй... Ветку-то в руках не держи, садись на нее. Нагнул — и под себя... Или лучше привязывайся. Сначала поворот, потом яма, за островом...

Мальчик взялся руками за оба борта лодки и сильно сжал пальцы, почти не слушая затихающие объяснения, напрягаясь при каждом покачиваньи лодки, пытаясь чуть-чуть ее как-то повернуть, чтоб плыть правильно — носом вперед, а не вертеться по реке, тоже очень неправильной, сплошь состоящей из одних поворотов...

Первые несколько снастей он пропустил, так и не сумев привязаться как следует, чтоб попасть точно рядом с леской, или забываясь и привставая с подобранных под себя веток, когда надо было дотянуться до мягкой стариковской лесочки, — река быстро тянула все дальше и дальше.

Наконец, все сошлось — веревка пришлась вровень, мешающий противный ледок разбит, леска оказалась в руках. Мальчик осторожно потянул ее вверх, что-то в глубине подалось, а потом остановилось. Он осторожно подержал так, раздумывая — отпустить или нет, потому что это была как раз не его по порядку снасть, потом все же потянул посильнее — что-то молча упиралось там, в глубине, под скопившейся у борта ледяной окрошкой. Он несколько раз дернул вверх, что есть силы, — безуспешно. Тогда он бросил леску и наклонился над водой, раздвинул чуть-чуть крошки льда и стал разглядывать — что же там произошло. Когда глаза привыкли видеть сквозь тень и мешающие, прыгающие у лица льдинки — то проступило там что-то белое. Осторожно, так же глядя вниз, он взял одной рукой леску, второй все еще заслоняя место от льдинок, и потянул вверх — белое потянулось, дернул — дернулось, отпустил — ослабло и вновь замоталось в струе... Мальчик приблизил лицо к самой воде и увидел уходящую вниз леску с налипшими к ней нитками старых водорослей и далеко-далеко внизу мертвую рыбку, несколько раз обмотавшую снасточку вокруг подводной коряги... Он разочарованно вздохнул и выпустил лесу из рук — рыбка опять ушла в глубину. Мальчик отвязал веревку и стал потихоньку грести, обиженно приговаривая: — Сам ничего не знает, а говорит! А может быть и в медведях! А может быть и в щуках! А может и в живцах, а они у нас без толку дохнут... Да еще и щуки срываются... А может и правильно! Пусть так они защищаются!..

Он взял весло поудобнее и стал грести спокойно и правильно — то с одной стороны, то с другой, так что лодка плыла, как по струнке, носом вперед. У следующей снасти, своей по порядку, он даже не остановился, только, проплывая мимо, хлопнул веслом по ветке со снастью, проломив с нею и надоевший лед. — Вот так! И мы поможем!

За поворотом оказался какой-то остров, и надо было решать — с какой стороны его обплывать. Мальчика, не решавшегося и опустившего весло, потянуло к более мелкой протоке, заваленной по дну бревнами, которые он увидел только вблизи, сквозь растянувшуюся на быстром течении пелену снега и льда. Так что еле-еле он дотянул до другой протоки, загребая что есть силы и плеская в лодку воду.

Оказавшись, наконец, в безопасном рукаве реки, он устало вздохнул и отложил весло, хотя его стало поворачивать кормой вперед, и потихоньку начал отчерпывать кружкой из лодки воду. Впереди по течению, а по положению лодки — сбоку, билась от быстрой воды какая-то ветка, прямо над серединой протоки, то погружаясь листьями в воду, то вновь вскидываясь, как бы шлепая и подгоняя воду вперед. Мальчик уже привык к таким машущим кустам и, приметив его только краем глаза, отвернулся. Но потом вдруг вскочил — понял, что к ветке привязана леска и что от нее-то все и дергается. Он кинулся к корме и дотянулся до основания этой ветки, а затем, осторожно перебирая руками по стволу, приблизился к вершинке, аккуратно пропустил ее под собой вместе с охапкой других веток и, сильно дрожа, взял в руки лесочку, чуть помедлил и, наконец, еле-еле потянул ее на себя — и там, внизу, что-то потянулось и стало плавно тянуть в ответ, слегка раскачиваясь в струе. Мальчик по капельке стал подтягивать это к лодке, склонившись вниз и дрожа всем телом, пока не показалось нечто прямо под ним — чья-то спина в неясной, бурлящей из-под края лодки воде и всплывающих кувыркающихся осколках льда. Он держал в руках леску и смотрел вниз, на смутно угадываемую рыбу, не представляя, что делать дальше. Рыба спокойно потянула в глубину, и он чуть-чуть отпустил леску, но потом опять притянул — и опять здесь, рядом, рукой достать... Тогда он протянул руку, чтобы накрыть ее сверху, — рыба неожиданно дернулась и вытянула из ослабевшей вмиг руки мальчика изрядный кусок лески. Мальчик опять подтянул ее к себе, опять поднес руку — рыба опять метнулась, видя руку и избегая ее... Тогда он опустил руку в воду, а на другую стал

потихоньку наматывать леску: — Вот так... Вот так... Вот так...

Рыба была уже рядом с пальцами, и мальчик на миг замер, и затем попытался ее схватить — но она увернулась и сильно дернула его в глубину, за прочно намотанную леской руку. Мальчик, испугавшись резко приблизившейся воды, вскочил и дернул что есть силы, крича: — Нет!

Рыбина, будто смазанная чем-то жирным, легко выскользнула из воды и упала на дно лодки, тут же сорвавшись с крючка. Мальчик бросился на колени, стараясь схватить ее за скользкий хвост, но неожиданно кто-то потянул его из лодки, очень сильно — опять за руку с леской, рывком, туда, за борт...

Он успел схватиться за сиденье и, обернувшись, увидел, что его тянет та самая ветка, которая прыгала в воде, теперь ускользнувшая из-под него. Мальчик попытался резко дернуть за намотанную на руку леску и подтянуться к вершинке, но только поранился. Он попытался как-то развязать леску на вытянутой далеко назад руке — но все захлестнулось намертво и, глубоко врезавшись, не отпускало. От обиды покатились слезы, он еще и еще дернулся и закричал: — Дедулька!.. Помоги, дедулька!.. Я боюсь...

По кустам прошел шум ветра, но никто не отозвался. Когда мальчик понял, что кричать бесполезно, он оглянулся назад, оглядел проклятую, сильно тянувшую вперед лодку — но все было далеко, не дотянешься. Он провел свободной рукой по карманам и нащупал только холодный крестик под одеждой и где-то еще спички для костра. Он выудил из-под рубашки крестик и горько осмотрел его — нет, края нарочно закругленные, чтоб не перерезать ничего, и спрятал обратно. Затем так и лег в корме, с вытянутой назад рукой.

Снег, невидимый в воде, и еле различимые льдинки — шуршали, терлись о борта лодки, ветер утих, где-то крикнула птица, рыба на дне лодки пару раз перевернулась и замерла, и все стало замирать, будто скованное невидимым льдом. Мальчик успокоился, только иногда еще пошевеливая пойманными, стиснутыми в горсть пальцами, чтоб не отморозить.

Так продолжалось очень долго, потом он все-таки достал коробок спичек, вынул одну, уронив сразу несколько в воду, и, придерживая подбородком коробку, зажег и спрятал в ладони, потом еще одну, задев тут же подвернувшийся волосок, который мгновенно оплавился и скрутился с неприятным запахом. Мальчик улыбнулся, достал сразу несколько спичек, сложил их кое-как одну к одной, чиркнул и, когда зажглось, — протянул к державшей его леске, которая неожиданно легко оборвалась, и он опять чуть не упал в реку. Но как-то чудом удержался, ткнувшись было уже лицом и вытянутыми руками в свое дикое от страха отраженье, метнувшееся среди плывущих холодных комьев.

Еле оправившись, он сел на свое место, облегченно вздохнул и не спеша отмотал леску с кисти, а затем аккуратно сложил обрывок под сиденьем. Потом подался вперед, взял присмиревшую рыбу, рассмотрел ее и так же аккуратно завернул в мешок и тоже положил к леске под сиденье. И сел прямо, спокойно взял весло, но, оглядев лодку, отложил его, побросал за борт комья снега и нападавший с кустов мусор, который поплыл вперед, кружась среди тянущегося куда-то мелкого льда — за поворот, а потом еще дальше...

Перестав обращать внимание на снасти, мальчик увлекся игрой — стал собирать снежные комки и швырять их в плывущие по реке цели — глупые, кое-как вертящиеся листья, торчащие из воды палки, осколки льда, стараясь их притопить если не прямым попаданьем, так волной. Увлеченный игрой, краем глаза он заметил какое-то темное бревно посреди реки, топлячок, над которым его должно было пронести и которому в свою очередь должна была достаться порция снежных залпов. Он еще раз кинул снежком в далекий верткий лист, собираясь уже перенести огонь на это бревно, но, что-то осознав, резко, с криком обернулся: — Почему с глазами?! Почему?!

Кусок бревна, торчавший из воды, правда оказался с глазами — и вдруг в нем что-то ухнуло и что-то хлопнуло об воду, будто настоящим взрывом разметывая все вокруг.

Мальчик испугался до смерти и в беспамятстве что-то крикнул, непроизвольно пригнувшись...

Прошло много времени, прежде чем он успокоился, опознав в бревнышке куда-то плывшего бобра, ударившего об воду своим ужасным хвостом. Он слепил здоровенный комок из забортного, насквозь пропитанного водой бесцветного снега и запустил его далеко, в заводь, в скопление листьев, которым была суждена бесславная гибель: — Вот вам! Получайте!

Неожиданно в том самом месте, где должен был произойти снежный взрыв, что-то всплыло и, получив снежный удар, опять взбрыкнулось, хлопнуло, нырнуло со всего размаху, взрывая все вокруг!..

Мальчик охнул, как в первый раз, испугавшись не меньше. Потом, заметив на том самом месте после волн и плеска цепочку всплывающих между листьями и испуганно петляющих пузырей, улыбнулся: — А-а-а-а, так ты испугался, а? Вот тебе, чтоб не подкрадывался!..

Он изготовил огромную снежную штуковину и бросил по направлению выдающих кого-то пузырей, но штуковина не долетела, и он опять засмеялся. — А-а-а-а, ну что, трус?.. Ладно, не бойся...

Пузырьки прекратились, бобер больше не показывался, притаившись где-то под берегом, наверное, что есть силы зажимая рот и нос... И мальчик победно оглядел завоеванную тихую яму — кругом кусты, лед, снег, старые листья, темная вода, под которой кто-то испуганно бултыхается или сидит и ждет, когда он уплывет. Вот какая-то палка, что-то знакомое... И вдруг признал в этой палке свое весло, видимо, выпавшее, пока он воевал, или со страха он незаметно его столкнул. Весло было уже далеко, к тому же оно не собиралось плыть и лежало в заводи, окруженное листьями, в то время как мальчика несло и несло к повороту. Он оглянулся вокруг, опять в отчаянии, но кругом — только кусты и вода. Он попытался подгрести назад руками — тщетно. И тогда крикнул так же, назад: — Дедулька!... — Потом со всей силы: — Дедулька!..

Но ветер все унес за какой-то поворот в неизвестном направлении.

Тогда мальчик испугался, что останется совсем один, — вот нет дедульки, нет весла, его несет и несет, как льдинку, — неизвестно куда, можно только зацепиться за кусты и ждать неизвестно чего... И замерзнуть так.

Он заплакал от отчаяния, что все так неправильно и бестолково, тихо призывая: — Мамочка... Мама, папа, где же вы?..

Сел, укрылся шубой с головой, сжался в комок и закрыл глаза — решив так и плыть неизвестно куда. Немного согревшись, он вдруг успокоился — все-таки где-то там, позади, плывет Волшебный Тош и сматывает свои снасти, и никуда ему не деться. Надо только пристать к берегу где-нибудь на видном месте и подождать его или даже, может быть, вернуться чуть-чуть пешком назад... Но так, правда, можно потерять реку...

Удобный берег подвернулся очень скоро — за поворотом. Песчаный, наполовину покрытый снегом, чуть разворошенным птичьими следами, к которому лодку приткнуло кормой, — так что мальчик успел выглянуть из шубы, схватить веревку и мигом спрыгнуть на берег. Он подтянул, сколько смог, лодку на отмель, затем нашел какой-то колышек, воткнул его глубоко в песок и на всякий случай привязал к нему лодку. Затем, осторожно раздвигая ветки и уворачиваясь от сыплющегося точно за шиворот снега, будто кто-то целился в него, поднялся на берег — размяться и походить. Еще раз крикнул: — Дедулька... — негромко, просто так, чтобы только распугать тех, кто в кустах, и, стараясь не сбиться и не потерять реку за спиной, стал собирать по кустам сухие ветки, все время возвращаясь и увеличивая кучу рядом со спуском к лодке и все время потихоньку оглядываясь на стену настоящего леса, чуть отстраненного от реки и прибрежных кустов небольшим лугом.

Он развел костер, поднял из лодки шубу, положил рядом и улегся, неожиданно обнаружив у изголовья какой-то странный разворошенный холмик, оказавшийся через несколько мгновений осмотра только что разоренным береговым муравейником, в котором еще отчетливо виден был

свежий след чьей-то огромной когтистой лапы. Лежа у костра и внимательно рассматривая этот след, а затем осторожно ковыряя его палочкой, мальчик положил сначала голову на шубу, потом, посмотрев искоса, расчистил след от снега, откинул ветку в костер, потихоньку закрыл глаза и уснул.

Он пробудился от чего-то опять тревожного, вскочил, посмотрел на лодку, на еле тлеющий костер и затем обернулся на лес — и там вдруг метнулся чей-то тяжелый странный взгляд, и что-то мелькнуло в глубине. Он мигом схватил шубу и бросился с берега к лодке, впрыгнул в нее и еще раз прислушался к тому, что делалось там, на берегу, потом услышал далекий всплеск, но в другой стороне, где-то сзади, откуда плыла пелена льда, обернулся туда и вдруг обнаружил, что не может дышать, не может вздохнуть, не может сделать даже маленького вдоха, чтоб крикнуть, — что-то держит в груди и не отпускает, будто все забилось чем-то мохнатым, серым. Несколько раз с силой вздохнув до какого-то предела, мальчик, от отчаяния не зная, что сделать, сел в лодке и, мелко и часто придыхая, закутался в шубу, и так стал сидеть и ждать, не отвязавшись от берега.

Прошло очень много времени, пока вдалеке где-то послышался плеск и что-то стало приближаться со спины. Он ждал еще очень долго, пока, наконец, рядом, за спиной, за поворотом, кто-то кашлянул, что-то щелкнуло, и уже здесь, по открытому пространству, послышался неторопливый плеск весел и приветствия Волшебного Тошка: — А-а-а-а, я же говорил, замерзнешь... Весло-то обронил! А я гляди, какую красавицу вытащил, **твою**, а? Что скажешь?..

Сквозь жар мальчик ждал и ждал только одного — когда же он, наконец, будет рядом и лодки в конце концов стукнутся... Но Волшебный Тош причалил чуть повыше и подошел по берегу. — А, спишь... Не спи.... Так ведь и заболеть недолго...

Он подошел совсем близко, плеснув рядом, за бортом, водой, — и коснулся мальчикова плеча сквозь шубу. Только

тут мальчик поднял голову и, мелко дыша, тихо проговорил. — Я... Деда... Только не ругайся... Дышать что-то не могу...

Волшебный Тош испугался, присел и, вмиг преобразившись, подхватил мальчика, вынес его на берег в шубе, поставил и, тут же осмотрев и выяснив, в чем дело, бережно отнес обратно в лодку, обложил всеми шубами и, привязав его лодку к своей, быстро и сильно погреб вперед, все время виновато оглядываясь: — Ах ты... Что же это я... Сейчас доплывем до тропинки, и — сразу домой... Сейчас, потерпи, тут недалеко, два поворота, перекат и все. И ведь надо же так! Все ведь завтра замерзнет... Эх, не поспели, старые дураки...

Мальчик слушал с трудом и повторял тихо: — Да... я... дойду... деда... я... сам... один...

А Волшебный Тош все сокрушался: — Вот ведь! Думал ведь, что все уже хорошо!.. Хорошо, что и лучше не надо... Вот тебе и хорошо! Сглазил... Будто сглазил... Ах ты!.. Ведь так и знал, что не надо одного пускать, всего ведь не предусмотришь...

Наконец, пройдя все повороты, мальчик под шубами сквозь лихорадку услышал, как ткнулась в берег лодка Волшебного Тошка и затем ее догнала и скользнула по ее скуле мальчикова лодка. Волшебный Тош выпрыгнул на берег, подтянул обе лодки к берегу, и мальчик сам встал из шуб и сквозь частое дыхание зашептал: — Дедулька... Я один... Я дойду... тебе нельзя... Тебе надо плыть... Все замерзнет... Рыба там... Под мешком, твоя...

Волшебный Тош запротивился — нет, и речи быть не может, он так мальчика больше не отпустит, тем более больного. Но мальчик очень решительно замотал головой, шепотом возражая: — Нет, надо плыть. Я дойду. Ничего со мной не случится.

Волшебный Тош, с трудом сдерживая волнение и сильно сомневаясь, все же стал объяснять мальчику: — Вот здесь по тропинке пойдешь прямо... Будет развилка... Ах ты, Господи!.. Да давай вместе пойдем... Бог с ними, с лодками!..

Но мальчик твердо помотал головой: — Нет. Все замерзнет. Я дойду.

И Волшебный Тош продолжал, сам зная, что точно замерзнет: — Ах ты, Господи, Господи! Ну ладно... Как пойдешь, бери все левую сторону, ангел... Кроме одного места, где дорога будет поперек идти — там надо прямо... Это где-то посреди пути...

Мальчик кивал и запоминал — везде налево, только один раз прямо, когда поперек... Потом запахнул пальто, просипел: — Все, дедулька... Я пошел...

Волшебный Тош опять забормотал что-то, но мальчик, уже не слушая, оборвал его: — Я осторожно... Я не боюсь... Надо плыть... — и встал на тропинку.

Волшебный Тош придержал его за плечо, поправил пальто, шапку, что-то пошептал, перекрестил — и разжал руку, сокрушенно вздохнув, наблюдая, как мальчик ровно, не оборачиваясь, входит в лес, над которым небо уже сильно потемнело — скоро вечер, и с ним — сковывающий все холод...

Волшебный Тош, яростно теребя бородку, вздохнул, сошел вниз, сел в свою лодку, собираясь плыть дальше, притянул мальчикову лодку, взял шубу, подложил под себя, пошарил под сиденьем, откинул мешковину и увидел большую, вытянутую вдоль борта рыбину. — О-о-о-о-о! Вот те на... Это моя-а-а!..

Мальчик шел поначалу ровно и быстро, но как только начало темнеть — стал оглядываться и запинаться. Доходя до развилки, он проверял, как идут все дороги, и выбирал левую. Когда совсем стемнело, попалась та, что надо — дороги лежали крест-накрест, и надо было идти напрямик... Он все же прошелся чуть-чуть по всем и после этого уже почти побежал вперед по той, что вела прямо, оглядываясь через плечо на темный, смыкающийся коридор... Неожиданно попалась еще одна развилка, такая же, две дороги крестом. Не зная, что делать, мальчик остановился, потом сходил понемногу по всем трем туда и обратно, возвращаясь к перепутью. Неожиданно за стеной леса где-то залаяла собака, и он побежал туда, откуда, кажется, шел лай — опять прямо.

Уже в полной темноте он вышел на какое-то поле, полузасыпанное снегом и чуть светившееся от этого в

наступившей темноте. И дальше, где-то за полем, блеснул огонек. Он помчался вперед, напрямик, через какие-то редкие кусты, но неожиданно замер — сквозь ветки страшной маской вместо огоньков светила луна, которую он принял за близкий свет домов.

Он остановился. В кустах позади что-то затрещало — и на дальний конец поля стало выползать что-то серое, странное, какие-то копошащиеся тени, нечеткие, как льдинки в воде, — и они стали расползаться по полю, в чем-то рыться, тихо причмокивая и похрюкивая, как свинки.

Мальчик обрадовался и метнулся к ним, но они вдруг, услышав его топот и увидев его, будто окаменели, а через мгновенье бросились кто куда, громко ломясь сквозь кусты, и позади всех метнулась какая-то черная грозная тень, до этого стоявшая пятном в стороне, глухо рыкнув напоследок.

— Так... — мальчик остановился. — Так! Что же... Кабаны? Не свиньи?.. — его обожгло открытие. И он побежал прочь от этих теней, скатился в овраг, вскарабкался на другую сторону и только тут остановился, окончательно заблудившись и уже боясь крикнуть в ночи.

Отдышавшись, мальчик собрался было возвратиться назад, к той последней развилке, начал уже спускаться в овраг — но остановился, полез обратно. Потом, постояв еще, решил держаться кромки леса и не отходить от лугов и картофельных полей, которые окружали деревню, не видимую пока что из-за каких-нибудь кустов и поворотов. Он двинулся вдоль леса налево, твердо шагая и что есть силы бодро приговаривая: — Ну и что! Ну и что! А я рыбу поймал!

Неожиданно опять что-то блеснуло — мальчик остановился и недоверчиво стал вглядываться в ту сторону — звезда или луна? Опять блеснуло — что-то красное, кажется, костер... Он побежал туда, оставив кромку леса, и вдруг обнаружил под ногами дорогу, которая шла почти в том же направлении. Он быстро зашагал по ней, стараясь не завернуть и не сбиться, но все же уперся в лес, за которым блеск потерялся. Помедлив, он с опаской вошел в него и, смотря и озираясь во все стороны, медленно пошел вглубь,

пугаясь и вздрагивая от всех своих шорохов и собственного оглушительного дыхания. Неожиданно лес кончился, и за ним, рядом, оказалась деревня. Мальчик оглянулся еще раз назад, усмехнулся и побежал к домам, насколько мог дышать.

В деревне все уже затихло, и он, оглядываясь, как в лесу, среди молчащих домов, пробежал всю деревню насквозь, из одного конца в другой, к которому он должен был выйти, если бы не сбился.

Он долго стучал в дверь, но бабушка не слышала. Тогда он сорвал ветку, дотянулся до высоких окон и поскребся по ним.

В доме мелькнул свет, кто-то выглянул в окно, затем отпер дверь, спустился в сени, отворил крыльцо и, всплеснув руками, обнял его, только тут потерявшего все силы и дыхание.

Мальчик пришел в себя только на третий день и сквозь жар и постоянное бабушкино питье, чернику с водой, он увидел что-то белое. Как будто он не лежал под одеялом, а стоял во дворе, и с облака, как по лестнице, спустилась девочка, которая взяла его за руку, отряхнула снег с одежды, привела в дом, провела мимо сидящих за столом отца, Волшебного Тошка и бабушки, чистившей **его** рыбину, и показала со спины на мальчика, укрытого несколькими одеялами, потом обошла его, а ему, стоявшему у порога, показала жестом, чтобы он там оставался, сама присела в изголовье, взяла со стула стакан с разведенным черничным вареньем и поднесла ему ко рту. Мальчик приподнял голову и сделал несколько глотков. С трудом сглотнув ягоды, он прошептал: — Спасибо, бабушка... — и снова тихо лег на подушку. Девочка сделала знак рукой — ложись, ложись, молчи... Встала и опять повела его во двор. Во дворе взяла его за руку, сжала горячими сильными пальцами: — Ну иди... Не плутай... — и повернула его к крыльцу. Мальчик не послушался — но девочки, **его** девочки уже не было, будто она растаяла в соседнем доме. Он осмотрел все кругом, потом все же пошел в дом, осторожно прокрался

мимо взрослых, заметив, что бабушка чистит уже другую рыбину, а **его** — бросила в общую чашку, и вошел в комнату, лег в остывшую постель и укрылся одеялом с головой, стараясь не забыть этого прикосновенья и запаха руки со стаканом, а проснувшись, попробовал потянуться еще слабым телом и глубоко вздохнул, уловив сладкий запах рыбного пирога...

Теплая женщина

Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.

Откровение святого Иоанна Богослова: 2, 17.

Мальчик проснулся от страха, почувствовав, что весь мир переменился, пока он болел. Сначала кошка прокралась в изголовье под утро, пристроилась рядом, пригрелась и потихоньку стала муркать и тарахтеть, напомнив мальчику сквозь сон старую бабушкину швейную машинку. Он чуть не заплакал во сне, представив бабушку, вечно что-то починяющую в полутемной комнате, и испугался своих чувств, и открыл глаза, и увидел ее в приоткрытую дверь кухни, почти такую же беззащитную и маленькую, как во сне. Она стояла и натирала морковь, и звук от терки был, как от пилы, отчего мальчику представились сгорбленные Олёксан и Волшебный Тош, вот так же на всю жизнь прикованные к деревьям и лесу. Отец в мокрых болотных сапогах прогромыхал через всю комнату, вызывая ужас самый тяжкий — тот, что скоро уезжать в шумный и

восторженный город, в котором и мокро, и черно, и сумрачно от тающего и вновь падающего снега — по дороге в школу и по дороге из школы, в обе стороны бесконечные, ненавидимые и тянущие.

— Пойду, что ли, прогуляюсь насчет дров там... — где-то прошелестел сквозь бороду Волшебный Тош тихо и обреченно, как в последний раз в жизни, и несколько раз толкнул дверь, пока она не отворилась недовольно, а как только он вышел, тут же захлопнула плотно мягкие по краям створки, поскрипывая, что она одна тут вечная работница, старается и держит тепло.

— Куда это он... Опять что ли к ней?.. — вздохнула бабушка.

— Да, наверное, — ответил невидимый мальчику таинственный Олёксан, спокойный и неторопливый.

— Вот... Теплая она женщина... И не горячая и не холодная, скоро состаримся уже, а ни «да», ни «нет»... И чего она от него хочет? А он-то бородой своей что уперся? «Без обряда таинства не могу!..» — передразнила бабушка Волшебного Тошка, на миг приостановившись, и вновь продолжила вжикать морковкой и рассуждать: — Уступил бы уж кто-нибудь... Обвенчались бы или наоборот... Попробовали бы сначала вместе пожить, если так не могут... А то столько лет — и каждый свое, то у одного сердце ожесточится, то у другого... То один: так не пойдет, то другой... Ну что, ведь правильно?..

— Вечером придут, посмотрим... — сказал Олёксан, то ли холодный, то ли, напротив, слишком настрадавшийся от этого постоянного жара по соседству.

— И она придет? — осторожно поинтересовалась бабушка, усиленно шаркая морковью, так что полетели по комнате яркие морковные искры.

— Да, может, и придет, наконец... — вздохнул Олёксан и тоже вышел. Дверь ему подалась легко и покорно за ним закрылась.

— Ну, тогда, пожалуй, я пирог испеку... — вздохнула вслух с облегчением бабушка. Она прошла в комнату, обтирая руки о передник, и, роняя красные блестки, отворила шкаф, достала мешочек муки и возвратилась в кухню.

Мальчик дождался, пока все затихнет, и тогда осторожно встал, оделся и тихо подошел к бабушке, молча улыбаясь ей.

— Ну, золотко, встал? — спросила она. Мальчик кивнул.

— Ну, слава Богу... А то уж уроков-то сколько прогулянo... Надо быстрей ехать в город, учиться...

Мальчик попытался скрыть вновь перехвативший дыхание страх, улыбнулся, взял со стола лепешку и спросил:

— Бабушка, рыба у нас есть?

— Не знаю... — бабушка встревожилась его вопросом. — Отец вроде бы ходил куда-то, да ведь что толку сейчас... Вон он, в лес побежал, за ягодами... А ты что думаешь?

Мальчик ничего не ответил, впервые за несколько дней он взглянул в окно и поразился — весь снег растаял, всюду было черно от уже подгнивших опавших листьев, и тепло, и облака были мягкими и прозрачными, так что солнце стояло близко и еще грело... Он чуть не разрыдался от этого нахлынувшего еще одного бесконечного дня, который можно еще прожить под какой-то такой же прозрачной и теплой защитой, с каким-то сладким привкусом на губах, со страшным сладким нытьем ветра во всем теле. Он еле сглотнул лепешку, отпил из своей чашки теплого чаю и, поблагодарив, пошел за теплой одеждой, снял ее с печи и принес все ворохом на лавку.

— Ты куда? — тревожно спросила бабушка.

— За рыбой, на свое место, Я уже совсем здоров и тепло оденусь.

— Ну вот... — только и сказала бабушка, глядя, как он решительно одевается. — Куда ты... Не ходи...

Мальчик только помотал головой из курточки.

— Ох ты, что с вами сделаешь... Все только к реке, да в лес... Ну, осторожней, благослови Христос... Возьми там, в шкафу, мой платок, да обмотайся вокруг — смотри, чтоб поясница не была голая... Аминь-аминь... Ой да ой, что с вами сделаешь...

Мальчик кивнул и пошел одевать платок. Весь как следует закутавшись, он осторожно прокрался к двери, поглядел, как бабушка замешивает тесто, и вернулся к шкафу. В нем, на самом дне, он нащупал мешочек, развя-

зал его и чуть-чуть высыпал на ладонь — это была старая манная крупа, желтоватая, вся в каких-то жучках и сухих личинках. Он набил полные карманы этой крупой, спрятал мешок на место и вернулся в горницу.

— Бабулька, я пошел, — он на миг прижался к ней и обнял сзади. И, чтоб она ничего не заметила, не стал дожидаться, пока она его поцелует, а побежал к двери и стал толкать ее плечом, прикрывая рукой набитый доверху карман. Дверь сопротивлялась, и бабушка уже собиралась подойти помочь — тогда мальчик ударил плечом со всей силы и вылетел в сени, чувствуя, как потянулась за ним тонкой дорожкой выплеснувшаяся крупа.

Мальчик издалека увидел, что место пусто. Немой, с которым они беззвучно соревновались с весны до осени, — не пришел, видимо, полагая, что мальчик уже уехал в город. Обычно немой приходил раньше и сыпал везде перед своими удочками прикормку. А мальчик уже пристраивался сбоку, рядышком, на краю прикормленного места, и когда он вытягивал рыбу, то немой, плохо скрывая недовольство, с шумом кидал к своим поплавкам изрядный комок привады, более распугивая рыбу этими яростными всплесками.

Мальчик обрадовался, что сегодня он будет один. Он быстро побежал вниз к своему бережку, но неожиданно резкие звуки за спиной будто ударили его и остановили — он оглянулся и посмотрел вверх, пытаясь определить, что там звенит вверху, со стороны выступающей одной стеной на берег деревянной часовни, которая в это время должна была молчать. И вдруг из-за ее колокольни ударил отчетливый звук, и ворвались в небо низко-низко летящие строем журавли. Мальчик вскрикнул от восторга и замирая стал следить, как они быстро тянутся мимо солнца, как их сносит ветром, которого они, наверное, не замечают, и как их уже мотает над лесом по ту сторону реки.

Он дождался, пока они скроются вдали, слившись с темной кромкой леса и, когда все затихло, спустился к воде — осторожно, стараясь не греметь сапогами по камням, — и встал на обычное место.

Воды в реке поубавилось — каменная загородка для мелкой рыбы очутилась полностью на суше и наполовину рассыпалась. Мальчик перенес поближе к воде несколько камней, размотал удочку, забросил и пристроил ее между этих камней, в почерневших от осеннего воздуха, легко расползающихся от прикосновения водорослях. Потом он вынул пригоршню крупы и веером сыпанул вперед.

Белые точки манки понемногу тонули, намокнув, а слабое течение тянуло дальше все черные сухие мусоринки, где на них снизу налетали мелкие рыбки, толкали из стороны в сторону, пока, наконец, кто-нибудь покрупнее не уносил все в глубину.

Мальчик поминутно сыпал и сыпал бабушкину кашу в воду, но поклевывала только мелочь, не попадаясь и только дразня. Один раз дернул кто-то довольно сильно, но мальчик опоздал схватить удочку.

Он уже успокоился и стал даже подмерзать, когда решил, что сегодня ничего не выйдет и пора прощаться на этот год с рекой. Он набрал последнюю полновесную горсть и бросил в реку, на прощанье, — как вдруг леска стала медленно натягиваться. Мальчик с дрожью взялся за удилище и со всей силы сжал его, так что прилипшие к ладони манные крупинки размялись и приклеили его к удочке, а когда леска натянулась до отказа — резко поддернул руку с удочкой вверх, чтобы подсечь рыбу, и неожиданно ощутил, как хрустнула вершинка и обломилась, — сегодня он взял старое, дедовское, счастливое удилище, которым давно никто не пользовался, и оно не выдержало.

Мальчик молча смотрел, как ныряет все дальше от берега беспомощный обломок, как он спускается вниз по течению, — видимо, вместе с рыбиной, между вялых осенних водорослей, уже не могущих его задержать, трогающих и пропускающих его как какой-нибудь обыкновенный прутик.

Так он молча смотрел и шел за ним довольно долго, останавливаясь вместе с рыбой и преследуя ее, все боясь, что она отплывет далеко или уйдет в глубину и утянет этот слабый серый кончик. Один раз мальчик попытался дотя-

нуться до него обломком удилища, но не смог и только шел вдоль по берегу, не зная, что делать.

Наонец, рыба нашла себе место и встала, больше не двигаясь. Мальчик долго стоял, смотрел, как ныряет и дрожит на течении предательски пересохшая вершинка, потом подобрал палку и швырнул подальше, за нее, надеясь подпугнуть рыбу к берегу. Он несколько раз кидал камни, думая пригнать упорную рыбину поближе, — но она не двигалась. Тогда он зашел насколько мог в воду, чуть выше по течению, и стал сыпать остатки крупы в реку, делая дорожку к берегу. Последнюю горсть он высыпал себе под ноги и тихо отступил обратно на сушу. Верхоплавки вновь обклевали всех мошек, а рыба все еще стояла.

Мальчик присел, вздохнул и собрался было уже прогнать ее, ударив со всей силы по воде, как вдруг вершинка дрогнула и подвинулась к берегу. Мальчик вскочил и еле сдержался, чтобы не закричать от радости. Он скинул свою ватную куртку, развязал мешающий бабушкин платок, закатал рукава рубашки и, взяв в руки удилище, стал медленно-медленно вновь входить в воду, навстречу приближающейся, скачущей по волнам палочке.

Он дотянулся до нее, осторожно приподнял на весу за леску и, когда она повисла в воздухе, осторожно качнул ее, чтобы она несколько раз обмоталась вокруг удилища. Затем со страхом потянул леску на берег, перехватываясь все ближе к концу удилища, пока леска не оказалась у него в руках, осторожно приговаривая: — Вот, вот, молодец... Ну... Ну... Давай... — Несколько раз он давал рыбе уходить на глубину, но в конце концов решился втянуть на мель и, осторожно накрыв сверху рукой, с силой выдернул на песок.

Он смотрел, как она ворочается и подпрыгивает, как прилипают к ней песчинки и затирают кровь, текущую из жабер, — и жалел, что немой сегодня не пришел, а то бы он увидел, что мальчик в этом году его обставил. Он вдруг вспомнил, что однажды немой, поймав почти такую же рыбину, подпихнул ее ногой, в удовлетворении показывая — вот видишь?.. — и тогда он решил, что правильно, и он бы тоже пихнул тут перед немым свою победную рыбу.

Он дрожащими пальцами отцепил ее от лески, потом, вконец запутавшись и пачкаясь в крови, так и сунул всю нераспутанную удочку комком в карман, продел рыбе прут в жабры и понес домой, захватив и не годное уже никуда счастливое удилище.

Он подходил к дому, когда из-за угла выскочил немой и ошалело оглядел его, ткнул пальцем в рыбину, губами произнес: — Язь... О-о-о... Здоровый... — И вопросительно замотал головой.

Мальчик слегка небрежно ответил: — А, там... Где обычно... Вот, смотри... — он достал из кармана последнюю щепотку манной крупы и объяснил: — Я вот так сыплю, а потом забрасываю чуть-чуть ниже... А она как схватит! Всю удочку изорвала... Во какая!

Пока мальчик возбужденно рассказывал, смеясь и делая руками резкие жесты, немой утвердительно кивал головой — «понимаю», «понимаю» и, не дождавшись конца, побежал к своему дому, по пути все сам себе показывая — «сыпанул» и «во какая», «сыпанул» и «во какая»...

Мальчик увидел, как немой выволок все свои удочки, забежал домой, выбежал с мешочком и по самой короткой дороге припустил к реке. Когда он скрылся, мальчик пошел в свою сторону.

Дома он по-мужски сильно потянул дверь на себя, та покорно подалась, он вошел, спокойно, с достоинством положил язя на стол, а сам стал мыть руки под умывальником от рыбьей крови и слипшейся в корку крупы, как обычно это делал отец. Бабушка вышла на шум в горницу и, увидев рыбину, запричитала: — Аминь-аминь... Ой да ой... Ну и чудеса! Вот толстая-то какая... Надо ее почистить сразу... Ну, золотко, вот молодец... А толстая-то какая!..

Мальчик не спеша обтер руки, снял одежду, бабушкин платок, сапоги, подошел к столу и сказал: — Баб, это язь. Я сейчас почищу...

— Нет, нет... Не возись уж чистыми руками, — горячо возразила бабушка.

Мальчик не стал спорить, он налил себе чаю, отломил хлеба и сел за столом напротив еще теплой рыбы —

наблюдать за всем. Бабушка принесла тут же широкую доску, взяла нож и принялась за рыбу. После первого же ее движения вдруг потекло что-то белое, мальчик с трудом сглотнул чаю, едва не поперхнувшись, глядя, как бабушка радостно вскинулась и заработала ножом еще быстрей: — А икры-то сколько!.. Да какая белая! Да тут ее на целый пирог! Вот те на!..

Мальчик не отрываясь глядел, как течет и течет это белое, как бабушка собирает в блюдце эту «икру», чистую, одна к одной, без мошек и мусора. Потом он встал, оставив хлеб и чай, и, боясь, что бабушка сейчас все поймет, пошел в комнату, еле собрав силы, чтобы выдавить: — Спасибо, бабуля, я пошел отдыхать...

Он проснулся в глубоких сумерках, вечером, когда все уже сидели за столом в горнице, тихо переговариваясь. На столе стоял самовар, пирог с рыбой, пирог с «икрой», лепешки. Рядом с Волшебным Тошком сидела немолодая красивая женщина. Все пробовали пироги, похваливали, и мальчик очень долго стоял в темной комнате, не решаясь выступить на свет, все ожидая, что вот-вот все откроется.

Наконец, женщина увидела мальчика и обратилась к нему с улыбкой, отчего он чуть не обмер: — Так это твой улов? А вкусно... Только немного необычно... — она взяла кусочек пирога с «икрой» и положила в рот. — Ох, вкусно как!..

Волшебный Тош тоже посмотрел на мальчика: — Иди, иди сюда, рыбак. Вот какой молодец у нас растет! Иди, познакомься...

— Да пусть он поиграет с девочкой, — сказала бабушка и протянула мальчику руку, чтоб он подошел к ней. Мальчик медленно сделал несколько шагов к бабушке и тут увидел, что в стороне на отдельном стуле сидит девочка — та самая... Он как-то механически подошел к ней и обернулся к «теплой женщине». Она подбодрила его: — Ну что ты? Не бойся, это моя племянница... Идите поиграйте...

— Вот-вот, идите поиграйте, — откуда-то вышел отец, погладив его по голове. — Дайте-ка мне, я сяду на свое любимое место...

Девочка сошла со стула, отец подвинул его к столу, еще раз тронул мальчика за плечо и отвернулся — к горячим тихим старикам, к молчащим иконам и к ней.

Мальчик взял девочку за руку и повел ее в темную комнату, все прислушиваясь к голосу за спиной и жалея до бесконечности и себя, и Волшебного Тошка, к которому она обращалась, обжигая:

— Какой хороший, чудный, необыкновенный мальчик...

Бабушка вошла в комнату вслед за ними, внесла на блюдце два кусочка пирога: — Вот, поешьте... — и тут же вышла.

Девочка молча взяла кусочек, протянула мальчику, тот со страхом взял, еле слышно произнес: — Благослови, Господи, пить и есть рабам Твоим... — Они одновременно откусили по чуть-чуть, глядя друг на друга, и стали есть, замедляясь, все слабее, чувствуя один за другим приближение и вхождение той страшной тайной силы, которая проходит сквозь любые двери.

В причастии ее уже предчувствуешь, как сладкое рыдание о любимом и любящем, отдающем себя и заполняющем все тело.

«МЫ НАВЕЛИ ПОРЯДОК В ВЕНГРИИ...»

Как возник режим Кадара? Документы бывшего архива ЦК КПСС (ноябрь 1956 г.)

Документы, предлагаемые вниманию читателей «Континента», относятся ко второму, заключительному, акту венгерской драмы осени 1956 года и поэтому, очевидно, нуждаются в некоторых предварительных пояснениях.

Режим Кадара, просуществовавший в Венгрии свыше тридцати лет (дольше этой страной правил, кажется, только Франц Иосиф), знал разные времена. Но всегда, даже в пик своей популярности на волне либерализации и реформ рубежа 60—70-х годов, ахиллесовой пятой его были более чем сомнительные обстоятельства прихода к власти кадаровского руководства. Ведь его легитимность была даже меньшей, чем легитимность диктатуры Ракоши, утвердившейся в конце 40-х годов с соблюдением хотя бы видимости законности.

Восстание, вспыхнувшее в Будапеште 23 октября 1956 года, в считанные дни, несмотря на вмешательство советских войск (а возможно, и благодаря ему), смело с политической сцены прежние структуры власти. Власть на местах перешла к созданным в городах и районах революционным и национальным комитетам, и к концу октября в Венгрии — беспрецедентным в истории социалистического лагеря образом — фактически победила демократическая революция. Главные ее требования — восстановление национального суверенитета (т.е. прежде всего вывод советских войск с территории Венгрии) и проведение свободных выборов на многопартийной основе — были признаны не только Имре Надем, возглавлявшим с 24 октября венгерское правительство, но и большинством обновленного руководства партии, включая ее первого секретаря Яноша Кадара. «Славное восстание нашего народа, — говорил Кадар, обращаясь к своим соотечественникам по радио 1 ноября, — сбросило с шеи страны ярмо ракошизма, обеспечив народу свободу, а стране — независимость, без которых нет и не может быть социализма»[1].

По иронии политической судьбы, лидер венгерских коммунистов в этот момент не знал, что днем раньше в Москве после длительных колебаний было принято решение о подавлении венгерского «бунта» силой оружия, как не знал и о том, что ключевая роль в устранении правительства Имре Надя и подавлении «славного восстания» будет поручена именно ему.

Вечером 1 ноября Ф.Мюнних и Я.Кадар (оба — министры правительства Имре Надя) были приглашены в советское посольство и после разговора с послом Ю. Андроповым тайно вылетели в Москву.

Впрочем, в Кремле вопрос о том, на кого сделать ставку, в это время еще не был окончательно решен. В президиуме ЦК КПСС шли жаркие споры, представление о которых дают недавно опубликованные откровения А.И.Микояна на известном июньском пленуме 1957 года, разгромившем антихрущевский заговор Маленкова-Молотова-Кагановича. «Вы представляете, — с присущей ему живостью докладывал он товарищам по ЦК, — что завтра, 4 ноября, наши войска должны начать выступления по всей Венгрии, а сегодня вечером еще неизвестно, кто будет во главе нового правительства Венгрии, по призыву и в поддержку которого наши войска выступают. Почему? Хрущев и Маленков были в Югославии, встречались с румынами, болгарами, венграми, югославами в течение двух дней для того, чтобы получить их согласие на выступление наших войск. Я был занят тем, что из Будапешта вывозили Кадара, Мюнниха и других; правительства еще не было, обсуждали, кого вводить в правительство. Мы предлагали Кадара. Молотов настаивал на том, чтобы во главе был Хегедюш — бывший премьер-министр. Спрашивал: кто это Кадар? Мы, мол, его не знаем, третировал его. Не могли договориться о составе правительства. Жуков сказал: я не могу откладывать операции, уже приказ дан войскам выступать. Молотов настаивал вернуть старое руководство...»[2]

Хрущев, как известно, поначалу склонялся в пользу кандидатуры Мюнниха, с которым был хорошо знаком, но по настоянию маршала Тито, благословившего на переговорах 2 ноября советскую интервенцию, все же остановил свой выбор на Кадаре (последний, по мнению Тито, был фигурой более самостоятельной и меньше походил на ставленника Москвы, нежели бывший политэмигрант Мюнних, большую часть жизни проживший в Советском Союзе).

В кремлевском сценарии — такова уж специфика переворотов — не отработанным оказался лишь один элемент: смещение правительства Надя. 31 октября, на заседании президиума ЦК,

Хрущев высказал мысль пригласить кабинет Надя на переговоры о выводе войск «и решить вопрос». Затем, если Надь согласится, «ввести его зампремьером» в новое правительство. Однако за нереальностью идея ареста правительства Надя была оставлена: с Тито договорились о том, что сложить полномочия Надя через свое посольство уговорят югославы.

Впрочем, испытанный прием «серовской дипломатии» (весной 1945 года И.Серов, в ту пору заместитель Л.Берии по НКВД, сумел заманить в западню псевдопереговоров почти всю верхушку польской Армии Крайовой[3]) все же сослужил свою службу и на этот раз. В ночь на 4 ноября, за несколько часов до начала операции по захвату венгерской столицы, генерал И. Серов, теперь уже председатель КГБ СССР, таким же способом обезглавил военное руководство правительства Надя, явившееся на инсценированные переговоры в штаб Особого корпуса Советской Армии близ Будапешта.

После начала штурма, призвав по радио население страны оказывать пассивное сопротивление «оккупационным войскам и марионеточному правительству», Имре Надь с группой сторонников воспользовался убежищем, предоставленным ему югославским посольством, однако категорически отказался сложить свои полномочия. В результате Кадар и несколько министров его самопровозглашенного правительства, доставленные утром 6 ноября в Будапешт на советских бронетранспортерах, оказались не только в изоляции от собственного народа, но и в ситуации двоевластия, спутавшей карты кремлевского сценария.

О том, каким образом происходило в этих условиях становление режима Кадара, и о роли в этом процессе советских органов безопасности свидетельствуют документы, представленные в настоящей подборке. Сведения об этой стороне венгерских событий по понятным причинам долгое время замалчивались. Между тем во многом именно благодаря энергичной деятельности И.Серова, который практически с первого дня восстания — с 24 октября — и до начала декабря 1956 г. находился в Венгрии, хрущевскому руководству удалось не только усмирить стихию восстания, но и добиться, казалось бы, невозможного — сравнительно быстро консолидировать ситуацию в Венгрии. «Мы навели порядок в Венгрии...», — не без гордости констатировал позднее Хрущев в своих «Воспоминаниях», имея в виду под «порядком» реставрацию в несколько измененном виде той же самой, по сути, однопартийной системы и зависимости Венгрии от Москвы, решительно отвергнутых участниками событий «будапештской осени».

На плечи Кадара, согласившегося возглавить новое венгерское правительство и тем самым придать интервенции видимость законности, легла непосильная задача по реорганизации власти в стране. Для ее осуществления потребовались репрессии, к которым Кадар и узкая группа его сторонников после разоблаченных ими же беззаконий, имевших место при Ракоши, были морально не готовы. Отсюда — их либеральное, по мнению Серова, отношение к «врагам» и попытки в первое время, ссылаясь на негативную реакцию населения, сдержать размах деятельности советских органов безопасности и их венгерских коллег. В политическом плане работу по «наведению порядка» координировали и направляли представители президиума ЦК КПСС Г.Маленков, М.Суслов, А.Аристов, которые с середины ноября до начала декабря 1956 г. также находились в Будапеште с негласной миссией.

Публикуемые документы демонстрируют эволюцию кадаровского руководства в первые недели после 4 ноября 1956 г., процесс осознания им того очевидного факта, что способ, которым оно пришло к власти, не оставил для него возможности сохранить хотя бы некоторые демократические достижения революции, нормализовать обстановку в стране ценой малой крови.

Донесения Серова от 9 ноября, Серова и Андропова от 14 ноября (док. № 1, 3) проливают свет и на факт депортации венгров в приграничные советские тюрьмы, который хрущевское руководство в свое время с негодованием отрицало перед международным сообществом. С другой стороны, как свидетельствует, например, весьма примечательный документ — записка зам. министра внутренних дел СССР М. Холодкова (док. № 4), — даже на высших уровнях советской иерархии находились люди, явно обеспокоенные масштабами карательной деятельности.

Справедливости ради нужно также отметить, что кампания возмездия за 1956 год по-настоящему развернулась в Венгрии уже после отъезда советских эмиссаров, основная задача которых состояла в том, чтобы помочь венгерскому руководству возродить партию и собственные структуры госбезопасности. В середине декабря, дабы сломить продолжающееся сопротивление общества, в Венгрии были открыты лагеря для интернированных и введен институт чрезвычайного судопроизводства (единственной мерой, которую мог определить чрезвычайный суд, была смертная казнь). Последовала череда закрытых процессов: до начала 60-х годов участникам «мятежа», включая премьер-министра Надя и нескольких его сторонников, было вынесено свыше 300 смертных

приговоров, десятки тысяч повстанцев, членов рабочих советов и национальных комитетов, деятелей партийной оппозиции, писателей, журналистов (впоследствии практически все они были реабилитированы) оказались в тюрьмах и лагерях. Такова была истинная цена относительно быстрой «консолидации» режима Кадара.

* * *

Оригиналы публикуемых документов находятся в Архиве Президента Российской Федерации (АПРФ), их ксерокопии — за исключением документа № 8 — переданы в фонд 89 Центра хранения современной документации (ЦХСД). Документы № 6, 7 публикуются впервые, а № 2, 4, 5, 8 до сих пор были опубликованы только на венгерском языке в выпущенном издательством «Мора Ференц» сборнике «Недостающие страницы из истории 1956 г. Документы бывшего архива ЦК КПСС», подготовленном авторами настоящей публикации (Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SzKP KB levéltárából. Budapest, 1993). Документы № 1, 3, 9 были опубликованы на русском языке в журнале «Исторический архив», 1993, № 5, 6.

В.Середа

1. Донесение И.А.Серова[4] из Будапешта в ЦК КПСС

9 ноября 1956 г.

Секретарю ЦК КПСС
тов. Хрущеву Н.С.

Вчера министр общественной безопасности т.Мюнних[5] направил в областные организации приказ, в котором указал, что на местах, вопреки запрещению правительства, создаются органы госбезопасности[6]. Поэтому он приказывает всем сотрудникам органов госбезопасности прекратить работу по формированию органов и уйти домой.

Учитывая, что особые отделы дивизий всю работу по изъятию контрреволюционных мятежников ведут через венгерских сотрудников органов госбезопасности, явившихся после занятия

городов частями Советской Армии, сегодня разговаривал с т.Мюннихом и спросил, как он дальше имеет в виду вести работу по выявлению и аресту контрреволюционного элемента после такого приказа. Тов. Мюнних мне ответил, что директиву он издал на основании указаний правительства так, как это было предусмотрено Декларацией[7] правительства.

Через некоторое время в кабинет к т.Мюнниху пришел т.Кадар, который сказал, что он хотел бы со мною также побеседовать. В ходе беседы т.Кадар остановился на следующих вопросах:

1. У него были представители некоторых областей, в частности области Сальнок[8], которые сообщили Кадару, что офицеры Советской Армии много арестовывают и наряду с арестом контрреволюционного элемента арестовывают также рядовых участников повстанческого движения. Он считает, что этого делать не следует, так как люди, участвовавшие в повстанческом движении, очень опасаются мести со стороны правительства, в то время как в Декларации правительства было сказано, что те, кто сложит оружие и прекратит сопротивление, не будет наказываться. Венгерское правительство не должно мстить и проявлять жестокость в отношении таких лиц. И далее:

Представитель области Сальнок сообщил т.Кадару, что когда в области арестовали 40 человек, пришли представители от рабочих и сказали, что они не начнут работать, пока не освободят арестованных. В других же областях прошли слухи, что в Сальнок арестовали 6 тыс. человек. Тов. Кадар указал, что арестовывают реакционеров бывшие сотрудники органов госбезопасности, которых правительство распустило. Нам невыгодно перед народом, что сотрудники органов госбезопасности в Венгрии участвуют в арестах. Вы должны учесть, что у нас настроение масс играет большое значение. Советские товарищи и наши сотрудники органов госбезопасности арестами могут вызвать возмущение масс.

Я сказал, что сотрудники органов госбезопасности в Венгрии сейчас выполняют положительную работу в деле изъятия контрреволюционных мятежников. Через несколько дней, когда лица, представляющие опасность для нынешнего правительства, будут изолированы, тогда этих сотрудников следует переместить на другую работу. Тов. Кадар и т.Мюнних согласились с этим.

Я разъяснил т.Кадару, что особым отделам дивизий дано указание арестовывать всех организаторов мятежа, лиц, оказывавших сопротивление частям Советской Армии с оружием в руках, а также граждан, которые подстрекали и разжигали нена-

висть народа (в период правительства Надя) к коммунистам и сотрудникам органов госбезопасности, в результате чего часть из них расстреляна, повешена и сожжена. Что касается рядовых участников восстания, то они не арестовываются. Тов. Кадар и т.Мюнних согласились, что это указание является правильным.

Далее я добавил, что не исключено, что могут быть арестованы отдельные лица, не принадлежащие к перечисленным категориям. Поэтому все арестованные тщательно фильтруются и те из них, которые не играли активной роли в мятеже, освобождаются.

Учитывая либеральное отношение, проявляемое руководящими работниками Венгрии к врагам, мною дано указание особым отделам всех арестованных быстрее отправлять из областей и городов на станцию Чоп, а также разъяснены вопросы организации «политотдела» в областях.

2. Далее т.Кадар сказал, что в МВД (гор. Будапешт), где сосредоточено большое количество сотрудников госбезопасности, создалась нездоровая обстановка, так как среди сотрудников органов имеются лица, которые работали в органах при Ракоши и сыграли отрицательную роль. Поэтому он считает, что этих сотрудников необходимо немедленно убрать и устроить на другую работу. Кроме того, он считает целесообразным расформировать управление охраны[9], так как это нечестные люди.

Я высказал пожелание, чтобы т.Мюнних быстрее издал приказ, как мы условились, об организации народной полиции и укомплектовал ее наиболее преданными честными сотрудниками, а также оформил «политический отдел» (отдел госбезопасности), который мог бы приступить к работе. Тогда этот вопрос будет снят.

При этом мы договорились с т.Мюннихом, что в политотделе центра будет не более 20—25 человек гласного состава, а остальные сотрудники будут проходить по негласному штату.

В составе «политотдела» будут: внешняя разведка, контрразведка, секретно-политическая служба, следствие и специальная служба оперативной техники.

Тов. Мюнних сказал, что он такой приказ подпишет завтра.

О количестве арестованных по областям и изъятом оружии донесу отдельной запиской.

И.Серов

ЦХСД. Ф. 89. Перечень 45. Док. № 39. Машинописная запись телефонограммы.

На документе помета: «Принято по ВЧ 9.XI.56 г.»

2. Донесение И.А.Серова из Будапешта в ЦК КПСС

13 ноября 1956 г.

ЦК КПСС
товарищу Хрущеву Н.С.

Докладываю о проделанной органами безопасности работе на территории Венгрии.

За 10 и 11 ноября арестовано 283 человека, а всего с первого дня операции 4.056 человек, из них направлено на станцию Чоп 767 человек, на которых оформлены следственные дела.

За два дня изъято оружия: пулеметов 168, стрелкового оружия (винтовок, карабинов, автоматов) 7.751, пистолетов 815, гранат 1.020. Всего за время операции изъято 298 пулеметов, 116.617 винтовок, 2.646 пистолетов и 5.096 гранат.

Обстановка в гор. Будапеште и в областных центрах следующая.

Имеющиеся у нас данные свидетельствуют о наличии все еще большого количества оружия у населения. Однако добровольная сдача его проходит медленно, лишь после того, как через агентуру устанавливается наличие оружия, путем обыска оружие изымается.

Как сообщает агентура, это объясняется усиленной пропагандой Би-би-си и других вражеских станций о том, чтобы венгры держались, так как придут полицейские силы Организации Объединенных Наций.

Большинство предприятий в гор. Будапеште еще не работает[10]. Это в значительной степени объясняется тем, что местные органы власти слабо проводят разъяснительную работу и, кроме того, созданные при Имре Наде рабочие комитеты[11] в ряде случаев находятся под влиянием провокаторов из числа мятежников, которые подстрекают к забастовке и различного рода требованиям к правительству. В областных центрах также имеются предприятия, которые не хотят приступать к работе. Так, например, в гор. Дебрецене рабочие местных предприятий проводят собрания, на которых выставляют требования о выводе советских войск, о введении сдельной оплаты труда, о выводе из состава правительства Апро[12] и др.

Там же рабочие типографии отказались набирать газету, так как им не понравилось несколько статей. При этом они угрожали поломать типографские машины.

Как нами установлено, студенты ряда городов систематически появляются на заводах и агитируют рабочих на забастовки и вооруженное сопротивление Советской Армии.

Сегодня сотрудник органов госбезопасности Венгрии связался с одним из активных участников мятежа, членом военного комитета, подполковником Иштваном Марианом[13], который подготовил совещание студентов гор. Будапешта и программу совещания.

На совещании имеется в виду выяснить «обстановку среди студентов, их связь с предприятиями, наличие оружия, автомашин и т.д.».

В программе совещания перечисляются требования, которые выставлялись студентами в период мятежа, с небольшим изменением. Они считают:

1) бесцельными всякие дальнейшие вооруженные операции;

2) необходимым продолжать борьбу за социалистический демократизм, но для этого требуются необходимые политические условия;

3) необходимым создать внутренние войска, верные национальной борьбе за свободу и преданные народу; после того вывод советских войск будет реальным;

4) они готовы сотрудничать с «временным» рабоче-крестьянским революционным правительством, и то в том случае, если это правительство будет выполнять требования народа;

5) требуют свободные выборы, систему нескольких партий, хотя могут постановку этих вопросов временно отложить;

6) требуют, чтобы Рабоче-крестьянское революционное правительство обеспечило автономию университетов и высших учебных заведений;

7) широкой связи с трудящимися предприятий, крестьянством и интеллигенцией.

Иштван согласился взять в свои руки совещание и по нашему плану вести работу по разложению студенческих организаций.

Следует отметить, что руководители местных партийных органов, прокуратуры и полиции по-прежнему либерально относятся к выявляемым нами активным участникам выступлений и находят различные смягчающие вину обстоятельства для того, чтобы не привлекать их к уголовной ответственности.

Такая же позиция высказывается и руководящими деятелями Венгерского правительства, при этом в качестве мотивов выставляются соображения «не раздражать народ, и без того плохо настроенный».

Вчера т.Мюнних вновь поднял вопрос о том, чтобы прекратить аресты в областях, так как рабочие в ответ на аресты бастуют. Особенно недовольны, что арестованных отправляют в Сибирь (это передает Би-би-си)[14].

Со своей стороны считаю, что делать уступки в этих вопросах не следует, так как практика показывает, что малейшая уступка реакционерам влечет за собой ряд дополнительных требований и угроз.

Аресты проводятся только при наличии конкретных данных о вражеской деятельности, подтвержденной показаниями.

Вчера т.Кадар и особенно т.Мюнних сильно взволнованы были арестом профессора Университета Надя Томаша[15], являвшегося идейным вдохновителем студенчества на мятеж и активным участником всех антиправительственных выступлений. Надь Томаш пришел к югославскому посольству для связи с Надем Имре, где и был задержан. Просьбу об освобождении т.Мюнних мотивировал тем, что Томаша все знают, студенты могут организовать демонстрацию. На мое разъяснение, кем является Томаш, т.Мюнних заявил, что его враждебное отношение к правительству им известно, но лучше его освободить. Томаш был освобожден.

Вчера ночью т.Мюнних приезжал и просил организовать операцию по аресту в гор. Будапеште 70 человек представителей различных организаций, которые должны сегодня в 15-00 собраться на совещание и выставить требования правительству. Приняты меры к проведению операции[16]. О последующем будем докладывать.

И.Серов

ЦХСД. Ф. 89. Перечень 45. Док. № 42. Машинописная запись телефонограммы.
На документе пометы: «Принято по ВЧ» и «Тов. Хрущеву доложено. В архив. 15.XI.56. В.Чернуха». Чернуха В.Н. — заместитель заведующего Общим отделом ЦК КПСС.

3. Информация И.А.Серова и Ю.В.Андропова из Будапешта в ЦК КПСС

14 ноября 1956 г.

ЦК КПСС

Сегодня в течение всего дня к нам неоднократно звонили товарищи Кадар и Мюнних (каждый в отдельности), которые сообщили, что советские военные власти отправили в Советский Союз (в Сибирь) эшелон венгерской молодежи, принимавшей участие в вооруженном мятеже. Кадар и Мюнних заявили в связи с этим, что они не одобряют подобных действий с нашей стороны, поскольку эти действия вызвали якобы всеобщую забастовку венгерских железнодорожников и ухудшили внутриполитическое положение в стране в целом. Сегодня вечером будапештское радио им. Кошута передало тенденциозное сообщение о вывозе венгерской молодежи в Сибирь.

Тов. Мюнних обратился с просьбой, чтобы командование советских войск сделало официальное заявление в печати о том, что оно никого не вывозило и не будет вывозить из Венгрии в СССР. С нашей стороны т.Мюнниху было сказано, что мы выясним этот вопрос и завтра сообщим ему ответ.

В действительности сегодня, 14 ноября, был отправлен на станцию Чоп небольшой эшелон с арестованными, следственные дела на которых оформлены как на активных участников и организаторов вооруженного мятежа. Эшелон проследовал границу. При передвижении эшелона заключенные на двух станциях выбросили в окно записки, в которых сообщали, что их отправляют в Сибирь. Эти записки были подобраны венгерскими железнодорожниками, которые сообщили об этом в правительство. По нашей линии дано указание впредь арестованных отправлять на закрытых автомашинах под усиленным конвоем.

Завтра при встрече с т.Мюннихом т.Серов имеет в виду сказать ему, что ввиду отсутствия в Венгрии достаточно подготовленной для содержания заключенных тюрьмы, где можно было бы обеспечить проведение объективного следствия, мы имели в виду небольшую группу арестованных разместить в помещении, близрасположенном от советско-венгерской границы.

Товарищи Суслов и Аристов об этом проинформированы.

Серов
Андропов[17]

ЦХСД. Ф. 89. Перечень 45. Док. № 44. Машинописная запись телефонограммы.
На документе помета: «Принято по ВЧ».

4. Докладная записка М.Н.Холодкова[18] министру внутренних дел СССР Н.П.Дудорову[19]

15 ноября 1956 г.

Совершенно секретно

Министру внутренних дел СССР
товарищу Дудорову Н.П.

Докладываю, что во исполнение Вашего указания я с группой работников МВД и представителем Министерства обороны СССР полковником Березиным прибыл 6 ноября с.г. в гор. Мукачево, где установил связь с представителем командования советских войск генерал-полковником т.Комаровым и договорился с ним о порядке и пункте приема участников контрреволюционного выступления в Венгрии, задержанных частями Советской Армии. Было решено, что всех задержанных части Советской Армии будут доставлять в ужгородскую тюрьму.

7 ноября с.г., во время разговора по «ВЧ», тов. Серов И.А. ориентировал меня, что количество задержанных составит 4—5 тысяч человек. В связи с этим мною совместно с представителями МВД Украинской СССР было принято решение для размещения задержанных кроме ужгородской тюрьмы отвести также тюрьмы в г.г. Стрый, Дрогобыч, Черновцы и Станислав.

Поступление задержанных в ужгородскую тюрьму началось с 8 ноября. В этот день прибыло 22 человека из Дебрецена и Мишкольца.

По состоянию на 15 ноября 1956 года в ужгородскую тюрьму поступило *846*[20] арестованных (в том числе 23 женщины), из которых *463* человека для дальнейшего содержания этапированы в тюрьму гор. Стрый, Дрогобычской области[21]. Последующие партии поступающих арестованных будут размещаться в тюрьмах г.г. Станислава, Черновцы и Дрогобыча.

На арестованных распространен режим, установленный для следственных заключенных.

Наибольшее количество арестованных поступило из района Будапешта (*548* чел.), г. Вестпрем (*90* чел.), г. Кошшвары (*45* чел.), г. Самбатель[22] (*55* чел.), г. Мишкольц (*20* чел.).

В числе прибывших значительное количество членов ВПТ, военнослужащих венгерской армии и студенческой молодежи, а также *68* человек несовершеннолетних, рождения 1939—1942 г.г., из них *9* девочек. Во время приема арестованных никаких эксцессов не было.

Следует отметить, что на большое количество арестованных нет надлежаще оформленных документов. Имеющиеся материалы в основном представляют из себя краткие справки местных венгерских властей, органов контрразведки Советской Армии, рапорты военнослужащих или списки с указанием одних лишь установочных данных задержанных.

Многие из арестованных обращались к нам с вопросом, почему они, венгерские граждане, оказались на территории Советского Союза? Заявляли, что они не выступали ни против Венгерского Революционного Рабоче-Крестьянского Правительства, ни против советских войск.

Военнослужащие венгерской армии Сепеши Мигаль и Селеши Ласло обратились к нам с письмом (копия прилагается), в котором они утверждают, что являются честными коммунистами и очень огорчены тем, что в такое тяжелое для Венгрии время не могут быть активными борцами за правительство Яноша Кадара.

Лейтенант венгерской армии Виг Дердь, доставленный из Мишкольца, заявил, что он не принимал участия в мятеже. Являясь переводчиком в одной из частей венгерской армии, до момента задержания, по заданию своего командования, держал связь с командованием частей Советской Армии и содействовал их передвижению по территории города Мишкольца. Он говорил, что содержащиеся вместе с ним в одной камере другие задержанные венгры, в частности, Фюльдвари Рудольф[23] (член ЦК ВПТ, депутат парламента, первый секретарь Боршодского обкома ВПТ) являются сторонниками Яноша Кадара и друзьями Советского Союза, а задержание их произошло ошибочно, что с их делом советские товарищи тщательно разберутся, и они будут реабилитированы. (Фюльдвари Рудольф, согласно указанию тов. Серова И.А., отправлен в Дебрецен.)

В числе доставленных в ужгородскую тюрьму из гор. Сольнок был главный врач городской поликлиники Шебык Андрош[24],

задержанный (согласно справке) как активный участник мятежа, выступавший на митинге повстанцев с призывом обратиться к США и в ООН за помощью.

В разговоре с нами он подтвердил свое выступление на митинге и заявил, что преследовал единственную цель —отговорить собравшуюся на городской площади огромную возбужденную толпу народа от вооруженного выступления против частей Советской Армии, которые окружили и разоружили венгерскую воинскую часть, дислоцировавшуюся в городе.

13 ноября 1956 года Шебык Андрош был из-под стражи освобожден и отправлен в Венгрию.

О своей невиновности заявляли и другие арестованные и просили быстрее разобраться с ними.

Из бесед с арестованными, а также из того факта, что на многих из них нет надлежаще оформленных документов о задержании, а на некоторых даже нет списков, видно, что частям Советской Армии при проведении операций по выявлению и задержанию участников мятежа приходится работать в очень трудной и сложной обстановке.

Об этом также свидетельствуют рассказы офицеров Советской Армии, доставлявших арестованных в Ужгород.

Сопровождавший группу арестованных из Дебрецена и Мишкольца сотрудник контрразведки капитан Злыгостев рассказал, что когда он лично принимал участие в операции по задержанию мятежников, то ему приходилось в ряде сел сталкиваться с таким положением, когда в этих населенных пунктах царило безвластие и не у кого было узнать, кто из местных жителей принимал участие в контрреволюционных выступлениях.

Изложенное, а также наличие среди арестованных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе девочек, дает основание предполагать, что могли быть необоснованные аресты.

Представляется необходимым в места содержания арестованных венгерских граждан срочно послать ответственных и компетентных работников (может быть, и венгерских), которые бы быстро разобрались с делами всех находящихся в тюрьме людей и освободили необоснованно арестованных.

Это тем более необходимо в связи с тем, что, как это видно из телеграфного донесения на Ваше имя Министра внутренних дел УССР тов. Бровкина от 15 ноября с.г., арестованные требуют ускорить разбирательство по их делам, выражают недовольство содержанием их в тюрьме, а на месте по расследованию

их дел работает всего лишь 8 следователей органов КГБ и Прокуратуры.

Многие арестованные обращались к нам и администрации тюрем с просьбой сообщить о их судьбе родственникам, поставить в известность, что они живы, так как, по заявлениям арестованных, в момент их задержания среди населения распространялись слухи, что арестованных везут в Сибирь или на расстрел.

Арестованные также просят разрешить им читать газеты и слушать радио, некоторые выражают неудовлетворение пищей.

На месте мною было дано распоряжение перевести всех арестованных на питание по норме № 2, т.е. как срочных заключенных, с выдачей им табака, а также обменять по установленному курсу изъятые у них форинты на советские денежные знаки и предоставить возможность арестованным приобретать через тюремный ларек предметы первой необходимости (мыло, зубные щетки и порошок и пр.).

Вместе с тем полагал бы целесообразным:

1. Разрешить арестованным читать венгерские газеты, издающиеся под контролем органов Венгерского Революционного Рабоче-Крестьянского Правительства. В связи с этим организовать доставку таких газет в тюрьмы через командование советских войск в Венгрии.

2. Внести предложения венгерскому правительству, чтобы венгерские власти сообщили родственникам арестованных, что последние задержаны венгерскими властями и здоровы (не указывая мест содержания).

3. Освобождаемых и подлежащих возвращению на родину венгерских граждан учреждениям внутренних дел доставлять в погранпункт на ст. Чоп, а затем передавать их представителям венгерских властей, в связи с чем обязать командование советских войск договориться с правительством Венгерской Народной Республики о порядке приема этих лиц венгерскими властями в Чопе и доставки их к месту назначения.

Холодков

ЦХСД. Ф. 89. Перечень 45. Док. № 46. Подлинник.

5. Донесение И.А.Серова из Будапешта в ЦК КПСС

19 ноября 1956 г.

Особая папка

ЦК КПСС
товарищу Хрущеву

Докладываю о проделанной органами госбезопасности работе на территории Венгрии.

1. За последние дни задержано органами безопасности 1278 человек, из них арестовано 102 человека. Изъято оружия: пулеметов 293, стрелкового (винтовок, карабинов, автоматов, пистолетов) 33.445, гранат 57.500.

Всего за время операции задержано 4.700 человек, из них арестовано 1.400. Отправлено и содержатся в местах заключения в г.г. Ужгород и Стрый 860 человек. За весь период изъято оружия: пулеметов 1.228, стрелкового (винтовок, карабинов, автоматов, пистолетов) 178.660, гранат 63.460.

При отправке задержанных и арестованных в первые дни имели место случаи, когда командиры воинских частей помимо особых отделов и представителей органов госбезопасности самостоятельно направляли на станцию Чоп задержанных, а лагеря МВД без согласованности с нами при отсутствии каких-либо следственных материалов на этих лиц принимали их для содержания. Так, начальник лагеря МВД в Ужгороде принял 68 учащихся ремесленного училища, направленных командиром одной из дивизий, дислоцирующихся в Будапеште. По указанию т.Конева И.С.[25] эта группа подростков доставлена в Будапешт и освобождена.

Мы с т.Коневым И.С. ознакомились с запиской работника МВД т.Холодкова, который находился несколько дней в Ужгороде и заявляет, что там содержится много лиц, арестованных необоснованно. В качестве примера он назвал члена ЦК Венгерской партии трудящихся, депутата парламента, первого секретаря Миклошского обкома[26] Фельдвари Рудольфа. Фельдвари Рудольф в период мятежа возглавил так называемый революционный комитет и вел злобную пропаганду против Советского Союза, сам выступал по радио, оправдывая контрреволюционные действия мятежников. За время деятельности Фельдвари было арес-

товано 62 коммуниста, сотрудника органов, а 8 человек было растерзано толпой[27]. Фельдвари вместе с другими мятежниками организовал по радио и самолетами связь с Австрией и Западной Германией и просил ввести войска Организации Объединенных Наций.

После образования правительства Кадара Фельдвари отказался признать это правительство, заявляя, что кто признает Кадара, будет считаться контрреволюционером. Таким образом видно, что имелось достаточно оснований для его ареста.

На днях т. Кадар поставил вопрос о возможности освобождения Фельдвари из-под ареста. Когда ему было сообщено о тех преступлениях, которые Фельдвари совершил, т.Кадар согласился, что Фельдвари способен на это, но вместе с этим добавил, что это такой человек, который активно служит любой власти и если его сейчас освободить, то он также активно будет работать на наше правительство. Было принято решение Фельдвари освободить[28].

Приведенный в записке т.Холодкова пример с арестованным врачом городской поликлиники Шебыком Андрашом также не соответствует действительности.

Практика следственной работы показывает, что ныне активные враги и организаторы, находящиеся под арестом, долго упорствуют, не признаются в своей вине. Отрицают свою вину даже те из арестованных, которые захвачены на месте преступления с оружием в руках. Этим и объясняются заявления арестованных о их невиновности, изложенные в записке работника МВД т.Холодкова.

Нами организованы вторичные тщательные проверки и оформления дел на арестованных, содержащихся в Ужгородской и Стрыйской тюрьмах. В этих целях из следственного управления КГБ на место отправлены две группы квалифицированных следователей.

2. В гор. Будапеште продолжают разбрасываться отдельные листовки, направленные против правительства Кадара, а также с призывами к забастовкам. В листовках высказываются различного рода провокационные данные о Советской Армии, о расстрелах и т.д.

Через агентуру было установлено, что листовки изготовляют студенческие организации. В связи с этим нами арестовано 7 студентов, которые возглавляли антиправительственную работу. Один из арестованных — студент Борбей Ерш показал, что в здании Будапештского университета имеется оружие. Произве-

денным обыском было изъято: 2 пулемета, 60 винтовок и автоматов и большое количество боеприпасов.

Нами были получены агентурные данные, что на фабрике документальных фильмов в Будапеште, а также на фабрике «Мадьярфильм» в запечатанных сейфах хранятся пленки ряда кинооператоров, снимавших события в Будапеште. В связи с этим пленка свыше 2600 метров было изъята. Предварительным просмотром установлено, что авторы киносъемок имели в виду зафиксировать «возмущение народа существующей властью». Наряду с такими снимками показаны бесчинства, погромы, грабежи и издевательства, которые творили группы фашистов, особенно из числа молодежи. Кинооператоры особое внимание уделили съемкам, показывающим разрушения в гор. Будапеште, произведенные Советской Армией. Имеется много кадров, которые можно использовать как обличительный материал против империалистических кругов и фашистских элементов, которые арестовывали, расстреливали и вешали коммунистов и других лиц. Кинопленка направлена в Москву для обработки, после чего будет представлена в ЦК КПСС.

3. Вчера через наши возможности были выведены из частной квартиры военного атташе Югославии Вукмировича[29] командующий военно-воздушными силами в Венгрии полковник Надер Ференц[30] и майор венгерской армии, находящийся с Надером.

Будучи допрошенным, Надер показал, что в период мятежа был сформирован военный комитет Венгерской республики[31], в состав которого он входил. Все свои действия Надер согласовывал с военным атташе Югославии Вукмировичем и получал от него указания. Так, например, по предложению Вукмировича Надер выступил в военном комитете с предложением обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы прислали наблюдателя в Венгрию. После того, как вошли части Советской Армии, по предложению Вукмировича Надер с семьей укрылся у него на квартире. При этом Вукмирович предупредил Надера, что советские части будут проводить террор в отношении венгерских граждан, а всех офицеров венгерской армии на правах военнопленных направят в лагерь.

Как далее показал Надер, 2 ноября к нему приехал военный атташе США полковник Даллан и в откровенной беседе заявил, что теперь Венгрия и США стали дружественными странами, усилия которых направлены против Советского Союза, и в связи с этим тут же попросил передать ему описание электроустройства самолета МИГ-17ф. В последние дни во время пребывания

Надера на квартире Вукмировича они с участием посла Югославии в Венгрии Солдатича[32] неоднократно обсуждали возможности комплектования нового венгерского правительства во главе с Надь Имре, рассчитывая, что правительство Кадара долго не продержится. При этом они ежедневно получали консультации и указания из Белграда. Полковник Надер должен был получить министерский пост в этом правительстве.

В последние дни якобы обстановка изменилась. Из Белграда было получено указание о том, чтобы посол Югославии добивался через т.Кадара включения в состав правительства Надь Имре и его сторонников. Сегодня под благовидным предлогом была проведена беседа с задержанными Вашем Золтаном и Санто Золтаном[33], которые заявляли, что вчера, 18 ноября, им Имре Надь объявил, что из Белграда получено сообщение о предоставлении Надю и его группе политического убежища в Югославии. В связи с этим югославский посол Солдатич не советовал выезжать им в город.

4. Положение в областях Венгрии по-прежнему еще не стабилизировалось. Многие предприятия к работе не приступают, проводят собрания, выставляя различные требования к правительству.

Имеют место единичные мелкие бандпроявления. Принимаются меры к изъятию бандэлемента.

О последующем буду докладывать.

И.Серов

ЦХСД. Ф. 89. Перечень 45. Док. № 48. Машинописная запись телефонограммы.

На документе помета: «Принято по ВЧ 19.XI.56 г.»

6. Донесение И.А.Серова из Будапешта в ЦК КПСС

24 ноября 1956 г.

Особая папка

ЦК КПСС
товарищу Хрущеву Н.С.

Докладываю о проделанной органами госбезопасности работе на территории Венгрии.

По состоянию на 23 ноября органами госбезопасности и полицией арестовано по областям и городу Будапешту 1473

человека и задержано 5820 человек, которые проходят следственную проверку. За этот период изъято 1250 пулеметов, 181766 стволов оружия (винтовки, карабины, автоматы, пистолеты) и 64063 гранаты.

За последние дни арестованы следующие лица:

Дудаш Ежеф[34] — по специальности инженер-механик, один из руководителей восстания в Будапеште.

Дудаш через нашу агентуру был вывезен якобы для переговоров с премьером и по дороге был захвачен. На предварительном допросе Дудаш показал, что он в 1946 году был арестован по делу Райка и находился под арестом до 1954 года. В период событий в Будапеште, в октябре месяце, Дудаш организовал митинг на площади Сена, на котором был принят ряд требований к правительству. В последующем возглавил борьбу повстанцев на площади Сена. Там же было проведено собрание представителей всех повстанцев Будапешта, где Дудаш был избран председателем Национального Комитета Будапешта. После этого вместе с повстанцами занял редакцию газеты «Сабад неп» (орган ЦК ВПТ), а 3 ноября Дудаш получил указание Имре Надя организовать баррикады перед редакцией и не допускать советские войска[35]. 8 ноября Дудаш был контужен и дальнейшего участия в борьбе не принимал. Организовано следствие;

в одном из детских садов гор. Будапешта был арестован активный руководитель восстания и организатор сопротивления в гор. Будапеште Сабо Янош[36], которого повстанцы прозвали «дядя Сабо». В прошлом Сабо являлся шофером Имре Надя. Как показывает Сабо, после занятия частями Советской Армии гор. Будапешта, он с группой повстанцев в 300 человек пошел на север страны в горы. Когда отряд Сабо распался, он также пришел в гор. Будапешт, где и был арестован;

арестован также Шаннен Бела — журналист, в прошлом активный сторонник хортистского режима, секретарь так называемого революционного комитета Союза журналистов. Шаннен 13 ноября с.г. вместе с журналистом Гимешом (разыскивается) собрал 150 писателей и провел совещание, на котором призывал выразить недоверие правительству Кадара, объявить забастовку всех типографий и издательств[37];

в гор. Сольнок арестован Иокаб Дюла[38] — житель города Будапешта, который прибыл в Сольнокский комитат и собирал деньги и продукты питания для повстанцев. Иокаб Дюла убивал в Будапеште мирных жителей и советских воинов. Находясь в гор. Бешеньсег, угрожал жителям, что он и его 200 соучастников убьют

председателя Революционного комитета, разгромят полицию и подожгут село.

Там же арестован служащий Сегедского завода «Феномеханика»[39] Сурмай Шандор, который во время мятежа был председателем «Революционного» Комитета завода. Несмотря на предупреждения военной комендатуры о сдаче оружия, Сурмай Шандор хранил в тайнике на заводе 2 пулемета, 3 винтовки, 47 гранат и большое количество боеприпасов.

В городе Сигедваре[40], комитат Баранья, арестован учащийся гимназии Биро Южеф, который распространял антиправительственные листовки и призывал к совершению диверсий на железной дороге.

В городе Сегед арестован Мирош Кара — актер, в 1944 году бежал из Венгрии в Западную Германию в гор. Мюнхен, где работал на радиостанции «Свободная Европа» и распространял различного рода провокационные сведения о положении в Венгрии.

По всем арестованным организовано следствие.

22 ноября в гор. Будапеште появились листовки, в которых было указано, что «все, кто против правительства Кадара и русского вмешательства в дела страны, не должны 23 ноября с 2 до 4 часов дня выходить на улицу; безлюдные улицы докажут Кадару и нашим доброжелательным друзьям — русским, что они здесь лишние. ООН также должна узнать о нашем желании».

Орган ЦК партии вчера также опубликовал статью, в которой, отмечая месячный срок событий, призывал к часовому молчанию. В результате почти все население Будапешта покинуло улицы и с 2 до 3 часов дня улицы были пустые. Жители, которые в 2 часа дня были на улицах, сразу вошли в дома и во дворы домов и стояли там до 3-х часов дня.

Сегодня в ЦК партии обсуждается вопрос о снятии с работы редактора партийной газеты[41].

О реакции населения в связи с выездом группы Надя доложу дополнительно.

И.Серов

ЦХСД. Ф. 89. Перечень 45. Док. № 51. Машинописная запись телефонограммы.
На документе помета: «Принято по ВЧ 24.XI.56 г.»

7. Донесение И.А.Серова из Будапешта в ЦК КПСС

27 ноября 1956 г.

ЦК КПСС
товарищу Хрущеву Н.С.

Докладываю о проводимой органами госбезопасности работе в Венгрии.

1. В настоящее время каких-либо серьезных антигосударственных проявлений в стране не отмечается. Органами госбезопасности на местах проводится фильтрация ранее задержанных. Задержанные, на которых не собрано данных, уличающих их в враждебной деятельности, из-под стражи освобождены и взяты на учет; вместе с этим, организовано агентурное наблюдение за некоторыми из них, представляющими оперативный интерес.

По состоянию на 26 ноября общее количество арестованных составляет 1473 человека, из числа арестованных 768 человек содержатся в Ужгороде, остальные в местах заключения местных органов безопасности Венгрии. Органы госбезопасности сейчас проводят работу по выявлению враждебных элементов агентурным путем.

2. В большинстве промышленных городов Венгрии предприятия приступили к работе. Выход рабочих на предприятия составляет от 60 и более процентов к общему количеству рабочих. В ряде мест выход на работу сдерживает отсутствие угля, сырья, электроэнергии. Местными органами власти принимаются меры к обеспечению этих предприятий.

В связи с вывозом Надя Имре и его группы[42] были отдельные требования от рабочих Советов «организовать переговоры с Имре Надем для того, чтобы убедиться, что он выехал в Румынию добровольно».

24 ноября будапештский совет послал представителей к коменданту города т.Гребеннику[43] с просьбой «послать делегацию к Надю и спросить его о добровольности выезда из Венгрии, не имеет ли он намерения вернуться к политической деятельности».

Комендантом даны разъяснения, после чего вновь вопрос не поднимался.

3. Согласно имеющихся у нас данных, американское посольство в Будапеште начинает тяготить присутствие кардинала Миндсенти[44] в миссии. Получив отказ от венгерского правитель-

ства в предоставлении возможности вывоза Миндсенти из страны, американцы обратились за помощью к Папе Римскому, который также отказался помочь в этом деле.

Нами в миссию к Миндсенти направлен агент с предложением нелегального вывоза его из страны. Имеется в виду, если Миндсенти на это согласится, задержать его после вывода из миссии[45].

Сегодня нами были получены агентурные данные, что личные документы Миндсенти и все документы комитета по делам католической церкви[46] переданы им на хранение викарию Сабо Имре. Произведенным обыском документы изъяты; организован их перевод.

4. Количество лиц, пытающихся убежать в Австрию, все еще большое (до 700 человек в сутки). Опросом задержанных выясняется, что основным мотивом бегства является вражеская пропаганда о предстоящем наказании лиц, принимавших участие в мятеже.

5. По имеющимся агентурным данным среди писателей, журналистов и руководящих членов буржуазных партий гор. Будапешта продолжается антиправительственная работа. Нелегально встречаясь с отдельными членами рабочих комитетов, они настраивают их на забастовки, на организацию саботажа, обещают им в этом политическую и моральную поддержку. Нами арестовываются наиболее враждебно настроенные лица.

6. В целях более четкой организации органов госбезопасности Венгрии мы подготовили следующие документы для доклада т. Кадару:

а) структуру разведки, контрразведки и других служб как в центре, так и на местах. Эта структура предусматривает, что в гласном составе органов будет минимальное количество сотрудников, а остальные проводятся по негласному штату. Это сделано для того, чтобы скрыть действительную численность органов, так как существует большая неприязнь к сотрудникам органов госбезопасности;

б) также вносится предложение об организации органов полиции и их укреплении. При этом начальник Главного управления полиции Петце[47] заменяется другим, так как он во время мятежа вел себя подозрительно, в ряде случаев поддерживал мятежников, а в настоящее время бездействует. Компрометирующие данные на Петце были доложены т.Мюннихом т.Кадару, который согласился с его освобождением;

в) в деле улучшения пограничной службы, усиления охраны границ и снижения случаев безнаказанного нарушения границ нами также подготовлены структура и штаты погранвойск;

г) для оказания помощи венгерским друзьям в организации оперативной работы мы вносим предложение об утверждении советнического аппарата КГБ общим количеством 27 человек[48], из них 18 человек по работе органов госбезопасности, 5 человек по полиции и 4 человека по спецтехнике.

Товарищи Маленков, Суслов и Аристов проинформированы.

И.Серов

ЦХСД. Ф. 89. Перечень 45. Док. № 53. Машинописная запись телефонограммы.

На документе помета: «Принято по ВЧ 27.XI.56 г.»

8. Информация Г.М.Маленкова[49], М.А.Суслова[50], А.Б.Аристова[51], И.А.Серова из Будапешта в ЦК КПСС

30 ноября 1956 г.

Особая папка
Сов. секретно

ЦК КПСС

Вместе с т.Кадаром и т.Мюннихом обсудили конкретные меры по проведению суда над преступниками, виновными в зверствах в период разгула реакции в Венгрии. Оба они полностью согласны с необходимостью организовать этот суд теперь же.

Мы высказали т.т.Кадару и Мюнниху свои соображения об образовании революционного военного трибунала республики.

Венгерские товарищи настаивают, чтобы это мероприятие было осуществлено через военный суд, как это положено в Венгрии по существующим законам. Военному суду предоставлено право быстро выносить решения, за совершенные преступления он может приговаривать к высшей мере наказания: гражданских лиц: к повешению, а военных — к расстрелу.

Т.т.Кадар и Мюнних сказали, что для образования революционного военного трибунала республики потребуется издание нового закона, а это сейчас затруднено тем, что нет даже сколько-нибудь полного состава президиума Венгерской Народной Рес-

публики, который должен утвердить такой закон. Принятие же закона единолично т.Доби Иштваном, по их мнению, явится нарушением существующих конституционных норм, и это могут поставить в вину как Доби Иштвану[52], так и президиуму.

Военный суд, как говорят венгерские товарищи, в представлении народа достаточно авторитетный судебный орган, приговор которого о расстреле и повешении произведет должное впечатление в стране.

Венгерскими товарищами с участием т.Серова для рассмотрения в судебном заседании отбирается группа (6—8 человек), которые непосредственно руководили вооруженным восстанием в городе Будапеште, арестовывали коммунистов и расстреливали их.

В числе лиц, предаваемых военному суду, отобраны:

Дудаш Йожеф, 54 лет[53], один из организаторов восстания, являлся руководителем повстанческих отрядов в Буде;

Сабо Янош, 59 лет, являлся руководителем вооруженных отрядов на площади Сены;

Заломи Ласло[54], 40 лет, бывший офицер хортистской армии, являлся заместителем командующего повстанческими вооруженными силами города Будапешта, во время мятежа был «членом революционного комитета» Министерства обороны, сдал повстанцам радиостанцию, которая находилась у него под охраной.

Кроме этих лиц, будут преданы суду несколько повстанцев, непосредственно производивших зверства и расстрелы граждан.

На лиц, предаваемых военному суду, сейчас оформляются следственные документы. На эту работу потребуется 2-3 дня, после чего следственные дела и обвинительные заключения будут переданы в военный суд.

Маленков
Суслов
Аристов
Серов

АПРФ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 489. Л. 238—239. Машинописная запись телефонограммы.
На документе помета: «Передано по ВЧ».

9. Письмо Ф.Мюнниха и Я.Кадара Н.С.Хрущеву

3 декабря 1956 г.

В Президиум ЦК КПСС
товарищу Хрущеву Никите Сергеевичу
Москва

В нашем совещании с тов. Серовым И.А. была достигнута договоренность о том, что венгерские органы государственной безопасности, милиции и пограничной охраны нуждаются в 23 советских советниках. По нашему мнению, 23 таких товарища могли бы оказать помощь соответствующим органам хорошей организацией борьбы с контрреволюцией.

Просим Президиум ЦК КПСС дать свое согласие на приглашение упомянутых советских специалистов[55].

Ференц Мюнних
Янош Кадар
Будапешт

ЦХСД. Ф. 89. Перечень 45. Док. № 60. Машинописная запись телефонограммы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Népszabadság. 2.XI.1956.

[2] Последняя «антипартийная группа». Стенографический отчет июньского (1957 г.) пленума ЦК КПСС // Исторический архив. 1993. № 4. С. 25—26.

[3] См. сб. документов: НКВД и польское подполье. 1944—1945. (По «Особым папкам» И.В.Сталина). Отв. редактор А.Ф.Носкова. М., 1994.

[4] Серов И.А. (1905—1990) — в 1954—1958 гг. председатель КГБ при Совете министров СССР, генерал армии. С 1956 по 1961 г. член ЦК КПСС. С 1939 г. в органах внутренних дел и госбезопасности, в 1941—1954 гг. — заместитель наркома (министра). В 1944 г. руководил операциями по депортации чеченцев, ингу-

шей, калмыков и крымских татар. В 1945—1947 гг. заместитель начальника советской военной администрации в Германии. В октябре-ноябре 1956 г. руководил действиями органов советской госбезопасности на территории Венгрии, за что в декабре был награжден Орденом Кутузова первой степени. С 1958 по 1962 г.— начальник Главного разведуправления (ГРУ) при Генштабе Вооруженных Сил СССР. В начале 1963 г. после разоблачения американо-английского агента О.В. Пеньковского был освобожден от должности, понижен в звании до генерал-майора и лишен звания Герой Советского Союза. В апреле 1965 г. за утрату политической бдительности и ошибки при подборе кадров ГРУ, а также за грубое нарушение социалистической законности во время работы в органах НКВД-КГБ и злоупотребления, допущенные во время службы в Германии, КПК при ЦК КПСС исключила И.А. Серова из рядов КПСС.

[5] Мюнних Ференц (1886—1967) —деятель венгерской компартии. После падения в 1919 г. коммунистического режима в Венгрии находился в эмиграции, в 1922—1936 гг. на хозяйственной работе в СССР. В 1936—1939 гг. участник войны в Испании, командир интербригады. В 1941—1945 гг. в рядах Красной Армии. В 1945—1949 гг. — начальник полиции г.Будапешта. В 1949—1956 гг. на дипломатической работе, был послом Венгрии в Финляндии, Болгарии, СССР, Югославии. 23—24 октября 1956 г., после начала восстания в Будапеште, был кооптирован в Центральное руководство Венгерской партии трудящихся (ВПТ). С 26 по 31 октября член президиума ВПТ, 27 октября утвержден министром внутренних дел в правительстве Имре Надя. 1 ноября вместе с Я.Кадаром тайно вылетел в Москву. С 4 ноября заместитель председателя так называемого революционного рабоче-крестьянского правительства Кадара, министр обороны и охраны общественного порядка. В 1958—1961 гг. председатель Совета министров ВНР.

[6] 28 октября министр внутренних дел в правительстве И.Надя Ф.Мюнних, реагируя на повсеместные требования повстанцев, объявил о роспуске органов государственной безопасности. Пришедшее к власти 4 ноября правительство Кадара, в котором Мюнних выполнял те же функции, отдавая себе отчет в крайней непопулярности органов госбезопасности среди венгров, сочло необходимым из тактических соображений оставить в силе это распоряжение. Позднее, как подтверждает и настоящий документ, структуры госбезопасности были воссозданы в замаскированном виде как «политические отделы» МВД и местных органов полиции.

[7] Имеется в виду «Обращение Венгерского революционного рабоче-крестьянского правительства к венгерскому народу», с которым выступило правительство Кадара 4 ноября. В нем, в

частности, содержалось обещание не допустить привлечения к ответственности граждан, участвовавших в массовом движении, развернувшемся начиная с 23 октября.

[8] Правильно: Сольнок.

[9] Речь идет об унаследованном режимом Кадара управлении охраны Центрального руководства ВПТ и правительства. Оно было укомплектовано выдвиженцами прежних коммунистических лидеров Ракоши и Гере, которым Кадар, репрессированный в 1951 г. и проведший 3 года в заключении, имел все основания не доверять.

[10] В знак протеста против советского вооруженного вмешательства по всей Венгрии после 4 ноября прошли массовые забастовки, более чем на две недели парализовавшие работу основных отраслей промышленности, а также транспорта.

[11] Речь идет о рабочих советах, после 23 октября повсеместно создававшихся на предприятиях как органы рабочего самоуправления, альтернативные прежним коммунистическим управленческим структурам (подробнее о них см., например: Lomax B. Hungary 1956. London. 1976). Функции альтернативных местных органов власти выполняли национальные комитеты, также стихийно сформировавшиеся по всей Венгрии начиная с 24 октября.

[12] Апро Антал (1913) — с 4 ноября член кадаровского правительства. Занимал ответственные должности при Ракоши, в частности, в 1953—1956 гг. был заместителем председателя Совета министров ВНР.

[13] Мариан Иштван (1924) — в 1956 г. начальник военной кафедры Будапештского технического университета, один из авторитетных руководителей революционной студенческой молодежи. Серов — видимо, по недоразумению — представляет его как сознательного информатора венгерской госбезопасности, чему противоречит дальнейшая судьба И.Мариана: в 1958 г. как активный деятель «контрреволюции» он был приговорен к пожизненному заключению.

[14] О временной депортации участников событий на территорию СССР см. док. 3, 4.

[15] Надь Тамаш (1914) — известный экономист, в 1956 г. был членом Революционного комитета венгерской интеллигенции, выступавшего против правительства Кадара. После того, как с началом советской интервенции Имре Надь и группа его сторонников укрылись в югославском посольстве, Тамаш Надь, по свидетельствам некоторых мемуаристов, выполнял функции посредника между группой И.Надя и их единомышленниками на воле.

[16] Речь идет о собрании представителей рабочих советов Будапешта, которое по инициативе Революционного рабочего совета Уйпешта должно было состояться в ратуше этого будапештского района. Просьба Ф.Мюниха была выполнена: инициаторы собрания были арестованы, здание ратуши блокировано советскими танками, однако собрание все же состоялось днем позже на электроламповом заводе «Эддешюлт Иззо». На нем, как и предполагалось, был создан Центральный рабочий совет Большого Будапешта. Сломить упорное сопротивление этого органа правительству Кадара удалось лишь в середине декабря, после введения чрезвычайного судопроизводства и массовых арестов руководителей рабочих советов.

[17] Андропов Ю.В. (1914—1984) — в 1954—1957 гг. посол СССР в Венгрии, с 1957 г. заведующий отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, в 1967—1982 гг. председатель КГБ при Совете министров СССР, в 1982—1984 гг. генеральный секретарь ЦК КПСС, в 1983—1984 гг. председатель Президиума Верховного Совета СССР.

[18] Холодков М.Н. (1904—1978) — заместитель министра внутренних дел СССР, в ноябре 1956 г. находился в г.Ужгороде, занимался организацией приема арестованных участников венгерского восстания, доставленных частями Советской Армии. Докладная записка 16 ноября была направлена в ЦК КПСС с сопроводительным письмом Н.П.Дудорова. К документу прилагается также обращение двух арестованных венгерских офицеров, заявляющих о своей непричастности к событиям и лояльности по отношению к правительству Кадара.

[19] Дудоров Н.П. (1906—1977) — член ЦК КПСС, министр внутренних дел СССР в 1956—1960 гг.

[20] Цифры, выделенные курсивом, вписаны в документ от руки.

[21] Ныне Львовская область Украины.

[22] Правильно: Веспрем (название области, а не города), Капошвар, Сомбатхей.

[23] Правильно: Фёльдвари Рудольф (1921) — в 1953—1954 гг. член политбюро ЦР ВПТ, с 1954 г. первый секретарь Боршодского обкома ВПТ, сторонник Имре Надя. Во время октябрьских событий вошел в состав областного рабочего совета. Через несколько дней после ареста был освобожден из тюрьмы в Ужгороде и вернулся в Мишкольц, где продолжил руководить рабочим советом. В 1958 г. был приговорен к пожизненному заключению.

[24] Правильно: Шебёк Андраш.

[25] Конев И.С. (1897—1973) —член ЦК КПСС, первый заместитель министра обороны СССР в 1956—1961 гг., одновременно

в 1956—1960 гг. главнокомандующий объединенными вооруженными силами государств-участников Варшавского договора. В ноябре 1956 г. непосредственно руководил военными операциями на территории Венгрии.

[26] Правильно: Боршодского обкома (Мишкольц — административный центр области Боршод).

[27] Речь идет о трагических событиях 26 октября в Мишкольце. По демонстрантам, собравшимся у областного полицейского управления, был открыт огонь, жертвами которого стали 16 человек. В ответ на это разъяренная толпа, захватив здание, расправилась с 7 полицейскими.

Информируя Хрущева, Серов стремился создать картину массового террора в дни восстания, поэтому он упоминает — зачастую преувеличивая — лишь случаи самосуда и расправ, допущенных повстанцами (за период событий жертвами подобных эксцессов стали несколько десятков человек). В то же время ни в одном из донесений Серова не упоминается о жертвах расстрелов мирных демонстрантов в различных городах Венгрии до и после 4 ноября, которых было во много раз больше.

[28] После возвращения в Мишкольц Р.Фельдвари, отказавшись сотрудничать с правительством Кадара, возглавил областной рабочий совет. В июле 1958 г. был приговорен к пожизненному заключению.

[29] Правильно: заместителя военного атташе Югославии Вукмировича.

[30] Правильно: Надор Ференц.

[31] Имеется в виду Революционный комитет обороны, созданный 31 октября в министерстве обороны ВНР из представителей революционно настроенной части армиии и вооруженной молодежи.

[32] Солдатич Далибор —в 1953—1956 гг. посол Югославии в Венгрии. При его посредничестве между югославским и венгерским руководством вплоть до 21 ноября велись переговоры о судьбе И.Надя и других деятелей из окружения премьер-министра, а также членов их семей. Советская сторона через своих уполномоченных, находившихся после 10 ноября в Будапеште (Г.М.Маленкова, М.А.Суслова, А.Б.Аристова), держала под контролем ход переговоров, во многом определяя установки венгерской стороны. Югославское правительство настаивало на гарантиях личной безопасности членов группы И.Надя в Венгрии или на разрешении им выехать в Югославию. Правительство Кадара то отклоняло условия югославов, то проявляло видимость уступок, заявляя о согласии с югославскими требованиями. Как явствует из документов, имеющихся в фондах ЦХСД, 17 ноября Маленков, Суслов и Аристов внесли на рассмотрение ЦК КПСС

предложение: Надя и его группу при выходе из посольства арестовать и отправить в Румынию. Кадар, по их сообщению, принял это предложение (с румынской стороной этот план был предварительно согласован). Между тем, венгеро-югославские переговоры продолжались. 21 ноября было достигнуто соглашение: Кадар от имени венгерского правительства дал письменную гарантию безопасности Надя и его группы и обещал не привлекать никого из них к ответственности за прошлую деятельность. О дальнейшем свидетельствует нота государственного секретариата по иностранным делам ФНРЮ, переданная посольству ВНР 22 ноября 1956 г.: И.Надь и люди из его окружения «добровольно покинули югославское посольство 22 ноября 1956 г. в 18 час. 30 мин. и разместились в автобусе, предоставленном в их распоряжение для поездки по домам заместителем председателя правительства и министром вооруженных сил и общественной безопасности д-ром Ференцем Мюннихом ... При посадке упомянутых лиц в автобус вмешались советские военные органы с требованием о том, что они должны отвезти лиц в автобусе, и один представитель советских военных органов, несмотря на энергичный протест югославского посланника в Будапеште, сел в автобус. Югославский посланник поэтому послал с группой Имре Надя дипломатического работника Милана Георгиевича и военного атташе Милана Дропца (правильно: Милан Дробац. — *Ред.*) для того, чтобы они лично убедились, что упомянутые лица будут отвезены в свои дома. Между тем, автобус был доставлен к зданию советской комендатуры города, где один подполковник Советской Армии заставил М.Дропца и М.Георгиевича оставить автобус. В ответ на протест военного атташе М.Дропца вышеупомянутый советский подполковник заявил, что он выполняет приказ своего командования. После этого автобус с упомянутыми лицами в сопровождении советских бронированных машин был отправлен в неизвестном направлении» (ЦХСД. Ф. 89. Оп. 2. Д. 5. Л. 22—23).

[33] З.Санто (1893—1977) и З.Ваш (1903—1983) —коммунисты-реформаторы из окружения И.Надя, вместе с ним в числе других укрывшиеся 4 ноября в югославском посольстве. Как и известный философ Г.Лукач, министр культуры в кабинете И.Надя, проявляли больше склонности к компромиссу с правительством Кадара. Все трое покинули югославское посольство 18 ноября, но тут же были арестованы советскими военными властями, доставлены на базу КГБ в Матяшфелде и позднее вместе с другими членами группы Надя депортированы в Румынию.

[34] Дудаш Йожеф (1912—1957) — инженер. С 14 лет примыкал к коммунистическому движению, более 5 лет провел в тюрьме. В годы второй мировой войны участвовал в венгерском движении сопротивления. В 1945 г. представитель партии мелких хозяев в

городском совете Будапешта. В конце 1946 г. был арестован по делу о так называемом заговоре против республики. В 1948 г. освобожден, но в 1949 г. вновь арестован в связи с делом Ласло Райка, видного деятеля венгерской компартии, приговоренного в сентябре 1949 г. к смертной казни на основании ложных обвинений. В 1954 г. вышел из заключения. После 23 октября 1956 г. один из наиболее радикальных лидеров повстанческого движения в Будапеште. От имени восставших вел переговоры с правительством И.Надя о выполнении их требований (в частности, о выводе советских войск). После 4 ноября продолжал оказывать вооруженное сопротивление. 21 ноября арестован советскими военными властями. 19 января 1957 г. казнен по приговору чрезвычайного суда.

[35] Сообщение Серова об этом указании Надя не подтверждается документальными источниками.

[36] Сабо Янош (1897—1957) — один из наиболее популярных руководителей повстанцев. В 1945—1949 гг. член ВПТ, работал водителем грузовика. С 1949 г. неоднократно арестовывался по ложным обвинениям в связях с югославской разведкой. В период восстания вступил в вооруженный отряд. На Я.Сабо был возложен контроль за действиями повстанцев всего района Буды. Арестован 19 ноября 1956 г., 19 января 1957 г. казнен по приговору чрезвычайного суда. Сообщение о том, что Сабо являлся шофером И.Надя, не соответствует действительности.

[37] Организации венгерской творческой интеллигенции и прежде всего союз писателей и союз журналистов играли важную роль в движении за реформы еще в месяцы, предшествовавшие 23 октября. После 4 ноября на заседаниях в творческих союзах был принят ряд резолюций с требованием о выводе советских войск. Подробнее см.: Середа В.Т., Стыкалин А.С. Из истории одного противостояния: союз венгерских писателей в общественной борьбе середины 50-х годов // Политические кризисы и конфликты 50—60-х годов в Восточной Европе. М. 1993.

[38] Правильно: Якаб Дюла.

[39] Правильно: «Финоммеханика» («Точная механика» — *венг.*).

[40] Правильно: Сигетвар.

[41] Редактор газеты «Непсабадшаг» Лайош Фехер 24 ноября 1956 г. был освобожден от занимаемой должности за ряд «ошибочных» публикаций и несогласие с жестким курсом на подавление сил оппозиции советскому военному присутствию.

[42] См. комментарий 32.

[43] Гребенник К.Е. — генерал-майор пограничных войск КГБ СССР, с 4 ноября 1956 г. советский военный комендант г. Будапешта.

[44] Миндсенти Йожеф (1892—1975) — с 1945 г. кардинал, примас католической церкви Венгрии. В 1948 г. был арестован и в 1949 г. на основе ложных обвинений приговорен к пожизненному заключению. После освобождения 31 октября 1956 г. стал одной из ключевых фигур венгерской революции. 4 ноября вынужден был укрыться в посольстве США в Будапеште.

[45] Осуществить этот план органам КГБ не удалось, и Миндсенти покинул территорию американского посольства лишь в 1971 г., выехав в Вену в соответствии с достигнутой между правительством Венгрии и Ватиканом договоренностью.

[46] Очевидно, имеется в виду канцелярия венгерской католической церкви.

[47] Правильно: Пёце Тибор (1919) — генерал-майор полиции, в 1954—1957 гг. заместитель министра внутренних дел ВНР, в ноябре 1956 г. — также начальник главного управления полиции.

[48] См. док. № 9.

[49] Маленков Г.М. (1902—1988) — член политбюро (президиума) ЦК КПСС в 1946—1957 гг., заместитель председателя Совета министров СССР в 1955—1957 гг.

[50] Суслов М.А. (1902—1982) — член политбюро (президиума) ЦК КПСС в 1955—1982 гг., секретарь ЦК в 1947—1982 гг.

[51] Аристов А.Б. (1903—1973) — секретарь ЦК КПСС в 1955—1960 гг.

[52] Доби Иштван (1898—1968) — бессменный председатель Президиума ВНР в 1952—1967 гг.

[53] Й.Дудашу в 1956 г. было 44 года.

[54] Правильно: Золоми Ласло (1916—1990) — офицер генштаба, 23 октября — во время штурма повстанцами здания венгерского радио — был начальником военной охраны радиокомитета. За участие в событиях на стороне И.Надя приговорен к 10 годам тюремного заключения.

[55] Решение президиума ЦК КПСС по этому вопросу состоялось 14 декабря 1956 г.

Публикация и комментарии

Е.Ореховой, В.Середы, А.Стыкалина

Андрей ЗУБОВ

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПОСТТОТАЛИТАРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Когда стали качаться и рушиться устои тоталитарного коммунистического государства в России, взоры многих обратились от зыблемой идеологии к извечным, казалось бы, основаниям народности и веры. В них люди надеялись обрести необходимое начало как личного, так и коллективного бытия. Новая реальность посттоталитарного мира заставляла с особой симпатией, даже любовью относиться к тому немногому, что пережило тоталитаризм, сохранилось — несмотря на его ужасающее давление — от былых, «нормальных» житейских устоев. Монархия, политические партии дореволюционной России, сословия, земства — все рухнуло, ушло в небытие, а национальное и религиозное начала остались.

Первым подверглось испытанию на всеобщую любовь начало национальное и, надо признать, испытания этого не выдержало. Самоутверждаясь почему-то всегда за счет ближнего, через его унижение, народы ввергли свои отечества в такие страдания междоусобных войн и хозяйственной разрухи, которым не видно конца и которые отбросили многие этносы на десятилетия назад, а некоторые поставили на грань физического вымирания. Этническая страсть почти всюду на пространствах нашей былой страны ныне поутихла, и лишь глухие к злобе дня политики еще пытаются предлагать своим народам подпорченную снедь нацио-

Андрей ЗУБОВ — родился в 1952 году в Москве. Закончил МГИМО. Доктор исторических наук, сотрудник Института востоковедения РАН. Автор двух монографий и многих десятков статей по политологии, религиеведению, истории русской философии. Член редколлегии «Континента». Живет в Москве.

нальной самоисключительности. Об этом мне не раз приходилось писать за последние годы[1].

Другое обращение — не к этническому, а к религиозному — было менее всеобщим, но безусловно более сложным. В нашей, еще недавно почти всецело атеистической стране, где генсек Хрущев обещал показать в 1980 году по телевизору «последнего попа», более половины населения ныне полагает себя «во что-то божественное верующим». Число людей, регулярно посещающих молитвенные собрания единоверцев (раз в месяц и чаще), в России не больше, чем в западноевропейских странах (1—3%), но раньше ведь не было и этого. И особенно возросло число людей ищущих, уже верящих «во что-то», но не знающих пути и порой имеющих самое причудливое представление о цели. Дороги ныне ведут к храмам, и двери храмов отверзты. Но, судя по бесстрастной статистике, очень многие, переступив несколько раз их пороги, в дальнейшем избегают даже улицы, ведущей к ним. Почему? Не происходит ли разочарование в вере, похожее на уже случившееся разочарование в народности? Для многих так оно и есть.

Мне не раз приходилось беседовать с такими неофитами-апостатами, и, скажу с болью в сердце, в большинстве случаев виноваты были не они. Впрочем, как не виноваты большей частью и те, кто, вдохновившись идеей возрождения национальной культуры и языка, были увлечены нечистоплотными политиками в грязное болото борьбы за превосходство над теми, кто имеет неосторожность, живя рядом, любить другой язык и другую традицию культуры.

Борьба с собой утончает зрение и укрепляет волю, борьба с другим, с братом твоим, всегда застит взор кровавой пеленой ярости, отупляет ум и превращает личное волевое усилие в единицу коллективного бессознательного «мы».

Все время тоталитарного режима мы жили по уставу — видеть врага вовне, в ином классе, в иной стране. И эта привычка терпимости к себе и подозрительности к другому отразилась во всем — даже в том, что уцелело от дототалитарного времени. Народное доброе чувство оказалось им отравлено. Яд проник и в чувство религиозное. Если в былые века политика была производной религии, то теперь часто религия политизирована. Теперь

---

[1] См. мои статьи: «Этнопаранойя» («Континент» №73, 1992), «Третий русский национализм» («Знамя» №1, 1993), «Послесловие к эпохе этнических революций» («Знамя» №5, 1993).

привычка видеть в ином потомке Адама врага, чужого, стала характерной для тех, кто плирому, единство человеческого рода, исповедует в качестве абсолютного вероучительного определения. Не есть ли это свойство, всегда, конечно, отравлявшее чистоту веры, но ныне усилившееся до крайности, — порождение былой, коммунистической склонности делить людей на братьев и врагов? И не в результате ли такой политизации институциональных религий уходят люди, в которых затеплился огонек любви к Создателю и надежда на спасение, из храмов, где любовь подменяется призывом к борьбе с врагами веры, а упование спасения — страхом перед их кознями?

А коли так, то не станет ли очередная конвульсия умирающего тоталитаризма губительной для живого религиозного чувства, возрождающегося в обществе, и уж по крайней мере губительной для «традиционных религий», особенно зараженных этим тоталитарным духом в десятилетия, а то и века жизни «под железной пятой»?

Об этом можно было бы говорить много, но, думаю, лучше любых общих соображений будет размышление над конкретными явлениями в жизни наиболее близкой мне Русской Православной Церкви, чадом которой числю я себя уже два десятилетия.

Заметки, публикуемые ниже, были написаны в течение зимы и весны 1995 года и опубликованы еженедельным информационным вестником «Метафразис» в разделе аналитики. Так как рассылаемый по электронной почте «Метафразис» совершенно недоступен простому посттоталитарному читателю, мне представилось целесообразным предложить заметки «Континенту».

1.
Открытость и закрытость в сегодняшней Православной Церкви России

Свобода и гласность, дарованные российскому обществу Михаилом Горбачевым, практически сразу же обнаружили действительную неоднородность во всех сферах общественного бытия. Одни голосовали за Ельцина, другие — за Жириновского или Рыжкова; одни очертя голову бросились в рынок — другие так и не сумели адаптироваться к векселям, брокерам и биржам. Очень скоро стало нам ясно, что практически по всем позициям люди устойчиво делятся на консерваторов и модернистов, на любителей перемен и сторонников стояния на месте, а то и возвращения

вспять в доброе старое прошлое. Это открытие для многих было шокирующим, так как семь десятилетий нас учили, что общество наше монолитней базальта, а отдельные отщепенцы и социально чуждые элементы в счет не идут — они идут в расход.

Открытие нашей различности, ее непривычность породили социальный антагонизм и нетерпимость, доходящие порой до опасного накала. Мы готовы убить, сжить со света другого только потому, что он кланяется иному кумиру и ищет несходный с нашим жизненный идеал. Старый, как мир, опыт, что люди устроены различно и что именно в этой различности заложена динамика жизни, хоть и не без уважительной причины, но крепко забыт нами. А между тем «консерватор» и «модернист» — это скорее всего те два полюса, между которыми только и может течь жизненный ток. Без перепада высот река превращается в «поганое болото», без полярности анода и катода не случается электрический разряд, без разновалентности и разнозарядности не произойдет химическая реакция.

Только грех, растливший нашу природу, превращает эту необходимую и естественную полярность в причину для взаимной ненависти. Став самостными, уверенными в своей конечной правоте, мы ненавидим другого, если он мыслит отлично от нас, если его духовный и умственный строй несходен с нашим собственным. Потому-то так нелегко обществу свыкнуться с различностью духовного и жизненного опыта.

Церковь в ее социальном измерении вовсе не исключение из всеобщего закона. И в ней обязательно должны обретаться горячие приверженцы реформ и твердые блюстители старины. Ведь и Церкви всегда есть, что менять и что свято хранить. В десятилетия коммунистического режима, как, впрочем, и в два синодальных века, эта полярность церковной жизни была скрыта и задавлена навязанным обществу фальшивым единодушием. В советское семидесятилетие государственная тотальность к тому же была еще и атеистической, Церковь подвергалась гонениям. Против религии, против Самого Бога была объявлена война на уничтожение. В конечном счете уничтоженным оказался не Бог, а большевизм, но от Церкви в те страшные десятилетия потребовался максимальный консерватизм, всецелая защита традиции, ибо коммунистическая власть, зорко наблюдая за своим идеологическим врагом, допустила бы только такие перемены, которые вели к ослаблению Церкви или к ее дискредитации. Церкви в целях самозащиты и так пришлось поступиться очень многим.

Но временное и вынужденное состояние многие христиане стали воспринимать как нормальное и единственно правильное. Сохранение каждой йоты и черты «преданий старцев» стало для них чуть ли не аксиомой церковной жизни. А между тем внешняя жизнь меняется ныне с невероятной быстротой. Гонений нет, напротив, и государство и общество вполне благожелательны к Православной Церкви. Люди, которые еще несколько лет назад и не помышляли о Христе и не измеряли свою жизнь вечностью, ныне ощупью приходят к церковным вратам, переступают порог храма. Неофитов и интересующихся во много раз больше, чем традиционных практикантов, «всегда ходивших к обедне».

Кроме того Церкви приходится ныне приспосабливаться к поликонфессиональности, к религиозному плюрализму. Тяжелая длань коммунистического деспотизма исчезла не только для православных, но и для тех, кто иначе понимает свое духовное призвание, чем мы. Очень велик соблазн просить власть их, иных, изгнать и подмять вновь, только нам оставив свободу. Но демократическая власть на это заведомо не пойдет, а недемократическая первым делом подчинит себе самую влиятельную в обществе деноминацию — Русскую Православную Церковь. Так что в обозримом будущем придется православным христианам отстаивать и проповедовать истину «на общих основаниях», в условиях свободного соревновательного процесса. Такого опыта у нашей Церкви почти что не было в прошлом.

Да и не только в религиозном многообразии дело, мы живем ныне и в информационной и в политической открытости. Можем, были бы деньги, путешествовать по всему миру, общаться с иностранцами сколь угодно близко. Все это очень меняет людей, и к тем, кто сейчас придет в Церковь, вряд ли можно будет обратиться с теми же словами, что сто или даже десять лет назад. Конечно, Христос вчера, сегодня и всегда тот же, но мы, мы-то иные, а богообщение, религия по определению всегда двусторонний, синергийный, если угодно, процесс. Ведь любой миссионер как дважды два знает, что проповедовать в европейском университете — одно, а на высокогорном алтайском пастбище — совсем иное. То же самое понимают и сердцем чувствуют все те, кто действительно пережил слова апостола Иакова, которыми кончает он свое послание: «Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак. 5,19).

Вот эта устремленность к проповеди, к борьбе за души человеческие, эта прекрасная, по сути — миссионерская, горячность и заставляет «экспериментировать» и епископов, и приходских священников, и мирян. Они ищут новые формы и церковного образования, и внебогослужебного общения верующих, и общественного деланья. Конечно, ошибки здесь неизбежны, но опасность не столько в них, и тем более не в новизнах самих по себе, куда опаснее соблазн той духовной установки, которая всегда подстерегает реформаторов. Если они начинают относиться к своей деятельности как к самой «правильной», высшей форме христианской жизни, полагая именно и только себя «здоровыми членами» Церкви, а «традиционщиков» — больными, то такое самопревозношение и «гордынька» испортят все дело. Поддаваясь такому искушению, люди не только губят свои души, делая внешне все вроде бы очень хорошо (хотя и гибель одной души — катастрофа поистине мирового масштаба), но могут легко сбиться уже и на путь того **самостного** увлечения преобразованиями ради самой инаковости «рутинным» обычаям, которое опасно раскачивает, а то и разламывает корабль Церкви.

И вот тут нужны «традиционщики». Готовые умереть за любую малость в канонах и типиконе, они тоже — и в еще сильнейшей степени, ибо их всегда большинство, — подвержены соблазну считать именно себя единственно верными сынами Церкви, призванными охранять ее истину от разрушительных посягательств еретиков-реформаторов, достойных только анафемы. Но если они способны сознавать, что на таком пути они тоже подвергают корабль Церкви опасному раскачиванию, а то и разламыванию, их «консерватизм» тоже может принести немалую пользу, остужая пыл слишком неуемных самостийных преобразователей, сбивая с них спесь. Как, в свою очередь, и не самовозносящиеся, а разумные церковные «модернисты» выполняют полезную работу в Церкви уже тем, что постоянно подстегивают консерваторов, испытывая те новые приемы и методы, которыми, может быть, через несколько лет пойдет вся полнота Церкви. Ведь очень многое из того, например, что ныне — благодаря шумной и резкой гласной полемике — выглядит чем-то чуть ли не «революционным» в общинах отцов Георгия Кочеткова и Александра Борисова, de facto давным-давно практиковалось многими священниками, действовавшими «тихонько» на свой страх и риск, но с немалой пользой церковной. «Тихость» эта, кроме всего прочего, являлась хорошей защитой и от опасности самопревозношения, всегда актуальной для нас, когда мы действуем публич-

но. Ведь действие *на публике* очень просто превращается из-за нашей самостности в действие *на публику*, а это фатально обессиливает его.

Открытая, модернизаторская сила Церкви столь же потребна, как и консервативная, охранительная. Но те, кому Промысел Божий вручил бразды высокой церковной власти, не могут, не должны вставать на один из полюсов в этом извечном споре. Мудро допуская существование обеих тенденций, более того, оберегая их, они позволят освободившемуся от коммунистической тотальности российскому обществу, забывая задняя и простираясь вперед, совершать свой трудный путь ко Христу, не уклоняясь опасно ни ошую, ни одесную.

2.
Русская Православная Церковь и русский национализм

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28. 19-20).

Это — последние слова воскресшего Господа, произнесенные Им накануне отшествия к Отцу всяческих. Они и завет нам, и необходимое условие существования Церкви воинствующей. Без проповеди благой вести о том, что смерть попрана смертью Христа и в Его смерти нам дана возможность вечной жизни Им и в Нем — существование и христиан и самого христианства абсолютно бессмысленно. С точки зрения этого последнего завета Иисуса только и возможно определять нам действенность нашей христианской жизни.

«Всем народам», «всей твари» — это не просто фигура речи — это великий принцип, это предвосхищение грядущей опасности **ограничения** всеобщности проповеди, которая будет столь желанна врагу нашего избавления от смерти. Если нельзя вовсе уничтожить веру в воскресшего Богочеловека и покончить с теми, кто впервые в Антиохии начал именоваться христианами, то тогда надо пытаться ограничить слово о Христе какими-то этническими, политическими или территориальными пределами, создать некоторое христианское гетто в необлагодатствованном мире.

Такая черта христианской оседлости хороша для отца лжи в двух отношениях: во-первых, вне нее можно не опасаться евангельской проповеди, а во-вторых, сами христиане, осознав себя «родом избранным, людьми, взятыми в удел», возгордятся своей

исключительностью и, *приняв идол избранности за Бога*, поклонятся ему, трагически утрачивая в этом поклоне и Царство не от мира сего, и силу, которой оно достигается.

В первые века христианства, до Миланского эдикта Церковь извне была ограничена Римским государством. Христианин объявлялся врагом императора и отеческих законов и на этом основании подлежал изгнанию или уничтожению. Для римского патриота возникала мучительная дилемма: если он с Богом — то он враг отечества; если он с отечеством — то вынуждается быть антихристом. Но этот первый соблазн был преодолен Церковью, объявившей, что, с одной стороны, любая власть — это дар Божий и потому за нее должно молиться и ей подчиняться во всем не душевредном; а с другой — все ценности этого мира — земное отечество, народ, семья, богатство — ничто в сравнении с Царством Божиим. Потому — «если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк. 14, 26). Разговор шел о приоритетах — перед перспективой спасения меркли все земные блага, но все земное, в том числе и языческое государство, осветившись небесным светом, приобретало пусть и относительную, но ценность.

С эпохи Константина Великого возник соблазн иного рода. Вера христианская сначала нерешительно, а с Юстиниана чуть ли не на полторы тысячи лет вполне определенно была провозглашена государственной идеологией сначала империи Ромеев, а потом и русского государства. В самой симфонии не было ничего дурного — это была естественная попытка верующей души освятить свое трудное земное шествие присутствием Спасителя, наполнить временное вечным. Но печальный результат превращения веры в идеологию обнаружился очень быстро: для сопредельных с Византией и Русью государств православие становится «чужеземной верой» и его последователи жестоко преследуются, когда отношения православного царства с соседями портятся.

Для перса, араба, поляка, финна или турка переход в православие означал разрыв с отечеством, позор и гонения, совсем как для римского христианина времен Адриана или Декия, но отягощенные еще и тем, что граждане Небесного Иерусалима первых веков не имели «зде пребывающего града» и потому их можно было обвинить в оскорблении власти, но не в предательстве в пользу соседней державы. Когда православие стало государственной идеологией, православные в Персии, Халифате, Речи Посполитой, Османской империи немедленно превратились в «пятую

колонну», их участь была предрешена и православной проповеди был поставлен эффективный предел не только иноверной государственной властью, но и самим патриотическим чувством подданных.

Иным пределом стало сращение священноначалия с государственной властью в самой «православной державе». Власть земная лишь как исключение являет собой образ небесного совершенства. Бесконечно чаще она «как свиния лежит в калу» отвратительных грехов и беззаконий, отражая, впрочем, лишь грехи и беззакония общества, ее породившего. Государственной церкви остается или обличать власть, тем самым становясь к ней в оппозицию и теряя статус церкви официальной, или закрывать глаза на грехи миродержцев века сего, теряя при этом благодать Святого Духа, Которому отвратительны наши беззакония.

Увы — историческое предание ясно говорит, что на молчаливое и раболепное пресмыкание перед властью *от мира сего* Церковь идет много чаще, чем на мужественное обличение пороков власть имущих, считающих себя ее чадами. Но в обоих случаях между Церковью и обществом возникают опасные для успеха евангельской проповеди рубежи: когда Церковь восстает на беззакония светских властей, от нее отшатываются патриоты, «благонамеренные» и просто робкие люди; когда Церковь трусливо молчит — искушаются честные и твердые в вере.

Не национализация ли православия в Византии Юстиниана и Ираклия привела к отпадению в ислам, монофизитство и несторианство целых народов и к неэффективности православной проповеди среди мусульман, буддистов и христиан дохалкидонитов? Не все усиливающееся ли огосударствление Русской Церкви в XV—XIX веках вызвало массовую апостасию, тот упадок церковной христианской веры, который скорее всего и стал причиной Великой Российской трагедии XX столетия?

Выйдя из бездны коммунистической диктатуры, Церковь Русская обнаружила себя в совершенно новой, никогда в прошлом не бывшей обстановке. Она не была гонима, но и не была огосударствлена. Церковь обрела неслыханную свободу проповедовать «всей твари» слово Божие. Конечно немало явилось трудностей — не хватало денег, отсутствовали знания и навыки социальной христианской работы, почти с нуля приходилось возрождать православное образование. Но в сравнении с открывшейся свободой все эти трудности были ничтожны — исстрадавшееся без истины сердце советского человека было как никогда открыто. Все мы помним эти баснословные 1988—91 года, когда

перед говорящим о Боге отворялись все двери. Теперь многие двери остаются закрытыми, а в иные Церковь и сама не стучится.

Из вне-системной, над-социальной Церковь имеет опасность стать *частью* общества, одной из партий этого преходящего мира. Она соединяет себя с одними, но ценой отделения от других. И разделение это проходит не по линии — «жаждущие Царства Божиего и правды Его» и служители маммоны. Нет, рубеж может лечь иначе.

«Кубанцы, вспомните, что мы — русский православный народ, народ Божий. Что такое Русь? Она есть подножие Престола Божия. И мы должны понять это и быть благодарны Богу», — объявляет настоятель Свято-Георгиевского храма Краснодара, протоиерей В. Подгорный на страницах «Кубанских новостей» (15 июля 1995 г.). Откуда такая национальная гордыня у духовно опытного отца протоиерея, многократно и верно объяснявшего прихожанам, что гордость — мать всех грехов, что «всякий, возвышающий сам себя, унижен будет» (Лк. 18, 14)? Разве служат трезвению и переживанию собственного недостоинства подобные, воскриляющие самость призывы, и тем более в наше, помешавшееся на этнической исключительности, время? Как после таких слов отнесутся к православию живущие бок о бок с кубанскими казаками армяне, адыги, черкесы, украинцы? В лучшем случае как к чуждой им «русской вере».

Да и грош цена нашей православности, если православные мы потому, что мы русские, а не потому, что истины православия, глубоко пережитые сердцем и умом, **сознательно** приняты нами. От этой, нерефлектирующей, бытовой веры избавлены мы 1917 годом, показавшем, кстати, и ее поверхностность, удобоискореняемость. «Ко всему, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его» (Мф. 13, 19). Так и была похищена Истина из сердец наших. И неужели к этому состоянию бессознательной народной православности призывают вернуться нас ревнители «отеческой веры»?

А что касается благодарности Богу за то, что мы русские, то, конечно, за это благодарить Создателя необходимо, как, впрочем, и за **всё** иное. Но, вознося эту благодарность, нельзя и на минуту забывать, что не менее горячо благодарят Бога и все другие люди, за то, что они родились в своем народе и в своем племени. У Бога нет лицеприятия, и каждый исполняющий волю Его любезен Ему, будь он русский или китаец, грек или зулус. И хотя Божественный замысел о разных народах различен, о чем явно свиде-

тельствует сама история человечества, он для любого племени равно прекрасен, ибо иного замысла у Всеблагого просто не может быть. И если не всё творение, а только Россия — подножие Престола Божия, то что тогда Великобритания, Эллада, Скандинавия? Какое место этим странам в своей священной географии отводит кубанский протоиерей?

Однако в национально-религиозном самообольщении о.В. Подгорный далеко не одинок.

«Наш русско-славянский народ правильно избрал себе путь православия, и мы должны вести высокодуховную жизнь, чтобы не соблазниться западными ценностями. Сохранение и укрепление России должно опираться на православие, самодержавие и народность», — известная формула графа Уварова звучит в устах митрополита Санкт-Петербургского Иоанна 6 июля 1994 года на встрече с общественностью города. «Наш русско-славянский народ...» — да, как человек, получивший плоть и кровь от отца и матери, высокопреосвященный Иоанн безусловно имеет «национальную принадлежность» и в этом смысле «русско-славянский народ» действительно его народ. Но как духовный отец города он свободен от национального бремени. Его дети **все**, кто живут в нем, как верующие, так и не верующие. Первых он должен заботливо оберегать в церковной ограде, вторых — привлекать в нее. Но ведь не все же петербуржцы — славяно-руссы, и не все даже русские — сторонники уваровской формулы. Только свобода от политического и этнического способна сделать епископа «всем для всех». Но владыка Иоанн не дает себе такую свободу.

И он не одинок в этом самоограничении. Владыка Кирилл Смоленский может говорить на I Всемирном Русском соборе (июнь 1993 года) о «нашем национально-религиозном нравственном идеале». Сам Святейший Патриарх не раз сопрягал как неразрывное целое православность и русскость. «Создание общин россиян за пределами родины требует от них особой верности национальным традициям, сплоченности и взаимной поддержки, сохранения священных устоев традиций и верности православию», — писал Святейший Патриарх в обращении к Государственной Думе в связи со слушаниями, посвященными положению соотечественников за рубежом (11 октября 1994).

На встрече с членами Российской Академии образования 29 декабря 1994 года Святейший Патриарх вновь объединил православность и русскость в единое нерасторжимое целое: «Все ключевые особенности, отличавшие русского человека на протяжении веков, были воспитаны в русском народе Православной

верой». Но коли так, то русский народ свят, ибо свята вера Православная. Однако любое мало-мальски объективное воззрение на народ наш свидетельствует,что он в совокупности такой же, как и все прочие народы, и отдельные жемчужины святости затеряны в навозе злобы и лени духовной у русских не в меньшей степени, чем у англичан, хиндустанцев или египетских коптов. У каждого народа навоз имеет свой состав, но навозом он от этой отличности не перестает быть ни у кого.

Обольщение какой-то особой православностью русского народа — это лишь одна сторона этнофилии, поразившей многих в Русской Церкви. Другая ее сторона — сопряжение Русской Церкви с русской этничностью. Во всем обширном докладе 29 декабря 1994 года в Российской Академии образования и наименованном «Основы Православного образования в России», Святейший Патриарх многократно подчеркивал неразрывную связь *русского народа* с православием, но и единожды не упомянул, что он πατριαρχης не только русских, но и якутов, украинцев, чеченцев, татар, мордвы, армян, немцев, евреев, калмыков и иных народов России.

А между тем все эти люди — также его чада, хотя могут и не ощущать себя ни в малой степени людьми русской культуры и языка, могут быть равнодушны и даже враждебны российской государственности, могут коснеть в неверии, язычестве, иноверии и инославии. Но если Православие — истинный путь в Царство Божие и если он, Патриарх, есть поставленный от Господа мудрый домоправитель, то о всех, находящихся в пределах этого дома, он обязан проявлять равную заботу. И более того, о самых немощных, самых блудных, самых далеких — заботу сугубую. Границы же дома — та самая «каноническая территория», о которой так любят говорить сегодня в патриаршей администрации, — это весь бывший Советский Союз за единственным изъятием Грузии.

Ощущать же себя этнархом, национальным религиозным вождем — крайне пагубно. Врагу рода человеческого только того и надо, чтобы евангельская проповедь была чем-то **ограничена**. И если в прошлом ограничение на Церковь налагалось извне то языческой империей, то международной политической ситуацией и идеологизацией веры светской властью, то нынче, в каком-то поразительном самообольщении церковная власть отделяет себя *сама* от всего нерусского. Но неужели нам предстоит увидеть вслед за парадом этнических суверенитетов и парад национальных православных церквей на пространствах многострадальной

России? Это будет невиданное торжество плоти над духом, земли над Небом, царства от мира сего — над Царством Божиим, Которому нет конца.

Этнизация Русской Церкви парадоксально приводит к ее согласию на сосуществование христианства с иными «традиционными религиями» и к заключению соглашения о взаимном непреступании границ. Русские — они наши, православные, а буряты — ваши, ламаисты, а нганасаны — шаманисты, а чеченцы — мусульмане, а евреи — иудаисты. И пусть каждый пасом будет в своей ограде своим традиционным священноначалием.

«Глядите, — в священном гневе восклицает епископ Читинский и Забайкальский Палладий, — еще нет в селе или улусе православного храма или буддийского дацана, а уже выросли... построенные на иноземные деньги гнезда пятидесятников или других сект, несущих чуждую и русским и бурятам веру» («Ваша реклама», Чита, 16 июня 1995 г.). Преосвященный Палладий щедро вручает буддийским ламам этнических бурят, соглашаясь просвещать только единокровных ему русичей. Бурятам чуждо православие, русским — ламаизм, обоим же «историческим» народам Забайкальской епархии — учения неправославных миссионеров. Потому, давайте объединим усилия традиционных религий против религий нетрадиционных. Но как же тогда **«шедше убо научите вся языки»**? До 1917 года православные миссии существовали среди бурят-ламаистов, и православная вера Усть-ордынских бурят напоминает, что призыв Спасителя к евангельской проповеди не всегда на Руси ограничивали национальными границами русского этноса.

Гадко, бесконечно гадко, когда Церковь в иные века использовала царский меч для обращения в истину заблудших, но не менее страшно, когда прячет она глубоко в ножны свой меч, «меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6, 17). А объявление религии традиционной и национальной святыней — есть прямой путь к крепкому затворению уст благовествующих мир — ибо у других народов *свои* религии, и национальные святыни также *свои*. Превращаясь в религию народа, этноса, в *элемент национального комплекса*, христианство становится ничем иным как **язычеством**. Ведь язычество — это не какое-то богословское заблуждение (скажем, политеизм), но именно этническая вера (в Новом Завете язычники — τα 'εθνη народы), как противоположность вере вселенской.

«Бог не есть Бог иудеев только, но, конечно, и язычников» (Рим. 3, 29). И задача Церкви всех язычников сделать Новым

Израилем, а не исповедуя «русского бога» самой отпасть в глубочайший паганизм.

«Наша задача — пробудить в людях угасшее чувство национального единства. Без восстановления национального образа жизни, который включает в себя и православие, и бытовую культуру, — не получится Великой России», — это из выступления председателя Русского общенационального союза Игоря Артамонова вечером 1 апреля 1995 года по радио «Маяк». «Русские определяются не только по этническим признакам, а и по своему отношению к совокупности таких понятий как язык, культура, традиции и вера», — это уже из Декларации Конгресса русских общин, принятой III съездом Конгресса 8 апреля 1995 года. И все это можно было бы списать на недобросовестность или невежество патриотически мыслящих политиков, души которых еще не преображены светом вселенской истины, если бы документы Конгресса не начинались с уведомления его председателем Юрием Скоковым, что «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II приветствовал Конгресс и благословил его работу».

* * *

Последнее время Святейший Патриарх много и верно говорит об угрозе неоязычества для нашего посткоммунистического общества. Но опасность эта весьма актуальна и для самой Церкви Русской, если воспримет она «русскость» как этническую рамку и рамкой этой *ограничит* свою экумену.

3.
Чеченская война и Русская Церковь

Свобода требует ответственности. В эпоху коммунистической тоталитарности умолчания или даже слова прямой неправды можно было объяснить как вынужденную жертву ради сохранения святыни. Не нам судить о чистоте и искренности этих объяснений. Есть истинно судящий и ведающий помышления сердец людских. Ему — суд. Нынешние же годы, годы неслыханной на Руси свободы, когда не требуется сделок с совестью для беспрепятственного священнодействования, позволяют размыслить о словах и делах начальствующих в той Церкви, членом которой себя считаешь. Кому, как не «внутренним», размышлять об этом?

Чеченская война вызвала в нашем обществе кризис, сравнимый, разве что, со штурмом Белого дома в начальные дни октября 1993 года. Тогда, в октябре, крови пролилось несравненно меньше, чем пролилось уже, и увы, скорее всего еще прольется на берегах Терека и Сунжи этой зимой. О Чеченской войне говорят, наверное, в каждом российском доме. Эта война является обязательным сюжетом телеинформации чуть ли не по всему миру, тесня даже ставшую привычной югославскую тему. Все политические и общественные силы России дали свою оценку событиям, и дали неоднократно. Могла ли остаться в стороне от этой войны Русская Православная Церковь? Понятно, что нет, и в стороне она не осталась.

Тем более важен и необходим был ясный голос крупнейшей и древнейшей христианской церкви в России потому, что нынешняя война велась в иноверной республике, против людей, обвязавших свои головы зелеными платками поборников Ислама. Идеологический аппарат генерала Дудаева делал все возможное, чтобы слить воедино русский империализм и христианский экспансионизм. «События в Чечне являются продолжением политики, направленной на уничтожение мусульман во всем мире, и никак иначе, как войной христиан против мусульман, данные события назвать нельзя», — заявил, например, председатель Исламской партии Азербайджана Хаджи Алиакрам в начале января. Подобные же заявления делались от имени мусульман некоторыми экстремистскими организациями Поволжья и Кавказа. Похожие мысли высказывались, правда не столь громогласно, и православными патриотами.

Еще какие-то 100—150 лет назад война с «нечестивыми агарянами» была дежурной идеологической формулой Русской Церкви, когда речь шла о войнах Империи с турками. Политическое удобно облекалось в религиозное, временное и преходящее — в вечное. Война за Эрзрум и Балканы преподносилась как борьба Истины с ложью, Спасителя с Велиаром. За этой подменой, укрепляя и возвышая ее, лежали пятнадцать столетий религиозных войн с маздеистами, мусульманами, католиками, лютеранами. «Возвеселишася Небеса и вси живущии на них, падшу змию и ангелом его во брани с Михаилом; возвеселися и ты, земле Российская, яко паде лев Свейский, борющийся с нами. Ныне спасение и сила и область Христа Господня: низложен же есть клеветник братии нашея...», — в таких апокалиптических образах воспевала, например, Церковь победу Петра I над Карлом Шведским в Полтавской баталии.

Думаю, что не без внутреннего сопротивления эта древняя традиция была решительно отброшена Православной Церковью в Чеченском конфликте. И Святейший Патриарх и митрополит Кирилл Смоленский многократно подчеркивали в своих заявлениях и интервью, что война в Чечне «не является войной мусульман и православных». Патриарх объявил об этом и в совместном заявлении с муфтием Чечни Мухаммад-Хусейном Алсабековым. Но, пожалуй, самой сильной являлась формула в первом патриаршем заявлении от 6 декабря, где мусульмане были наименованы братьями православных, а преданность вере предков среди чеченцев объявлена добродетелью. Может быть эти слова и способны смутить некоторых православных ревнителей, не считающих пребывание в иноверии благом, но они безусловно предотвратили религиозно-шовинистические спекуляции. Именно в войне, грозящей стать межнациональной и межрелигиозной, в войне, которую многие и в России и за границей именно так и объясняют себе, Церковь должна была занять и действительно заняла подлинно евангельскую позицию, когда «ближним», попавшим «в разбойники», оказался иноверец и инородец самарянин, а не облаченные в священнические одежды соплеменники. Мусульманин не враг, а брат христианину, ибо он — создание Того же Отца Небесного. Надо сказать, что и большинство мусульманских вождей, например, великий шейх исмаилитов Ага Хан, говоря о Чеченской войне, подчеркивали ту же самую мысль: война не носит религиозного характера, те, кто называют ее «спором о вере», — нечистоплотные лжецы.

В этом, важнейшем и, одновременно, деликатнейшем вопросе приверженцы государственного православия, равно как и государственного ислама, были вынуждены или смириться, или выступить против собственного священноначалия.

Далеко не с той же определенностью позиция Церкви была объявлена в вопросах политических, «имперских». 26 декабря Святейший Патриарх заявил, фактически повторяя официальную правительственную формулу, что он не сомневается «в жизненной необходимости водворения в Чеченской Республике законного порядка, восстановления мира и согласия между жителями этой земли и всеми народами Российской Федерации». На встрече в Белом доме премьер-министра Виктора Черномырдина с представителями религиозных исповеданий России митрополит Смоленский Кирилл высказался еще определенней: «Русская православная церковь наряду с прекращением конфликта настаивает на сохранении единой России». В том же

духе в интервью агентству «Нега» заявил и митрополит Санкт-Петербургский Иоанн: «Мне сложно говорить о событиях в Чечне, ибо я выступал и выступаю за сохранение целостности нашей страны».

Представим себе на минуту, что мусульманские вожди Кавказа с такой же решительностью будут настаивать на независимости своих народов от России, — и casus belli готов, причем в самой жестокой, религиозной редакции, которой так желают избежать ныне все здравомыслящие люди.

Что же, Святейшему Патриарху или высокопреосвященным митрополитам надо предать целостность России? Отнюдь. Но их человеческое и гражданское чувство патриотов не может главенствовать над христианским принципом, что Царство, которому они служат, — «не от мира сего». Что в той единственной задаче, к которой призвана Церковь Христова, быть путем в Небо — совершенно неважно, будет ли Чечня частью России или независимым государством. И не случайно Сам Господь, во время Своей земной жизни, всячески уклонялся от бесед на весьма актуальные тогда в Иудее политические темы, предлагая отдавать кесарю — кесарево, а Богу — Божие. Творить мир, уменьшать страдания обездоленных, поддерживать отчаявшихся — это лучшая проповедь, помогающая людям найти в страшных конвульсиях мира путь в Царство. Но рассуждения о политике — право же, лишь мешают обретению этого пути. Они делают Церковь, от имени которой произносятся подобные заявления, частью, партией этого, быстропреходящего мира, а не всем для всех. Да кроме того, в политике, как и в любой науке, есть свой профессиональный стандарт и нельзя без серьезной аналитической проработки утверждать идеи из области «real politik», подобные высказанной в заявлении Патриарха от 26 декабря: «Время для мирного разрешения существующих разногласий (между Россией и Чечней) пока есть, но осталось его не очень много». Мнение это уже тогда, в конце декабря, звучало скорее как «благое пожелание», а ныне его наивность тем более очевидна. Но еще более очевидно, что оно не имеет никакого отношения к миссии Церкви в этой страшной войне.

Когда ежедневно, во время сугубой ектении, диакон от имени Церкви молит о «ниспослании мира среди народов отечества нашего», — Церковь делает главное, что она может, в преодолении беды разделения и войны. Может быть, на время военной кампании следовало добавить и специальное прошение — нет, не о победе, а об усилении любви и очищении источников веры в

огрубевших сердцах наших. И о том еще, чтобы победа, чьей бы она ни была, оказалась для нас душевно полезной, спасительной.

И еще нужна помощь. Живая человеческая помощь. И Патриарх и митрополит Кирилл не раз говорили, что Русская Церковь собирает средства для оказания помощи в зоне конфликта. Кто будет спорить с тем, что это начинание прекрасно. Но так же поступают и многие нерелигиозные организации, и само государство, и ООН, и Европейский Совет. От Церкви же люди ждут большего, чем только денежной лепты. Они, пострадавшие, скорбящие, потерявшие близких, разоренные дотла, искалеченные, хотят видеть соскорбящего рядом, жаждут коснуться руки врачующей. В зоне конфликта, если использовать принятый казенный оборот, а лучше, на земле страданий, должны появиться люди, которые от имени Господа и Его Церкви окажут помощь и делом и добрым словом. Надо предать земле тела погибших. И пусть не только воинские похоронные команды, но и священник будут участвовать в погребении безымянных. Да, многие из них не ходили при жизни в церковь, да, обезображенные тела редко подскажут нам, на путях какой веры искали погибшие спасения и задумывались ли об этом вообще. Но долг Церкви не оставить их без христианского погребения. И пусть рядом с православным батюшкой читает аяты Корана имам. Души найдут свои пути. И тогда то братство, о котором смело и прекрасно сказал Святейший Патриарх, станет чуть больше реальностью, а ненависть и вражда отдалятся хоть на шаг, препобеждаемые Любовью.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ ЮРИЯ КАГРАМАНОВА «О СТРАХЕ БОЖИЕМ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ»

Готовя к публикации подборку откликов на статью Ю. Каграманова, напечатанную в предыдущем номере «Континента»[1]*, редакция исходила из того, что проблема, поставленная Ю. Каграмановым, настолько актуальна в нашей сегодняшней духовной ситуации, характерной не только для России, но, в сущности, и для*

[1] В статье Ю. Каграманова (см. с. 378, 8-я строка сверху) по недосмотру редакции вместо «В посланиях ап. Павла» — набрано: «В посланиях ап. Петра». Приносим свои извинения автору и читателям.

Запада, и вместе с тем настолько сложна по существу, настолько непроста для уяснения, что действительно требует очень серьезного, внимательного обсуждения. Тем более, что до сих пор, насколько нам известно, такого рода обсуждений даже на страницах специальных изданий у нас не проводилось, а между тем уже и в одном только том отношении, что же это такое — «страх Божий», в чем его природа, не говоря уж о значимости этого фактора в социальной или личной духовной практике, разброс суждений и толкований, бытующих в современном интеллектуальном и духовном обиходе, настолько велик, что эти суждения и толкования взывают, по крайней мере, хотя бы к их сопоставлению. Это вполне доказывают, как нам кажется, и помещаемые ниже обстоятельный и остро полемичный по отношению к точке зрения Ю. Каграманова отклик А. Кырлежева на его выступление, более короткая, но концептуально очень значимая статья С. Аверинцева и состоявшаяся в редакции «Континента» подробная беседа на тему о страхе Божием с настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках отцом Георгием Кочетковым, познакомившимся не только со статьей Ю. Каграманова, но, с ведома автора, и со статьей А. Кырлежева, которую мы успели показать ему еще до набора.

Публикуя эту подборку, редакция продолжает традицию, которую, как, вероятно, успел уже заметить наш постоянный читатель, она настойчиво утверждает на страницах журнала. Мы всегда стремились и будем стремиться к тому, чтобы те стержневые для понимания нынешней ситуации в России темы, к которым обращаются в своих статьях авторы таких наших рубрик, как «Россия», «Религия», «Гнозис», «Прочтение», «Литература и время», становились по возможности предметом дальнейшего обсуждения на страницах журнала. Именно поэтому мы напечатали:

— и отклик Ш. Маркиша (№ 75) на статью Д. Хмельницкого «Под звонкий голос крови, или С самосознанием наперевес» (№ 72);

— и письмо К. Ковальджи (№ 74) по поводу статьи М. Кудимовой «Ученик отступника» (№ 72), равно как и ее ответ К. Ковальджи (№ 77);

— и письмо Доры Штурман (№ 77) о статье В. Непомнящего «С веселым призраком свободы» (№ 73), а также и его ответ (№ 77);

— и отклик А. Стреляного (№ 78) на статью А. Арсеньева «Глобальный кризис современности и Россия» (№ 73), ответное возражение А. Арсеньева (№ 79) и письмо В. Максимова с возражениями А. Стреляному (№ 80).

В рамках постоянного в «Континенте» дискуссионного форума «Настоящее и будущее России» мы напечатали также две обширные полемические подборки:

— выступления Э. Лозанского, В. Аксенова, В. Буковского, А. Зиновьева и В. Максимова на международной конференции в Российской Академии наук в июне 1993 г. (№ 77)

— и (в № 80) серию интервью главного редактора «Континента» — с М. Горбачевым, Е. Гайдаром, Л. Пияшевой, В. Виноградовым и Т. Трояновым.

Кроме того, мы провели на страницах журнала (№ 81) обсуждение статьи А. Зубова «Пути России», опубликованной в № 75 (С. Аверинцев — «По поводу статьи А. Зубова ...», Л. Игошев — «О путях России», А. Зубов — «Опыт метанойи»), и напечатали еще целый ряд других дискуссионных материалов.

При этом, как опять же мог заметить читатель, мы всегда были готовы — и будем готовы и впредь — предоставить место для любой, самой острой точки зрения по обсуждаемым проблемам, лишь бы такое обсуждение велось в рамках той дискуссионной культуры, которая единственно приемлема для «Континента». Мы исходим из того, что при обсуждении любых статей, помещаемых на страницах журнала, и любых тем, выдвигаемых редакцией для дискуссии, для всех участников таких обсуждений безусловно обязательным должно быть уважение к точке зрения оппонента или противника, основанное на столь же безусловно обязательной и безусловной для всех предпосылке, что каждый автор «Континента» — и потому только он и автор «Континента» — искренне стремится только к уяснению истины, а потому и полемика с ним должна быть ориентирована именно и только этой же целью, а не какой-либо посторонней заботой — о красотах полемического с ним, например, фехтования или, тем более, о его уязвлении. В противном случае о полезности и нужности читателю наших дискуссий нам пришлось бы только мечтать, и мы надеемся, что нам и впредь не грозит опасность оказаться в таком положении. Мы и в дальнейшем останемся верны нашей принципиальной установке на широкое и серьезное обсуждение поднимаемых нашими авторами стержневых для понимания сегодняшней ситуации в России тем, и если, в частности, возникнет необходимость вновь вернуться и к той теме, которая обсуждается на страницах этого номера, мы с готовностью на это откликнемся.

Александр КЫРЛЕЖЕВ

К «ВОПРОСУ» О НРАВСТВЕННОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА И ПРИВЛЕЧЕНИИ ДЛЯ ЭТОГО БОГА

Все у нас, как известно, рано или поздно возвращается на круги своя. Очевидно, эта особенность «русского пути» и порождает более или менее страстные желания «возвратов» и «возрождений», которыми образованные люди, интеллигенты — в соответствии со своим умственным и духовным складом — склонны нередко вдохновляться как эпохальными историческими целями. С самого начала «перестройки» не проходило дня, чтобы кто-нибудь громогласно не заявил о необходимости какого-нибудь очередного «возрождения»: возрождения нравственного или духовного, возрождения правового сознания или частного предпринимательства... Как будто бы творить историю сегодня уже и нельзя иначе, чем именно под знаком «возрождения» чего-то такого, что, как кажется, уже имело место когда-то. Мировая история тащит нас вперед, а мы, ею влекомые, все упираемся и оглядываемся: «Не пора ли возродить?..»

Однако, как опять же известно из истории, возрождения случаются исключительно от стечения определенных обстоятельств и тенденций, но уж никак не в результате сознательного волеполагания. История не знает обратного хода.

Заметим, что уже само слово «возрождение» — достаточно двусмысленно, хотя, вместе с тем, смысл его вполне ясен. Возрождение — это новая жизнь, новое рождение того, что *потенциально* еще как бы живо, еще присутствует, но *актуально* уже

Александр КЫРЛЕЖЕВ — родился в 1957 году в Москве. Закончил библиотечный факультет Московского института культуры, затем Московскую духовную семинарию. Работал в «Журнале Московской патриархии», в настоящее время — сотрудник Центра по изучению религий. Автор ряда богословских и религиозно-публицистических статей. Член редколлегии «Континента». Живет в Москве.

мертво. Однако несмотря на то, что имеется некоторый «материал», в который нужно вдохнуть новую жизнь, само событие возрождения невозможно «осуществить»: можно лишь пытаться создать наиболее благоприятные условия для того, чтобы это событие могло свершиться. Рождение, хотя бы и «второе», всегда является *первым* и *единственным*, происходящим в результате мощного разряда жизнетворной энергии; открывается жизненная перспектива — от начала, от нуля; какова бы ни была наследственность, новые потенции жизнедеятельности связаны не с ней, а с обстоятельствами самого факта рождения. Иначе говоря, ничего нельзя возродить, но что-то может возродиться; и тогда «возрожденное» явится *новым*, *небывшим*, лишь какими-то чертами напоминая о том, что когда-то жило, но потом утратило жизненную силу.

1

Статья Юрия Каграманова «...И Аз воздам» (с подзаголовком «О страхе Божием в прошлом и настоящем») предлагает нам еще один — возможный? — путь к нравственному оздоровлению общества. Согласно авторскому «проекту», нам следует попытаться вселить в наших соотечественников и современников страх перед Десницей, более грозной, чем сталинская: «расколоть сознание страхом» перед Богом и таким образом постараться и веру возродить, и найти противоядие от «звериных инстинктов», господствующих в «приблатненном» постсоветском обществе.

Для обоснования этого «проекта» автором привлечен большой и весьма интересный исторический материал. В статье, на наш взгляд, довольно точно диагностированы некоторые современные российские болезни. Вместе с тем, предлагается лишь *попытка* — сам автор весьма скептически относится к «возрождению», что указывает на известную произвольность, «необязательность» и его собственного «проекта». Он пишет: «...в фундаменте нашей цивилизации, а значит и в устройстве души, образовались опасные пустоты, ныне делающие в высшей степени проблематичными любые проекты возрождения России».

Все это могло бы выглядеть, наверное, как очередной пример кабинетных поисков выхода из нашего «бесконечного тупика», если бы не известная оригинальность самой идеи: «Со страхом Божиим — к новой России!» В устах историка и здравомыслящего человека звучит это настолько неожиданно и даже — скажем так — странно, что вызывает желание разобраться в этом «проекте» более внимательно. Тем более, что сам же автор утверждает: «для подавляющего большинства наших соотечественников сло-

во "покаяние" стало... пустым звуком, сохранившим внешнее благообразие, но реально уже ни на что не годным». А ведь покаяние как раз и возникает под воздействием страха Божия или в результате глубокого переживания «греха» — то есть падения, измены, впадения в состояние распада, в недолжное и ложное состояние активного или пассивного соучастия в зле. Покаяние, как известно, есть осознание необходимости «перемены мыслей», жизненной переориентации, переоценки этических ценностей. Отсюда два возможных покаяния: религиозное — перед Богом и секулярное — перед обществом и самим собой. И ни для одного из этих покаяний у нас уже не находится почвы: Бога давно уже забыли, а иных, нерелигиозных, критериев хорошего и плохого просто не существует. С тех пор, как ленинское определение нравственного («нравственно то, что служит делу пролетариата») утратило смысл и силу, никакого другого общественно значимого не появилось.

Вот почему «проект» Ю. Каграманова, поданный чрезвычайно рассудительно, с исторической ретроспективой «вопроса», со ссылками на предшествующих авторов, при внимательном чтении статьи уже с самого начала вызывает недоуменное чувство: что-то здесь не так, и сама рассудительность, уравновешенная скептическими, «самопротиворечивыми» оговорками, выглядит как-то очень уж неуместно.

И это впечатление лишь крепнет в дальнейшем. Во-первых, потому, что нашу недавнюю историю автор вписывает в такую эволюцию жизни и мысли, в которой как будто бы и не было никаких обвалов и провалов, радикальной смены регистров, так что после них стало невозможно уже мерить то, что было «до» и что было «после», одной меркой. А во-вторых, и с Богом он обходится как-то слишком уж легко, будто Бог — вместе с Его «карающей Десницей» — не «в неприступном свете живет», но, напротив, до сего дня остается неким подсобным орудием для человеческих манипуляций.

2

Судя по контексту, автор априорно считает дехристианизацию России явлением негативным, а новую христианизацию — позитивной для общества. При этом «радикальную дехристианизацию» он связывает с катастрофой 1917 года. Однако никакого анализа процесса дехристианизации не дается, и потому все утверждения и оценки автора повисают в воздухе.

В самом деле — разве не очевидно для историка, что процесс дехристианизации универсален для европейского культурного

ареала и что продолжается он уже столетия? Через Возрождение, гуманизм, Просвещение, появление новоевропейской науки и образование светских государств «христианские народы» постепенно изжили в себе «средневековую парадигму», то есть представление о едином социо-космосе с Богом наверху и простыми смертными внизу. Россия также не избежала этой трансформации, хотя формально и оставалась «православным государством» вплоть до отречения Николая I от религиозно-политического служения «помазанника Божия». Дехристианизация шла полным ходом задолго до рокового 1917-го, который в этом смысле является лишь одним из звеньев длинной исторической цепи. Об этом свидетельствует вся история «интеллигенции» в XIX веке. И не только интеллигенции: когда во время первой мировой войны в русской действующей армии были отменены обязательные исповедь и причастие, значительное число солдат отказалось от участия в церковных таинствах — и это перед лицом более чем вероятной смерти!

С другой стороны, в «символическом» 1937 году, по данным всесоюзной переписи, треть (!) городского населения заявила себя верующими. И сегодня социологические опросы показывают 30% «верующих в Бога». Иначе говоря, утрата религиозных ориентиров началась очень давно, и процесс секуляризации (или дехристианизации) не исчерпывается сокращением числа верующих. Последнее, скорее, является лишь следствием общей трансформации общественного сознания, параллельной изменениям в науке, экономической практике, социальной жизни и в мышлении вообще. Секуляризация произошла, «случилась», и все, что мы имеем сегодня, так или иначе связано с этим историческим событием. Каждый из нас может «верить в Бога» в соответствии со своим выбором, но при этом все мы живем в секулярном обществе, так что христианство, оставшееся в культуре, есть в буквальном смысле слова пост-христианство. Это осадок, выпавший на дно после того, как общество в целом предало старого средневекового Бога забвению — отказалось от Бога как от «излишней гипотезы».

Да, время от времени в российском обществе возникал интерес к «религиозному»: так было в начале XIX-го и в начале XX-го веков. Но это было возрождение именно интереса, которое свидетельствовало лишь о том, что старое пан-религиозное мировосприятие уже «не работает». Какое-то время оно сохранялось в «народе» — у крестьян, но затем и там было вытеснено новыми светскими взглядами на мир и человека в мире. И нет никаких

оснований — учитывая современные общеевропейские и общемировые социокультурные процессы — считать 1917-й год, символизирующий агрессию безбожного квази-религиозного коммунизма, причиной «радикальной дехристианизации» России. Напротив, именно большевистское гонение на Церковь выявило и укрепило подлинный религиозный «остаток» и дало новый импульс для последующих индивидуальных обращений.

Дехристианизация есть событие европейской христианской истории и даже более того: с религиозной, библейской точки зрения, это «момент» самой Священной Истории человеческого мира. Что-то произошло и происходит такое, что европейская цивилизация, в формировании которой христианство сыграло одну из решающих ролей, отказалась от Бога и сделала ставку на автономное развитие. И Бог ушел, сохранив Себе лишь «религиозный остаток». Сегодня Бог молчит, но Его молчание — это прежде всего молчание Его людей, Его потенциальных пророков: молчание свидетелей Его неслышного присутствия.

Однако, только ли пророки виноваты? Разумеется, нет. Имеющий уши — слышит. Но уши современного человека устроены иначе: они не улавливают некоторых колебаний. И пути возможного возвращения Бога в мир людей пока остаются сокрытыми — в сокрытом от мира Боге. Может быть, должно еще что-то произойти в истории мира, чтобы эти пути обнаружились. Хайдеггер говорил: «Нам остается единственная возможность: ...подготовиться к явлению Бога или же к отсутствию Бога и гибели...» «Программа» такой подготовки, однако, пока не ясна. Ясно одно: Бог уже не может быть предметом манипуляций. Бога уже невозможно больше «использовать» для каких-то сторонних целей (вроде «оздоровления нравственности») или для достижения «социальной стабильности». В любом случае, это будет уже не тот библейский, христианский Бог, который сокрылся в Своем молчании. И никакой страх перед молчащим Богом невозможен. Сегодня «страх Божий» возможен лишь как индивидуальное, но не социальное переживание.

3

Вообще, когда предлагают (или «планируют», ожидают) возрождение веры в масштабе «нации» или «общества», как правило, забывают — или не помнят — о двух вещах: о том, как происходила в истории эта победа христианской веры над миром, а также о том, что это такое — религиозность в социальном масштабе.

Почему христиане в свое время — в эпоху поздней античности — завоевали средиземноморский культурный мир? Потому что их пример был убедительным: их свидетельство обнаружило особую, новую энергию — религиозной мысли и жизни. С одной стороны, был энтузиазм новообращенных в библейскую веру; с другой — Церковь стала культурно значимой. Никакие рационалистические интерпретации не могут объяснить сторонними причинами творческой духовной силы, которая проявилась в религиозном опыте древних христиан. Дыхание Бога чувствовалось и в блаженном Августине, и в отцах египетской пустыни, и в утонченных византийцах, сочетавших в себе философское умозрение и аскетический опыт. Подлинно новое пришло в мир, изменяя систему ориентиров и целей пост-античного человека. Но источник этого нового был в личном опыте, обнаружившем межличностное измерение. Отсюда и древнее представление о том, что мученики — семя Церкви. Не потому, что мученики были «героями веры», безумными фанатиками, но потому, что — «небо открылось» и само событие смерти подверглось переосмыслению.

Однако вслед за сущностной победой Церкви — благодаря интенсивности веры — пришло время экстенсивного распространения и утверждения новой религии. И здесь включились иные механизмы, непосредственно с религией не связанные: государство, политическая власть, социальная обыденность. Нельзя забывать, что любой процесс социализации религиозности всегда сопровождается определенной деградацией первоначальной личной и общинной веры. Собственно, только за счет такой деградации и возможно утверждение религиозной веры в масштабе общества. Это совсем не значит, что социализация есть «уничтожение истинной веры», наоборот, она открывает для каждого возможность в любой момент актуализировать свою веру на личном уровне, превращая ее из «экстенсивного социального фактора» в интенсивный духовный подвиг (как это и происходило в средневековую эпоху). Однако массовость всегда означает «схематизацию» и упрощение, и в этом смысле христианство остается «духовно-аристократической» религией, поскольку оно сохраняет максимализм религиозного задания.

Но как только пример «религиозных максималистов», то есть святых, на практике реализующих евангельские максимы, перестает быть общим образцом, в рамках процесса социализации религии начинается одновременный процесс ее де-социализации: Евангелие сводится сначала к «христианской морали», а затем выбрасывается в «сокровищницу общечеловеческой мудрости».

Христианство продолжает жить в «религиозных людях», в церковном «остатке», но утрачивает общественное измерение.

Вот почему ставить сегодня в «повестку дня» ре-христианизацию общества, возрождение веры — тем более путем «раскалывания сознания» страхом Божиим — то же самое, что призывать возвратиться к птолемеевой концепции Вселенной. Если христианская вера еще и может вернуться в сознание «массового человека», то только через личный опыт одиночек, которые выявят на опыте ее новую со-временность — ее со-ответствие внутреннему, быть может, неосознанному, запросу самого человека нашей эпохи. Но вряд ли это произойдет в ближайшее время; будущее же остается открытым и во многом непредсказуемым...

В любом случае «современность», которая, по мнению некоторых мыслителей, сегодня перешла в новую фазу «пост-современности» (или пост-модерна), еще не изжила себя. Направления исторического развития, заданные в начале Нового времени, еще не вполне пройдены нынешней мировой цивилизацией и еще не исчерпаны. Хотя, с другой стороны, речь о «закате Европы» — не пустой звук. Об этом по-своему свидетельствуют те новые опасности и порождаемые ими страхи, о которых упоминает в своей статье и Ю. Каграманов.

4

Запад действительно уже знает новые иррациональные страхи, вызванные к жизни той самой рациональностью, которая лежит в основе современной цивилизации. Снова можно вспомнить Хайдеггера: «Техника по своей сущности есть нечто такое, чем человек сам по себе овладеть не может». Техника — опасна, причем техника в широком смысле: не только бытовая и промышленная, но и техника политическая, информационная, техника рынка в экономической сфере, наконец, «техника» человеческих взаимоотношений и отношения человека к самому себе. Экологические проблемы — лишь результат общей технологизации жизни. У нас начинает преобладать технологический подход к решению любых проблем человеческого существования — социального и индивидуального. Но техника как особая область упорядоченных взаимосвязей, как мир «систем» обнаруживает иррациональность, то есть вне-человечность. Искусственный интеллект, о котором мечтали как о творческом свершении человеческого разума, оказывается врагом, вытесняющим человеческое из самого человека.

Значит ли это однако, что опасности и угрозы, порожденные рациональным освоением мира, могут быть сегодня снова интерпретированы в старом религиозном ключе? Но ядерное оружие, загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов, СПИД, перенаселение, локальные конфликты, мировой политико-экономический дисбаланс и т.п. — разве все это не побочные следствия человеческой активности, исторической воли, творческих прорывов? За все это ответственность несут люди, и им придется самим разбираться со своими проблемами. Никакой «страх Божий» не поможет их решить, так как не имеет к ним никакого отношения. Бог отпустил человеческий мир на свободу в момент творения; к Нему можно обращаться за помощью, чтобы понять себя и мир, но сегодня сфера человеческого — в руках самого человека. Теология больше не возглавляет пирамиду наук и не задает им методологию. В своей деятельности человек безбожен, автономен, самодостаточен, и, если уж говорить о Боге, то отвечать за себя — это и есть то, что Бог требует от человека.

5

Есть два фундаментальных человеческих страха, которые не просто разнятся, но и противостоят друг другу.

Один страх — «естественный», «языческий»: перед волюнтаризмом тайной сверх-человеческой Силы, перед Роком. В его основе — ощущение безосновности и пустоты мира, запредельного Ничто, подстерегающего всякое проявление жизни. Этот страх порождает богов и демонов, духов природы и само Злое Начало дуалистических религий, над которым нет иной власти. Этот страх скрывается в недрах подсознания и принимает самые разнообразные формы в сознании под натиском иррациональных импульсов.

И есть другой страх — библейский страх Божий, о котором сказано, что он — «начало премудрости» (Пс. 110:10). В существе своем он не имеет ничего общего со страхом перед «карающей Десницей». Источник этого страха — узнание Бога, таинственная встреча с Богом Живым «лицом к лицу». Это — «священный ужас», трепет души, возбуждаемый соприкосновением с безмерностью Того, Кто в Своей сокрытой силе оказывается соразмерен человеку, то есть может и хочет вступить с «человеческой ничтожностью» в личное отношение.

Библейский Бог расколдовывает мир, ибо — с откровением Им Самого Себя — «потустороннее» фокусируется в Божественном «Ты». Предельная Сила открывается как Личность. Тем

самым человеку задается иной уровень отношения к Тому, Кто Сам есть наивысшая власть. Первичными оказываются не сила или бессилие, но *доверие* и *верность*, должные воцариться в пространстве *личностных* отношений. Бог отождествляет «веру» и «праведность» (или «справедливость»): одно порождает другое (Быт. 15:6). Но не страх, не боязнь в обычном понимании является источником веры и праведности. Поверженный во прах Иов восклицает: «Да отстранит Он от меня жезл Свой, и страх Его да не ужасает меня; и тогда я буду говорить, и не убоюсь Его...» (Иов. 9:34-35). Ему вторят Притчи Соломоновы: «В страхе пред Господом — надежда твердая, и сынам Своим Он прибежище. Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти» (Притч. 14:26-27). Иными словами, в существе своем библейский «страх Божий» — не средство устрашения неправедных, не «превентивная мера», но составляющая опыта встречи человека с Богом. Поэтому он неразделим с «верой» и «любовью». Другой же страх — в более близком нам значении «ужаса» и «боязни» — в этом случае не предшествует, но последствует «страху Божию»: это страх, возникающий оттого, что человек изменил себе, предал уже бывший опыт встречи; это страх разрыва с Тем, Кто открылся человеку в «страхе Божием»; это ужас удаления от «страха Господня» как «источника жизни», «начала премудрости» и «твердой надежды».

Призывать к вере, угрожая «карающей Десницей Бога», — абсурд. Даже если и удастся чего-то добиться таким способом, то не возрождения библейской и новозаветной веры, но лишь «веры» наемников и рабов. От страха нет пути к любви. Если человек пережил «страх Божий», в котором он уже не различил любви, то это значит, что это был совсем не тот «страх», который может привести к праведности.

Библейский Бог — это Бог личностный, Бог, к Которому обращаются на «Ты». Поэтому тот, для кого не существует Божественного «Ты», остается безбожником (по крайней мере, с библейской точки зрения). Он может страшиться чего угодно, но этот страх не надо связывать с верой. «Расплылся Божий Лик, — пишет Ю. Караманов, — и в результате потусторонний страх утратил свою «оформленность». Нет, не «оформленность» он утратил — просто он уже не содержит в себе Бога. В душе исчезла почва для «страха Господня», который неотделим от опыта любви.

Что значит «личностный Бог»?

Чтобы не вдаваться в богословские и метафизические тонкости, приведем лишь слова Мартина Бубера: «Значит ли это, что

Бог "есть" личность? Абсолютный характер Его личности, этот парадокс всех парадоксов, накладывает запрет на такое высказывание. Это означает только то, что Он любит как личность — и желает, чтобы Его любили как личность. А чтобы это было именно так и не иначе, создав человека, Бог сделался личностью, чтобы любить человека и быть любимым им, чтобы любить меня и быть любимым мной».

Чтобы «новая Россия» могла стать «богобоязненной» в собственном смысле, значительное число ее граждан должны открыть для себя Бога Авраама и Иисуса Христа. А значит должен произойти еще целый ряд трансформаций, *радикально* изменяющих культурную ситуацию в обществе. Иными словами, Россия должна явить миру *какой-то новый, доселе невиданный тип современной религиозной цивилизации.* Может быть, уже предсказанной Шпенглером «восточно-сибирской»?.. Насколько все это вероятно, пусть каждый судит сам. Но одно ясно: «припрячь Бога» мимоходом, в качестве социально-психологического «рычага» для того, чтобы поставить «нравственность» с головы на ноги, — проект по существу своему безбожный. Он может возникнуть действительно только в дехристианизированной культуре, в русле очередного «интереса» к христианству, что как раз и мешает осознать всю *радикальность* свершившейся дехристианизации.

6

Есть, однако, и другая причина, не позволяющая «мечтать» о том, чтобы какой бы то ни было страх смог сегодня стать причиной поворота в общественном сознании.

Разве последние годы не показали с очевидностью, что сегодня нам — как нации — вообще не свойствен страх? Что у нас страх перед последствиями прошлого или возможными событиями будущего не имеет общественного измерения? Отдельные люди еще могут опасаться и бояться новых бед, но «общество в целом»... И это наводит на мысль об одном — может быть, самом существенном — итоге нашего «исторического развития»: сегодня у нас отсутствует «общество в целом», социальная деструкция дошла до своего апогея. Об этом пишет и Ю. Каграманов в своей статье: «...теперь все оказалось "на одной доске", все смешалось со всем... Сегодняшняя толпа представляет собою как бы вертикальный срез истории, уложенный в горизонталь... В известном смысле ГУЛАГ был прообразом нынешнего приведения всего и вся к некоему минимальному "общему знаменателю" (как его определить: "воля к выживанию"?)».

Наше общество деструктурировано. Но деструкция началась задолго до пресловутого 1917-го: тогда, когда «революционные слои» — будь то соратники Петра или Петрашевского — встали в «непримиримую оппозицию» ко всем остальным. Слишком давно р а с к о л поразил Россию, и никогда он не был изжит. Но и раскол есть некая структура, теперь же не наблюдается даже более или менее явного раскола, непонятно, где проходит демаркационная линия. Все победила аморфность, внутри которой лишь новые капиталисты прокладывают пунктиры своих полукриминальных связей, которые — с ничтожной долей вероятности — только еще могут стать в неясном будущем основой какой-то новой общественной структуры.

Эту общественную ситуацию нельзя назвать иначе, как тупиковой. Чтобы что-то существенно изменилось, нужно осознать, что же произошло с людьми и страной. Но субъектом этого осознания в данном случае должно стать о б щ е с т в о, а не только отдельные люди. А «общества» — нет... Есть — только отдельные люди, каждый из которых носит «свою шкуру» и вынужден ее защищать и за нее бояться, чтобы хоть как-то выжить. Ведь выживают — поодиночке. Живут — вместе, сообща.

Поэтому что толку напоминать о том, что страна в течение десятилетий живет в состоянии перманентной катастрофы, когда главное измерение этой катастрофы — катастрофа антропологическая, как назвал ее еще в разгар «перестройки» Мераб Мамардашвили? Катастрофа произошла с человеком — как существом индивидуальным и социальным в одно и то же время. И поворотный пункт здесь опять-таки не 1917-й год, который как раз и был следствием определенных тенденций, ставших катастрофическими. Общество, которое допустило 1917-й год и последующую перестройку по советскому образцу, — это общество, которое уже перестало быть взаимосвязанным социальным целым, то есть обществом в собственном смысле. Мы живем сегодня на руинах сразу двух формаций и встречаем последних «николаевских старушек» — рядом с последними «старыми большевиками». Подчас не понимаешь, по Тверской мы ходим или по улице Горького? И последняя фаза нашей катастрофы длиной в столетия заключается в том, что сама катастрофичность — по крайней мере недавнего российского исторического опыта — не осознана, потому что слышать об этом никто не хочет: зачем это все? к чему, когда в ы ж и в а т ь нужно...

Что, разве испугались МЫ — «русский народ» — ГУЛАГа? Пережили его так, как Европа — Освенцим или Япония —

Хиросиму? Разве «начальничек» стал у нас посмешищем, неприличным словом, которого бы боялся каждый «руководящий работник»? И от пресловутой максимы «хорошо то, что служит делу пролетариата», разве появился у НАС настоящий «холодок в спине» — хотя бы тогда, когда «дело пролетариата» уже приказало долго жить? А ведь это «дело» не только работало на уничтожение различия между хорошим и плохим, но и заставляло «учиться, учиться и учиться» воровать, предавать, убивать — «без страха и упрека». Между тем и сегодня ведь сплошь и рядом слышишь — и не только от краснознаменных старичков и вечных работяг, но и от представителей «передовой творческой интеллигенции» — ностальгические вздохи по тем временам, когда в ы ж и в а т ь б ы л о л е г ч е... Легче было под «начальничками»: хочешь — люби их, хочешь — ненавидь от души, а жизнь идет сама по себе... А кто попал под нож — значит Судьба.

И нет страха перед Судьбой неумолимой, нет страха перед «иррациональными силами», потому что слишком свыклись уже с долгоиграющей катастрофой и давно уже не разберешь, где «рациональное», а где «иррациональное». И потому современные «западные» страхи перед иррациональностью техники и социальных технологий — не про нас: мы еще хотим, еще жаждем, чтобы на каждую человеческую «шкуру» выдали бы, наконец, хоть по видеомагнитофону и микроволновой печи, мы еще мечтаем о компьютеризации всей страны; мы ни СПИДа не убоялись, ни Чернобыля, ни чеченской мясорубки. Наше промежуточное «цивилизационное сознание» таково, что древний «языческий» страх уже ушел, а новый «технологический» даже близко не подходил. И неужели мы устрашимся «потусторонним страхом», потому что «там», возможно, «что-то есть», когда у нас и з д е с ь полно ужасов, которые нам нипочем? Ведь нет не только сознания «греха» — то есть «экзистенциального промаха», «порчи», угрозы распада личности, — но нет и никакого сознания долга, моральной нормы, просто закона в самом банальном смысле этого понятия, обозначающего взаимную договоренность, «правила игры» в обществе. Нет представления о «разумном эгоизме» даже в масштабе лестничной площадки — куда уж там до «общественного договора»!..

7

Ю. Каграманов пишет в своем проекте введения в сознание страха Божьего: «...не может быть, чтобы его [современного — российского — человека] нельзя было пронять разговором о

с а м о м в а ж н о м. Надо только найти в его сознании "точку", годную для соответствующего "укола". Ведь эта податливая "точка" вполне может стать той надежной точкой опоры, которая — кто знает? — может быть, изменит весь ход российской истории!»

Так что же: «страх Божий» — это и есть самое важное? Но в каком смысле? Для достижения «религиозного спасения» индивидуума это, действительно, так — если понимать «страх Божий» в его интегральном библейском смысле, когда он включает в себя и веру, и надежду, и любовь (о чем была речь выше). Но в деле с о ц и а л ь н о г о спасения людей, большинство которых не знают не только никакого Бога, но и не испытывают никакого «социального страха», то есть страха за о б щ е с т в о, насылание разными способами «Божьего страха» никак не может послужить достижению поставленной цели. Не говоря уже о том, что автор проекта предлагает нам не что иное, как манипуляцию сознанием с помощью современных средств массовой коммуникации. Неужели автор думает, что разговор с человеком «о самом важном» в христианском смысле (!) можно осуществлять такими методами? Да, мы сейчас являемся свидетелями многих попыток такого рода в так называемых «тоталитарных сектах»; не исключена и вероятность, что одну из таких сект можно привлечь на государственную службу и таким образом распространить ее «духовно-нравственную воспитательную деятельность» на всю страну, на все население. Но ведь это, простите, уже будет не христианство, не Благовестие Христово... Конечно, это, говоря словами Николая I, некоторым образом «соответствует гению русского народа» — но, одновременно, это станет также уверенным продолжением его катастрофического «движения вперед».

Ю. Каграманов допускает, что существуют «потомки Адама, не испытывающие иррационального страха», и далее поясняет: «...о них можно лишь сказать, что, в отличие от нашего прародителя, они в этом отношении не поднялись выше уровня животных». В данном случае приходиться констатировать, что МЫ ВСЕ, российские граждане, в некотором отношении, действительно, остаемся на животном уровне, а именно — в социальном отношении. Поэтому нам и предлагают все время «начальничков», которые будут нас «пасти», для надежности манипулируя нашим сознанием с помощью mass media, благо чуждая западная культура нам предоставила таковые для пользования в своих собственных, «незападных», целях. Но если мы все-таки не хотим себе на шею «начальничков», которые каждое утро по радио будут наносить нам болевые «уколы» в «самую важную точку» сознания,

то очевидно ближайшая задача — коль скоро речь зашла о «проектах» — заключается в том, чтобы актуализировать древнее представление Аристотеля о человеке как «социальном животном» (animal sociale или zoon politikon), но в условиях современной «европейской» цивилизации. Чтобы уже возрождаемый у нас сегодня собственнический инстинкт (когда собственность не ограничивается «собственной шкурой») постепенно порождал и социальный инстинкт, принимающий формы «разумного эгоизма» в масштабе всего общества. Самоорганизующееся общество, упорядоченная социальная жизнь людей как полноценных и полноправных «политических животных» — не являются «самым важным», если есть душа, вечность, Бог... Но они насущны как хлеб, потому что без этого сегодня не может быть хлеба; это — как говорили в старину — «необходимо нужно».

Социальные задачи можно решать только *социальными* способами — с помощью тех средств, которые *социально* значимы. Бог здесь ни при чем; если Он участвует в политике и социальной жизни, то прежде всего через Своих людей — тех, кто в той или иной степени знает, что такое «страх Божий». У них можно и нужно спросить, как они — верующие и верные Ему — могут помочь выбраться из колеса катастроф.

Но вряд ли они помогут. Они тоже привыкли, чтобы их пасли «жезлом железным» их духовные пастыри...

Если что-то и надо «возрождать» для спасения России из исторической трясины, то хотя бы те зачатки, зародыши подлинной общественной жизни, политической активности и ответственности всех и каждого, которые когда-то были, как-то проявились. Именно здесь, возможно, есть дело для историков. Здесь есть дело и для mass media: кто как не современные манипуляторы сознанием могут неустанно втолковывать людям, что существует некоторая связь между «моим личным интересом» и интересом ВСЕХ, то есть обществом в целом? Что существуют определенные политические и социальные механизмы, управляемые не только частными интересами, но и Законом, без которых нет о б щ е с т в а. Что на пороге XXI века в современном «глобальном мире» нельзя жить не только по родовому принципу, но и по принципу тоталитарной секты. Что забытое понятие «нравственность» — это не только непонятное «высокое», «духовное» состояние, доступное только стоящим насмерть героям, но и то, что приобретает форму *конвенциональной* морали, *взаимной договоренности* членов сообщества, которым выпало жить бок о бок на этой земле...

Конечно, с «высокой» и «духовной» точки зрения, конвенциональная мораль есть не что иное, как пошлость, ханжество, «мир социальной обыденности».

Но, кажется, НАМ сегодня именно такое моральное и правовое сознание — «необходимо нужно».

О Боге же и страхе Божием применительно к проблеме личного «религиозного спасения» требуется особый разговор.

Сергей АВЕРИНЦЕВ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Ю. КАГРАМАНОВА

Для краткости воздержусь от указания на все пункты, по которым я со статьей согласен. Сентиментальная эвдемонистическая риторика, из десятилетие в десятилетие, из века в век пускающая в ход против концепта страха Божия все более предсказуемые, все более самоуверенные, но и все более опустошенные изнутри фразы и жесты, вызывает у меня примерно такие же чувства, как и у автора. Некоторые исторические соображения представляются мне довольно убедительными. Не стану придираться к словам. Заявление на с. 416, согласно каковому христианская «любовь побеждает страх [...], но — отнюдь не отменяет его», вербальным своим обликом чересчур уж явно вызывает в памяти знаменитый новозаветный текст, говорящий, однако, нечто противоположное, во всяком случае, на уровне слов: **«совершенная любовь изгоняет страх»** (I Ин. 4, 18). Нам ли, грешникам, говорить о вещах столь высоких, как любовь совершенная, —

Сергей АВЕРИНЦЕВ — родился в Москве в 1937 году. Окончил филологический факультет МГУ по классическому отделению. Член-корреспондент Российской Академии наук. Автор многочисленных работ по истории культуры, переведенных на ряд европейских языков. В 1995 —1996 годах выходит в свет «Собрание сочинений в шести томах» (изд-во «РИК «Культура»).

может возразить мне Ю. Каграманов, и я спорить не стану. Не совсем понятно, почему именно в XX веке стало «трудно отрицать», что Средневековье — «по-своему великая эпоха» (с. 417); мне-то казалось, что ни один разумный человек не отрицал величия упомянутой эпохи со времен открытий, сделанных романтиками еще в прошлом веке. Но оставим все это.

Если бы серьезность темы не исключала каламбуры, я, наверное, решился бы сказать, что о страхе Божием необходимо говорить — со страхом Божиим. Иначе говоря, его опасно делать предметом историко-культурного дискурса, равноправным со всеми прочими. Историку культуры открыты формы культуры; о тайнах живых душ, подлежащих суду Божию наряду с его собственной душой, он может делать только весьма косвенные и зыбкие заключения. Вот автор попрекает неких умиравших в молодые годы от чахотки французско-русских аристократов времен Александра I, переписку которых изучал, за чрезмерную уверенность, «что встретятся они непременно в райских селениях» (с. 424). В контексте статьи они на мгновение возникают как нужный по ходу дела конкретный пример исторически обусловленной и в то же время религиозно предосудительной психологии эпохи. Но в своей собственной жизни они были вовсе не историко-культурным казусом, но живыми душами, и приговор Бога о надежде — «чрезмерной» или не «чрезмерной», — в которой они умирали, все-таки неведом автору статьи, как и ее читателям; а в таком вопросе только Божий приговор имеет силу. Прошу простить мне диковинный для журнальной полемики тон, но я говорю абсолютно всерьез. Из истории Церкви мы знаем, что и святые, прославленные Церковью, умирали по-разному. Некоторые из них после самой безупречной, наполненной аскетическими подвигами жизни приближались к смертному часу в изумлявшем всех мучительном страхе и трепете перед Божьим осуждением (и бывало это в самые различные эпохи, от первого христианского тысячелетия, о коем на с.419 нам говорят, что страха оно как бы и не ведало, и до времен вовсе недавних); другие, напротив, ждали кончины в радости (и такое тоже не привязано к историко-культурным обстоятельствам). Откуда различие? Должны же быть на свете вопросы, на которые у нас нет, просто нет ответа: и это особенно относится к переживанию смерти, в котором сверхсознательное особенно близко подходит к подсознательному. Если мы вправду верим в тайны, о которых нам говорит христианское вероучение, нам приходится допускать возможность, что святые, умирающие со страхом, несут это бремя

уже не за себя, а за нас, — а другие святые, предвосхищающие на смертном одре блаженство, избраны Провидением, чтобы научить нас добродетели надежды. Но этому мистическому пониманию ничуть не противоречит трезвая оглядка на физиологическую реальность предсмертных депрессивных или, напротив, эйфорических состояний, которые зависят от телесных обстоятельств умирания, — однако, как все в мире, могут быть прозаическим орудием умысла Провидения. Только для человека, вовсе неспособного думать (или не верующего в то, что мир вправду сотворен Богом), наличие нейрофизиологии действует как довод против возможности провиденциального смысла определенных явлений, или же, напротив, мысль о провиденциальном превращает учет физиологического компонента в кощунство. Как говорили в Средние Века, gratia naturam non tollit, благодать не уничтожает природу. Но двойная тайна благодати (или безблагодатности) и природы страшно затрудняет превращение вопроса о чувствах человека перед лицом смерти в иллюстрацию исторической схемы. Ведь мы знаем, что даже задолго до умирания психологическая реакция на идею смерти (не обязательно в прямой связи с идеей загробного воздаяния, также и у лиц верующих) чрезвычайно различна, причем с робостью или храбростью, а также с суровостью или оптимизмом мировоззрения эти различия не имеют ничего общего. Лев Толстой явно был по-человечески храбрее большинства из нас, а его мировоззрение едва ли оставляло место страху перед адом; тем не менее ему, как известно, было свойственно особенно тяжелое переживание мысли о смерти, весьма далекое от эпического спокойствия русских мужиков каратаевского типа, каковых он ставил себе в пример. Это не вопрос «ментальности» такой-то эпохи и формации, это глубоко личная тайна. Автор очень точно описывает характерное для прошлого века умонастроение, для которого Рай «есть именно место встреч «дорогих» и «любимых» (с. 424); мне оно по внутреннему опыту практически незнакомо, я не могу подумать о Рае, не сосредоточиваясь на переживании невообразимой запредельности (помните, как Беатриче в последний раз оглядывается на Данте и уже навсегда, навсегда «si torno all'etterna fontana», устремляется к вечному Истоку, «Рай», 31, 93), но тут мне лезет в голову, что вот мы на днях хоронили старого человека, наследника давней традиции, для которого ожидание встречи со своими было исключительно органично, — так что же, это у него был избыток сентиментального чувства семьи в духе порочного романтизма, или, напротив, мне попросту недостает силы конкрет-

ной любви к моим милым мертвым? Для меня как христианина, очевидно, безопаснее предположить второе... Но и вообще — до чего легко рассуждать о веках и тысячелетиях, об идеях и культурно-исторических типах, и до чего все усложняется, чуть задумаешься о живых людях. А ведь перед Богом стоят не «типы», а люди; у каждого из нас тайна, до конца разделенная только с Богом; и только Бог нас судит.

...Только Бог; в этом самое существо вопроса о страхе Божием. Боюсь, что Ю. Каграманов практически отождествляет страх Божий со страхом перед наказанием Божьим, перед Адом, без остатка сводит первый вид страха ко второму. Не буду изображать фальшивого благородства, которое якобы «выше» второго страха. И все-таки слишком очевидно, что страх Божий — несколько иное понятие.

Если я верю в Бога, если я только пытаюсь верить в Бога («Верую, Господи, помоги моему неверию!..»), — это логически означает, что я признаю над всеми моими поступками «от юности моея», важными и неважными, памятными мне и давно позабытыми мною, неизбежный и окончательный суд, в сравнении с которым мнения и суждения обо мне самых авторитетных судей на земле, а равно и мои собственные представления о моей персоне, даже и суровые, однако дающие мне иллюзию, будто я сам властен судить себя, абсолютно ничего не значат. (Однажды один малоизвестный миру, но весьма замечательный иеромонах пресек мою попытку заявить на исповеди, что-де мое духовное состояние «вообще» за последнее время понизилось, указав, что я обязан обвинять себя за конкретные прегрешения, но не должен узурпировать генерализирующего суда о состояниях моей души, всецело передавая его Богу.) Подумать только: как бы веско, как бы обоснованно, как бы сурово ни осуждали нас здесь, на земле, как бы мы ни силились смиренно принять это осуждение, у нас всегда хотя бы подсознательно остаются две лазейки: во-первых, «сами хороши»; во-вторых, «вы же не все знаете». Даже наша совесть не знает всего; и притом остается иллюзия, что муки совести — это все же наш суверенный суд над нами самими. А теперь подумаем о Суде, не оставляющем ни одной из этих лазеек. О последней невозможности отвести глаза и спрятаться за самой прочувствованной позой, за самой убедительной фразой (которая уже сейчас делает наши позы и фразы — безумием). Об окончательной правомочности приговора. О верховной суверенности Судии, Которому принадлежит самое последнее, самое неотменяемое слово о нас, о каждом из наших поступков и мыслей.

Если по-настоящему увидеть все это, хотя бы на единый миг умственного просветления, — останется ли нужда воображать себе Ад, как делали в старину? Воображать в делах духовных вообще небезопасно, аскетика об этом часто говорила. За увлечение наших благочестивых предков попытками в самых душеспасительных целях вообразить невообразимое мы дорого расплачиваемся кошмаром, в котором все — миф, и кроме мифа нет ничего. Воображение Хорхе Борхеса, вмещающее также и Ад наряду с математической бесконечностью возможностей, едва ли не дальше всего от подлинного страха Божия. Важно, что Сам Христос, ни единым словом не **описывает** Ада, Он говорит о вечной погибели только на языке, заведомо метафорическом (скажем, Геенна — название оврага к югу от Иерусалима, где разлагались и тлели на медленном огне почему-либо брошенные тела животных и людей, очень яркий образ мерзости).

Мне кажется, что Средние Века при всех своих преимуществах перед нами погрешили отнюдь не только «преувеличениями» по части страха Божия, как это представлено в статье. Как раз страха Божия им порой недоставало. Вот я только что процитировал Данте, давшего пример великой христианской поэзии чуть ли не на все времена. Но разве не шокирует, что он брал себе вольность — отправлять конкретных лиц в Ад, Чистилище и Рай по собственному усмотрению, т.е. узурпировать власть Бога? Ах, до чего они легко решали, кому гореть в Аду! Но если я хоть что-то понимаю, есть только один-единственный человек, которого я могу (и даже должен) представить себе предметом Божьего осуждения, и это, разумеется, я сам. Все иное — от лукавого. Конечно, мне приходилось встречать и современников, мысленно отправляющих в Ад целые категории своих товарищей по человечеству, — и гордых своим правоверием; приходилось встречать и других, объявляющих, словно в манифесте, вечное помилование, — и гордых своей гуманностью. Но страх Божий — это доходящее до глубин нашего существа сознание, что последнее слово — никак не за нашей строгостью или нашим прекраснодушием, не за ходовыми идеями века или за нашими оппозиционными веку концепциями, но за Богом и только за Богом.

Дай нам Бог не говорить о страхе Божием, даже не думать о нем, а просто его иметь. Хотя бы в секунды протрезвения. А вот можно ли сделать из него полезную для общества идеологию, «пронимающую аудиторию» из недр «телевизионной гостиной» (см. предпоследний абзац), — не знаю, не знаю...

СТРАХ СТРАХУ РОЗНЬ: МАНИФЕСТАЦИЯ ДЬЯВОЛА ИЛИ ОБЕРЕЖЕНИЕ ЛЮБВИ?

(Беседа в редакции «Континента»)

— Отец Георгий, Вы познакомились и со статьей Ю. Каграманова, и со статьей А. Кырлежева — нам очень хотелось бы услышать от Вас, как Вы расцениваете постановку в них вопроса о страхе Божием. Ведь за Вашими плечами большой пастырский опыт общения с самой разной приходской аудиторией, особенно молодежной, опыт долгой и плодотворной миссионерской работы, которая ведется в Вашем приходе. А без обращения к сфере такого опыта просто невозможно, как нам кажется, уяснить значимость для нашей сегодняшней жизни и такого феномена, как страх Божий, — не только в плане личной духовной практики каждого, но и в более широком специальном контексте...

Священник Георгий КОЧЕТКОВ — родился в 1950 году в Москве. Окончил Институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова и аспирантуру Института экономики АН СССР. В 1980—1983 гг. учился в Ленинградской Духовной академии, с последнего курса которой был исключен по требованию КГБ. В 1991 г. закончил Московскую Духовную академию, в 1993 г. защитил в Парижском Свято-Сергиевском Православном богословском институте диссертацию по пастырскому богословию. В настоящее время — настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках, ректор Свято-Филаретовской Московской высшей православно-христианской школы, главный редактор журнала «Православная община». Живет в Москве.

— Обе статьи, на мой взгляд, очень содержательны, и я во многом согласен и с тем, и с другим автором. Так что для меня эти тексты как бы взаимно дополняют друг друга. Но в то же время и у того, и другого — в том, как они видят и ставят проблему, — присутствует, как мне кажется, некая существенная односторонность, которая — при всех их столь, казалось бы, решительных несогласиях — парадоксально сближает, даже объединяет их.

В чем односторонность первой статьи? В том, что, при всей решительности инструментально-утилитарного подхода Ю. Каграманова к проблеме страха Божия как проблеме устрашения нынешнего неправедного общества, статья написана так, будто сам автор страха Божия никогда не испытывал, не переживал — такое остается впечатление. Не знаю, может быть это недостаток именно изложения, но сейчас вся статья — это сюжет на тему: «как спастись от соседа». Как спастись от соседа, который плох, потому что сосед всегда плох, все соседи плохи, потому что общество в кризисе, потому что падение нравов, потому что то-то и то-то... Бог нужен для того, чтобы запугать соседа...

— *Именно в этом и упрекает Ю. Каграманова А. Кырлежев...*

— Совершенно верно. Но у А. Кырлежева другая вещь — очень точно подмечая односторонность инструментального подхода к страху Божию в статье Ю. Каграманова, сам-то он тоже выступает с позиций человека, который страха Божия как бы и не знает, не испытывает. Опять-таки это может быть недостатком именно изложения, но впечатление остается именно такое, и парадокс всей этой полемики видится мне, таким образом, больше всего в том, что на самом деле опыта переживания страха Божия не доносит до нас ни та, ни другая статья... У одного страх Божий нужен для соседа, у другого он просто не нужен. А если и существует, то просто как пережиток прошлого. И удивительно, что сталкиваясь на противоположных как бы путях, оба автора сами, однако, находятся при этом вне того существа этой проблемы, которое связано именно с реальным переживанием опыта этих путей. Впечатление такое, что они как бы все время только м ы с л я т об этом, но н е з н а ю т этого. Во всяком случае — не передают нам этого своего знания...

— *Но, может быть, это так лишь потому, что они и не ставят перед собою такой задачи?..*

— Может быть. Но мне кажется, что не опираясь на такое знание, не обращаясь к нему, трудно избежать досадных односторонностей и в решении тех задач, которые они ставят перед

собою. Во всяком случае, мне как пастырю, постоянно находящемуся в духовном общении с самыми разными людьми — молодыми и пожилыми, верующими и неверующими или только идущими к вере, — именно реальный опыт переживания людьми того состояния (или чувства), которое мы называем страхом Божиим, важнее, драгоценнее всего. И моя внутренняя, личная проблема в этой области и состоит прежде всего в том, чтобы по крупицам собрать такой опыт, потому что я понимаю, что мне его не хватает. Собрать опыт и свой, и чужой, о котором я знаю — ну, скажем, по исповедям — и которому я могу сопереживать, хотя он и не мой первородный. Потому что иногда ведь мне приходится и призывать людей к такому опыту. А как я могу, как смею перейти здесь границу между собою и другим и призывать его к тому, чего я не знаю? Здесь уже моя пастырская ответственность — я не могу, не имею права выйти на уровень какого-либо обсуждения темы, если я не имею такого опыта или имею его недостаточно. И, значит, не знаю, как такое обсуждение, если говорить упрощенно, имея в виду все ту же только одну лишь «инструментальную» сторону дела, будет «работать»...

— *А часто в Вашем пастырском общении с людьми Вам приходится обращаться к этой теме и выводить ее «на уровень обсуждения»?..*

— Ну конечно. Можно сказать даже — постоянно. И всякий раз, как правило, — именно в связи с тем, что она очень непроста для понимания, требует от каждого очень тщательного и тонкого прояснения и различения и в себе самом, и в других того сложного, многомерного духовного опыта, который связан с переживанием страха Божия.

Вот, скажем, недавно на одной из проповедей мне пришлось говорить о 22-й главе «Бытия», где рассказывается об искушении Богом Авраама, которому Бог повелел взять сына своего, единственного своего Исаака и принести его Ему, Господу, в жертву...

Вы помните, конечно, этот удивительный библейский сюжет: Авраам приходит с сыном своим Исааком на место, о котором сказал ему Господь, и устраивает там жертвенник... И раскладывает на нем Авраам дрова, и связывает сына своего Исаака, и простирает руку свою, и берет Авраам нож, чтобы заколоть сына своего единственного... Что может быть страшнее этой сцены? Поистине это ужас, это страх, это трепет, который ни с чем не сравним, — отцу самому убить собственного сына!.. А ведь с этим сыном, с появлением его на свет, были связаны к тому же еще и все надежды Авраама, поскольку и все обетования Божии были

связаны с Исааком, с его именем!.. И вот теперь оно, это имя, должно изгладиться, исчезнуть с лица земли, оно должно кануть в небытие по повелению того же самого Бога, который именно через Исаака обещал Аврааму размножить его потомство по всей земле, как песок!..

Но ведь это значит, что ко всему тому ужасу, который захлестывал, не мог не захлестывать Авраама уже от одной только мысли о том, что ему предстоит убить собственного сына, нужно прибавить еще и весь ужас, страх и трепет его души от того, что этого потребовал от него именно Бог! — тот самый Бог, который потомством Исаака и обещал выполнить свое обетование Аврааму! Ведь тем самым получалось, что Бог вступает **в противоречие с Самим Собой** — со всем, что Он Сам же говорил и обещал Аврааму раньше! **Бог противоречит Сам Себе!** А этим противоречием загоняет и Авраама в какой-то немыслимый, страшный, безвыходный тупик!..

И это действительно так. Ибо именно этим тупиком, этим противоречием, Господь Авраама и *искушает*, как это и обозначено в начале главы. Он его испытывает испытанием, которому Писание недаром дает это имя — *искушение*; он ставит его действительно в положение совершенно, в сущности, безвыходное. Ибо как ни поступи Авраам, все плохо: послушаться Бога — значит отменить все Его же обетования, данные раньше, перестать в них верить, то есть перестать верить Богу; не послушаться — тоже ужасно, потому что повеление-то исходит именно от Господа, однажды и истинно явившегося Аврааму и ставшего Богом Аврааму, получившего от Него это новое свое имя. И смятение, ужас и трепет Авраама, конечно же, не миновавшие его, передаются и нам, когда мы вдумываемся, вживаемся в этот библейский рассказ, невольно представляя себя на месте Авраама и тоже, вслед за ним, сталкиваясь с задачей, которая — логически — не имеет решения...

Как же, однако, решается она Авраамом? И как решение это обозначается в Библии, какое *имя* получает оно от самого Господа?

Авраам — при всем том, что ужас, трепет и смятение, как мы легко можем себе представить, царят, конечно же, в его душе, — Авраам при всем этом, как свидетельствует Библия, *без колебаний* выполняет тем не менее то, что повелел ему Господь. Он связывает Исаака, кладет его на жертвенник, простирает руку свою и заносит над ним нож... И только то, что в этот миг он слышит голос ангела, взывающего к нему с неба — «Авраам, Авраам!», останавливает его: «Вот я»...

А теперь вспомним, что говорит ему ангел? Вспомним эти поразительные слова. «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, — повелевает ему ангел от имени Господа. — **Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня**»...

Искушение кончилось. Но ради чего же оно в таком случае было? Оказывается, только для того, стало быть, чтобы ангел с неба засвидетельствовал **богобоязненность** Авраама!Иными словами, Бог испытывал Авраама не в чем другом, как именно в том, **есть ли у него страх перед Богом!** Ведь именно об этом, а не о чем-либо другом и оповещает его Сам Бог после испытания через своего ангела: «теперь я знаю, что **боишься ты Бога**»...

Вот вам одно из самых замечательных, самых пронзительных, самых знаменитых мест Писания, ставящих нас лицом к лицу с понятием «страха Божия». И что же — разве так уж просто нам, когда мы читаем эти страницы, вдумываемся в этот величественный и страшный библейский сюжет, переживаем его, — разве так уж просто нам разобраться здесь с этим понятием, освоиться с ним? Почувствовать и принять то, что стоит за ним, как нечто высокое, должное, угодное Самому Богу — как то, к чему нужно стремиться всей душой, что для верующего должно быть чем-то тождественным самой его вере, чем-то от нее неотделимым? Ведь имя Авраама настолько тесно связано в нашем сознании с нашей верой и с представлением о том, какой она должна быть, что когда нас спрашивают, в какого Бога мы верим, мы, как правило, среди других нам памятных и близких, непременно называем и это имя. До сих пор ведь звучит: «Мы верим в Бога Авраамова». Но Бог Авраама это и есть ведь как раз тот самый Бог, который испытывает его веру именно его *богобоязненностью!* И именно это и вменяет ему в высшую праведность...

Да, вспоминая об Аврааме, мы, как правило, всегда связываем это имя прежде всего с тем Заветом, который был заключен между Богом и Авраамом, праотцем нашим, как Завет веры. И всегда делаем акцент на том, что главное, что открыл нам в этом Завете Бог и что утвердил своей жизнью Авраам, — это дух веры, веры безграничной, веры, которая ни перед чем не отступает.

Но получается, стало быть, что безграничность этой веры, ее безусловность должна иметь своим *основанием* именно **страх** перед Богом — или (можно выразить это и так) должна привести к *утверждению* этого страха. Получается, что страх перед Богом должен быть *фундаментом* веры и вместе с тем первым и главным ее *плодом*...

Согласитесь, что нам и в самом деле не так-то просто освоиться с этим, принять это. И я вам скажу почему. Во многом — и, может быть, прежде всего — именно потому, что нам, современным людям, людям новозаветной культуры, свойственно с подозрением относиться ко всякому страху, бояться его. Мы привыкли считать страх явлением низменным, явлением, недостойным человека, человека свободного, — тем более человека, познавшего Бога. И по своему опыту скажу, что особенно свойственно это тем, кто еще только идет к вере. Нам в нашем храме с этим постоянно приходится сталкиваться — во время катехизации, когда человек проходит период оглашения. Как правило, для новоначальных христиан проблемы страха Божия как бы и вообще не существует — не ощущается, не чувствуется. Единственно знакомое им реально чувство страха связано главным образом только с разного рода фобиями, страхами **не**-Божьими. И довольно трудно бывает, не запугивая человека искусственно, привести начинающего путь оглашения хотя бы к начальному понятию о страхе Божием, пробудить в нем потребность разобраться в этой проблеме. Все-таки самое первое, главенствующее, та психологическая и интеллектуальная доминанта, которая сидит в сознании и сердце современного человека, даже идущего уже к вере, ищущего ее, это, повторяю, то, что страх есть вещь, недостойная человека, недостойная христианина. И что со страхом нужно бороться, как борются с психическими отклонениями, с патологией. Иногда новоначальные верующие теряют поэтому даже то, я бы сказал, чувство благопристойности, не говоря уж о благо-говении, которое необходимо и в храме, и на молитве, и при чтении Писания. И это очень сильно проявляется. Нередко они готовы даже шутить, как только чувствуют, что обстановка более или менее свободная, что можно быть самим собой, — шутить на темы почти уже даже священные. Так что их приходится останавливать и говорить, что есть вещи, о которых не шутят. И не шутят потому, что у верующего человека должен быть, вот именно, *страх Божий*, — тот страх, которого в них как раз и нет. Или есть, но мало. В констатации этой реалии по отношению к человеку нашего времени Ю. Каграманов совершенно прав...

— В констатации — да, а в оценке? Из того, что Вы сказали, можно понять, что и Вы тоже, как Ю. Каграманов, достаточно отрицательно расцениваете эту современную «боязнь страха», отношение к нему, как к чему-то недостойному человека. Но разве нет в таком отношении к страху и какой-то очевидной, несомненной

правды, которую без всяких рассуждений чувствуешь непосредственно, сердцем? Разве страх не унижает?..

— Что ж, не буду пока спорить с Вами. Скажу и больше: когда мы утверждаем, что страх недостоин человека, мы и в самом деле не так уж далеки от истины. Но только не в том случае, когда относим это ко *всякому* страху. Потому что в том-то и дело, что есть *разный* страх и что страх страху — рознь. И эти страхи очень важно различать.

Да, есть страх, который воистину является манифестацией дьявола, выявлением самих дьявольских сил. Есть рабство человека, выражающееся в страхе, есть страх, который порабощает человека — порабощает так, что он готов из-за него отказаться и от Бога, и от самого себя. Давно ли, действительно, прошли те времена в нашей стране, когда миллионы людей из-за страха предавали и Бога, и друг друга, предавали даже на смерть — и часто многих; предавали на мучение, предавали отцов и матерей, предавали детей, предавали Родину, предавали Церковь. Они отказывались от веры ради этого страха, который нападал на них, преследовал их совершенно иррационально даже тогда, когда его не ждали, когда человеку ничто уже, казалось бы, не угрожало... И вот такой страх и в самом деле, конечно, унижает человека, он недостоин человека, тем более христианина; от такого страха действительно надо освобождаться. Я напомню здесь знаменитые слова апостола Иоанна: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви» (I Ин 4, 18). Попутно замечу однако, что именно эти мысли нередко и поддерживают новоначальных христиан в заблуждении, что *всякий* страх недостоин человека и от него надо освобождаться; что подлинно верящий в Бога, любящий Его и отдающийся любви Его не должен вообще знать никакого страха. Но, во-первых, ап. Иоанн говорит о *совершенной* любви, то есть любви *Христовой*, и не надо слишком «приземлять» это понятие. Кто из нас, действительно, может похвастаться, что приблизился к такой любви? Во-вторых же, речь и идет здесь именно о тех страхах, о которых мы пока только и говорили — о страхах, от которых христианин действительно должен освобождаться, изгонять их из себя, и в этом-то и помогает ему его вера, его любовь к Богу.

Однако есть ведь, например, еще и такой страх, страх совсем другого рода — тот глубинный страх, который издавна обнимал сердце человека, когда он смотрел в бездну, когда под ним — или над ним — разверзалась эта бездна. Здесь мы встречаемся уже с

иными сторонами человеческой природы, с иными измерениями человеческой души — с ее мистическими глубинами. Недаром великие мистики, которые знали, что это за страх, именно с ним и связывали первоначальную религиозную интуицию во всем человечестве. Кстати, и наш Бердяев тоже признавал это — и даже с неожиданной для меня легкостью. Он тоже считал, что тот древний ужас, ужас ночи, который охватывал человека, когда он смотрел на небо или вниз, в бездну ущелья, — это ужас мистический, связанный именно с «подземными» мистическими «слоями» человеческой души, которая тоже бездонна и потому и стремится к этой бездонности, одновременно и боясь ее, и желая ее испытать, — даже если это грозит гибелью. Бердяев тоже считал поэтому, что первоначальная религиозная интуиция человека имеет своим истоком именно этот древний мистический ужас, что она рождена именно таким страхом — перед бездонной этой бездной...

— *То есть — страхом перед черной ночью смерти, ужасом перед бездной небытия?..*

— А вот тут трудно уже сказать — небытие ли это, смерть ли это. Или вернее — только ли это небытие, только ли смерть.

Да, этот «мистический трепет», этот ужас (имеющий, как Вы знаете, для своего обозначения даже специальный термин — mysterium tremendum) неотделим, несомненно, от ужаса гибели, ужаса предполагаемого предстоящего исчезновения в черной дыре смертной бездонности. И недаром этот mysterium tremendum есть в то же самое время и terror, terror antiquum — «древний ужас», который известен человеку с самого первого дня его существования после грехопадения. Люди издревле трепетали этим страхом (и перед этим страхом), и, убоявшись этого страха, человек тоже нередко терял себя в нем и погибал.

И все-таки уже и с этим мистическим ужасом перед бездной бесконечности, простирающейся над и под человеком, с этим mysterium tremendum, все далеко не так уже просто, как с тем, условно выражаясь, *первым* страхом, о котором я говорил раньше. Его никак нельзя уже прямо назвать страхом дьявольским, как тот, «первый», страх. Здесь мы оказываемся скорее в сфере какого-то смешения добра и зла. Ведь та бездонная бездна, которая внушает нам мистический трепет, — это, как я сказал уже, не только та бездна, которая разверзается **под** нами, чтобы нас поглотить, но и та, что **над** нами, — бездна мистериального **Неба**. А в небе есть звезды, там есть и другой **свет**, хотя там же есть и некие черные дыры бездонной для нас неизвестности.

Повторяю — здесь уже некое смешение добра и зла, света и тьмы, здесь край таинственной бездны смерти, небытия, но здесь же впервые человеческой интуиции открывается и мир ангельского ликостояния, и Бог — **Его** таинственная, непостижимая бездна... Поэтому в этом — «втором» — страхе есть и то, что тоже может поработить человека, что унизительно для него, и то, что как бы предваряет освобождение от этого рабства и смертного унижения — начальное, смутное предчувствие бесконечной светоносности божественной бездны. Да, непостижимость этой бездны, ее бездонность не может не вызывать в человеческом сердце смятения, трепета, страха — но это уже иной, особый страх — тот страх, тот трепет, вектор которого направлен к вере, к Богу, а не от Него. Это страх, который, если мы приходим в конце концов к вере, как бы ложится в ее фундамент, остается ее «подземным», «корневым» основанием, и она, выращивая себя на нем, сама преображает его уже в страх совсем иного, нового качества...

— *В страх «третий»?..*

— Ну, пусть будет хоть так, не в этом дело. Но это действительно страх уже совсем иной — страх, который, собственно, мы и называем **страхом Божиим**, страх, который и был вменен в праведность Аврааму. И нам, современным людям, именно потому и бывает так непросто понять, что же это такое, освоиться с этим понятием, принять то, что стоит за ним как некую высшую, фундаментальную для нас ценность, что мы, повторяю, слишком привыкли иметь дело со страхами совсем иного рода — страхами, которых мы боимся, которые унижают и порабощают нас, которые недостойны нас, которые мы ненавидим и от которых, приходя к Богу, стараемся освободиться, как от скверны. У современного человека слишком мало — если он есть вообще — опыта переживания каких-либо страхов более высокого порядка, страхов не порабощающих, не насилующих человеческую душу. И потому-то, когда он сталкивается с понятием какого-то неведомого или почти неведомого ему страха, в нем сразу же оживает все то недоверие, вся та боязнь, которые привычны для единственно знакомого ему опыта страха. И он, по законам неизбежной в таких случаях ассоциативной психологической аберрации, непроизвольно опрокидывает это свое отталкивание от знакомых ему унизительных страхов, свое неприятие их на все, что выступает перед ним под этим именем... Хотя, как я говорил, уже и тот мистический трепет, которым отзывается человеческая душа на простирающуюся над нами и под нами бездну бесконечности, имеет куда более сложную духовную и психологическую природу,

чем наши унизительные житейские фобии. И уж тем более это относится к тому страху, который мы называем страхом Божиим и к которому, даже не испытав или почти не испытав его, люди непроизвольно прикладывают обычно все ту же единственно привычную им, единственно знакомую психологическую мерку...

— *И как же Вы описали бы в таком случае то различение, которое необходимо здесь делать? Чем страх Божий по своей* ***психологической*** *природе так уж принципиально может отличаться от обычных, знакомых нам житейских страхов? Ведь это же все-таки именно* ***страх****, — разве не так?..*

— В том-то и дело, что и да и нет, и так и не так. Тут тоже есть, как всегда в религиозном опыте, своя глубинная мистическая парадоксальность. И чтобы объяснить Вам, что я имею в виду, я напомню еще одно место Писания — знаменитую 20-ю главу «Исхода», где излагаются десять заповедей, которые дал Господь Израилю через Моисея, сойдя к нему в громе и молниях на вершине горы Синай, тогда как весь народ израильский стоял под горою, не переступая черты, за которую Господь повелел не заходить из народа никому, дабы не погибнуть. И вот сразу после изложения этих заповедей следует в Писании такой абзац — приведу его полностью, но сначала процитирую первые два стиха:

«Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев *то*, [весь] народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть ».

Народ чувствует, понимает, что прямо слышать голос Божий он еще не готов, не может, если не хочет подвергнуть себя смертельной опасности. Громы и молнии с горы Синай, дым и мрак, ее окутывающие, слишком наглядно подтверждают это, и, видя и понимая это, народ израильский высказывает полное послушание воле Божией — он *сам* просит, чтобы Бог говорил с ним через Моисея — через того, кому Бог уже открылся, кто уже может слушать Бога: *говори ты с нами, но чтобы не говорил с нами Бог.:.*

И что же отвечает им на это Моисей — тот, через кого с ними говорит Сам Бог?

Вот его слова, слова поразительные:

«И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог [к вам] пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили. И стоял [весь] народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог».

Итак, первое, что слышит народ израильский от Моисея — *не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас...* Но — ч е г о **не**

бояться? Очевидно, именно того, что, казалось бы, как раз затем только и было явлено народу израильскому, чтобы он испугался! И чего он и не мог, естественно, не испугаться перед величественным и страшным этим зрелищем дыма, огня, молний, мрака, заслоняющих от него Бога и грозящих ему смертельной опасностью («дабы нам не умереть»), если он перейдет черту послушания... И вот теперь, ввиду всего этого страха смертного, пророк, говорящий с ним от имени Бога, сообщает ему — *не бойтесь!* Не бойтесь всего этого страха смертного, Бог пришел *испытать* вас, провести вас через искус, дабы вы смогли удержаться в верном выборе, на верном пути — дабы вы смогли не бояться того темного, иррационального, парализующего страха, который обуял вас. Сейчас именно этот страх — самое страшное для вас искушение, сейчас для вас нет большей опасности, чем этот страх. Но Бог и пришел, чтобы вы *не боялись* этого страха, чтобы у вас не было его, раз вы встали на верный путь и готовы к послушанию, раз вы сами не хотите потерять путь Божий и вручаете себя Его водительству через говорящего с вами от Его имени пророка... Этим вы *уже* изгоняете из сердца своего этот смертный страх, *уже* побеждаете его — изгоните же его до конца, освободитесь от него, и тогда все будет нормально... *Не бойтесь!*

Но вот что поразительно — не так ли? Ведь сразу вслед за этим «не бойтесь», сразу вслед за объяснением, почему народу не надо бояться Господа этим обуявшим было его смертным страхом, что этим страхом Бог *искушает* его («Бог пришел, чтобы испытать вас»), Моисей продолжает: «... и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили!»

Казалось бы, прямое, необъяснимое противоречие: только что — «не бойтесь» — и тут же: «чтобы страх Его был пред лицем вашим»... Но в том-то и дело — и это совершенно ясно из контекста, — что речь идет о совершенно разных страхах. Да, Господь приходит, чтобы человек не боялся Его тем привычным для человека темным, пугающим все в его голове и в сердце иррациональным, дьявольским страхом, которого не должно быть. А вот *страх Божий* должен быть — иначе не грешить вы не научитесь, не сможете, не хватит одной вашей доброй воли, чтобы не пойти туда, куда влечет вас ваш грех. И потому Бог к вам пришел не только для того, чтобы вас испытать, чтобы вы не боялись, чтобы освободить вас от страха темного, но еще и для того, чтобы перед лицом вашим был **Его** страх — страх Божий...

— Но получается в таком случае, что между страхом Божиим и страхом темным, сатанинским, разница только в том, откуда

исходит этот страх, в его направленности, а не в самом его психологическом переживании человеком. Боясь тем житейским страхом, который порабощает, люди боятся того, что если они не подчинятся, скажем, неправде, не пойдут на постыдный компромисс, не донесут на ближнего и т.д., их ожидают преследование, потеря работы, голод, а то и тюрьма, — словом, всякого рода житейские невзгоды, всякого рода «наказания» человеческие (они же, если угодно, дьявольские). Но ведь и страх Божий, спасающий от греха, — что же это такое, если не та же боязнь именно ***наказания*** *за ослушание, за грех, — только наказания Божия, а не человеческого, не дьявольского?.. Разве это не так?..*

— Нет, не так. Вернее — и так вроде бы, да не только так. Разве, действительно, не грешить можно только из страха какого-то наказания за грех? А, например, из любви к чему-то столь для вас ценному или к кому-то столь для вас дорогому, что вы и помыслить не можете, чтобы хоть чем-то огорчить его, тем более — ранить или предать? Ведь Бог открывается человеку не просто как некая могущественная сила, внушающая трепет своей непостижимой безмерностью, а прежде всего как безграничный в своей благости источник света, любви, добра, источник самой жизни, ее высшего смысла — как некое абсолютное средоточие всего самого дорогого, важного, необходимого человеку. Именно в этом ведь прежде всего **самая суть** веры, когда она приходит к человеку, когда человек приходит к Богу и вручает себя Ему, отдается Ему. Он отдается Ему, потому что именно в Нем для него — центр всей его жизни, и потому-то вера по своей природе и есть такое состояние человеческого сердца, духа и души, которое мы не случайно можем описать лишь при помощи таких понятий, как **любовь** и **благоговение**. Благоговейная любовь к Богу, составляющая сердцевину веры, благоговейная любовь ко всему, что в Нем для нас сосредоточено, — это и есть ведь тот главный источник, который питает наше стремление не грешить, нашу искреннюю жажду не предавать то, к чему мы с таким благоговейным трепетом относимся, что для нас, по сердцу, драгоценнее всего — не предавать Бога и тем самым не предавать и самих себя — то, что нам и в самих себе дороже всего — образ и подобие Божие. И только тогда, когда мы встаем на этот путь и отдаем себя Богу, Бог и дает нам силы не грешить, поддерживая нас своею благодатью, без действия которой нам в этой жизни без греха не удержаться...

Но если это так, если *суть* веры именно в этом *благоговейном трепете* предстояния перед Богом, то это ведь и значит, что то, что мы называем *богобоязненностью*, то, что мы называем *страхом*

Божиим, в котором Господь испытывает Авраама тоже как в *самой сути веры*, и есть, собственно, не что иное — просто не может быть ничем иным! — как всего лишь *другое имя* этой же самой сути веры. Это — другое имя (или, вернее, другая сторона) все той же полноты безоглядной любви к Богу, все того же трепетного благоговения перед Ним, которые одни только и способны пробудить в нас жажду полностью вручить себя Ему. Только в этой любви, в этом благоговении, которыми мы дорожим и которые мы боимся потерять, мы не боимся отдаться Его могущественной и, конечно же, остающейся непостижимой для нас, по-прежнему внушающей мистический трепет этой своей непостижимой бездонностью, но в то же время столь же несомненно **благостной** для нас силе... Не забудем, что ведь и то испытание Господом Авраама, которое мы называем испытанием Авраама в *страхе Божием*, было предложено Аврааму *уже* поверившему, *уже* отдавшему себя Господу, *уже* познавшему всю драгоценность такой отданности и потому только и оказавшемуся способным довериться Ему, положиться на Него даже и тогда, когда он ничего не мог понять. И потому-то оно, это испытание богобоязненности Авраама, и было, в сущности, в то же самое время и тем самым испытанием именно и силы любви Авраама к Богу, силы его благоговейной Ему отданности. Не забудем, что и Моисей ведь сказал народу израильскому: «не бойтесь» — лишь после того, как народ, не переступивший очерченной ему черты не только «страха ради иудейского» перед громами и молниями, но, несомненно, и из *благоговейного послушания* Господу, во всей своей непостижимой силе именно к **нему** пришедшего (и пришедшего для **благовествования**), оказался тем самым способен уже понять, в чем отличие страха, о котором ему сказали — «не бойтесь», от того страха Божия, о котором ему сказано было, чтобы страх этот «*был перед лицем вашим, дабы вы не грешили*»... Не грешить ведь можно только тогда, когда полностью полагаешься на Бога, вверяешься Ему, только тогда, когда даже не понимая Божиих путей, ты идешь туда, куда ведет тебя Бог, Который выше всякого твоего понимания...

Итак, и в случае той богобоязненности, того страха, который был вменен в праведность Аврааму, и в случае того страха Господня, который должно было иметь народу израильскому, дабы не грешить, мы, повторяю, имеем дело с таким страхом, который, называя его страхом Божиим, мы в то же самое время можем назвать и по-другому, дав ему имя *благоговения*, как ни парадоксально это выглядит. Но ведь в такого рода парадоксах — вся природа веры, и вот почему

я так боюсь рационалистических вариантов христианства, ловушек плоской формальной логики при попытках интерпретировать те или иные фундаментальные истины веры...

— *«Ловушек» вроде той, которая была предложена как искушение Аврааму?..*

— Совершенно верно...

— *Скажите, — а если использовать знакомую всем нам и, увы, весьма расхожую терминологию, это могло бы звучать, например, так: Господь испытывал православную душу Авраама рационалистически-католическим или протестантским искушением логической безвыходности положения, в котором тот оказался?..*

— Что ж, я понимаю, почему и откуда возникает желание иронизировать таким образом... Но не будем отвлекаться, вернемся к сути проблемы. Тут вот что еще очень важно понять и что постоянно подтверждает мне мой пастырский и миссионерский опыт. Я говорил уже, что новоначальные христиане, как правило, плохо воспринимают понятие «страха Божия» и начинают осваивать его лишь с обретением реального опыта веры, жизни в ней. А теперь вот я могу добавить и разъяснить: и с опытом *реального* переживания страха Божия именно как *страха.* Потому что только с приходом веры, с опытом реальной жизни в ней, приходит и страх *потерять* ее — страх, который внутренне всегда присутствует в истинной вере. И тем сильнее, чем она благоговейнее. Ибо чем благоговейнее наша вера, тем она дороже нам и тем, следовательно, страшнее нам утратить то состояние, которое мы обретаем, живя в такой вере...

Я вообще думаю даже, что чувство страха Божия по-настоящему не приходит, реально не ощущается, пока человек, живя в вере, не ощутит вдруг в какой-то момент утрату благодати. А это случается со всеми. Пока все пусть даже не очень хорошо в жизни, но и не настолько плохо, чтобы чувствовать себя совершенно пустым, внутренне мертвым, «твердокаменным» в сердце своем, страх этот не приходит. Но когда ты вдруг чувствуешь, что благодатная сила Божией поддержки куда-то ушла, когда переживаешь то состояние, которое недаром называют состоянием богооставленности (хотя Бог никогда человека совсем не оставляет), — тогда это чувство вспыхивает сразу же и с удручающей силой. И это естественно. Во-первых, потому, что тогда человеку не хватает сил в борьбе с тем, что он ненавидит, с дьявольскими искушениями и соблазнами настигающей его отовсюду житейщины. А всякий раз, когда человек теряет силы делать то, что он хочет, к чему стремится, что любит, первая его реакция на это —

всегда страх. Во-вторых же, почувствовав потерю благодати, которая помогала тебе жить и наполняла твою жизнь светом, начинаешь, естественно, сравнивать эти былые состояния с тем, в каком обретаешься сейчас. И приходишь, естественно, к неутешительным выводам. И тут тоже возникает почва для страха, потому что человеку не свойственно идти назад, теряя то, что ему дорого, что составляло его жизнь. И страх этот тем сильнее, чем светлее была его жизнь, ибо это подлинно и есть именно страх Божий — страх утраты любви Божией...

— Вы все время говорите о том страхе утраты благодати, о том трепете перед потерей жизни в благоговейной вере и любви к Богу, которые самим человеком ощущаются и переживаются как несчастье — или, если угодно, как наказание Божие. Но это — наказание в самой жизни, здесь, где можно еще утраченное хотя бы попытаться вернуть, где многое зависит от самого человека, от его выбора. А ***там*** *— в* ***той*** *жизни, где, как говорит у Достоевского старец Зосима, уже лишен человек возможности деятельной любви, открытой ему только на Земле;* ***там****, где человек остается уже со всеми теми своими грехами, которые он не успел или не сумел изжить, которые остались, может быть, даже нераскаянными и от которых никуда уже не денешься, — разве не должен человек бояться воздаяния и наказания* ***там*** *за все то зло, что он оставил* ***здесь****, на Земле? Разве понятие страха Божия не включает в себя страха и перед таким вот грядущим возможным наказанием, страха гнева Божия, страха оказаться в том потустороннем измерении, которое мы зовем адом? Понятие Страшного суда — ведь он все-таки существует же, не просто же это некая условная стилистическая фигура, если на каждой службе в храме мы молитвенно «доброго ответа на Страшном суде Христовом просим»? Значит, с этой реальностью верующим людям тоже никак нельзя не считаться, — разве это не так? Кто из нас, действительно, вправе сказать, заглянув до глубины в свое сердце, что он достоин милости Божией, достоин спасения?..*

— Да, все это так, конечно. Все верно. Но только вот и со Страшным судом дело тоже оказывается достаточно трудным.

Во-первых, уже потому, что мы привыкли воспринимать Страшный суд только в контексте плохо понятого Апокалипсиса или поздних схоластических икон Страшного суда. Там некий червь — или река — отделяет один мир от другого и всюду царит четкое морализирование — вот за этот грех полагается такое-то наказание, за тот — такое-то и т.п. И это, конечно (как тут опять не вспомнить Бердяева), не Православие вовсе. Такая вот мора-

листическая формализация проблемы просто и всего лишь устрашает, делая из Бога некоего надсмотрщика. Равно как, если говорить всерьез, и «учение» о мытарствах, которое столь сейчас педалируется. Это тоже, конечно, вовсе не Православие, это совершенно точно. И это надо понимать. Мы не должны морализировать, не должны из Бога делать полицейского, не должны «Боженькой» пугать ни взрослых, ни детей, как однажды когда-то пытались запугать в детстве Ленина, этого несчастнейшего человека, который с тех пор ничего кроме патологического отвращения ко всему религиозному просто не в состоянии был испытывать... Ведь что Писание нам говорит на этот счет? Писание говорит нам совсем другое: «Бог смотрит на путь человека». На путь!.. А не на отдельные твои деяния, из которых ни одно, если оценивать их в масштабе, хоть сколько-нибудь соразмерном Богу, не выдерживает и не может выдержать такого суда. Богу важно только одно — чтобы человек **шел** за Ним — да, спотыкаясь, падая, но не теряя ориентира, оставаясь верным Ему даже в самой своей греховности, то есть сознавая ее именно как греховность и пытаясь ее преодолеть...

Поэтому не будем запугивать себя адом как неким потусторонним «местом», куда нас, тщательно взвесив все наши грехи и заслуги, все-таки отправят, может быть, отбывать положенное наказание. Даже если мы, пусть спотыкаясь и падая, все-таки не покидали наш путь к Богу и кое-как, по ступенькам, но все-таки по нему поднимались... Впрочем, и об этом судить не нам, а Богу, и раз мы Ему доверились, доверимся и в этом Его любви и милосердию. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге, — говорит апостол Иоанн. — И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он» (I Ин 4, 15-16). Поэтому и важно нам помнить и заботиться только о том, чтобы любовь наша, жизнь наша в Боге, становились как можно более совершенными. Это единственно для нас важно и актуально в нашей реально протекающей сейчас и здесь жизни — чтобы путь наш к Богу никогда не прерывался, чтобы вера наша на этом пути не умалялась, а росла, и жизнь в вере тоже не оскудевала, а полнилась.

Все сказанное совсем не значит, конечно, что мы снимаем или облегчаем проблему страха Божия. Просто мы отсекаем ложное ее решение, но сама проблема остается. И решать ее нужно.

Но решать ее нужно, повторю, применительно к тому единственно актуальному, реально актуальному для нас измерению нашей жизни *здесь, на Земле*, которое вбирает в себя наш *путь* к Богу, нашу *веру*. И вот здесь как раз никакая розовость уже и в самом деле недопустима, она просто страшна — как нетрезвенность и, следовательно, как искушение. Мы должны все время помнить и ощущать, что если для нас Бог, наша жизнь в Боге — это действительно самое главное, самое ценное, то в нас должен жить подлинный страх утерять эту ценность, лишиться того света, которым нас наполняет благодатная Божья помощь нам на этом пути. Потому что без этого мы — во тьме, мы в аду кромешном, и этот ад страшен. Страшен уже потому хотя бы, что он означает для человека состояние полной дезориентации. А когда человек теряет внутренние ориентиры, он готов на любое, самое непредсказуемое даже действие. Почему, действительно, люди с такой легкостью бросаются сейчас во все тяжкие, вплоть даже до самоубийства — причем сознательно, в состоянии полной вменяемости? Да потому, что нет ориентиров, не за что *удержаться*, ибо ориентир — это ведь еще и опора. А Бог, которому важен **путь** человека, как раз и становится Сам такой опорой и спасает человека, выбравшего путь Божий, даже если этот человек слаб. И потому-то утратить такую опору, тем более самому покинуть ее, оказаться вне этого светоносного измерения, вне веры, вне Бога (и *здесь*, и *там*) — страшно. Этого надо бояться больше всего на свете — и тем сильнее, чем сильнее и благоговейнее твоя вера, чем больше света в твоей жизни...

Вот почему и можно сказать, что вера и страх Божий — это, в сущности, одно и то же. И вот почему всякое умаление страха Божия, тем более — отсутствие опыта такого страха означает по меньшей мере именно маловерие. Если не отсутствие веры. Я всегда подозревал, что когда в нашем обществе стали бурно призывать вдруг к вере в Бога — конечно же, соседа в первую очередь, потому что сосед всегда плох, а я-то, естественно, лучше, — я всегда подозревал, что эти призывы, часто вполне, конечно, искренние, исходят от людей, которые действительного духовного опыта веры приобрести не сумели или не успели. Или не захотели, — в данном случае это неважно. О ценности веры они знали — хотя бы из наблюдений над верующими, — но подлинного опыта веры, неотделимого от опыта страха Божия, у них не было. Как можно *призывать* к вере, да еще угрожая безбожникам неизбежностью грядущего потустороннего наказания, то есть пугая их таким «страхом Божиим», который сродни разве лишь нашим посюсторонним фобиям?! Действитель-

ный страх Божий появляется только с опытом самой веры, он неотделим от того живого переживания благоговения и любви к Богу, без которых вера просто мертва и пуста...

— Но здесь мы возвращаемся к тому, с чего и начиналась наша беседа. И значит можем, вероятно, подвести уже и некоторые итоги. Итак, из того, что Вы сказали, верно ли будет сделать тот вывод, что хотя Вы согласны с Ю. Каграмановым, когда он говорит об оскудении веры — и страха Божия — как о глубинной причине нынешнего нравственного беспредела в обществе, однако к призыву его — попытаться лечить общество, «раскалывая» его сознание страхом Божиим, относитесь с таким же недоверием и, в общем, отрицательно, как и А. Кырлежев?

— Да, это так. И, как я уже сказал, именно потому, что страх Божий приходит только с верой, с ее опытом, по мере его накопления, а веру навязать нельзя. На секулярное сознание современных людей, которые давно уже и друг друга не стыдятся, и Бога не боятся, никакие разговоры о страхе Божием — в том плане, в каком говорит о нем Ю. Каграманов, — подействовать не могут. Да они и вредны. Здесь может действовать лишь притягательность *живого примера* подлинной жизни в вере, а значит — и в страхе Божием. И именно к этому мы, христиане, и призываем — жить так, чтобы к нам тянулись, чтобы сама жизнь наша пробуждала у неверующих интерес и желание понять ее, попытаться приблизиться к нашей вере.

Но чтобы жить так, мы как раз и должны обрести тот реальный опыт веры, который неотделим от переживания страха Божия. А это путь непростой, и вот почему проблема страха Божия, проблема обретения опыта его переживания, столь важна и актуальна, когда мы говорим о ней применительно к духовной практике *обращения* к вере в процессе *кериг*мы, ее возвращения людям. Между тем А. Кырлежев в своей статье как раз совершенно обходит эту сторону дела — может быть, впрочем, лишь потому, как я уже предположил, что сознательно акцентирует свое и читателя внимание только на опасности и вредности «обращения» секулярного общества посредством того «раскалывания» его сознания страхом, к которому призывает Ю. Каграманов. Но все равно, на мой взгляд, это объективный — и серьезный — недостаток его постановки вопроса. Потому что коль скоро мы обсуждаем и рассматриваем именно духовную практику *обращения* к вере (о чем и говорит Ю. Каграманов), практику *обретения ее реального опыта*, уйти *вообще* от проблемы страха Божия в ее *положительном*, а не отрицательном содержании, просто невоз-

можно. Невозможно — и здесь мы действительно можем подвести уже какие-то итоги — именно потому, что современному человеку крайне важно, повторяю, знать и чувствовать, что страх бывает разный. Есть страх, который сам — манифестация ада, а есть страх Божий, который составляет как бы драгоценную оправу для любви, оберегает любовь, оберегает благодать. Нужно всеми силами избегать страха дьявольского, страха убийственного и порабощающего. Не нужно играть и с тем страхом, который внушается нам всякой бездной — и физической, и душевной, и духовной. Нужно помнить, что хотя там, в глубине этих бездн, есть свет, обрести его нелегко. И уж совсем не нужно пытаться его обрести, кидаясь в эту бездну головой вниз. Ничего, кроме смерти, человеку такое искушение не принесет, ибо свет этот обретается иначе. Но есть страх, который нам важно и нужно обрести и пережить как величайшее духовное сокровище.

Это тот страх, благодаря которому не убоялся Авраам страхом адовым и который и был вменен ему за это в праведность.

Это тот страх, о котором сказал Господь через Моисея людям израильским, что он хочет, чтобы страх этот был пред лицем их, дабы они не грешили и не боялись никакими другими страхами.

И, наконец, это тот страх, который оберегает дарованную нам совершенную любовь Христову, изгоняющую, помогающую нам изгонять из себя все иные, мучительные для нас и действительно недостойные христианина страхи. Это тот страх, который в нас, христианах, должен быть не слабее, а *сильнее* ветхозаветного страха Божия именно потому, что и дарованная нам драгоценность — совершенная любовь Христова, искупившая нас у ада крестной смертью Самого Создателя нашего, — превыше и драгоценнее всего, что когда-то даровал Бог человеку...

— Спасибо, отец Георгий, за чрезвычайно интересную, содержательную беседу, хотя мы вышли, вероятно, только на самые первые, исходные подступы к этой громадной, сложнейшей теме. Вполне возможно, что она потребует еще обсуждения и на страницах нашего журнала. Вы не откажетесь, если это произойдет, от дальнейшего участия в дискуссии?

— Ни в коем случае. И с тем большей охотой, что мне и самому многое еще хотелось бы сказать в связи с этой проблемой. Но это уже и в самом деле до какого-нибудь другого, может быть, раза...

Беседу вел Игорь ВИНОГРАДОВ

Евгений НАКЛЕУШЕВ

О МИЛОСЕРДИИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЖЁСТКОСТИ И ПОТАКАНИИ

«Небо не всемогуще, мудрецы не всеведущи. Путь небес — либо жар, либо холод; путь мудрецов — либо милосердие, либо справедливость».

Так гласит один из древнейших даосских текстов, восходящий к периоду около VI в. до н.э.

В ту пору на всем пространстве культурной Евразии (и, возможно, даже в среде «варваров») происходил перелом жизнеощущения, шатались тысячелетние традиции. Рождалось систематическое — до болезненности, до безжалостности — размышление о том, что казалось прежде вполне ясным культурному инстинкту, питавшемуся древней традицией. Это была трагически трудная пора, когда прошлое исчерпало себя, а будущее только закладывалось, но именно в эту эпоху были заданы вопросы и даны ответы, из круга которых мы в принципе не вышли и доныне (исключение представляют только наши точные науки и техническая мысль). Наши философии, религии и гуманитарные науки до сих пор питаются последними соками того — «осевого», по Ясперсу, — времени. И теперь, когда уже и наша традиция стоит на пороге краха, аналогичного тому древнему, настало время подбирать нити споров, оборванных концом осевой эпохи, — дабы не открывать заново америк, но, усвоив уроки прошлого, перейти к поиску новых континентов культуры.

Итак, поднимем нить древнего спора китайской социальной мысли о милосердии и справедливости.

Евгений НАКЛЕУШЕВ — родился в 1942 году в Москве. Окончил философский факультет МГУ. В 1977 г. эмигрировал в США. Автор ряда статей в русской эмигрантской периодике, книги «К единому знанию. Набросок метафилософии — метанауки — метарелигии» (Холиок. 1984). В настоящее время живет в Москве.

Спросим сначала, откуда взялась сама проблема предпочтения милосердия или справедливости? Ее не знало «доосевое» время. Для древнейших китайцев милосердие и справедливость естественно дополняли друг друга. Старинный обычай с трогательным педантизмом предписывал матери милосердие, отцу справедливость в обращении с младшими. И поскольку, далее, государство мыслилось здесь, как и всюду в архаике, наподобие гигантской семьи во главе с государем-батюшкой, проблема предпочтения справедливости или милосердия вряд ли занимала тогда кого-либо всерьез.

Позднее, однако, ситуация существенно изменилась. Начавшийся кризис традиции сравнительно слабо коснулся устойчивой китайской семьи и принципов ее устроения, но в условиях бурного роста экономики и численности населения буквальный перенос на государство методов семейного управления стал уже физически невозможен. Теперь государь-отец просто не в силах был знать в лицо и разбираться в нравственных качествах не только всех, но хотя бы даже одной правящей верхушки своих «детей»-подданных. В этих условиях рациональное перетолкование архаической традиции в нечто, принципиально более гибкое и операбельное, стало насущной необходимостью.

Оговорим, что повсеместное в тогдашней культурной Евразии переосмысление традиции чаще всего истолковывалось как этой традиции *спасение*. Да и вообще, надо сказать, вплоть до XVIII в. с его Просвещением, Великой Французской революцией и началом новых и невиданных триумфов демагогии, забытой, было, с крахом античности, радикализм мало прельщал людей умных, и наиболее блистательные случаи социального творчества имели место обычно именно под лозунгами типа: «лучшее новое — это старое». Современности вольно смеяться над этакой косностью дремучей старины, но с тех пор, как человечество ее изжило, наш мир как раз начал превращаться в сумасшедший дом. И самое обидное — тут-то и прекратилось почему-то всякое подлинное социальное творчество. Поэтому если бы, например, от меня потребовали сегодня определить себя как «консерватора» или «радикала», «правого» или «левого» — или через посредство любой другой из ходячих ныне партийных кличек, — я отверг бы их все, как равно целиком утратившие свой смысл в контексте нашего времени. И заявил бы как кредо, что **все** культурное наследие Евразии требует ныне самого радикального **переосмысления**, переощущения — и непременно синтеза! — именно ради его **спасения**. Ныне здравый консерватизм совершенно неотде-

лим, по моему твердому убеждению, от здравого же радикализма. И — наоборот.

Но вернемся в Евразию середины I-го тысячелетия до **н.э.** Неизбежной ценой начавшегося в ту пору переосмысления древней традиции стало то, что разум, впервые взявшийся за столь колоссальную задачу и ограниченный в своих возможностях как раз тогда же открытыми и истово разрабатывавшимися принципами «рациональной простоты», «очевидности», «последовательности» и «непротиворечивости», оказался обречен, многое прояснив и построив, едва ли не более и разрушить, и потерять. Для примера: современная наука лишь недавно принялась расшифровывать в своих самых революционных прорывах в физике и космологии элементы древнейшего космологического мифа, удивительно глубокого и единообразного во множестве не связанных друг с другом архаических культур — мифа, подорванного еще античным рационализмом (нашедшим дорогу и в религиозные тексты) и совершенно отринутого его радикальным крылом как «вздорная и невежественная выдумка».

Один из самых страшных ударов, нанесенных рациональным переворотом сознания причудливо-сложному богатству архаической традиции, как раз и пришелся на соотнесение в государстве и обществе *милосердия* и *справедливости*. И немудрено: мы увидим, что проблема эта никак не укладывается в тощее лоно формально-логической непротиворечивости[1]. Мы покажем, что нанесенный удар оказался поистине страшен и трещина прошла через все тело культурной Евразии — она-то расколола ее на **Восток** и **Запад**. В результате ущербным стало понимание Востоком *справедливости*, а Западом — *милосердия*.

Что, однако, стоит за широко используемыми, но понятийно расплывчатыми в современном употреблении словами «Восток» и «Запад»?

Привлечем для ответа общую теорию систем, где различают системы **«жёсткие»** и **«дискретные»**.

Первые характеризуются тем, что в них «изменение одного элемента влечет за собой изменение в остальных частях системы» (я предпочитаю называть такие системы **«интегрированными»**,

---

[1] Кстати, догадка об этом сквозит и в приведенном в начале статьи даосском фрагменте: милосердие и справедливость ставятся там в параллель жару и холоду, несовместимым, как А и не-А, «в одно и то же время, в одном и том же отношении». Вместе с тем, текст подразумевает, что проблема все же как-то разрешима, но вот — «мудрецы не всеведущи...»

констатируя, что жёсткость характеризует только часть — и не лучшую — интегрированных систем, в общем способных как раз к самой замечательной гибкости!).

Во второго типа системах, напротив, «отдельные элементы связаны между собой не прямо, а через посредство их отношений к среде. Иными словами, они являются независимыми единицами, образующими систему благодаря тому, что обладают рядом общих черт»[1]. Я предпочитаю называть эти системы «дифференцированными»,

Для примера: **«жёсткими» (интегрированными)** являются все важнейшие органы биологических организмов — такие, как глаз, сердце и в решающей степени мозг. **«Дискретны» (дифференцированы)** в организме системы тканей, построенные из однородных клеток (тогда как интегрированные системы отличает четко выраженная иерархия), а также парные и множественные органы. Общая теория систем констатирует, что «повышение организации достигается, как правило, путем жёсткого сочетания взаимодополняющих элементов системы»[2].

Нетрудно видеть, что организация общества на современном Западе преимущественно **«дискретна»** — как в отношении отдельных индивидуумов, так и их группировок и партий, без тени сомнений и угрызений совести откровенно преследующих собственный корыстный интерес (и даже не подозревающих в своей массе, что где-то могут существовать психически нормальные люди, способные вести себя иначе). Отсюда западный индивидуализм, стремление тамошних теоретиков и практиков видеть в отдельной личности «первичное», а «вторичное» — в интегрирующих ее обществе и государстве, рожденных в результате «договора» изначально якобы независимых одиночек. Теория эта, надо сказать, давно и полностью опровергнута уже и историей, и антропологией даже применительно к этому региону, но до сих пор преспокойно сохраняет роль главной теоретической опоры господствующего здесь социального мироощущения.

Что, в самом деле, «первично» и что «вторично» в системе отношений личность-общество (или общество-личность)? Конечно, и то и другое, ибо отношения в этой системе не прямолинейно однонаправлены, а цикличны — как в системе «яйцо-курица» (она же система «курица-яйцо»). Да, общество не может

---

[1] Малиновский А.А. Теория структур и ее место в системном подходе. — Системные исследования. Ежегодник — 1970. М., 1970. С. 14.

[2] Малиновский А.А. Ук. соч. С. 16.

существовать без составляющих его индивидов. Но ведь и эти последние не способны полноценно развиваться и быть полноценными людьми, будучи изолированы от общества. Неловко даже говорить вещи столь очевидные, но что же остается делать, если, например, наши милые западники ухитряются не замечать последнего, а наши не менее милые почвенники — первого?

При всем том **дифференцированные** общества обречены на стиль приличий, вынуждающий акцентировать (по меньшей мере) в цикличной системе отношений *связь, идущую от личности к как бы «вторичному» обществу*, а **интегрированные** общества Востока — *от общества к как бы «вторичному»* (или совсем вторичному: у Маркса, например, личность — «совокупность общественных отношений») *индивиду*. Что же до места России в так определяемой системе Восток-Запад, то русские власть и простой народ, недвусмысленно относятся по господствующему складу своих представлений и моделей поведения к **Востоку**. Двухвековой трагедией русской интеллигенции является то, что, будучи образована в разработанной Западом системе понятий, она воображает себя принадлежащей Западу, оставаясь Восточной по складу сердца.

Если бы меня попросили *доказать* два последних — абсолютно «очевидных», с моей скромной точки зрения, — утверждения, то я ответил бы на это следующим образом: не думаю, чтобы вещи, относящиеся к самым глубинам мироощущения, так просто доказывались. В вопросах мировоззренческих скорее, напротив, доказуемы лишь вещи, которые вряд ли и стоит доказывать. Не желая кого-либо обидеть, скажу, что я вижу в западничестве тяжелую социопсихическую болезнь (лет двенадцать я сам болел ею), которой противостоит в условиях России однако же не здоровье, а во многом надрывное же почвенничество — болезнь с обратным знаком. Но болезнь, на мой взгляд, по крайней мере, способная разрешиться здоровьем. Для этого нужно многое — в частности, язык, на котором почвенники могли бы членораздельно высказать свои претензии к Западу (не секрет, что доныне на всей планете самые непримиримые враги Запада изничтожают его на языке, рабски копирующем его же базовую систему понятий — пусть часто и со странными сдвижками акцентов)[1]. Для этого нужно и просто время, не говоря уже об огромной культурной работе целого слоя творческой интеллигенции.

[1] Систему такого языка я попытался построить в пределах разрабатываемой мной системы единого знания, первый опубликованный набросок которой содержится в книге «К единому знанию».

Но информацию к размышлению (для кого-то, может быть, новую) я все же могу предложить.

Прежде всего отметим — что бы ни думали о России западники, Запад видит ее как нечто сугубо для себя иное— чреватое грозным вызовом *самым основаниям своего жизнечувствия и образа жизни.* Любопытно, не правда ли — не Китай и не Индия с их гигантским населением и могучей тысячелетней традицией, не полудикая Латинская Америка и не дикая Африка с их чудовищным (особенно в последней) демографическим взрывом и, мягко скажем, не с любовным к Западу отношением, и даже не исламский фундаментализм, уже завтра, может быть, способный по нефтяному богатству своему заполучить горы самого страшного оружия и средств его доставки и еще более способный по своему темпераменту пустить их в дело, — но обнищавшая, культурно расхристанная, в очередной раз проигравшая Западу Россия нервирует его, как никто на свете! Именно Россия представляет собой сейчас для Запада олицетворение неукротимо своеобычного Востока. С Индией и Китаем Запад, как ему кажется, как-нибудь справится (уже почти справился!). Угомонится, даст Бог, и ислам — богатеют же! Но никто на Западе не верит в глубине души, что что-либо на свете заставит Россию переродиться в нечто, для Запада удобоваримое.Чувствуют — лучше нас — нашу неистраченную силу. Филистеры, зарабатывающие на своем знании русской культуры, не стесняясь, мечтают вслух, насколько спокойней было бы ее изучать, если бы она уже умерла, какие новые красоты они тогда бы в ней обнаружили! А иные люди на том же Западе видят в России луч надежды на то, что не все в мире утонет в трясине буржуазной пошлости, и благодарят Бога за ее продолжающееся существование. По их логике, если бы в мире не было России, ее следовало бы выдумать, и они знают слишком хорошо, что на Западе пороху для этого просто не хватило бы.

А что думают на Западе о западниках?

Для милейшего либерала Тойнби они — квислинги, пытающиеся извратить свою великую культуру на манер для нее чуждый и бесперспективный. И почти для всех на Западе они — изменники, полезные с точки зрения одних, губительные с точки зрения других и презираемые и вдвойне чуждые почти для всех. Не внушает почтения и тот чисто Восточный авторитаризм, с которым они пытаются навязать отечеству свой «Западный» плюрализм.

О том, что они чужие собственному народу, они сами кричат на весь мир: «Россия — страна рабов» (а с какой, простите, стати

быть свободным народу, чья образованная верхушка, едва не вся, вот уже два века толкает его на путь свободы — кто спорит! — но свободы чуждого Западного манера, грозящего ему духовным самоубийством?). Словно для них говорил Конфуций: «Путь благородного человека рождается в нем самом, но проходит проверку у народа». И еще говорил: «Когда пытаются осуществить путь в отрыве от народа, это уже не путь». Положения эти, кстати, с точки зрения общей теории систем, тривиальны, как таблица умножения...

...Итак, когда рациональное перетолкование архаической традиции раскололо Евразию на Восток и Запад, первый акцентировал *интегрирующие* (жёсткие) моменты своей социокультурной динамики, а второй — *дифференцирующие* (дискретные). Можно предположить, что характер обоих предпочтений был предопределен в каждом регионе уже в пору архаики. Важно, однако, что архаическая «непоследовательность» не вынуждала до времени к этому роковому выбору — и последовавшему за ним обеднению рационально пересмотренных традиций.

Что касается выбора между *милосердием* и *справедливостью*, ошибкой было бы думать, что речь шла здесь только об определении основного принципа юрисдикции. На повестке дня стоял выбор всего существа социального мировоззрения, а, значит, в существеннейшей части, — выбор мировоззрения вообще. Иными словами, речь шла о выборе всего дальнейшего пути культур.

Предпочтение *справедливости* отвечало видению социального мира (и, следовательно, мира в целом) как *дифференцированного*. Как заметили Юм, Милль и многие другие мыслители Запада, справедливость отталкивается от конфликта интересов, от конкуренции за ограниченные блага. А этот акцент на конфликте предполагает, что люди, их группировки и их интересы отчетливо *разделены*.

Такая отчетливая разделенность, вообще говоря, может иметь место в **любом** обществе. Но в дополнение к ней в том же обществе всегда просматривается (если, конечно, не запретить себе видеть вещи, «несовместимые» с позиций формальной логики) и момент *социальной интегрированности, единства* — неразъемлемого до тех пор, пока общество еще существует, не разорванное в клочья обезумевшими в своем эгоизме индивидами и их группировками. И социальное видение, акцентирующее в первую голову этот решающий для существования общества момент его *единства*, не может поставить во главу юрисдикции расчетливую и дотошно различающую *справедливость* — но непременно великодушное, всех обнимающее *милосердие*.

Здесь, впрочем, сразу становится ясно, что юрисдикция, отвечающая своему назначению, не может опираться на принцип милосердия как на единственный (ниже мы увидим, что то же относится и к справедливости, хотя для последней такое условие не столь очевидно). Это признал, в сущности, и самый пылкий в истории человечества проповедник милосердия, Христос, отвергший на этом основании самую идею земного суда: «Не судите, да не судимы будете». И в теории, и в истории нравов и социальных институтов **жёсткость** с необходимостью предваряет, обусловливает в дальнейшем саму возможность отталкивающегося от нее **милосердия** и вместе с тем постоянно стремится его ограничить. В противном случае последнее стремительно вырождается в *потакание* — «защиту разбойников», весьма далекую от подлинного назначения милосердия (в истории идей теоретические ходы нередко бывают опробованы судьбами мыслителей; одного из ранних даосов, Ле-цзы, так и прозвали: «Ле — Защита разбойников»). *Жёсткость*, таким образом, выступает не только как внешняя **преграда**, но и как **собственный момент** всякого истинного *милосердия*, проникающий его, вполне в духе Гегеля, насквозь, не позволяя ему перелиться в *потакание*. Но и *потакание*, в свою очередь, является неотъемлемым моментом *милосердия*, сообщающим ему особенно энергичный импульс, помогающий оттолкнуться от *жёсткости*, в ней не завязнув (бедная формальная логика! — воображаю ужас ее правоверного почитателя, читающего эти строки). Недаром Христос, обращаясь к народу «жестоковыйному», прямо уперся в потакание: «Вы слышали, что сказано: “око за око, зуб за зуб”. А я говорю: не противься злому. Но кто ударит тебя в щеку, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним поприще, иди с ним два».

Справедливости, имеющей противоположную, в сравнении с милосердием, нацеленность, отвечает, естественно, и прямо **обратное** для нее положение указанных пограничных моментов. Теоретически и социально-исторически именно *потакание* как момент перерождающегося *милосердия* предваряет и обусловливает возможность последующей *справедливости*, ибо только провоцирующее распад общественных связей потакание способно довести общество до той степени **доминирующей** в нем разобщенности, при которой *милосердие* должно быть решительно отодвинуто на задний план справедливостью.

Наиболее выраженной эпохой *потакания* на Западе был период средневековой феодальной раздробленности с его анархичес-

кой вольницей и правом кулака в отношениях социальных группировок и сословий. В древности аналогичный период, предшествовавший правовой стабилизации, приходится на доосевую архаику и соответственно оказывается далеко не столь резко (не столь «последовательно» в сравнении со средневековьем) выражен. Впоследствии, когда *справедливость* начинает все больше теснить *милосердие* из общественного пространства, *потакание*, однако, отнюдь не исчезает, а становится моментом самой справедливости, ее собственным порождением — как принципа не только отталкивающегося от разобщенности людей и группировок, выросшей на почве гипертрофии *милосердия*, но в то же время еще более усугубляющего эту разобщенность.

На исходе архаики эта опасность уже существовала, но она еще компенсировалась сохранявшейся традиционной структурой. Так, уже законы мудрого (он был одним из легендарных «семи мудрецов», свято почитавшихся греками тысячу лет) и справедливейшего Солона Афинского были последовательно направлены на рассечение родовых, религиозных и прочих органических традиционных связей, еще священных для архаики, — в пользу самостоятельного индивида и подпирающего его независимость (до времени) государства. Именно государство обеспечивает тот момент результирующей жёсткости, с помощью которой справедливость способна резко оттолкнуться, не увязнуть в потакании. По определению своему жёсткость несгибаема, неуступчива, преднамеренно слепа — «не взирает на лица», а все это способен обеспечить лишь государственный формализм с его «демонизмом власти».

Однако на том же исходе греческой архаики возникает и новая ситуация: демократические элементы принимаются энергично настаивать на кодификации закона, ранее определявшегося лишь изустно передававшимся обычаем, — и, стало быть, на его рациональном переосмыслении. Их не смущает уже, что при этом они жертвуют старинными возможностями аристократического милосердия, — они чувствуют, что будут более чем компенсированы резким расширением *либерального* потакания, неотъемлемого на этом этапе правовой динамики от юридической справедливости (не говоря уже об отчетливо антиаристократической направленности самой идеи юридической справедливости с ее **уравнительным** пафосом). Замечательно, что пытаясь компенсировать этот подрывной для статуса и привилегий аристократии всплеск потакания и уравнительства, с необходимостью сопровождающий в дифференцированном обществе впервые кодифицируемый закон,

афинский архонт Драконт сделал свое законодательство до того суровым (стало быть, жёстким), что оно оказалось полностью оторвано от духа времени. И — было с возмущением отвергнуто обществом. А на завершающем этапе того же правового цикла мы наблюдаем нечто прямо обратное исходному всплеску потакания — жёсткость, достигающую уже степени безумия! Юристы, составившие кодекс Юстиниана, это совершеннейшее в формальном отношении выражение идеи Римского права (перенявшего легальную традицию греков), всерьез задались вопросом, как следовало бы поступить, если бы исполнение закона столкнулось с самим существованием вселенной? — и решительно ответили: «Да свершится закон — и да погибнет вселенная!» (Характерно, с каким неизменным восторгом цитируют этот мрачный бред наши западники, демонстрируя тем лишний раз свой отрыв от здравого — «общего», по-английски, — смысла.)

На современном — довольно позднем — этапе второго цикла Западной правовой динамики мы видим упорное сопротивление влиятельнейшего сегодня на Западе либерализма исторически неизбежному наступлению жёсткого аспекта права. Но правовую динамику невозможно заморозить, как все живое, развивающееся — лишаясь импульса жёсткости, она немедля начинает проваливаться в потакание. Десятилетия орудуют в современном Западном мире главы мафий, их имена знает каждый школьник, но так как сами они рук, как правило, не пачкают и не публикуют приказы подручным в прессе, нанимаемые ими первоклассные адвокаты на потеху публике раз за разом вытаскивают их сухими из воды — в безукоризненном соответствии с современным духом и буквой закона![1] Практически отсутствуют, особенно в главной цитадели Запада, США, легальные средства пресечения агитации самых человеконенавистнических партий — как можно! — это противоречило бы священной «свободе слова»!.. Заведомые убийцы освобождаются из-под суда и следствия, если удается доказать, что задержание было произведено с микроскопическим нарушением их бесчисленных «неотъемлемых прав» или в силу множества иных юридических тонкостей, при достаточном богатстве обвиняемого он поднимает такие исполинские адвокатские силы,

---

[1] Следует сказать, что в отличие от 80-х гг. в настоящее время мафии Запада сильно зашатались, но не в результате изменения легальной доктрины, а в силу подрыва собственной традиции. Утрачен священный для старой мафии закон «омерты» — молчания на допросах. Мельчает и мафия.

что те вызволяют его практически **всегда**! (Вовсю резвятся здесь террористы — силы безопасности борются с ними с почти связанными — той же легальностью — руками). Вполне ясна логика либералов, стремящихся во что бы то ни стало затормозить торжество на Западе тоталитаризма. Но беда в том, что это — формальная логика, плачевно неадекватная в применении к динамичным условиям. Трогательная забота либералов о правах убийц и насильников подрывает в глазах большинства населения уважение к закону — и эффективно провоцирует скорейшее наступление того самого тоталитарного перерождения Запада, которое либералы пытаются остановить[1].

К плачевным недоразумениям ведет нередко в этом правовом контексте даже христианство. Христианская проповедь милосердия впервые прозвучала в условиях в высшей степени жёсткого авторитарного общества. Сам евангельский Христос — в разительном контрасте с его слащавым образом, нарисованным либеральными столетиями Запада, — говорил с народом «как власть имеющий» — то есть сурово и требовательно, по-другому на Ближнем Востоке власть тогда не изъяснялась! И Он не засмущался взять в руки бич и опрокинуть столы торговавших в Храме. В современном, почти до предела дифференцированном обществе Запада, где от авторитарной жёсткости сохранилось разве смутное воспоминание и где тонущая в потакании справедливость отчаянно тянется зацепиться за спасительную жёсткость, христианская проповедь милосердия должна была бы быть либо перетолкована почти обратным своему первоначальному значению образом, либо превратиться в анархичную и подрывающую основы общества карикатуру на собственный смысл. В действительности уживаются обе альтернативы. Степень понимания современным Западом «христианских оснований» собственной цивилизации просто анекдотична (чего стоит одно нестественное» — или даже «священное»! — «право частной собственности». Для суровых религиозных коммунистов, какими были первые христиане, это прозвучало бы вроде «естественного — или священно-

---

[1] К этому убеждению я пришел еще в 1985 г. Ныне, когда, согласно г-ну Фукуяме, либерализм «окончательно победил» тоталитаризм, я не изменил своему убеждению ни на йоту. Да и как можно в результате каких бы то ни было политических событий усомниться, например, в теореме Пифагора? Ничего не меняет и то, что современный американец **не способен** жить при тоталитаризме. Какое дело чуме, если кто-то не может ее пережить!

го — права на проституцию»!). Вполне очевиден и разрушительный характер искренних попыток вернуться в условиях нынешнего Западного общества к первопринципам христианства. В бурных 60-х молодые бунтари в США выпустили плакат по образцу полицейских — «Разыскивается». Ниже на стандартном полицейском языке сообщалось об образе жизни и содержании проповедей Христа. Любой мог видеть, что такому парню место только в кутузке.

Но вернемся в Китай, где дилемма милосердия и справедливости была осознана раньше и отчетливей, чем где бы то ни было. Но и мудрей, ибо китайский рационализм был куда менее «последователен», будучи обращен прежде всего к социальной практике, а не к формально-логическим догмам.

Чрезвычайно характерная особенность этой страны — не застревать на противоречиях — социальных, идеологических и любых прочих — и не пытаться «разрубить» их уничтожением одной из враждующих сторон, но искать синтез противоборствующих сил в сложном гармоническом единстве. Поэтому только закономерно, что влиятельнейшее здешнее социальное учение, конфуцианство, предприняло попытку *синтезировать милосердие и справедливость* в предложенных им социальных институтах (собственный способ синтеза предложили и даосы — и вообще все гуманистические течения китайской мысли; но даосское решение апеллировало скорее к мистическим струнам индивидуальной души, нежели к социальным установлениям).

Естественно, однако, было и то, что конфуцианство не нашло идеального равновесия столь противонаправленных по отношению друг к другу принципов (и такое равновесие было бы чудом, вряд ли возможным в принципе), но недвусмысленно поставило во главу угла аристократическое *милосердие* — чего и следовало ожидать в условиях интегрированного общества, естественно ориентированного на принцип иерархии. Социальным идеалом Конфуция была высокогуманная аристократия, долженствовавшая «безгранично любить народ». На вопрос: «Как вы смотрите на убийство людей, лишенных принципов, во имя приближения к этим принципам?» — Конфуций ответил: «Зачем, управляя государством, убивать людей? Если вы будете стремиться к добру, то и народ будет добрым. Мораль благородного человека — ветер; мораль низкого человека — трава. Трава наклоняется, куда дует ветер».

Вместе с тем, живя в эпоху сильных уравнительных тенденций, связанных с бурным ростом городов, ремесел и торговли, Конфуций сумел включить этот эгалитаризм в свой идеал аристокра-

тии. Сам будучи выходцем из знатного рода, он, вероятно, первым в истории радикально пересмотрел представление о «благородном человеке», увидев в нем не родовое превосходство «носителя знатной крови», но обладателя **приобретаемых** нравственных и интеллектуальных достоинств. Среди учеников Конфуция, обучавшихся у него для занятия высших государственных должностей, были выходцы из всех социальных слоев. Социальная система, развившаяся в Китае после превращения конфуцианства в официальную доктрину, была по своей центральной идее именно системой **неформальной** аристократии добродетелей и талантов (или, как называют этот идеал на Западе, «меритократией» — аристократией достоинств). И эти добродетели и таланты вербовались практически из всех слоев общества посредством системы анонимных экзаменов.

Как, однако же, смогло произойти в конфуцианстве это хотя бы относительное примирение столь глубоко противонаправленных тенденций — милосердия и справедливости? Ведь по привычной нашей — контрастной — логике, то есть господствующей на Западе идеологии, справедливость до такой степени связана с равенством, что ни о каком ее примирении с аристократическим принципом не может быть и речи — просто по определению!

По-видимому, дело здесь в том, что если понятия суть «узлы» той концептуальной сети, которую наше мышление набрасывает на текучие явления объективного мира, дабы разметить в них ориентиры, то сеть эта способна к значительным растяжениям в любую сторону, куда увлекают ее мощные течения жизни. Поэтому понятия-«узлы» способны изрядно смещаться в разных системах мысли относительно друг друга — продолжая, однако же, моделировать одни и те же универсальные объективные отношения. Даже на Западе Сократ, это «живое воплощение философии» (пусть и весьма неортодоксальной для своего места и времени, многим обязанной уже к его времени полузабытой — но не Сократом! — архаике и именно поэтому заглядывавшей в будущее дальше современной нам Западной мысли), — Сократ находил в соответствии со своими неформально-аристократическими идеалами (вполне параллельными конфуцианским), что «*справедливо* худшим находиться в подчинении у лучших»!

И то сказать — почему же не *справедливо*? Ведь так или иначе, доколе общество остается как-то связано, люди **всегда** вынуждены подчиняться друг другу. Другое дело, что отчетливо выраженная иерархия «лучших» и «худших» предполагает выраженную социальную интеграцию, в частности, единство общественного

морального инстинкта, только и позволяющее соглашаться, кто в данном обществе «лучше», а кто «хуже». В обществе же, **последовательно** опирающемся на *дифференцирующую* — Западного стиля — *справедливость*, такая иерархия не может быть построена по определению, и сама идея ее представляется бредово нереализуемой, а, значит, способной служить только к вящей социальной несправедливости.

Но вернемся опять в Китай. О том, насколько «оттянут» на понятийной сети Конфуция, сравнительно с Западной, узел «справедливости», свидетельствует следующий текст. Конфуция спросили: «Правильно ли отвечать добром на зло?» Конфуций ответил: «Как можно отвечать добром? На зло отвечают справедливостью. На добро отвечают добром».

Это матрично четкое соотношение: добро за добро, справедливость за зло — с математической ясностью демонстрирует, что «справедливость» Конфуция существенно *иная*, нежели отталкивающаяся от *потакания* (и потому с неизбежностью в нем иногда увязающая) справедливость Запада. Очевидно, что конфуцианская «справедливость» настолько тесно сближена с жёсткостью (неотделимой от необходимого зла насилия над преступающими закон добра), что почти неотличима от последней — как это и естественно для интегрированного общества.

Наиболее сильным противником конфуцианства в борьбе за то, чтобы стать официальной государственной доктриной, явилось в древности учение школы фацзя (законников, легистов). Легисты стремились установить в стране жесточайшую тоталитарную государственность и нашли средство к достижению своей цели в... кодифицированном законе — *фа*!

Как же случилось, что то, что послужило на Западе орудием к демократическому раскрепощению народа, явилось в Китае средством его беспощадного порабощения? Почему «одно и то же» — номинально — средство послужило в разных обществах прямо противоположным целям?

В упомянутой уже книге «К единому знанию» я показываю, что в дифференцированном обществе Запада кодифицированный закон естественно служит «рационализации», то есть **конструктивному упрощению** социальных институтов. Однако уже на уровне общей теории систем ясно, что рационализация возможна **только** в дифференцированных («дискретных») системах, ибо лишь они «позволяют осуществлять комбинаторику и отбор» собственных элементов, тогда как интегрированные («жёсткие») системы «легко дезорганизуются при выпадении даже одного

звена»[1]. Только дифференциация общества обеспечивает тот необходимый минимум *потакания*, отталкиваясь и периодически возвращаясь к которому, способна осуществляться Западная рациональная *справедливость*, вполне отличная от жёсткости. В Китае же, мы видели, даже самый глубокий и гуманный социальный мыслитель, Конфуций, не вполне ясно сознавал их принципиальное различие. Поэтому он резко осудил первые, современные ему попытки кодификации закона, утверждая, что жизнь «слишком сложна», чтобы кодифицированный закон мог быть гуманен. В действительности, в Китае дело было, конечно, не в самой по себе сложности жизни (как раз именно особая сложность социальной жизни в Риме обусловила ту сугубую тщательность, с которой шлифовалось классическое Римское право), а в ее *интегрированном* характере, допускавшем **конструктивное** решение социальных проблем только через усложнение общественных институтов. Следовательно, кодифицированный закон, с необходимо присущим ему унифицирующим, упрощающим подходом к разбираемым ситуациям, необходимо должен был послужить здесь сокрушительной «деградации» — **деструктивному переупрощению** общества. И так и произошло: став в эпоху Цинь официальной идеологией Китая, легизм осуществил первую в истории человечества «культурную революцию», заключавшуюся в сожжении книг, в казнях людей образованных и гуманных и возведении доносительства в ранг неукоснительного долга подданных. (Отметим в скобках, что если нужна дополнительная аргументация в пользу отнесения России к типу Восточных стран, то стоит вспомнить, как еще в XIX веке наши славянофилы не уставали твердить о **мертвящем** характере **буквы** закона. Они понятия не имели о перипетиях древней китайской истории и почитали долгом **христианина** судить «по совести, а не по букве». Но ведь это **совершенный консенс** для любого вменяемого Западного юриста, воспитанного как будто бы тоже в традициях **христианской** цивилизации! А все дело в том, что в дифференцированных системах (с удовольствием напомню) «отдельные элементы связаны между собой не прямо, а через посредство их отношений к среде. Иными словами, они являются независимыми единицами, образующими систему благодаря тому, что обладают рядом общих черт». А это значит, что эти системы живы **только унификацией** поведения собственных элементов. Но как унифицировать совесть? Унифи-

[1] Малиновский А.А. Ук. соч. С. 16.

цировать можно только букву. Посему **буква и есть самое святое**, чему может и **должен** следовать Западный юрист!).

До сих пор мы говорили о жёсткости только как о пограничном-пронизывающем моменте *милосердия* или *справедливости*. Кодифицированный закон китайских легистов явился наиболее последовательным в истории воплощением идеи начальственной *жёсткости* как таковой. Его первый классический теоретик, Шан Ян, заявил: «Милосердие и справедливость, почтение к родителям и братская любовь суть паразиты на теле государства!» Краеугольной идеей легизма было наказание всех — мелких и крупных — нарушений закона с равной — чрезвычайной! — жестокостью.

Интересно, однако, что, поднаторев в демагогии, последователи Шан Яна отступили от прямодушного отвержения своим учителем равно и милосердия, и справедливости. Они заметили, что конфуцианство, при всем своем стремлении к гармоническому синтезу, все-таки прихрамывает на справедливость, и принялись уверять, что борются с конфуцианским милосердием «во имя справедливости»! То был воистину мастерский ход. И что самое любопытное, то не была **только** демагогия. По крайней мере в сфере экономической практики легисты лучше, чем Конфуций, осознали коренное отличие рациональной экономической справедливости от традиционной родовой жёсткости. Мы говорили, как справедливейший Солон Афинский последовательно стремился к разложению традиционных тесно интегрированных социальных групп в пользу одиночного индивида — и государства. В Китае государство было несравнимо сильнее, чем где бы то ни было на Западе, в силу интегрированного характера страны. Но, благодаря той же интегрированности, государству противостояло и несравнимо сильнейшее общество с его мощной моральной спайкой. Естественно поэтому, что легисты в качестве первостепенной для своего железного государства задачи провозгласили задачу «победить народ». С этой целью, наряду с уничтожением любимых народом «Книги песен» и «Книги истории» и прочими мерами развратительного порядка, проведены были хозяйственные реформы, разрушавшие крестьянскую общину и крупные семейно-родовые хозяйства. Тенденции к экономической рационализации хозяйства и соответствующей ей дифференциации тесно спаянных ранее социальных групп наблюдались к тому времени в условиях бурного экономического роста страны уже в течение столетий. Они, однако, не заходили здесь так далеко, как на Западе, будучи отвергаемы и учениями гуманных мыслителей, и моральным инстинктом масс. Легисты осуществили в стране

нечто, подобное реформам Столыпина, которые, при всей своей рациональной справедливости и узко экономическом здравомыслии, привели только к тому, что, оказавшись экономически изолирован (и нравственно растерян), индивид мог быть теперь без особого труда переварен могучим государством. Атомизация традиционных социальных групп совершилась лишь затем, чтобы заново интегрировать индивида — уже в государственные институты.

В последние годы русская публицистика уделяет большое внимание реформам Столыпина. В нем видят потенциального спасителя отечества, которому не дали доделать свое дело бездарный царь и почему-то дружно объединившиеся против него правые и левые силы. Я сильно сомневаюсь, что Столыпин подходил к роли спасителя родины. В то время Россия, как никогда прежде, стремительно вестернизировалась в своем экономическом укладе. Говорят, еще двадцать лет без войн и революций — и она превратилась бы в самую передовую промышленную державу мира. Что и говорить, лестный шанс! Откуда, впрочем, посмотреть. В тот же самый период наблюдалось невиданное моральное одичание масс русского народа — «народа-богоносца». Декаданс захлестывал «элиту». И все слои и партии согласно чувствовали, что так жить **нельзя** — и скоро все должно радикально перемениться. Спорили только — куда? Энергичнейшим вестернизатором закоснелой русской деревни стал Столыпин. Вне сомнения, он был благородный и умный человек. Вопрос только в том, **по-русски** ли был он умен? Ярость, ужас, отчаяние, явившиеся — наряду с лишними миллионами пудов сибирского масла на экспорт — результатом его деятельности и захватившие практически все слои и партии, заставляют сильно в этом усомниться. Мы склонны забывать, насколько сильно вестернизировалась Россия за послереволюционные десятилетия. Тем не менее она далеко не стала, однако же, Западом. И эту страну энергично впрягали в Западную упряжку — к вящей экономической выгоде, разумеется, да только вот, ломая ей нравственный хребет. Я нахожу все основания подозревать, что благородный Столыпин явился невольным провокатором, существенно способствовавшим той самой тоталитарной катастрофе, которую он пытался предотвратить.

Сегодня то и дело слышишь, что вот того-то и того-то из разбогатевших сельских жителей подожгли соседи. Это нравится мне не больше, чем любому западнику. В отличие от западников, я полагаю, однако, что это безобразие объяснимо не одним наследием тоталитаризма, но является обратной — хамской —

стороной той самой медали, лицевая сторона которой известна всему культурному миру как *великая русская совесть*. И, значит, выход не в том, чтобы вдолбить в голову хама Западный экономический рационализм — как бы и хуже не вышло! — а чтобы построить такую социально-экономическую систему, в которой хам — или хотя бы его дети-внуки — смогли бы стать эффективными, честными и культурными тружениками, оставшись совестливыми русскими людьми. Вы скажете, так не бывает, что свет идет с Запада (самодовольные римляне, и те признавали, что свет — с Востока). Что ж, значит вас, как и миллионы ваших современников, плохо учили истории, особенно истории Востока...

Так что самое время опять вернуться на великий древний Восток.

Победа легизма в эпоху Цинь знаменовала собой конец Древнего Китая. Разрушение древней традиции было столь радикальным и стремительным, что недолго держалась и сама Циньская империя: просуществовав всего 17 лет, она была сметена народным восстанием. Ее сменила просвященная династия Хань, по имени которой до сих пор благодарные китайцы называют себя народом Хань. Хань сделала своей официальной доктриной конфуцианство, требовавшее «безгранично любить народ» — то есть, среди прочего, всецело подчинить государственный механизм интересам общества. Легизм был торжественно осужден, и новое поколение настойчиво предостерегали от повторения «ошибки Цинь».

По существу, однако, историческая ситуация развивалась далеко не столь поучительно. Насажденные легистами железные государственные институты укоренились — и подпирали своей беспощадной жёсткостью прекраснодушное милосердие Конфуция, не понимавшего, «зачем, управляя государством, убивать людей». Само изначальное учение Конфуция было преобразовано в «императорское конфуцианство», явившееся результатом негласной, но существенной редакции его в стиле легизма. Победа Конфуция над Шан Яном оказалась, таким образом, не лишенной двусмысленности, став до известной степени компромиссом этих столь враждебных друг другу по духу учений. В результате струи обоих учений стали в официальной идеологии нераздельны и неслиянны, так что она поражала впоследствии европейских исследователей контрастами самой глубокой и утонченной гуманности и варварской бесчеловечности.

Объективным основанием этого слияния логически «несовместимых» начал явилось указанное нами присутствие в собственной динамике *милосердия* отправного для него пограничнo-про-

низывающего момента *жёсткости.* Этого не смог понять благородный идеалист Конфуций. Этого тем более не мог предвидеть зловещий прагматик Шан Ян, истово веривший, что «когда армия прибегает к средствам, которых противник устыдился бы, — она непременно окажется в выигрыше!» Еще прежде временного торжества легистов Сюнь-цзы создал учение, предвосхитившее позднейшее сочленение конфуцианства и легизма в эпоху Хань. Увы, отдавая должное великой гибкости этого практического ума, нельзя всерьез говорить о нем как о теоретике. Он как будто просто не заметил духовную несовместимость двух учений. Потому и случилось, что прореха в понимании вещей Конфуцием оказалась заткнута дрянной пробкой легизма (в свою очередь, плохо осознанная разбойничья феодальная вольница стоит, то и дело высовываясь, за Западной справедливостью, по каковой причине Западная свобода всегда скверно припахивает мафиозностью).

Но даже и таким образом искореженное конфуцианство сумело обеспечить во многом уникальное, обладающее непобедимым обаянием для тех, кто достаточно ее знает, цветение культуры. **Единственной** — отметим! — развитой культуры мира, созданной в неблагоприятных условиях почти тотальной до сравнительно недавнего времени географической изоляции от всех иных культурных центров земли! Недаром еще в XVII—XVIII веках лучшие умы Европы были страстными синофилами — пример «просвещенной монархии» Китая внушал надежду — и импульс! — для преобразования затхлого мира позднего европейского средневековья. Потом начался период самодовольного евроцентризма, с чистой совестью оболгавшего все неевропейское и далеко не до конца изжитого доныне. Однако уже в 60-х годах (то есть, что любопытно, на последнем всплеске Западного оптимизма) стали вдруг популярны классические работы британского синолога Данэма, восторженно писавшего о «китайском чуде». В конце тех же годов выдающиеся американские экономисты и футурологи Кан и Уинер написали книгу «Год 2000-й», где среди прочего констатировали — к изумлению публики, — что вплоть до начала XIX века и в течение более двух тысяч лет — с некоторыми перерывами — Китай был по совокупности решающих показателей **самой богатой, самой просвещенной, самой гуманной и самой свободной** страной мира!

Разумеется, и эта система со временем не могла не устать и не закоснеть, не могла не накопить ошибок, потребовавших в конце концов ее упразднения. Но важно то, что она работала беспреце-

дентно долго и беспрецедентно для истории человечества хорошо. Это, конечно, не означает, что ее следует бездумно копировать в любой стране Востока. Но это безусловно означает, что Восток способен решать свои социально-культурные задачи собственными, а не Западными средствами. И не хуже, а **лучше** Запада.

Мы живем в пору практически безраздельной гегемонии на планете Западной культуры и Западных идеологий, так что, повторимся, и самые злобные враги Запада ругают его на языке, рабски копирующем основные Западные идеи и представления. Но развитая культура не началась и не закончится на Западе. Явившись самой универсальной доселе культурой, Запад, однако, далеко не решил свою сверхзадачу: не синтезировал в своем лоне все великие мировые культуры и не стал родиной всему человечеству. Его на глазах дряхлеющая культура будет в свой час вытеснена с господствующего места, и, похоже, час этот не за горами. Отнюдь не будучи марксистом, я вполне согласен с Марксом в том, что до сих пор мы живем в предыстории. Социальная история человечества — как специфически организованное бытие с целостным ритмом новации — далеко еще не сложилась. Доселе мир разорван на дифференцированный Запад и интегрированный Восток — разделение, которое идет гораздо глубже и гораздо устойчивей преходящих политических систем и блоков. Доселе однобокость социального бытия обеих частей мира делает Запад варварским в глазах культурного сына Востока — и наоборот. По контрасту, для несравнимо более древней и отточенной огромным временем биологической организации характерно правильное чередование «жёстких» (интегрированных) и «дискретных» (дифференцированных) систем на последовательных уровнях организма: «Жёстко построена иерархия ядра и плазмы в клетке; дискретна система клеток одной ткани; жёстко связаны различные ткани; дискретно построены парные и множественные органы; жёстко связаны системы органов (нервная, кровеносная, выделительная и т.д.)»[1] — в целом организме.

В строении организма записана таким образом история *периодической смены «жёсткого» и «дискретного» способов организации, каждый из которых решал специфические задачи, ставившиеся ее ростом и иначе не разрешимые.* История сменит предысторию, когда будет построено общество, способное на последовательных этапах своего движения адекватно отвечать на запросы времени

[1] Малиновский А.А. Ук. соч.. С. 17.

то Восточным (интегрированным), то Западным (дифференцированным) способом.

Если бы, однако, меня попросили хотя бы кратко описать это будущее «полное» общество, все, что я мог бы сказать, сводится к тому, что в этом обществе люди по-видимому должны будут освободиться от идеологического догматизма, так что в эпохи торжества, например, демократии победители не станут волком выгрызать из общества очевидно полезные аристократические институты. Уже афиняне, создатели самой блистательной демократии античности, терпели собственную аристократию — ибо в бой на суше и на море их вели наследственные стратеги, а цари, ограниченные чисто жреческой функцией (но тем более, можно думать, влиятельные в благочестивом народном собрании), преспокойно продолжали служить отечеству.

Нельзя сказать, чтобы отношения аристократии и демократии в Афинах были так уж идилличны — но наградой афинянам за их мудрую терпимость явилось «греческое чудо», никогда и отдаленно не повторенное в бурной истории Запада. Без поддержки аристократов был бы немыслим Сократ (казненный, кстати, «демагогами» — **вождями народа**). Аристократом царского рода был ученик Сократа, Платон. «Вся европейская философия есть ряд ступеней, восходящих к Платону», — говорит Ясперс... Ну, а за мудрость возможных будущих аристократических правлений по отношению к подлинным достижениям демократов тем более можно быть спокойным...

Справедливо, что Западу принадлежит высокая честь создания самого свободного из доселе известных типов общества. Однако тот простой факт, что «повышение организации достигается, как правило, путем жёсткого сочетания взаимодополняющих элементов системы», указывает, что Восток обладает принципиально более высоким потенциалом социального творчества, а, значит, чреват и куда более высоким стилем свободы. Западная свобода стоит на «равенстве людей» друг другу — идее поразительной по степени своего несоответствия наблюдаемым фактам. В каком, интересно, смысле «равны» мыслитель и тупица? Труженик и захребетник? Герой и трус? Святой и убийца? И т.д., и т.п. Это «равенство» необоснуемо никаким рациональным — ни даже мистическим способом. Обширная статья «Равенство» в макмилановской Философской энциклопедии не намекает и словом, в каком же все-таки смысле люди «равны»? Что же касается знаменитой цитаты из апостола Павла: «несть ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, ибо все вы

одно в Иисусе Христе», — то предлагать такое «обоснование» «равенства» можно только с отчаяния. Совершенно недвусмысленно Павел говорит здесь о мистическом — **надмирном** — единстве (опять, заметим, не равенстве!) людей, а что касается мира дольнего, где от различий никуда не деться, то тот же Павел строго, как и подобает истинному сыну Востока, блюдет все традиционные иерархии: «А учить жене не позволю...», «Рабы, повинуйтесь господам своим...», христиане из язычников, не будьте надменны к не обратившимся еще ко Христу иудеям, и в заблуждении своем остающимся народом богоизбранным! Вообще, предлагать мистические «обоснования» феноменам социального мира называется у теологов контаминацией (загрязняющим смешением) сакрального и земного планов, и справедливо считается ими еретичным и просто абсурдным. С таким же «основанием» судья мог бы оправдать мошенника, продавшего под видом бриллиантов стекло — разве это не одно и то же для Бога — стекло и бриллиант?! Единственное, что стоит в реальности за Западным «равенством», есть именно **сугубая дифференцированность** общества, требующая всей возможной унификации — и прежде всего в правах — своих членов, просто чтобы общество не распалось. Играть с иерархиями любого, пусть самого естественного и прекрасного типа, для **такого** общества опаснее, чем держать бочки с порохом в курительной комнате. Но какую же гигантскую часть своего творческого потенциала должно терять такое общество! Общество, которое **не может себе позволить** различать лучших и худших! Неужели не ясно, что от неформальной аристократии талантов и достоинств мы вправе были бы ждать несколько больших культурных достижений и несколько большей свободы?..

Справедливо, впрочем, и то, что указанная возможность никогда еще не была вполне реализована. Неформальная аристократия классического конфуцианского Китая — куанляо — была в серьезной степени искалечена легистской струей императорского конфуцианства и государственной практики.

Но, напомним, история всерьез ведь еще и не начиналась! Мы живем в предыстории, и все, включая культурнейших среди нас, остаемся варварами с сугубо однобокими системами социальной организации и культуры.

Можно верить, что пик Восточной культуры и высшее воплощение Восточной свободы осуществятся в России, единственной великой стране Востока, не отягощенной бременем древней усталой традиции. Провидел же Достоевский (так много угадавший в уже протекшей истории) у нас свободу, какая и не снилась

Западу. И разве не верят в нас мудрецы духовнейшей в мире Индии?

Так, может быть, судьба не зря поставила нас на перекресток всей Евразии, открыв всем ее ветрам, измучив всеми противоречиями самой высокой культуры и самого зверского варварства, никогда не давая установиться нашей традиции, прерывая ее едва не век за веком? Может быть все это было суждено нам ради подспудного поиска сверхтрадиции? И, может быть, именно нам и суждено построить первое в мире «полное» общество, соединив в себе Восток и Запад?

Может быть. Но — не раньше, чем мы осознаем преобладающий в нас Восток, перестанем воображать себя отсталым Западом и тащить себя за волосы из болота, в котором нас нет, — мы совсем в другом болоте!

Нам не дается Западный путь свободы не потому, что мы «страна рабов», как воображают наши отчаявшиеся западники, а потому, что для этого мы — слава Богу! — слишком интегрированный социум.

Но и просто Востоком нам вряд ли удастся стать, даже после крушения Западной культурной гегемонии — слишком долго мы прожили у Запада под боком, слишком многому у него, желая или не желая того, научились. В любом случае нам в трудной нашей стране многое придется передумать — и перечувствовать, — во многом покаяться, многому научиться, прежде чем мы отыщем одним нам подходящий путь культуры и свободы.

Даст Бог, путь этот не обминет ни милосердия, ни справедливости.

Витторио СТРАДА

ЗНАЧЕНИЕ «ОТКРЫТИЯ» БАХТИНА ДЛЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ*

Историк будущего, заинтересовавшись культурой 60—90-х годов нашего столетия, натолкнется на одно из интереснейших и сложнейших явлений — бахтинский бум. Нас, современников и отчасти протагонистов этого бума, тоже поражает, что русский литературовед Михаил Бахтин, десятилетиями известный немногим специалистам единственной книгой о Достоевском, вышедшей в конце 20-х годов, в несколько лет, так сказать, интеллектуально завоевал мир, когда стали выходить его работы, по большей части неизданные, на свободном рынке книг и идей.

* Доклад, прочитанный на 7-й Международной бахтинской конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М.М. Бахтина, которая проходила в июне 1995 года в Москве.

Витторио СТРАДА — родился в 1929 году в Милане, где получил философское образование. В 1958—1961 годах — аспирант филологического факультета Московского университета, с 1970 года — профессор истории русской литературы Венецианского университета. Автор ряда книг по истории русской культуры и литературы. Основатель и редактор международного журнала «Россия/ Russia». По его инициативе (в сотрудничестве с Е. Эткиндом, Ж. Нива и И. Серманом) издается «История русской литературы» в семи томах, которая выходит во Франции и Италии, а теперь и в России. Организатор нескольких международных симпозиумов, посвященных русской культуре. С 1992 года советник посольства Италии в России, директор Итальянского института культуры в Москве.

Можно возразить, что поразительного в этом буме мало или совсем ничего, если думать об огромной значимости работ этого ученого, которого мы пока по-прежнему будем называть «литературоведом», при всей неадекватности этого определения. Но это слишком простое, если не упрощенное возражение, хотя в нем и содержится часть истины. В самом деле, другие современные Бахтину русские ученые, тоже заново открытые одновременно с ним, причем их интеллектуальная значимость приближается к бахтинской, не вызвали в мировой культуре такого резонанса и, входя в сферу русистики, почти не вышли за ее рамки и не породили своего рода новую академическую дисциплину, как в случае Бахтина произошло с бахтиноведением.

Первое, что поражает тех, кто воспринимает бахтинский бум как историко-культурную проблему, которую нельзя объяснить одними лишь качествами Бахтина, это то, что в отличие от почти всех других русских мыслителей, вновь открытых в последние годы в России и в мире, его нельзя свести к «русской идее» или к русскому философско-религиозному возрождению начала века. Разумеется, связь Бахтина с русской культурой его времени несомненна и глубока, но в его случае диалектика локального и универсального требует особенно тонкого подхода. При этом универсализм его мышления очевиден.

Итак, будущий историк культуры столкнется с двумя проблемами, а в некотором смысле и в какой-то степени сталкиваемся с этим уже и мы: в чем причина того, что Бахтин завоевал мировую культуру, и каково место Бахтина в его собственной национальной культуре? Эти проблемы уходят корнями в третью, особенно интересующую нас в настоящее время: каково место Бахтина в мировой культуре, в которую он победоносно вошел совсем недавно? В коротком выступлении решить эту проблему очевидно нельзя. Немыслимо найти и однозначный ответ: ответов столько, сколько образов Бахтина, с одной стороны, и образов мировой культуры, с другой. Здесь я только выскажу некоторые личные соображения, продиктованные моим опытом не бахтиноведа (я не принадлежу к этой категории), а человека, который три с лишним десятилетия назад имел удовольствие «открыть» для себя Бахтина и внести свою скромную лепту в распространение его идей в мире.

Размышляя над названием моего выступления, замечаю, что выражение «открытие» Бахтина для мировой культуры» может иметь два значения. Первое — то, о котором говорилось выше, а именно тот факт, что в последние два приблизительно десятиле-

тия творчество Бахтина было открыто мировой культурой и подробно исследовано; второе в том, что Бахтин сделал «открытие» в культурной и интеллектуальной жизни, открытие, которое требуется понять и определить. Но в действительности оба эти значения взаимодополнительны, потому что именно «открытие», сделанное Бахтиным, может объяснить «открытие» Бахтина мировой культурой.

На основании сказанного ясно, что теперь наше внимание должно быть обращено на третью часть нашей темы: понятие «мировой культуры», и, пожалуй, эта часть значительно сложнее, чем первые две, то есть Бахтин и его «открытие». Однако, с другой стороны, ясно, что без некоторого представления о современной «мировой культуре» очень трудно понять, в чем состоит открытие Бахтина и то, как он был открыт мировой культурой. Прошу слушателей не пугаться: я совсем не преследую цели определить, что такое современная мировая культура, и буду имплицитно придерживаться определенного представления об этой культуре, лишь частично эксплицитно выражая его, а главное, только через попытку сформулировать ответ на вопрос, касающийся сути названия моего выступления.

Культурные координаты Бахтина в основном известны, благодаря посвященным ему в последние годы исследованиям биографического и историко-культурного характера. Изучение истоков бахтинской мысли и культурной среды, прямо или косвенно воздействовавшей на ее формирование, конечно, будет продолжаться и даст новые результаты, но уже сегодня просматриваются его связи с определенного рода немецким неокантианством и историцизмом, с некоторыми русскими философско-религиозными течениями и т.д. и, с другой стороны, его идейные связи с современными мыслителями, известная близость, например, с Бубером, Хайдеггером, Гадамером. В этом последнем направлении бахтиноведение продвинулось настолько, что обнаружило нечто общее между Бахтиным и рядом современных мыслителей — от Лакана до Дерриды. Но такова уж судьба любого крупного самобытного мыслителя, когда он попадает под жернова «академической индустрии».

Так или иначе все это помогает на первых порах отвести место Бахтину в мировой культуре, независимо от всех определений, под которые его можно подвести — от неокантианца до экзистенциалиста. Все, что нам известно об исторических предпосылках и посмертно обнаруживаемом бахтинском сродстве в мировой культуре, позволяет дать первый, весьма общий ответ на постав-

ленный нами вопрос: открытие Бахтина мировой культурой вызвано прежде всего тем, что Бахтин говорит с этой культурой на одном языке и по сравнению с другими русскими мыслителями, тоже воспитанными на европейской мысли, он, так сказать, менее «экзотичный», хотя и один из самых оригинальных. В самом деле, удивительно, как этому мыслителю (мы уже можем называть Бахтина не литературоведом, а мыслителем или философом), жившему в такое время и в такой стране, которые воплощали собою отрицание свободных интеллектуальных связей современной мировой культуры при господстве абсолютной и тотальной идеологии, — как ему удалось не только сохранить свои идеи, сформировавшиеся в предшествующий этой ситуации период, но и продолжить и развить их так, чтобы оставить миру интеллектуальное наследство, удивительно близкое по актуальности современным философским исканиям?

Позволю себе краткое отступление. Оно касается в каком-то смысле отношения Бахтина к той абсолютной и тотальной идеологии, о которой я только что говорил. Эта проблема не решается простой констатацией того, что Бахтин не был марксистом, и не менее простым заявлением, что он являет собой образец духовного сопротивления всякому «монологизму», а следовательно и монологизму господствовавшей в СССР идеологии, во имя «диалогизма», последовательным теоретиком которого он был. Нельзя также сказать, как некоторые, что тем не менее Бахтин в каком-то смысле поддался этой идеологии, конечно, не приспособленчески, а, так сказать, подсознательно в своем исследовании о Рабле. Оставляя в стороне общую проблему марксизма как явления культуры, а не идеологической реальности и отношения между марксизмом и Бахтиным, так как эта тема потребовала бы специального выступления, рассмотрим вкратце дискуссионный вопрос об авторстве известных книг, вышедших под именами Волошинова и Медведева, поскольку это позволяет увидеть, возможно и маргинальный, но немаловажный аспект сделанного Бахтиным «открытия».

Известны противоположные позиции: позиции тех, кто безоговорочно включает эти работы в корпус бахтинских трудов, и тех, кто, наоборот, признавая основные идеи как принадлежащие Бахтину, не признает, что это его работы. Я не хотел бы вызвать возмущение тех, кто участвовал в этой полемике, но, на мой взгляд, этот спор имеет второстепенное значение, потому что главное здесь то, что Бахтин, несомненно, вдохновитель основных идей оспариваемых книг, в определенный момент, в силу

слишком очевидных исторических обстоятельств, прибегнул к двум приемам, которые не были простой вынужденной уловкой, а соответствовали самой природе его мысли. Независимо от материального участия в написании книг, которые были подписаны именами Волошинова и Медведева, это — два бахтинских псевдонима, псевдонимы парадоксальные, поскольку в обоих случаях соответствовали фамилиям двух живущих ученых. Но это были и как бы идеологические псевдонимы, так как в «их» книгах Бахтин не просто излагал свои идеи, как в книге о Достоевском, а развивал их в контексте и на языке реальных Волошинова и Медведева и идеологии, которой они вдохновлялись, поэтому суть этих книг двойственная или, пользуясь излюбленным бахтинским словом, амбивалентная, как будто Бахтин по необходимости и одновременно ради игры «карнавализировал» свою мысль, не изменив ей. Мудрость Бахтина в течение всей его жизни была мудростью человека, который сумел сохранить верность своей живой, не застывшей в первоначальных формулировках мысли, не игнорируя реальности, в которой жил и которой его мысль была внутренне враждебна. Было бы интересно сравнить стратегию и тактику, с которыми не только Бахтин, но и другие современные ему крупные русские деятели, уцелевшие в трагических испытаниях истории своей страны, от Булгакова до Пастернака, от Платонова до Ахматовой, сумели не только «выстоять» и выжить, но и углубить и даже обогатить свою первоначальную творческую энергию.

В чем причина очарования фигуры Бахтина, благодаря чему он не только интеллектуально, но и, я бы сказал, морально завоевал мировую культуру? Дело не в том, что бахтинский голос возвысился в стране, где свободные голоса были подавлены. Мы знаем, что иногда на Западе верили посредственным в тембровом отношении голосам, единственным плюсом которых был налет «фронды», голосам не вне хора, а просто фальшивившим. В случае Бахтина мы имеем дело с поразительным феноменом совершенно независимой и глубоко творческой позиции, к тому же свободной от наслоений академизма, из-за которого несколько тускнеют другие русские ученые советского периода, внушающие уважение своей научной серьезностью, которой они хотя бы отчасти защищали себя от натиска идеологии, «научной» только по самоопределению.

Если обратиться к собственному концептуальному аппарату Бахтина, мы увидим, что такие наиболее распространенные его термины, как «диалог», «полифонизм», «карнавализация» и т.д.,

даже раздутые из-за известной академической и публицистической бахтиномании, могут объяснить популярность их автора, но их явно недостаточно, чтобы объяснить причину его глубокого укоренения в мировую культуру. Вышеназванные понятия обладают интеллектуальным богатством и с ними нельзя обращаться слишком вольно, как это часто происходит, но главное — это общая теоретическая и этическая позиция, лежащая в их основе, то есть в основе всего бахтинского творчества.

Чтобы понять суть этой позиции, оставим на время Бахтина и обратимся к понятию «современная мировая культура», браться за определение которой сейчас, как я уже говорил, было бы абсурдным. Но по крайней мере на один аспект этой культуры сейчас можно и должно указать для получения ответа на наш вопрос об «открытии» Бахтина. Этому центральному моменту современной культуры я даю определение **антиметафизики**, понимая под этим не априорное отрицание традиционной онтотеологической метафизики, а утверждение ее невозможности как определения последнего Основания Бытия, и в то же время признания ее серьезности или, лучше сказать, признания серьезности и неустранимости метафизического вопроса о последней Сути реальности. В этом смысле материализм, в том числе и называющий себя диалектическим, не является вовсе «антиметафизическим», за который себя выдает, а представляет собой, пожалуй, самую грубую разновидность метафизики, как определения-описания Реальности, в этом случае метафизики сциентистского типа, прибегающей к философски наивному и неуклюжему использованию результатов естественных наук, которым некритически приписывается значимость единственного источника познания.

Разговор об антиметафизике современной культуры можно было и следовало бы развить и углубить также в свете особого типа религиозности, утвердившейся в этой культуре. Но мы ограничимся простым указанием, позволяющим снова подойти к Бахтину,центральным моментом творчества которого является теория романа. Очевидно, что речь идет не о теории романа в сугубо литературоведческом плане, а о теории, в которой роман превращается в философскую категорию. В философском смысле в нашем столетии существовало две фундаментальные теории романа, противоположные и пересекающиеся друг с другом: это теория романа Лукача (в двух разновидностях: домарксистской и марксистско-ленинской) и теория романа Бахтина. Я не стану повторять написанного мною на эту тему около двух десятилетий

назад. Скажу только, что лукачевская теория романа, гегельянская в своей сути, — это своего рода Феноменология романного духа, а бахтинская теория, кантианская по истокам, — это Критика романного разума. То есть Бахтин исследует условия возможности романа в рамках широких философских исканий, центральной категорией которых является не «диалогическое воображение», как названа одна из его книг в американском издании, а **диалогический разум**. Диалогический разум, пожалуй, главное «открытие», которое сделал Бахтин, философия которого в действительности есть диасофия, мудрость, пересекающая всевозможные формы поисков мудрости чужим, не останавливающаяся ни на одной из этих форм и в этом смысле оказывающаяся глубоко антиметафизической в том смысле, который мы выше приписали этому термину. Диалогичность романного разума противостоит монологичности метафизического воображения, вплоть до его «деградированного» варианта, представленного Утопией. Но именно потому, что романный разум «диалогичен», он не игнорирует и не отвергает многообразия форм, которые принимает метафизическая монологичность, а «пересекает» их, связывая в едином видении, которое можно определить как христианское. Роман — жанр по преимуществу христианский, получивший полноту своего современного воплощения, благодаря вторжению вертикали Трансцендентного в горизонталь Истории и возникновению отдельной личности и ответственности индивида, что вызвано таким вторжением, являющимся Воплощением Трансцендентного в личности. Христианство, в его евангельском выражении, само по себе своего рода роман, парадоксальный роман, в котором монологический голос Трансцендентного становится человеческим и сталкивается с голосами Истории, диалогизируясь.

Если роман, и его философская теория, — это центр бахтинского «открытия», отсюда следует, что язык, и его философская теория, — его второе «открытие», поскольку ни один литературный жанр и ни один тип письма не является более, так сказать, «языковым», чем роман, представляющий собой многообразие языков. Здесь не место и, впрочем, невозможно повторять и анализировать блистательные страницы, которые Бахтин посвящает романному слову. Стоит, наоборот, поразмышлять над тем, что я определил бы как романизацию теории и истории литературы, осуществленную Бахтиным. Литература, говорит Бахтин, живет в двух временных измерениях: в малом времени, в котором литературное произведение написано, и в большом времени,

которое предшествует временному (и пространственному) отрезку его написания и следует ему. Любое, не только литературное, произведение стоит на точке слияния неисчислимых произведений, созданных относительно его в прошлом и настоящем и входящих в горизонт его автора, независимо от того, сознает он это или нет, — и растекания в сторону непредсказуемого множества новых связей, возникающих при написании и прочтении произведений. Поэтому к термину «интертекстуальность» я предлагаю добавить и термин «интерконтекстуальность» для определения пересечения различных контекстов написания и прочтения, неисчислимое множество которых составляет Большое время жизни литературного произведения. Прочтение произведения — всегда его «исполнение», аналогичное «музыкальному исполнению», то есть со-творение, обусловленное традицией других прочтений внутри современной читающей общности. В свете бахтинской идеи, таким образом, избегается как претензия на одно-единственное, объективно «верное» или «адекватное» прочтение текста, так и произвольность его прочтения, которое вне «интерконтекстуальности» претендует на то, что оно субъективно «верное». Читатель, находясь вне текста (вненаходимость), не может абстрагироваться от своего пространства-времени — момента бесконечных настоящих, прошедших и будущих пространств-времен.

В этом смысле литература, вернее, вся культура — тот же роман, роман, переживший разные стадии и формы, от, так сказать, редуцированной диалогичности толстовского типа до обостренной диалогичности романов Достоевского. Для постижения романа культуры и одновременного участия в нем главное — находиться в «пограничном», пользуясь выражением Бахтина, положении: не в центре одной изолированной сферы, а в точке соприкосновения разных сфер, свободно пересекая их границы. Бахтин был глубоко антиметафизичен и в этом смысле, и его романное христианство становится знаком христианской свободы, той свободы, выражением которой была вся его жизнь.

Дойдя до заключительной части своего выступления, я вижу, что не дал четкого ответа на поставленный в заглавии вопрос. Но такой ответ дадут, возможно, историки будущего. Здесь просто не бахтиновед, и даже не бахтиноман, а бахтинофил или бахтинолюб поделился дополнительными соображениями о Михаиле Бахтине, творчество которого вошло в Большое время Истории.

Михаил КОПЕЛИОВИЧ

ПАРАДОКСЫ ПИСАТЕЛЬСКОЙ СУДЬБЫ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЕЛЕНЫ РЖЕВСКОЙ НА ФОНЕ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ ПРОЗЫ

1

...Попробуйте решить — так кто же все-таки изобрел паровоз? Уральские крепостные умельцы Черепановы, отец и сын, или почтенный британский инженер Джордж Стефенсон? Тот, кто создал нечто на бумаге — либо даже в натуре, — но только миру об этом долгие годы так и не выпало случая узнать и порадоваться? Или тот, кто сумел «пробить» свое детище, за что благодарные сограждане отсалютовали ему славой и почитанием?

Да, вопрос и в самом деле не прост, как может показаться. Конечно, для истории т е х н и к и важен результат, и потому изобретателем паровоза она справедливо числит не только талантливого, но, несомненно, и удачливого англичанина. Однако в истории ч е л о в е ч е с т в а не должна потеряться ни одна светлая мысль — или, что то же, никто не должен быть забыт и ничто — забыто. И потому о Черепановых мы тоже — помним.

Но если это так даже в сфере техники, то тем более — в сфере художественной культуры.

Михаил КОПЕЛИОВИЧ — родился в 1936 году в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт. Работал по специальности. Как литературный критик стал выступать в 1960-х гг. Печатался в журналах «Новый мир», «Нева», «Дружба народов» и др. В настоящее время живет в Иерусалиме.

Да, и здесь тоже пролагателями новых путей в живом развитии литературы, музыки или живописи становятся те, чьи новаторские свершения сразу же оказываются достоянием общественности. И тем самым — начинают реально участвовать в художественном процессе, воздействовать на него. Но порою — по прошествии какого-то срока — обнаруживается, что теми же путями и в то же самое время (а то и раньше) шли (или пытались идти) и другие — те, чьи книги или картины по каким-то причинам остались неизвестными публике того времени, когда они были созданы, и увидели свет лишь позднее. И тогда они, эти книги и картины, тоже получают свое право на особое, благодарное и пристальное наше внимание. Разумеется — уже не как «законченные», «официальные» родоначальники того нового искусства, в зарождении которого они в свое время не сумели реально участвовать. Но, во-первых, знакомясь с ними, мы все-таки лучше и полнее начинаем ощущать историческую атмосферу, в которой зарождалось это новое искусство — его глубинные истоки, его историческую неслучайность. А во-вторых (и это главное) — такие, сильно «задержавшиеся» в пути к нам книги и картины привносят даже и в наш опыт общения с этим искусством, типологически нам уже знакомым благодаря более счастливой судьбе тех, кому выпало вовремя донести до общества свои открытия, нечто новое — то, что рождено собственной, неповторимой художнической и человеческой самобытностью создавших эти книги и картины авторов. А это в искусстве всегда ведь все-таки самое важное.

Какое отношение, однако, имеет все это к моей теме?

А вот какое. Родоначальниками советской военной прозы привычно считаются четверо: Василий Гроссман («Народ бессмертен», 1941), Вера Панова («Спутники», 1946), Виктор Некрасов («В окопах Сталинграда», 1946) и Эммануил Казакевич («Звезда», 1947). И это справедливо. Названные книги были вовремя опубликованы, замечены, три последние премированы. А главное — это настоящая, художественно состоявшаяся, суровая и честная проза. Это, как писал еще в 1968 году новомирский критик И. Виноградов в послесловии к однотомнику, объединившему под своей обложкой повесть В. Некрасова и «Последние залпы» Ю. Бондарева, действительно были «книги, положившие начало чему-то новому в литературе»; они обозначили «рождение этого нового достаточно внятно», и потому-то «историки литературы» и согласились вести «летоисчисление начатой ими традиции именно с них».

А теперь напомню, что спустя два десятилетия тот же критик начал свою рецензию на книгу Елены Ржевской «Ближние подступы» следующей настоятельной сентенцией:

«У нас прекрасная военная проза, и на фоне целой плеяды современных ее классиков, имена которых можно здесь и не называть, очень трудно — трудно было, и трудно и сейчас — быть услышанным. Еще труднее войти в число тех, без кого невозможно представить себе сегодня нашу литературу о войне.

Когда в середине пятидесятых годов впервые раздался голос молодой писательницы Елены Ржевской, мало кто мог предположить, что со временем она вырастет в одного из таких прозаиков» («Знамя», 1987, № 2, с. 223).

Не буду акцентировать хронологическую неточность, допущенную критиком: не в середине 50-х годов предпринята Е. Ржевской «первая слабая попытка рассказать о войне», а в самом их начале: книга «Особое задание. Повесть о разведчиках» увидела свет в 1951 году. Куда важнее другое: ряд рассказов Ржевской, а также «Записки военного переводчика» (их окончательное название — «Ближние подступы»[1] — перенесено на обложку отрецензированной критиком книги) начаты писательницей еще в 1942 году! Просто случилось так, что вещи эти, в силу разных причин, не были, а отчасти, видимо, и не могли быть опубликованы сразу же по их написании[2].

В самом деле: знакомясь с ними — с такими, например, рассказами, как «Под Ржевом» (1942—1947) или «"Маленькая история" одного латыша» (1944), а особенно с рассказом «Зятьки» (1946), — трудно не поразиться решительной, я бы сказал даже — катастрофической несозвучности, «несинхронности» многих эпизодов, запечатленных в них, складывавшемуся тогда канону фронтовой прозы военных и первых послевоенных лет. И дело тут не столько в непривычной для того времени жесткой достоверности художественного изображения ужасного лика войны и

---

[1] В дальнейшем при ссылках на книги Елены Ржевской даются следующие обозначения: «Берлин, май 1945» (М., «Советский писатель», 1967)— БМ; «Ближние подступы» Повести, рассказы (М., «Советский писатель», 1985) — БП; «Знаки препинания» (М., «Советский писатель», 1989) — ЗП; «Февраль — кривые дороги». Повести (М., «Советская Россия», 1985)— ФКД. Ссылки даются в тексте; после обозначения, через запятую, — номер страницы.

[2] Аналогичная история произошла с прозой К. Воробьева, чья повесть «Это мы, господи...» написана в 1943 году, а впервые опубликована лишь в 1986-м, спустя девять лет после смерти писателя.

даже не в пресловутой — и тоже непривычной тогда — «приземленности» авторского взгляда на ее реалии, сколько в самом о т б о р е этих реалий. В том их отборе, который сразу же вызывает сильные сомнения в о р г а н и ч н о с т и для молодой писательницы тогдашнего «правильного» советского мировоззрения.

Вот, для начала, те же «Зятьки». Напомню читателю сюжет, тему и хотя бы некоторые детали этого рассказа.

«Дарья ушла из дому, повязавшись п р а з д н и ч н ы м пуховым платком.

В город Красный немцы согнали раненых и больных пленных, непригодных к труду. Слышно стало по деревням: можно идти в л а г е р ь и о т ы с к и в а т ь своих мужей.

Стояла поздняя осень п е р в о г о г о д а в о й н ы» (ЗП, 207).

Таково начало «Зятьков». Я выделил в нем слова[1], которые, будь они напечатаны в 1946 году, показались бы, несомненно, немыслимой крамолой.

Вернемся, однако, к сюжету рассказа.

Итак, Дарья, жительница деревни Зуньково, стоявшей, как пояснено ниже, в стороне от дороги («Немцы наезжали сюда лишь изредка. Здесь м о ж н о б ы л о ж и т ь». — ЗП, 208), пришла на эту «ярмарку» пленных мужей, явно не рассчитывая найти там своего Степана. Да никто и не находил там своих, о чем свидетельствует ошеломленная реакция ждавших своей очереди женщин на появление Дарьи в сопровождении изможденного мужчины, прикрывшего лицо пилоткой. Ну, а когда в деревне разглядели Дарьиного найденыша, ахнули: — У Дарьи «зятек» завелся. А что особенно интересно — «с т а р о с т а, узнав про это, махнул рукой:

— Работник будет» (ЗП, 208).

Конечно — сегодня такой староста нас уже не удивляет. Но ведь еще сравнительно недавно, читая быковского «Сотникова» (1970) или внимая поставленному по этой повести замечательному фильму Л. Шепитько «Восхождение», мы воспринимали изображение х о р о ш е г о старосты, казненного вместе с главным героем, как немыслимую художественную смелость. Да и то ведь, как можно было понять, этот староста тайно сотрудничал с партизанами. У Ржевской же о старосте деревни Зуньково, кроме

---

[1] Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, разрядка в цитатах везде моя. — *М. К.*

процитированных н е й т р а л ь н ы х слов, вовсе ничего не сказано. И это, еще раз повторю, в 1946 году!..

Чтобы закончить с сюжетом: Дарьин «зятек» провел в ее доме весь период оккупации, причем ему пришлось скрываться от немцев, — дабы, упаси Бог, не мобилизовали. Конечно, они сошлись, Дарья и Михаил, и большое чувство к нему как-то сочеталось в душе Дарьи с чувством вины перед сгинувшим на фронте мужем (похоронки, правда, не было). И опять-таки: удивительно не само по себе это не тривиальное, но и не такое уж необычное душевное состояние героини (чего не бывает в жизни!), а дерзость молодого автора, решившегося его изобразить. Вдуматься только, что́ за ситуацию взяла Ржевская уже в одной из самых первых своих «проб пера» — да еще спустя всего год после окончания смертного боя с «проклятою ордой»! Ведь тот же, к примеру, В. Распутин известную свою повесть «Живи и помни» (1974) написал уже в «ранге» маститого писателя, да и то подошел к теме весьма осмотрительно, нигде — в целом — не преступив рамки положенных для нее стереотипов. В «Зятьках», конечно, герой — не дезертир в собственном смысле слова, а Дарья — не его законная жена. Но ведь и здесь отнюдь не обойден щемящий мотив нарушенного воинского долга и связанного с этим душевного дискомфорта героини.

«Старуха Прасковья принесла из города новость: партизаны спустили под откос немецкий эшелон. Вечером, дождавшись, чтобы уснули дети, Дарья нерешительно завела разговор с Михаилом. Сбиваясь, она говорила ему про партизан, сокрушенно спросила:

— Что же мы-то?» (ЗП, 214—215).

Впоследствии (начиная с 60-х годов) «Зятьки» публиковались неоднократно, как и «Под Ржевом», и «По пути» (1942—1945), и «Бойкая дорога» (1942—1946). А вот «"Маленькая история" одного латыша» — первая, судя по датировке, из фронтовых историй, записанных Е. Ржевской, увидела свет только в книге «Знаки препинания», то есть спустя ровно 45 лет после рождения!

Это тоже вещь достаточно неожиданная. По жанру (не считая четырех вступительных абзацев «от автора») вся она — монолог этого самого латыша, записанный «начерно» с его слов, с сохранением его речевой манеры, присущей нерусскому человеку, говорящему по-русски.

По содержанию же этот почти, в сущности, бесхитростный рассказ простого землепашца, принадлежавшего к одной из тех наций, которые в XX веке то и дело попадали из огня да в полымя,

просто вопиет о несправедливости всех родов: социальной, национальной, государственной и только в последнюю очередь — военной.

Нет, этот человек не был нелоялен к Советской власти, когда она вломилась в его национальный дом. Он даже получил от «Советского Союза» (это его слова) десять гектаров земли. «Наделили мне, потому что посчитали меня способным к труду земли» (ЗП, 197). Но, с другой стороны, отнюдь и не приветствовал он приход «освободителей» (как по всем канонам полагалось это осчастливленному бедняку). Просто он принял присоединение Латвии к могущественному восточному соседу как некую *непреложность*. И точно так же отнесся он к последующему «заходу» немцев. А писательница, передавая эту часть его исповеди, ни единым словом не выразила своего отношения к этой «гнилой» его позиции «над схваткой». Позднейшая это правка или изначальная добросовестность протоколиста — не знаю. Но не исключаю и изначального варианта.

Самые разнообразные злоключения пришлось пережить «одному латышу» (не одному, конечно, и не только латышу) на протяжении последних трех лет его жизни — перед тем как он сдался в советский плен в качестве солдата латышской эсэсовской (!) дивизии. Сперва он жил и трудился у себя в Латвии (но под немцем); потом был увезен в Германию, где содержался в лагере, а работал на частного хозяина («Ну, меня стал хозяин ненавидеть, что я его языка не понимал», но, с другой стороны, «работа была христианская». — ЗП, 199); и наконец, «решился податься в латышские легионы» (ЗП, 200). Кончается эта «маленькая история» почти комическим эпизодом пленения горе-воинов. Комизм заключается в резком диссонансе между меланхолической бесцветностью тона, каким это все поведано, и объективной чудовищностью испытаний, какие рассказчику пришлось (и еще, конечно, придется — у советских-то!) перенести...

Нет сомнений: появись такое свидетельство о войне в ту пору, когда оно вышло из-под пера писательницы, это тоже было бы событие, которое сильно поколебало бы уже сформировавшиеся к этому времени стереотипы восприятия войны.

Еще один сильный рассказ Е. Ржевской — «Жив, браток?» — датирован 1956-м и 1987-м годами (не через дефис!). То есть, надо думать, написан он тогда, в 50-х, а позднее лишь отредактирован, перебелен и т.п. И опять-таки: даже для вольного 56-го, года XX съезда КПСС (правда, и подавления венгерской революции), вещь эта очень смела. В «Жив, браток?» переплелись мотивы

нескольких ранних рассказов Е. Ржевской, и здесь они выступают в новом качестве.

Снова перед нами русский пленник — на сей раз москвич. Но и парень из Курска (как в «Зятьках») появляется в эпизоде — том самом, где двое раненых, прячущихся в стогу соломы, «перекрикиваясь», удостоверяются, что оба живы. «На четвертый день он мне не отозвался. Думаю, теперь скоро и я» (ЗП, 313; подобно «"Маленькой истории" одного латыша» «Жив, браток?» написан в форме сказа). И снова оккупанты разрешают пленных «раздать населению» (ЗП, 316) — стало быть, эта ситуация, впервые изображенная в «Зятьках», была для тех лет (в «Жив, браток?» действие происходит зимой и летом 1943 года) не такой уж невидалью. Затем — приход своих (тоже как в «Зятьках»), и для Сашки Яхонтова, героя «Жив, браток?», его пребывание в плену и в яме для картошки у местных женщин обходится покруче, чем для героя «Зятьков» — ближе к варианту «одного латыша».

«Военный комендант Мерефы. Я к нему, чтоб помог. Я ему объясняю:

— Хорошо, к своим попал.

— К своим, да не совсем.

— А что, расстреливать меня будете?

Он пожал плечами, мол, может быть.

Он пухленький, в чине капитана, а похож не на военного, а на одуванчик.

Он распорядился — хоп, за колючую проволоку» (ЗП, 319—320).

Очень подробно описана вся Сашкина лагерная эпопея, включая этап, выгрузку на станции Рязань-2, голодное и холодное житье в большом проверочно-фильтрационном лагере («Нас там было ой-ей-ей». — ЗП, 320). Сашка не сообщает об избиениях, зато издевательства иного рода не утаивает. И с особой обидой вспоминает, как вертухай шпынял его за то, что не сохранил он шинель и винтовку, — «а согласно присяге — до последней капли крови...».«Загривок вон какой у него, — добавляет рассказчик. — А сам-то ты был хоть раз там, на передовой?» (ЗП, 321). И еще не пропустил Сашка, что «время от времени партии под конвоем с собаками из лагеря отправляли» (ЗП, 321). Куда? Понятно куда...

Самому Сашке повезло: отпустили. И явился он домой, защитник родины: «Только палочка хрустит и ботинки. Шлём, шинель без хлястика, борода, пустая сумка от противогаза и палочка — вот всё, все твои заслуги перед родиной» (ЗП, 322). А дома новая радость: жена Маруся, в отсутствие мужа, сошлась

с неким лейтенантом, — «высоким, чистым, рослым — ... все скрипит на нем» (ЗП, 322).

Финал рассказа — «объяснение» с лейтенантом. Тот:

«— Мы обороняем Моску. Зенитчики.

— Вы тут с бабами воюете!

Мне бы дать ему, чтобы на всю жизнь память. Не смог. Что-то порвалось у меня внутри.

Сел. Курю дальше. В оконце поглядываю» (ЗП, 323)...

Да, сразу же всплывают в памяти знакомые сцены, читанные и виденные в кино задолго до появления в печати этих потрясающих в своей неприхотливости, обыденности и вместе драматизме страниц — «Один день Ивана Денисовича» (1962), «Случай на станции Кречетовка» (1963), «Архипелаг Гулаг» (1958—1967) А. Солженицына; ленты А. Германа «Проверка на дорогах» и «Двадцать дней без войны» (поездной рассказ летчика — арт. А. Петренко)... А ведь все эти вещи были созданы опять-таки п о з ж е [1] рассказов Е. Ржевской — и, в частности, рассказа «Жив, браток?»

И еще немного о хронологии. Не мешает напомнить, что ранние произведения второго поколения военных прозаиков, с которых начинался их путь в литературе, тоже писались позже рассказа «Жив, браток?» или, в крайнем случае, одновременно с ним. Григорий Бакланов («Южнее главного удара»), Владимир Богомолов («Иван») и Юрий Бондарев («Батальоны просят огня») — дебютировали в 1957 году. И в том же году Виктор Астафьев начал «Последний поклон» (закончил спустя десять лет), а Василь Быков со своей «Третьей ракетой» (1962) и вовсе «опоздал» на пять лет. На 60-е годы приходится также дебют Евгения Носова[2]. Еще позже (в 70-е) явились Вячеслав Кондратьев и Анатолий Генатулин, не говоря уже о Светлане Алексиевич и Анатолии Приставкине, выступивших в годы 80-е, — что касается последнего, то я имею в виду не вообще его прозу, а повесть «Ночевала тучка золотая», написанную в 1981 году, опубликованную же лишь в 87-м.

---

[1] Исключение составляют пьесы А. Солженицына из драматической трилогии «1945 год»: комедия в стихах «Пир победителей» (1951) и трагедия в стихах и прозе «Пленники» (1952—1953).

[2] И Виталия Семина, опубликовавшего в 1963 году свою первую автобиографическую повесть «Ласточка-звездочка». Выношу это имя в сноску не потому, что считаю его менее значительным военным прозаиком, а потому, что его важнейшие произведения на эту тему «Нагрудный знак «OST» и «Плотина» появились значительно позже.

Кстати сказать, в рассказе «Под Ржевом» содержится некое зерно ситуации богомоловского «Ивана», а в рассказе 1959 года «Сегодня купаться запрещено» есть много общего с тем, что спустя 22 года мощно изобразил А. Приставкин в «Тучке золотой». События тех черных дней, когда крымско-татарский народ (как и чеченцы у Приставкина) был депортирован со своей исторической родины, даны в нем глазами молодого татарина, выросшего вдали от родных мест, но запомнившего все, что довелось ему увидеть ребенком. Но написанный намного раньше рассказ Е. Ржевской еще два года ждал своей очереди после появления в «Знамени» приставкинской повести...

2

Так что же произошло? Почему вещи, начатые, а то даже и написанные (в первоначальном варианте) Е. Ржевской еще во время войны, сразу после нее или в середине 50-х гг., так долго ждали своего появления на свет? Как случилось, что творчество молодой писательницы, торившее те же пути, которыми шла создававшаяся в эту же пору будущая классика советской военной прозы (в чем-то, несомненно, и предвосхищенная молодой Е. Ржевской), — как случилось, что творчество это стало известно нам лишь много позднее?

Тут, видимо, сошлось много разных обстоятельств.

Во-первых, нельзя не признать, что те же «Зятьки», например, просто невозможно было бы, наверное, напечатать, когда они были впервые написаны, — по причине той явно недостаточной о р- г а н и ч н о с т и для молодой писательницы «правильного» советского мировоззрения, которая столь явственно в них ощущалась и о которой я уже говорил. А эта шкала измерения, как мы знаем, имела в те времена решающее значение для судьбы любой книги. Недаром те же «Спутники» Веры Пановой или «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова при всей своей непарадности удостоились все же высокой в целом оценки критики (и прежде всего — Главного Критика страны, санкционировавшего их включение в «золотой фонд»), а «Возвращение» (1946) Андрея Платонова было ошельмовано, сам же автор этого великого рассказа надолго вычеркнут из советской литературы.

Да, «Возвращение» все-таки смогло увидеть свет. Но это произошло только потому, что Платонов был уже известным писателем, к тому же печатавшимся в пору войны, а также потому, что это был еще все-таки относительно вегетарианский 1946-й год.

«Зятьков» же написала никому не ведомая, непозволительно молодая (27 лет) военная переводчица, бывшая студентка бывшего ИФЛИ. Вряд ли она могла со своими «Зятьками» и вообще на что-либо рассчитывать. Добавьте к этому, что рассказы, писавшиеся во время войны, едва ли к тому же так уж разом и написались — сказывался, несомненно, острый дефицит времени (война же!). А недостаток профессионального опыта — та сковывающая робость перед чистым листом бумаги, которая знакома всем начинающим литераторам?..

И все же главное, думается, было в другом. Иначе творческая биография Елены Ржевской не поражала бы нас теми парадоксами, какие она в себе таит. Ведь сегодня, когда мы знаем о ранних ее рассказах, так долго пролежавших под спудом, ее начальный писательский путь выглядит необыкновенно конфликтным внутри самого себя.

В самом деле, — первая опубликованная вещь Елены Ржевской, вскользь уже упомянутая мною («Особое задание», 1951), написана как будто совсем другим пером, нежели «Под Ржевом» или «Зятьки». Когда «Особое задание» попало в руки читателя, он (не знавший о потаенном существовании тех рассказов) получил в руки довольно безликий текст и, конечно, принял этот факт (и самое повесть) без особых эмоций и удивления. Это была вещь из потока. Тогдашнего потока книг о войне, сильно героических, инфантильно восторженных (при том, что сам восторг мог быть где-то и наигранным) и настолько беспомощных литературно, что они никак не могли отождествляться с уже прочитанными сочинениями Э. Казакевича, В. Некрасова или В. Пановой.

Последующие опубликованные произведения Е. Ржевской в жанре сугубо беллетристическом (не считая совсем слабой повести «На новом месте») тоже так или иначе соприкасались с военной темой. И в них уже содержались более серьезные заявки на освоение этой темы. Так, повесть «Земное притяжение», посвященная трудностям духовного роста и становления детей войны, своим откровенным изображением теневых сторон послевоенной жизни близка повести В. Семина «Семеро в одном доме», вышедшей тогда же, в середине 60-х. Но блистательная семинская вещь при своем появлении вызвала общественный скандал, от сути которого был далек чисто п о с л е в о е н н ы й аспект рассказанной автором невеселой истории. А «Земное притяжение» снова затерялось в потоке.

Та же участь постигла и последнюю сделанную по старинке повесть Е. Ржевской — «Спустя много лет», хотя это было одно

из п е р в ы х в советской литературе произведений на тему о верности фронтовым идеалам, об умении одних и неумении других в послевоенном своем существовании оставаться на высоте фронтовой чести, фронтовой ясности и бескомпромиссности. (Тот же мотив разрабатывается одновременно Ю. Бондаревым в «Тишине» и А. Солженицыным в «Круге первом».)

Даже не зная о том, что Е. Ржевская уже давно испробовала свои силы в ином — не собственно беллетристическом — жанре, чуткий читатель упомянутых повестей, наверное, уже тогда мог ощутить, что причина ее тотальной писательской неудачливости — именно в неумении поверить себе и найти себя — свой стиль, свой жанр. И если такой читатель существовал на самом деле (мое-то знакомство с ее прозой началось с «Берлина, май 1945»), если он к тому же настойчиво интересовался литературной работой Е. Ржевской, то его упорство, его ожидания и его проницательность были, несомненно, в конце концов вознаграждены. Ибо в 1965 году одновременно были напечатаны: в «Знамени» — берлинские «Записки военного переводчика» (было у становящегося «Берлина...» и еще одно название — «В последние дни»), в «Новом мире» — документальная повесть «От дома до фронта», законченная годом раньше. Вскоре вышла и книга «Берлин, май 1945», в корпус которой вошло и восемь рассказов, как ранних: «Под Ржевом», «Бойкая дорога», «По пути», «Зятьки», так и новых: «Тягло» и «Второй эшелон» (оба — 1962), «Дождь» и «Дусин денек» (оба — 1963).

Вообще первая половина 60-х годов — рубежная для Е. Ржевской. В 1960-м она, как сказано в «Ворошенном жаре», «через семнадцать мирных послевоенных лет ... поехала в Ржев тем маршрутом, каким в феврале сорок второго с предписанием добиралась на фронт, замерзая в кузове полуторки» (БП, 148; путь этот подробно описан в гл. 6 повести «От дома до фронта»). А в 65-м ее пригласил к себе на подмосковную дачу все еще опальный маршал Г.К. Жуков, и между ними состоялась беседа, записанная Е. Ржевской сразу, по горячим следам, но, как это часто у нее случалось и даже стало атрибутом ее литературной биографии, опубликовать записанное удалось «всего лишь» через 21 год («Знамя», 1986, № 12)[1]. И как под рассказом «Жив, браток?» (я уже упоминал об этом) стоит «1956, 1987», так и под «рассказом

[1] Из личного письма Е. Ржевской автору (31.01.87): «... не надеялась я увидеть эти страницы напечатанными. Осуществил это Бакланов в союзе с нынешним существенным просветом».

о встрече с маршалом Жуковым» (этот подзаголовок появился в книге «Знаки препинания») помечено: «1965, 1986».

Именно в эти — 60-е — годы Е. Ржевская осознает, наконец, какую ценность представляют собою ее ранние записи и заготовки «на всякий случай». И какова истинная стоимость всего того, что сама она назвала позднее — в «Ворошенном жаре» — «своим небольшим музеем, или точнее — архивом» (БП, 149). И отныне писательница все свои силы и время посвящает уже разматыванию именно этого клубка, создавая (и чем дальше, тем больше сокращая дистанцию между временем написания и публикации) вещи все более сильного накала и значения. Год 1973-й — повесть «Февраль — кривые дороги». Спустя десять лет — «Ворошенный жар» (а непосредственно перед ним — «Знаки препинания», 1981, своего рода «предвоенная баллада»[1] о детстве и юности девочки с Арбата). Вторая половина 80-х — повесть «Далекий гул» («Дружба народов», 1988, № 7). Начало 90-х — книга «Геббельс. Портрет на фоне дневника» (М., «Слово», 1994).

Все это была уже совсем другая, чем до 60-х, — зрелая, истинно «ржевская» проза.

Так лишь через двадцать лет свершился в ее творческой биографии тот перелом, который, как я уже упоминал, еще через двадцать лет дал И. Виноградову право констатировать, что Е. Ржевская входит, несомненно, «в число тех, без кого невозможно представить себе сегодня нашу литературу о войне». Этот перелом обозначил себя и новым качеством прозы, явленным уже повестью «От дома до фронта», написанной в 1964 году, и возвращением Е. Ржевской в эти же годы к тем ранним своим опытам, публикация которых обнаружила и в них присутствие этого качества, столь резко отличающего их от всего, чем она «официально» дебютировала и чему дала право долго еще представлять свое творчество.

Здесь уместно, правда, задать вопрос: а не было ли привнесено в них это качество, делающее их сопоставимыми и с повестью «От дома до фронта», и с «Февралем», и с «Ворошенным жаром», именно *позднее* — именно в годы пришедшей к писательнице, наконец, творческой зрелости? И не менее уместно предположить — причем с достаточно большой долей уверенности, — что, конечно же, такая более поздняя обработка первоначально написанных текстов была произведена перед их публикацией. И что она, конечно же, и обеспечила им тот художественный уровень,

---

[1] Название известного стихотворения А. Межирова.

который делает их художественно соизмеримыми со зрелой прозой Е. Ржевской.

Но, с другой стороны, никакая более поздняя обработка не могла бы, конечно, обеспечить им этот уровень, если бы изначально они не содержали в себе все качественно необходимые для этого предпосылки. И они, эти предпосылки, состояли прежде всего в том особом свойстве художнического зрения молодой писательницы, о котором уже шла речь, — том свойстве, которое уже тогда было ей присуще и которое определяло прежде всего сам с о с т а в жизненных реалий, притягивавших к себе ее писательское внимание, сам их о т б о р , само предметное, тематическое наполнение ее ранних записей и опытов. Это не могло быть привнесено никаким позднейшим временем — это в опубликованные лишь в 60-е годы тексты могло придти только из *того* времени, из *тогдашней* памяти, из *тогдашнего* видения войны, запечатленного в самих сюжетах и образах ранних набросков.

Но если это так — а это, судя по всему, именно так и было, — то парадоксы начального этапа писательской биографии Е. Ржевской, равно как и свершившийся в ней позднее творческий перелом, могут иметь только одно объяснение.

Возьмем, к примеру, те же «Ближние подступы», основанные на сделанных еще во время войны по горячим следам событий фронтовых записях. Могло ли молодой переводчице, только еще собиравшейся войти в литературу, вполне еще, по ее собственному тогдашнему ощущению (и позднейшему свидетельству) «советской», придти в голову, что именно эти «горячие» записи — и есть та *литература* о войне, которая более всего важна, ценна и нужна? Ведь ее тогдашние представления о литературе, как это и показали последовавшие вскоре «официальные» ее дебюты в журналах (равно как и более поздние публикации пятидесятых—начала шестидесятых годов), полностью умещались в господствовавшие тогда стереотипы. А тут было не только совсем еще не «готовое» сочинение, тем более — не беллетристическое (каким имело претензию выглядеть более позднее «Особое задание»), а самый что ни на есть «сырой материал»!..

Да, позднее она к этому «сырому материалу» вернулась, бережно воспроизведя его. И даже посчитала нужным дополнить первоначальный текст новыми записями, сделанными по памяти, а также сохраненными документами. Но она вернулась к этому материалу и дополнила его документами — именно *позднее*. И много позднее. Тогда, когда к ней пришло понимание того, что

«их (документов — *М. К.*) выразительность на отдалении лет становится лишь сильнее» (БП, 5). Все это и обусловило тот парадокс, что набросанные еще на фронте «Ближние подступы» впервые были опубликованы лишь в 1980 г.

То же самое и с рассказами. Чувствовала ли, сознавала ли сама Е. Ржевская, набрасывая ту же историю Дарьи и ее «зятька», в какие идеологически непролазные дебри она забредает? Вряд ли. Особенно если учесть, что к этому времени она, вполне тогда еще «советская», даже и остыть-то как следует не успела еще от всего того, что ей пришлось перенести на войне...

Да, уже и тогда, как я уже говорил, сама избирательность художнического зрения молодой Ржевской в этом рассказе, сама завороженность ее именно теми реалиями войны, которые его наполнили, — все это решительно противостояло идеологическому дурману «советскости». Но противостояло все-таки, судя по всему, лишь на *подсознательном* уровне, — на том уровне, который и не позволил тогдашней Е. Ржевской почувствовать и оценить всю новаторскую перспективность этой истории — равно как и других историй, ставших сюжетами ее рассказов. Они, как и фронтовые записи, обернувшиеся потом «Ближними подступами», тоже так и оставались долгие годы под спудом — в качестве, видимо, такого же «сырого материала», неких черновых заготовок «на всякий случай»... И лишь много позднее так же оказались ею востребованы — тогда, когда, наконец, и для нее самой вполне прояснилась и заиграла вдруг в них дотоле скрытая, по-видимому, от нее собственная их художественная самоценность и выразительность...

Как и благодаря чему это произошло?

На этот вопрос может ответить, наверное, только сама Е. Ржевская. Но несомненно и очевидно одно: именно потому, что ранние рассказы и записи оказались востребованы ею в их первозданном качестве, связанном прежде всего с их документальной выразительностью, лишь после того, как новая военная проза Некрасова, Гроссмана, Казакевича, Бондарева, Быкова и других ее создателей стала реальным литературным фактом и событием, — именно поэтому трудно предположить, что возвращение Е. Ржевской к себе самой, ранней, нащупывавшей когда-то те же пути, но не доверившейся им, могло произойти без обратного воздействия этой же прозы. Без опыта общения с нею и переживания ее. Без опыта обнаружения в этой — «чужой» — прозе *тех же* — «своих» — мотивов и тем, которые когда-то будоражили и *ее* воображение. И тем самым — без постепенного

осознания через опыт этой встречи *своего собственного истинного призвания* — подлинной природы своего дара. Ведь настоящее обретение его именно в это время только и происходит, и верность ему именно с этой только поры и становится основной константой ее творчества, сообщая ему качество подлинной зрелости.

Так писательнице, которая в ранних своих опытах нащупывала те же пути, по которым чуть позднее пошла классическая советская военная проза, именно эта проза и помогла, несомненно, вернуться, в конце концов, на свой собственный — ранний — путь, обрести на нем себя подлинную. И дать, наконец, поэтому живую реальную жизнь и тем замечательным своим ранним опытам, что долгое время оставались потаенными, и новому, подлинно зрелому уже творчеству. А благодаря всему этому — раскрыть, наконец, перед читателем и все те пусть скромные, но живые и трепетные черты своего собственного, особого, личного видения и переживания войны, которые связаны с ее художнической и человеческой самобытностью и которые никогда уже не дадут лучшим ее вещам затеряться в общем богатстве нашей военной классики. Даже на фоне самых ярких ее достижений.

3

Что же это за черты?

Чтобы дать хотя бы частичный ответ на этот достаточно объемный вопрос, попробуем прежде всего уяснить — с чем, с какими, как теперь говорят, мотивациями пришли «к войне» те представители старшего писательского поколения, которым выпало стать зачинателями советской фронтовой прозы, и с чем — Е. Ржевской.

А. Платонов и В. Гроссман были уже маститыми писателями. Для них не могло возникнуть сомнения в своем предназначении войну о п и с а т ь, о войне с в и д е т е л ь с т в о в а т ь. Вера Панова в общем тоже выбрала свою стезю задолго до 1941 года, и «Спутники» писались, как она сама позднее свидетельствовала, с таким же внутренним «заданием» — как и «Кружилиха», над которой В. Панова работала и до, и после «Спутников» — это была в ту пору ее главная писательская забота.

А В. Некрасов? Был ли он внутренне мобилизован на то, чтобы о войне, на которую попал, свидетельствовать позднее как писатель?

Я не располагаю прямыми авторскими высказываниями на эту тему. Знаю лишь, что до войны Некрасов мечтал о профессии

архитектора, и не зря, конечно, герой «Окопов Сталинграда», Керженцев, этой профессией наделен. Что же до писания, то...

Вот слова Керженцева:

«Все это когда-то интересовало и волновало меня, а сейчас отошло далеко, далеко... Архитектура, живопись, л и т е р а т у р а ... Я за время войны ни одной книжки не прочел. И не хочется. Не тянет.

Все это потом, потом...» (Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Юрий Бондарев. Последние залпы. М., «Известия», 1968, с. 56).

В. Некрасов, как и его герой, находился на передовой. (В отличие от А. Платонова, В. Гроссмана и В. Пановой.) Какая уж тут литература! И все-таки (еще одна цитата из «Окопов Сталинграда»):

«Город горит. ... Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города. Черное и красное. Другого нет. Черный город и красное небо. И Волга красная. «Точно кровь», — мелькает в голове» (там же, с. 93).

Если этот пассаж не придуман автором позднее, а запал в его душу и в память его с той, сталинградской страдной поры, значит и на войну Некрасов пришел писателем. Не забудем, однако, и это его «потом, потом».

Е. Ржевская, как и В. Некрасов, до войны тоже не успела стать писателем. Но готовилась она к этой миссии, видимо, давно — недаром поступила учиться в ИФЛИ. Да и обретенная перед отправкой на фронт профессия военного переводчика куда ближе к писательству, нежели саперное дело (военная специальность Керженцева и его создателя). Словом, Ржевская пришла на войну с твердым намерением не только воевать: недаром первые ее рассказы были начаты уже в разгар семнадцатимесячной битвы за Ржев — когда в судьбе и этого сражения, и тем более всей войны перелом еще не обозначился. В одном из этих рассказов — «Под Ржевом» — есть слова, точно вышедшие из-под пера не молодой женщины, а зрелого, умудренного опытом жизни человека. «Пройдут годы, люди будут знать о немецком фашизме понаслышке, изучать по книгам... А я вот сейчас вижу его» (ЗП, 169). Создать целостную картину того, что пережито на войне, — вот чем озабочена Ржевская с первых шагов своих в литературе. Хотя, как сказано в этом же рассказе, в те дни «не было задачи яснее и ближе, чем задача моей армии — освободить Ржев» (ЗП, 162).

В рассказе «Второй эшелон» есть характерный эпизод. Хозяйка дома (где ночует повествовательница), простая деревенская

женщина и в военном разоре продолжает выполнять свою домашнюю работу, такую привычную и необходимую.

«— Дождь, наверно, спуститься хотит, — заключает она и принимается охапками перетаскивать сено во двор. Наблюдать за ней сущее удовольствие: каждое ее движение целесообразно, и сама она подобранна, нетороплива, точно хранит внутри себя что-то важное, в а ж н е е э т о й р а б о т ы, а у ж в о й н ы и п о д а в н о» (ЗП, 134).

Казалось бы, как же так! Что в пору войны может быть важнее войны? И как это военная переводчица, вступившая «в нее, как в свою судьбу» (ФКД, 100), может принять такое «штатское» отношение к войне? И не только принять, но, по сути дела, и поддержать!

Тут мы вступаем в сферу, которая и по выпавшему Е. Ржевской жребию (то есть отчасти случайно), и по присущему именно *ей*, единственно *для нее* органичному способу восприятия окружающего хаоса (что уже совсем не случайно и, значит, проявилось бы в ней, где бы и в качестве кого бы ей ни пришлось воевать) оказалась — не могла не оказаться! — именно *ее* материалом, *ее* не отпускающей болью, стержнем и стрежнем *ее* человеческой и писательской биографии.

Это — б ы т п о д в о й н о й. Или, по выражению Ф.С. Мазина, ржевитянина и корреспондента Е. Ржевской, «топчущее[1] войной окружающее» (БП, 131).

Вся советская военная проза, писавшаяся до конца 50-х годов, была именно в о е н н о й. Воздух войны исследовался с «наветренной стороны», то есть со стороны боев, окопов или штабов войсковых соединений. Так называемый тыл: ближний, граничащий с линией фронта, или дальний — оставался вне поля зрения писателей, в крайнем случае интересовал их как «кузница Победы». Что касается территорий, занятых врагом, то они могли попасть в «объектив» только как арена борьбы партизанских отрядов или подпольных групп. При этом подчеркивался героизм советских людей, их готовность терпеть любые лишения и безоговорочный отказ от коллаборационизма даже в его самых невинных формах (подразумевалось, что на с л у ж б у к в р а г у шли лишь изменники и трусы). Напомню еще раз, что такая принципиальная вещь, как «Последний поклон» В. Астафьева, где

[1] Так у Мазина. Здесь требуется, очевидно, страдательный залог. Но как сказать: «топчимое», «топтаемое»? Нет, пусть остается ненормативное «топчущее»: так выразительней!

война увидена с «подветренной стороны», глазами подростка в далеком уральском тылу, создавалась между 1957-м и 1967-м годами. Распутинское же «Живи и помни» вышло и вовсе в 1974 году.

А вот Ржевская изначально сосредоточивает свое внимание на с у щ е с т в о в а н и и людей в разреженном воздухе войны. Она повествует прежде всего о том, как жизнь отстаивает свои права в обстоятельствах, когда все ее права попраны, дает крупные планы прифронтового ж и т ь я — б ы т ь я тех, кто видел слишком много.

«Нигде нет дымка, нет жилья. Одни голые, мертвые трубы на много километров вокруг. Бездомная военная Россия» (ЗП, 183) — вот какой представилась ржевская земля героине рассказа «Под Ржевом» (то есть его автору), когда в январе 1942 года она прибыла в действующую армию по распределению — после только что оконченных курсов военных переводчиков. Картина выразительная, однако в ней еще нет того главного, что ищут глаз и душа начинающей писательницы, нет взгляда на топчущее, но незатоптанное войной окружающее.

Но ищущий — обрящет. И сразу же вслед за б е з д о м н о й Россией появляется «у разбитой станции вдруг маленький д о м, заваленный снегом. И вроде бы тянет д ы м к о м» (там же).

Жизнь продолжается. Даже в четырех шагах от смерти. У хозяйки этого дома больные дети, о чем она громко «информирует» всех вновь входящих, требуя никого не впускать без дров.

В этом же рассказе промелькивает некая пара: вернувшийся из эвакуации бывший директор местной школы и его жена Тоня. «Тонин муж назначен заведующим Ржевского гороно и вместе с городскими организациями стоит сейчас в деревне Грузди, километрах в двенадцати от хутора. Время от времени он приходит. Заметив его издали, Тоня останавливается, как вкопанная. Он берет ее за прямые плечи и ведет в дом, и нет на хуторе никого, кто б, увидев их в эту минуту, не проводил взглядом до двери» (ЗП, 170). Эта мирная, почти идиллическая картина написана войной! И Ржевская сама это ощущала. Позднее, в рассказе «Второй эшелон», она выделит разрядкой слово «война» в контексте, так же не имеющем прямого отношения к собственно военным действиям:

«Тут были погорельцы: женщина с ребенком и бабы, не поделившие мешки с зерном, Петр Тихонович и Анна Прохоровна с привычно сложенными на животе руками. Они смотрели на наши сборы без осуждения. На их сосредоточенных лицах была в о й н а» (ЗП, 141).

«Среди вооруженных полчищ, ревущих моторов, несметных снарядов, пожаров, на встряхиваемой взрывами земле, в белой стуже, среди гибели — кочующая с нами изба — малая единица неистребимого, вечного бытия» — резюмирует писательница в повести «Февраль — кривые дороги» (ФКД, 237).

Вот так, точно на качелях, качается и «кочует» израненная плоть исконной народной жизни в прозе Е. Ржевской — от «полюса холода» («нет дымка, нет жилья») до «полюса тепла» (уцелевший дом у разбитой станции, из которого тянет дымком).

Эта «качательность» была присуща самой реальности, исследуемой и живописуемой Ржевской. Не в том смысле, что жизнь и смерть стояли в ней рядом (в окопах было не легче и не безопасней). В другом, худшем.

Солдату на фронте нужно было воевать. Бытовая же сторона его бивуачного существования худо-бедно обеспечивалась вспомогательными службами. Очень ярко это показано, например, на первых страницах баклановской «Пяди земли»: «Мы едим баранину, запиваем ледяным вином, от которого ломит зубы, и в первый момент не можем отдышаться: нёбо, горло, язык — все жжет огнем. Это готовил Парцвания. ...

Пока мы едим, Парцвания сидит тут же на земле, по-восточному поджав под себя полные ноги» (Григорий Бакланов. Пядь земли. Повесть. М., «Советский писатель», 1960, с. 8, 9).

Правда, все это происходит уже в 44-м, в наступлении. И, кроме того, через несколько страниц славного, душевного Парцванию убивают — в тот самый момент, «когда он нес нам свои корчажки, завязанные в одеяла, чтоб — не дай бог! — в них не остыло за дорогу» (там же, с. 14).

Героям Ржевской: хлебопашцам, учителям, мелким служащим, подросткам, очутившимся вблизи фронта или, того горше, под пятой оккупантов, иногда просто бездушных, чаще озлобленных и жестоких, — приходилось самим заботиться о своем пропитании.

Из летописи оккупации Ржева («Ворошенный жар»): «Девчонки пели: "Шелковый синий платочек немец пришел постирать. Мыла брусочек, хлеба кусочек и котелок облизать"».

Ведь в оккупации человеку хоть чего-то поесть надо, матерям детей накормить. Голод — медленная, мучительная смерть.

А мы думать забыли, что жизнь имеет свои изначальные неодолимые свойства и запросы, свою какую-никакую меру» (БП, 141).

А вот другое свидетельство о днях оккупации (деревня Уклюкино, под Ржевом):

«— На Волге разве мертвых подберешь. А немцы за водой идти не велели.

— Солдата-покойника отпихнешь и зачерпнешь. И кровавую пили. Вода маленько течет, сочится.

— И снег пороховой ели» (ФКД, 199).

Жизнь имеет свои изначальные неодолимые свойства и запросы. Утоление голода и жажды. Потребность найти себе пару, создать семью, родить детей. Ведь и эта, естественнейшая в своих основаниях нужда ищет реализации в любых обстоятельствах жизни, покуда сама жизнь теплится. И эту сторону бытия человеческого тоже не обходит Е. Ржевская, не закрывает глаза на сцены, требующие от писателя особой деликатности, соблюдения надлежащего баланса между прозой жизни, бывающей в иных случаях довольно грубой, и очеловеченностью любых, даже сугубо физиологических, проявлений нашей природы.

В повести «Февраль — кривые дороги» женщины, разгребающие снег на дороге, заигрывают со случившимся здесь солдатом.

«В Савелова пульнули снежком.

— С мужиком поиграть охота? — недовольно сказал он. ...

— Охота! — вступила долговязая сношельница. — Пока тут вы. А то как опять побегете. А мы выживем иль нас всех убьют — задушат» (ФКД, 139).

В этих словах заключен, в сущности, опыт многих поколений, суть которого хорошо передает известная пословица: «По одежке протягивай ножки». Но они вовсе не означают, что в эти погибельные дни люди готовы пуститься во все тяжкие. Нет, конечно. Все они, как героиня рассказа «Дусин денек»[1], «в грохоте пальбы, под бомбами, на пожарищах ... вроде бы долю держат в смертельных усилиях за Ржев» (ЗП, 155). А Георгий Иванович Земсков («Ворошенный жар») так формулирует суть народного представления о должном для человека, оказавшегося в нечеловеческих условиях: «Он (ржевитянин — *М. К.*) знает, что в городе смерть его неизбежна, но не уходит. Хуже всего людям казалось оставить свой город. Вот такой народ. Ведь если б искали, где лучше, не надо было немцам под конвоем гнать, расстреливать...» (БП, 181—182).

---

[1] «Эта Дуся — горемыка, побирушка, кочующая за нашей армией» (ЗП, 152). Я бы сказал, что это ошеломительно новый для советской военной прозы тип, если бы... если бы рассказ не был датирован 1963 годом.

И здесь одно не противоречит другому, а дополняет это другое. Ржевитянин знает, что в городе смерть его неизбежна, но знает неким надмирным, очищенным знанием души. Это не значит, что он стремится к смерти. Жизнь утверждает себя повсюду, в том числе и в условиях, когда она кажется невозможной. Почти невозможной. Все дело в этом крошечном, невесомом «почти». Только наступившая смерть абсолютна, а мыслимая, ожидаемая — безвыходно! — все-таки относительна. Спасение может прийти самым неожиданным образом.

И пока человек жив (даже чуть жив), ему, по определению, в силу самой природы вещей, приходится как-то поддерживать свое существование. Это, в сущности, и следовало бы называть бытом, отбросив, как шелуху, прилипшие к этому слову всяческие негативные коннотации.

Ю. Трифонов в статье «Нет, не о быте — о жизни!» (1976) писал:

«Допустим, так: "быт" — это жизнь низменная, материальная, а "бытие" — жизнь возвышенная, духовная. Но человек живет одновременно и в той и в другой жизни. Это слитно, это нельзя разъять».

И далее:

«...неужели простое состояние человеческой души, столкнувшейся с горем, надо называть "бытом", "бытовой темой"?» (Юрий Трифонов. Собр. соч. в четырех томах. М., «Худож. литература», 1985—1987, т. 4, с. 543).

Е. Ржевская, вне всяких сомнений, тоже была за реабилитацию понятия «быт», безвинно репрессированного зашоренными советскими критиками. Я уже отмечал (при разборе рассказа «Второй эшелон») сочувственное отношение автора к чему-то неназванному, некоему заветному содержимому души простой крестьянки, что было важнее всего текущего (войны в том числе) и что позволяло ей и в годину военного бедствия держаться, делать, что и как положено. Не есть ли как раз это *бытовое* (или, употребляя неуклюжий неологизм, «существованческое» — то есть первичное, устойчиво-существенное — основа жизни?

Мы встречаем это слово — быт — и на первой же странице «Берлина, май 1945» — пусть и применительно к другой стране, к другому народу:

«Проехали Седлец (в Польше — *М. К.*). В раздвинутые двери теплушки я увидела освещенное оконце с елочкой на подоконнике. Рождество.

... А там, за этим промелькнувшим, незанавешенным оконцем, какой-то незнакомый б ы т , пусть тяжелый, придавленный, скудный, но все ж таки быт. Он волновал и томил мыслями о мире» (БМ, 7).

Здесь быт непосредственно соседствует с, казалось бы, таким далеким от него и таким противопоказанным ему пафосом. А глава «У Лукерьи Ниловны» в повести «Февраль — кривые дороги» целиком построена на антагонистическом противопоставлении нищенского, но жизнетворящего быта крестьянской избы в приржевской деревне Займище «возвышенной» идеологии врага, несущей этой избе и этому быту гибель:

«...во имя нашей борьбы мы не можем не культивировать беспощадность. Der Russe muβ sterben, damit wir leben (русский должен умереть, чтобы мы жили)» (ФКД, 154).

Это цитата из захваченных немецких документов. Слово «борьба» здесь так же закономерно, как и слово «беспощадность». Это нечто возвышенное, великое, потому оно и требует «беспощадности». А противопоставлены всему этому сцены самого «приземленного» — и потому особо щемящего — быта, того самого, который и жаждет уничтожить «беспощадная борьба»:

«— Ну, коровушке поисть время. — Она (Лукерья Ниловна — *М. К.*) с охотой поднялась, подхватив тяжелый чугунок, ушла во двор...»

В «Ворошенном жаре» понятие «быт» уже не только реабилитировано, но прямо-таки возведено на пьедестал. И напротив: безоговорочно осуждена б е з б ы т н о с т ь.

Это слово я ни у кого, кроме Ржевской, не встречал. Более того, я не смог найти его и в доступных мне орфографических и толковых словарях русского языка. Я не утверждаю, что писательница сама придумала, но, как бы то ни было, оно для нее первично значимо.

Слово это понадобилось Ржевской, когда она стала описывать свое посещение Калининского краеведческого музея в 1962 году. «Здесь была временная композиция "Отечественная война 1812 года" — в тот год нас отделяло от нее сто пятьдесят лет. ... О второй Отечественной войне н и ч е г о н е б ы л о . Только стенд "Герои Советского Союза — наши земляки". ...

Я почувствовала, как чугунная плита наваливается, погребая память о том, что составляет историю и душу народной жизни. А когда к какому-то "летию" будут делать экспозицию "Великая Отечественная война 1941—1945 гг.", память о ней угаснет, материальные предметы занесет землей и будет все так же тускло,

официально и б е з б ы т н о , как представленная сейчас здесь экспозиция к стопятидесятилетней годовщине» (БП, 148).

«Официальность» — синоним «безбытности». А может быть, и «борьба» тоже?

Быт же, по Ржевской, даже низкое, себе довлеющее, бездуховное о п р а в д ы в а е т и о д у х о т в о р я е т. В том же «Ворошенном жаре» упоминается некая малоприятная дама, свояченица бывшего (при немцах) бургомистра Ржева, «ее серое, пожухлое лицо с покладистым выражением» (БП, 156). Чем же она запомнилась повествовательнице? Тем лишь, что тогда, в марте 43-го, на ее глазах утаскивала большой нарядный самовар. «Не из жадности, — настаивает Ржевская, — из неукротимого усердия быта» (там же)!

Да что там толковать! Даже немец, враг, оккупант, палач неожиданно открывается своей человеческой стороной, когда сквозь густую пелену людоедских призывов, наполняющих официальные (равно: безбытные) документы, прорывается живая (равно: бытовая) черточка фронтовых будней этих, казалось, нелюдей. Вот героиня повести «От дома до фронта» переводит так называемую «Памятку о больших холодах», адресованную немецким командованием своим солдатам, застрявшим — вопреки такому безукоризненному плану «блицкрига» — в русских снегах. Ей смешно унижение противника и противны все эти подробности: как защищать от холода нижнюю часть живота, ноги и колени. «Но вообще-то говоря, — внезапно добавляет Ржевская, — в том, что они ч у в с т в у ю т холод, как и мы, есть какая-то несообразность. В это упираешься с недоумением. ... Сквозь такую вот "памятку" живо представляешь себе их п е р е ж и в а н и я : они страдают от холода, они — будь они прокляты — одушевленные» (ФКД, 58, 59. Разрядка авторская).

...Вы помните, читатель, как упорно доискивался Глеб Нержин, главный герой солженицынского романа «В круге первом», что вело по извилистому, но неизменно п р а в е д н о м у пути простого русского мужика Спиридона Егорова, какой к р и т е р и й руководил им в ситуациях судьбоносного выбора, столь щедро подброшенных ему жизнью? Глава, где этот вопрос, наконец, выясняется, так и называется: «Критерий Спиридона». Смысл его передается замечательной пословицей: «Волкодав прав, а людоед нет».

Точно так же и Ржевская напряженно вглядывается в уклад людей из н а р о д а , в манеру их поведения в ситуациях, выражаясь философским языком, пограничных, чтобы за просты-

ми, будничными делами и поступками разглядеть те внутренние силы, которые не дают им опуститься на дно, отчаяться, омертветь. В «Ворошенном жаре» есть такой эпизод. Повествовательница, приехавшая во Ржев в 1962 году, устраивается в гостиницу. Происходит неизбежное знакомство с дежурным администратором. Выяснилось, что дежурная воевала, потом восемь месяцев лечилась в госпитале. А когда демобилизовалась, поняла: «...хочу во Ржев, и все тут, а что найду — думала ли? Деревня наша на большаке. Война на нее навалилась. Подъезжаю: деревня — как общипанная курица. А хлеб — вспомнить тяжело — какой-то зелено-черный, из него какие-то листья торчат. Да и не хлеб это. Из чего пекли, бог знает. И ничего-ничего нет. Одна кошка полудохлая.

— Пожалели, что приехали?

Она помотала устало головой в толстом платке.

— Нет же. Брошен камень обрастает мхом. Кое-как стали жить» (БП, 155).

Какой ответ! Вот это и есть так называемая «народная мудрость». Вернее, тут видно, что она такое. И повествовательница нежданно-негаданно выясняет искомое: «Вот я и поняла, что приехала, куда метила. Что обрасту здесь воспоминаниями. Ехала в глубь времени, за войной, и война сама тут меня за подол хватает» (там же).

А в заключительной главе повести «Февраль — кривые дороги» Ржевская описывает поездку в «родные места» — в Ножкино-Кокошкино, где в 1942—1943 гг. был «самый тревожный участок» (ФКД, 275—276) боев за Ржев; в Займище, к Лукерье Ниловне, с которой простилась в те незабываемые дни. Лукерья Ниловна дала ей необычайно много, так много, «что и потом, после войны, с годами, с расстояния, память о ней будет крепнуть, высветляя мою жизнь, все ее закоулки» (ФКД, 189).

И вот свиделись...

«Я опять чувствовала прежнюю приверженность к ее говору, к простосердечию слов, снисходительности к злой судьбе, неотчужденности, слитности с жизнью» (ФКД, 285)

Выделенные слова передают вполне определенную если не философию жизни, то (по выражению гетевского Фауста) «итог всего, что ум скопил». В Лукерье Ниловне было первичное. Как в болгарской крестьянке из рассказа «Нескончаемое расставание» (1987): именно там я нашел само слово — «первичное» — в применении к человеческой личности...

4

Когда-то казенная критика обвиняла В. Некрасова и его последователей в том, что война в их произведениях показана «из окопов» — только с точки зрения тех участников «ближнего боя», которые словно бы ничего не подозревают о ходе войны в целом... И к прозе этих писателей было приклеено снисходительно-язвительное: «реализм на подножном корму»...

Что ж, обвинители даже и не подозревали о том, какая похвала содержалась в этой формуле. Ведь по существу, они были совершенно правы. Сила и «Окопов Сталинграда» и других, современных этой вещи и более поздних правдивых и сильных прозаических произведений о войне именно в том и состояла, что их авторы не пыжились (были ведь и такие военные прозаики), а писали о том и только о том, что сами видели и знали. Они хотели, чтобы п о с л е войны люди помнили не только великие сражения войны, но — как сказано у Г. Бакланова в «Пяди земли» — и «н а ш плацдарм».

Елена Ржевская принадлежит именно этой писательской плеяде. Она полностью вмещается в общие рамки того «реализма на подножном корму», который характерен для этой школы и составляет ее истинное достоинство и силу. Но в этот реализм она внесла свои, только ею подмеченные в «подножном корму» жизни краски и смысл; она по-своему ощутила и пережила на войне то *первичное*, из чего состоит на войне человеческая жизнь. И потому — замечу в заключение — именно с этим своеобразием ее особого, личного видения и чувствования войны связана и та высокая, не мнимая патетика ее прозы, которая, вообще говоря, тоже составляет некую общую черту всей советской военной классики «некрасовского извода».

Действительно, смешно было бы сегодня доказывать, что вся фронтовая проза, на фоне которой я пытаюсь написать творческий портрет Елены Ржевской, и патриотична, и героична. Этого не смог бы отрицать даже злейший враг «реализма на подножном корму». Только — в отличие от казенного «идеологического» патриотизма и героизма тогдашних лет — патриотизм и героизм некрасовской школы растет не из идеологии, а из живой жизни — из живой, нормальной, простой л ю б в и к н е й. И в прозе Е. Ржевской с ее особой внимательностью к *быту* как основе основ бытия на войне, это с особенной же отчетливостью и ощущается.

Вот характерный фрагмент из рассказа «Дусин денек», где та самая п о б и р у ш к а, к о ч у ю щ а я з а н а ш е й а р м и е й, о которой я уже упоминал, «поерзала молча, скатилась с

крыльца и, поминутно озираясь, цепляя короткими ногами бурьян, пошла за избу — от беды подальше.

А то отгонят ее заградчики в тыл. Она там, в тишине, с ума спятит. В грохоте пальбы, под бомбами, на пожарищах она вроде бы д о л ю д е р ж и т в с м е р т е л ь н ы х у с и л и я х з а Р ж е в» (ЗП, 155).

Здесь мы подходим к самой сути народного понимания патриотизма, — вернее, народного ощущения родины. Это то ощущение, которое очень точно передает старуха Никитична в рассказе «Под Ржевом». Когда другая старуха советует ей покинуть только что очищенные от немцев родные места («А здесь что? Голодно, разорение. И ты б уходила отсюда, Никитишна, в Хрузии лучше прокормишься, а земля-то всюду одна, — что там жить, что здесь...»), Никитична, громко закашлявшись (может, оно так и было, а может, это снижающая подробность, намеренно введенная писательницей), ответствует: «Одна земля, это верно, да не одна. ... Эта слезы льет. А больного дитя мать больше жалеет» (ЗП, 179).

А вот и сама Ржевская: «Чья-то спина с вещмешком, болтающийся закопченный котелок, крепленный к нему. Лицо юное или пожилое, стянутое опущенными ушами шапки, туго завязанными под подбородком. Вздрагивающая от усилий лошадь. Какое-то жилище, вдруг выявившееся из снежной мглы. Бедная баба, из-под насунутого на глаза платка глядящая на нас пристальным, глубоким взглядом.

Ко всем, ко всему тут я испытывала такую сильную, до боли нежную приверженность, о которой словами в ту пору мне было б неловко, странно, невозможно сказать»... (ФКД, 192—193).

И на последней странице этой прекрасной повести («Февраль — кривые дороги») — снова объяснение в той же любви: «Я вышла на бугор. Тогда, в феврале, тут буранило, скривляя, занося дороги. Сейчас внизу, как и в Кокошкино, паслись спутанные кони возле стогов, отбрасывающих угреннюю тень. Контуры животных так четки на луговом просторе, так пластичны, красивы. Дух захватывает. Я почувствовала, как нерасторжимо связана с этой землей»... (ФКД, 286).

Только на этом простом, реальном чувстве нерасторжимости с родной землей, с людьми, на ней живущими, — чувстве, поднимающемся из самых глубин существа, не мозговом, а скорей каком-то «утробном», может выстроиться и п о н и м а н и е д о л г а: воинского, национального, государственного.

Вот как говорит об этом один из самых замечательных героев Е. Ржевской — Георгий Иванович Земсков («Ворошенный жар»), рассказывая о семье Богдановых, приютившей его и его товарищей после побега из немецкого лагеря и тем спасшей их: «они не могли думать о своей участи, видя такие муки всех» (БП, 210).

И так же просто, естественно — и о себе:

«Не всякие командиры были на своем месте. Если б я думал о спасении своей шкуры, я бы тоже мог уйти. А что бы я с к а з а л л ю д я м? Чем я п о м о г и м т а м, среди лесов (а позже и в лагере для военнопленных — *М.К.*)? Может, не так уж много. Кого перевязал, кому что. А как я мог их бросить?..» (БП, 135).

«Такой он, Земсков, человек, — пишет Е. Ржевская. — Крепкой, неразменной жизни. В самых пагубных для жизни обстоятельствах он выпрямлял людей, заражал силой духа...

И, стоя с ним на берегу у люка разрушенной водокачки (той самой, под которой прятался Земсков с товарищами — *М. К.*), я снова чувствовала пафос жизни, нераспад ее и верность, без них нет для меня ни полноты жизни, ни смысла, ни поэзии»... (БП, 212).

Страшно важно — для всех нас и для литературы как способа национального самосознания и самопознания, — когда наши современники, работающие в ней, приходят к такому (употреблю еще раз фаустовскую формулу) «итогу всего, что ум скопил».

Творческий путь Е. Ржевской замечателен. Его длина — пятьдесят три года, и он продолжается. Но значителен он не только по протяженности — и по достижениям. Е. Ржевская вместе с другими выдающимися представителями советской военной классики — пролагатель новых, неторных дорог в литературе. И в будущей истории советской (русской) военной прозы ее имя будет стоять в этом ряду по праву и прочно. Для меня это ясно, как простая гамма.

Иерусалим, 1994—1995

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы, литературной критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических

выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиального, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя.

Этот раздел БСК публикуется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

1. Художественная проза

Обращаясь к журнальной прозе второй трети 1995 года, выделим в ней прежде всего те публикации, которые стали ***событиями литературной жизни.***

В «Новом мире» (№ 5) появились **два рассказа Александра Солженицына**, примечательных не в художественном смысле — написаны они не сегодня и, видимо, являются заготовками или отвергнутыми в процессе отбора главками «Красного колеса». Примечательность в самом факте возвращения в текущую литературу писателя Солженицына, до сих пор участвовавшего в ней републикациями и публицистикой. Оба рассказа написаны в очерково-хроникальной манере, исторический контекст одного из них — антоновское восстание на Тамбовщине. Эктов, герой **рассказа «Эго»**, энергичный и убежденный деятель сельского кооперативного движения, человек ясного и здравого ума, становится начальником штаба у Антонова, затем оказывается в плену у красных. В застенке его волю ломают, путем шантажа принуждая предать восставших. В подавлении антоновского восстания участвует и герой **рассказа «На краях»** Ёрка, Георгий Жуков. Он бил крестьян в Гражданскую, учась жестокости сначала у Тухачевского, потом у Сталина, и в старости, вспоминая прошлое, не собирается мучиться угрызениями совести, желая только гордить-

ся славными вехами биографии. Беспощадный герой беспощадной эпохи, он у Солженицына никогда никого не жалел. В обоих рассказах акцентированы взаимоотношения человека со временем, в котором ему довелось жить, — эпоха давит на человека, подчиняет его себе, формует по своему образу и подобию, унижая нравственную высоту и возвышая низость.

Новая **повесть Виктора Астафьева «Так хочется жить»** («Знамя», №4) посвящена побратимам-окопникам, живым и павшим. Складывающаяся из эпизодов, в которых прошлое соединяется с настоящим, трезвая, местами жесткая, местами согревающая пронзительной жалостью проза беспощадна в изображении бесчеловечных обстоятельств жизни героя — обычного, можно сказать, типичного человека советского времени, солдата, прошедшего войну и дожившего до наших дней. Коляша Хахалин — детдомовец, из ссыльных алтайских крестьян, оказавшихся в Заполярье. «Говорун, просмешник, анекдотист, песельник», он с грехом пополам шоферит на дорогах войны, а потом кое-как перебивается с семьей в славном городе Молотове. Он не выбирал навязанных ему дорог, военных и мирных, составивших его судьбу, которая оставляла ему только возможность, когда дело доходило до края, уклоняться, уворачиваться, сопротивляться, выживать, как мог. Бессонной ночью он вспоминает эти дороги, красоту лунного отражения на ночной глади моря, которое разбивает на осколки наехавший на него теплоход с развлекающимися туристами; врасплох застигает его и остающаяся безответной мысль: «Отчего он уподобился тем, кто, съевши пять эшелонов харчей и выделив эшелон дерьма, исчерпали тем самым явление свое на свет, сами становясь удобрением?» В невыносимых обстоятельствах Коляша ищет способ существовать достойно и честно, охотно делится запасом доброты и любви. В повести есть ощущение этой превозмогающей социальное зло силы жизни и в то же время острая тоска по настоящему, полноценному существованию. Несколько торопливо повествование доходит до современности, чтобы завершиться неутешительным аккордом: «Мы пришли, чтобы разрушить прекрасное».

И еще одна публикация, вызвавшая живейший интерес и разноречивые суждения в критике (см. ниже обзор литературной критики). Это **рассказ Владимира Маканина «Кавказский пленный»** («Новый мир», № 4) с актуальной темой и интригующим сюжетом. Русский солдат Рубахин воюет с кем-то на Кавказе, в бою он берет в плен молодого горца-боевика. Пленный нужен ему в качестве заложника, чтобы выручить своих. Пока Рубахин

ведет его по горам-по долам, он влюбляется в пленника, и в отношениях героев возникает острый эротический подтекст. Обстоятельства, однако, таковы, что в момент опасности солдату приходится придушить юного горца. Тем кончается их роман, и Рубахин, давно отслуживший свой срок, дальше тянет лямку армейской службы на Кавказе, который почему-то не отпускает его. Маканин имитирует повествовательную манеру русской прозы XIX века, невольно заставляя вспомнить ее кавказские сюжеты. Декларированная таким образом приверженность гуманистическим традициям и ценностям сочетается с удовлетворяющей модный вкус эротической новинкой, социальная актуальность соединяется с сексуальной.

Продолжим рассмотрение журнальной прозы, обратившись, как обычно, прежде всего к произведениям ***исторической темы.***

В прошлом обзоре (за первую треть года — см. № 84) мы уже отмечали неожиданное и озадачивающее обилие такой прозы — причем история, которая интересует прозаиков, была по преимуществу историей *советской.* Вторая часть года подтвердила: наметившаяся прежде тенденция не случайна, исторические сюжеты вновь занимают весьма заметное место в общем числе прозаических произведений, и действие, за редким исключением, происходит в советское время.

Как показали наши предыдущие обзоры, интерес к дореволюционной истории государства российского, пройдя свой пик, резко упал полтора года назад, и обновленный интерес к ней не прослеживается. Что же касается советской истории, то, на время уступив бурному натиску литературы, обращенной к сегодняшнему дню, она снова возвращается на журнальные страницы, но приобретя другие черты. Среди «этапов большого пути» сегодня литераторов не увлекают ни революция или Гражданская война, ни коллективизация или годы массовых репрессий, откуда еще год-два назад черпались разнообразные сюжеты, — и это сообщает исторической теме новый смысловой оттенок.

Если принять за гипотезу, что литература, в особенности журнальная, до некоторой степени отражает преобладающие в обществе настроения, то можно принять за гипотезу и то, что мы движемся вперед, сильно оглядываясь назад. Будущее не так заманчиво и увлекательно, как это казалось еще пару лет назад, а значит, и прошлое, хотя и застойное, хотя и развито-социалистическое, было не так беспросветно, безгласно и постыдно, как это казалось еще пару лет назад, — во всяком случае, оно получше и посветлее нашего сегодняшнего настоящего и темного, а потому

угрожающего будущего. Такой безрадостный вывод напрашивается сам собой, и если он будет подтверждаться в дальнейшем, то нас ждут невеселые времена возвращения в светлое прошлое, и уже не только в литературе.

Обозревая историческую прозу, будем придерживаться, однако, хронологического принципа. И начнем со времен древнейших.

Отметим, что хотя и не так уж часто, но достаточно регулярно в периодике появляются переложения сюжетов Ветхого Завета. **Юрий Волков в повести «Вирсавия»** («Знамя», № 5) сообщает подробности о знаменитых событиях из Книги Царств, связанных с Давидом и Вирсавией. При этом Волков имитирует и библейскую манеру повествования, разбивая текст на стихи.

«Путешествие на Черную речку» А. Терца («Дружба народов», № 1) — это продолжение прогулок с Пушкиным. Главный предмет внимания на прогулке — «Капитанская дочка», которой предлагается новое прочтение.

Владислав Отрошенко в «отчете исследователя» «По следам дворцового литавриста» («Москва», № 6) с наслаждением вяжет словесную вязь, переплетая в разнообразных комбинациях фигуры стилизованного под архаику красноречия. Велеречивые учтивости, высокопарности и высокоумности, словесно обвораживая читателя, переносят его из «деспотической реальности» в область сновидческую, в мир метафизических туманностей, который стал реальностью для двух его героев — скромного оркестранта из дворцового оркестра начала века, признанного сумасшедшим за его «научный доклад» «О некоторых свойствах подвижных реальностей и неизменного сновидения», и некоего современного исследователя дворцовых оркестров, который заинтересовался странным литавристом, последовал за ним в «неизведанную реальность сна» и разделил его печальную участь.

«Убийцы вы дураки» Михаила Левитина («Октябрь», № 4) — это, по авторскому определению, «реконструкция романа», странное повествование (то ли поток сознания, то ли фантасмагория) о странном поэте, «бессмертном Шурке». Этот представитель питерской богемы 10—20-х годов живет в пустующем Ленинграде, который «вырубили, как сад», и странствует вне социальных обстоятельств, по своей воле. «Он всего лишь баловался смертью», «пытался овладеть Временем, чтобы победить смерть», что ему, возможно, даже удалось, хотя, с другой стороны, его гибель, кажется, удостоверена текстом, в котором смысл ткется из случайных подручных средств, прихотью ассоциативного монтажа

слов, фраз, диалогов, сцен. Вероятно, прототипом главного героя является Александр Введенский. Перед нами очередное левитинское повествование о художнике, выдержанное в манере конгениального герою «бреда».

Юрий Зверев в «рассказе старого солдата» «Нахаловка» («Звезда», № 4) повествует о детстве. Время — 30-е годы, место — поселок на строительстве индустриального гиганта. Отец мальчика — «убежденный коммунист», а его бабка — алкоголичка-антисоветчица, компрометирующая родственников бесцензурными частушками. Есть в рассказе и элемент криминальной мелодрамы. Есть репрессии, страх и смерть.

В довоенные времена погружает и **«Бархатный путь» Вадима Шефнера** («Звезда», № 4) — воспоминания писателя из Петербурга о том, как он стал профессиональным литератором. Автор дает «сгустки впечатлений», делится случаями из жизни, свидетельствами о всяких бытовых мелочах довоенной поры. Здесь можно узнать, что ели в 30-е годы в Ленинграде, как говорили, как ездили на трамвае, носили калоши, какие делали покупки, что значила для мальчишки тех лет финка и какие фривольные поэмы ходили по рукам у советских школьников. Шефнер неспешно рассуждает о жизни, обходясь без резких слов и строгих оценок. Идет речь и о первых литературных опытах, первых встречах с «настоящими» поэтами.

В прозе, обращенной *к военным временам*, обширно представленной в журналах и возглавляемой уже рассмотренной повестью В. Астафьева, преобладают сюжеты, построенные на фронтовых воспоминаниях, среди которых по-прежнему много героики и романтизма. Но встречаются и отрезвляющие картины, неоднозначность взгляда на те или иные эпизоды авторской военной биографии, заметные эволюции претерпевает и образ врага.

Начнем рассмотрение военной прозы с двух фронтовых воспоминаний, а затем перейдем к собственно художественной прозе.

О перипетиях фронтовой биографии, «о том, как жили на войне», рассказывает в **«Исповеди счастливого альпиниста»** («Звезда», № 5) физик из Петербурга **Л.М. Рубинштейн**, подписавшийся — Левка Рубинштейн. Это «главы из трилогии». «В этих записках, — замечает автор, — хотелось сохранить тон того глупого рыжего жеребчика, выпущенного на траву, какими мы были в 41-м, и той битой старой клячи, ставшей умной к концу». «Исповедь» подробно воссоздает прежде всего бытовой план войны, где драматизм перемешан с юмором. Автор когда суховат, а когда и не сдерживает эмоций.

«Очевидец. Писатели на войне» Евгения Долматовского («Октябрь», № 5) — несколько глав из хроникально-мемуарной книги поэта. Автор принадлежит к поколению молодых идейных юношей 30-х годов. Он несет клеймо сына врага народа, да к тому же и война для него начинается с плена. После побега он доказывает свою незапятнанность и становится «писателем фронтовой газеты». Очерк испытаний интересен как типом главного героя, так и некоторыми фактурными подробностями эпохи.

В «прифронтовых былях» Василия Кожанова «Война везде найдет» («Дружба народов», № 11—12 за 1994 г.) дается не совсем привычный взгляд на войну — в основном, глазами тверского крестьянства, которое оказалось словно бы между двух огней и много натерпелось не только от немца. Среди подробнейше выписанных эпизодов — первый день войны, выжигание деревень отступающей Красной Армией, судьба русских пленных, карательные экспедиции немцев против партизан и партизанские поборы с крестьян... Это непарадное лицо войны. Автор рассказывает о том, что знает, не пытаясь сретушировать факты в духе той или иной глобальной концепции, а только сочувствуя человеку, попавшему в историческое бедствие, как кур в ощип. По логике повествования, главной заботой крестьянина в этой ситуации стало элементарное выживание, самоспасение в чуждом мире, где не на кого надеяться.

В таком же положении оказалась **в рассказе Евгения Носова «Синее перо Ватолина»** («Москва», № 5) солдатка Марья с двумя малыми детьми, то перемогаясь вместе с другими жителями Подкопаньских выселок «под немцем», то претерпевая от своих. Оставшись без скотины, угнанной из патриотизма от немцев, Марья запасается зерном, облитым керосином, которое в спешке отступления не успели поджечь и которое она приволакивает в мешке со станции, и это оказывается единственной едой для нее и детей, потому что картошку реквизируют немцы. В конце концов они остаются и без крова — немцы разбирают сарай, а свои сжигают избу.

«Маленькая повесть» Ивана Виноградова «И наступило молчание...» («Нева», № 5) — нехитрая история о милой деревенской девушке Стеше, которая выучилась на радистку-разведчицу и совсем случайно погибла, когда, получив задание, прыгала с парашютом в тылу врага. Сентиментальное повествование о жизни, оборванной в самом начале.

Александр Малышев в рассказе «Ты помнишь наши встречи...» («Наш современник», № 4) рассказывает о маленьких

домашних вечеринках с танцами под патефон, которые устраивали медсестры тылового госпиталя выздоравливающим раненым перед их отправкой на фронт, о летучих романах — память о них увозили с собой молодые лейтенанты, которых забирала война и уже не возвращала живыми.

В рассказе фронтовика **Григория Петушкова «Последняя днёвка»** («Наш современник», № 5) маленький отряд отощавших от голода окруженцев, выходя из окружения, устраивается на отдых, выслав разведку на ближайший хутор. Днёвка оказывается последней — по чьему-то доносу немцы устраивают на них облаву и они гибнут в неравном бою.

Рассказ Георгия Никулина «СМЕРШ» («Нева», № 5) — история в жанре фронтового приключения. Отважный связист Петька чуть было не лишился жизни, заподозренный в дезертирстве, но его выручает из загребущих лап СМЕРШа родной комбат.

Рассказ фронтовика **Максима Коробейникова «Судьбу мы выбирали сами»** («Москва», № 5) — о его фронтовом друге, с которым они подружились в пехотном училище, а потом вместе шли дорогами войны, вместе ходили в разведку, выручая друг друга в беде.

Разные сюжеты образуют **«Рассказы из цикла «Правда войны»** фронтовика **Владимира Виноградова** («Наш современник», № 6) — трагикомические, драматические, сентиментальные. Рассказ о солдате, который, чтобы накормить оголодавших на передовой, приволок на себе под прицельным огнем огромный бидон с горячим борщом, и о бывшем киевском ресторанном поваре, а на войне поваре генеральской кухни, который отказался кормить оскорбившего его генерал-интенданта, потребовал отправить его на передовую («кормить простую братву») и на радость разведчиков вместо штрафного батальона был направлен в разведгруппу **(«Полевая кухня»)**. Короткая любовь юного разведчика-радиста и девушки из села под Тернополем **(«Колечко»)**. **В рассказе «Кайн фашист»** из огня пожара, возникшего в львовском госпитале, тяжело раненных русских вытаскивают пленные немцы, используемые в качестве санитаров, делая это бережно, толково, быстро, без лишних сентиментов, преодолевая сопротивление раненых, которые упирались, ругались, отталкивая спасителей в фашистской форме, но вынуждены были, преодолевая брезгливость, касаться чужих погон, обнимать немцев за плечи — они отрывали упиравшихся от коек, уводили, уносили, а спасаемые, продолжая огрызаться, отдавались в руки врага.

В рассказе фронтовика **Михаила Колесникова «Рядовой»** («Москва», №5) вернувшийся с войны в неустроенный быт солдат каждый день в мороз упрямо ходит за шесть километров на автобусную станцию встречать молодую жену, уехавшую погостить к матери, веря, что она вернется.

Фронтовик **Алексей Пятков в рассказе «У Кремлевской стены»** («Наш современник», № 5) описывает встречу через 50 лет бывшего героя-летчика со своей фронтовой любовью, единственной на всю жизнь — юная телефонистка, уверенная в его смерти, когда сбили его самолет, вышла замуж за другого. Двое стариков встретились, чтобы попрощаться уже навсегда, а их обтекают люди, живущие новой, не понятной им жизнью.

Среди военной прозы выделим в отдельную подборку безыскусные *рассказы детей войны*, которую они пережили в оккупации или эвакуации, сохранив в памяти события тех лет.

В автобиографическом рассказе Вячеслава Марченко «Беженцы» («Наш современник», № 5), впрягшись в санки, 10-летний мальчик с матерью и двухлетним братишкой по глубокому снегу лесными дорогами выбираются из разоренной немцами родной деревни к дальней родне, заходят в села, просят Христа ради, но им так и не удается уберечь от смерти младшего братишку, терпеливо и безропотно переносившего голод и холод.

Маленький герой **«Рассказов о той войне»** актера МХАТа **Николая Пенькова** («Наш современник», № 5) сначала дружит с красноармейцами, вставшими на постой в их избе, они играют с ним, а он, при общем внимании и одобрении, «с выражением» читает им про вещего Олега и Бородино (**«Визит на соседнюю планету»**), а потом разглядывает четырех немецких офицеров, пришедших в избу с мороза, и среди них 15-летнего обмороженного «герр лейтенанта», потомка крестоносцев, которого бабка рассказчика пожалела, показав, как растереть ему руки и ноги, и дав теплые носки и опорки от старых валенок; потомок вел себя, как обыкновенный благодарный мальчишка, правда, хорошо воспитанный (**«Потомок крестоносца»**).

В рассказах Натальи Астаниной («Октябрь», № 6) тоже военное детство, описанное в тех понятиях и оттенках чувств, которые свойственны детям и утрачиваются взрослыми. Дружба с раненым из госпиталя в эвакуации (**«Кисет»**), первая влюбленность в юного фронтовика, со всеми ее детскими переживаниями, стихами и ревностью (**«Первая весна»**), преодоление бессознательной детской жестокости и эгоизма (**«Открытки из Германии»**).

В рассказе Александра Бологова «Победа» («Москва», №5) — детские воспоминания о том, как в деревню пришло известие о Победе, как отменили занятия в школе, как праздновали этот день ребятишки, потерявшие отцов, и их овдовевшие матери.

Завершим обзор военной темы двумя публикациями, в которых военные сюжеты сопрягаются с сегодняшним днем. **Владимир Крупин в рассказе «Янки, гоу хоум!»** («Москва», № 5), вспоминает о фронтовиках, которых он жадно расспрашивал о войне и которые не очень охотно повествовали о своих военных подвигах. Он приводит один такой рассказ — о «трусливых американских вояках», которые не могут быть нашими друзьями («Вот немцы могут быть друзьями, это да»). И, утверждая, что в бедах сегодняшней «оккупированной России» виноваты хозяйничающие в ней американцы, автор — на вопрос «что делать?» — отвечает: «писать на заборах и в газетах: янки, гоу хоум!»

А в рассказе Николая Коняева «Последний бой» («Наш современник», № 5) два ветерана войны, приехав навестить могилы павших во время войны однополчан, приняли неравный бой с бизнесменами, закупившими землю с братскими могилами под дачные участки.

Послевоенную советскую действительность живописует **Юрий Буйда** в своих несентиментальных **рассказах** («Октябрь», № 5), где много странного и причудливого. Материал взят обычный для этого писателя: реалии жизни в бывшей Восточной Пруссии. Традиционен и подход к изображаемой жизни. Буйда находит и акцентирует в ней специфическую советскую экзотику: ужасы, абсурды, нелепости, уродства. Самый яркий эпизод: на целлюлозно-бумажной фабрике бросают в переварку на картон штабеля томов собрания сочинений И.В. Сталина. Местный дурачок забирается на эту гору и, расстегнув штаны, мочится на сочинения разжалованного вождя. В другой подборке **рассказов** Буйды («Знамя», № 4) — заумно-метафизические истории, фантастические гротески в духе Кафки. У человека вырос хвост Хрст — и постепенно сделал все прочее у героя своим придатком.

«Два дня в сентябре» Геннадия Красухина («Юность», № 3) названы «повествованием» и написаны в 1980 году. Это несколько слабо связанных друг с другом фрагментов начала 50-х годов: о взаимоотношениях Сталина с главным советским писателем Надеиным, в котором сразу угадывается Фадеев; предательство Надеиным писателя, в котором опять же легко угадать Платонова; момент жизни образцово-показательной мужской школы № 545,

где учился в то время рассказчик, выведенный политически подкованным и небесталанным мальчиком, пишущим стихи на актуальные темы. Сочинение Красухина — живая, занятная вещица, лишенная однако заметной оригинальности, особенно когда речь заходит о великих мира сего (того?).

Юрий Гальперин в романе «Русский вариант» («Волга», № 4) рассказывает историю уже недавних времен о том, как незаметный человек, скромный инженер из проектной конторы сделался диссидентом, человеком с «предназначением». Причиной его метаморфозы стал отказ в месткомовской путевке в Польшу, из чего герой сделал вывод, что он находится под наблюдением соответствующего ведомства. На самом деле причиной отказа, как выясняется к концу романа, были местные конторские интриги, но герой уже так далеко зашел в своем диссидентстве, что встреча с «органами» стала для него неминуемой. Тягучее повествование о переживаниях и поступках героя с воспаленным воображением и опрометчивыми решениями призвано, как видно, проиллюстрировать мысль автора о том, что от судьбы не уйдешь, особенно в ее «русском варианте».

Рассказ А. Верникова «Вверху и на местах» («Новый мир», № 6) — социальный гротеск с элементами антиутопии. В одно время с Брежневым в поселке Бурая Глина умирает почтенный агроном Поляков — и эти обстоятельства становятся поводом для совмещения траурных церемоний, которое, в свою очередь, приводит к трагифарсовому казусу: местный учитель истории в своей надгробной речи отождествляет Брежнева и Полякова, чем вызывает гнев у сына агронома, не желающего во второй раз, уже духовно, терять своего отца и потому поднимающего вооруженную молотком руку на незадачливого педагога. В рассказе отчасти используются, а отчасти пародируются манера и излюбленные темы Андрея Платонова, а также и анонимный соцреалистический «Большой Стиль».

Отметим также два *мемуарных* произведения. **«Переполненные годы» Леонида Зорина** («Дружба народов», № 11—12) — «фрагмент» из книги «Авансцена (Записки драматурга)». Автор воссоздает удушливую и безнадежную общественную атмосферу первой половины 70-х годов, делится впечатлениями театральной и литературной жизни той поры в Москве и Ленинграде, рассказывает о встречах с художниками (портретируются Эфрос, Галич, Солженицын, Швейцер, Козаков, Анатолий Васильев и др.) и чиновниками. Сюжетная основа повествования — трудная судьба зоринских пьес «Медная бабушка», «Покровские ворота», «Вар-

шавская мелодия». Зорину удается свежо и живо передать общественные и личные настроения «раннего застоя», где мракобесие мешалось с лицемерием, а энтузиазм с отчаянием. Дается на редкость объемный очерк судьбы художника послеоттепельной эпохи.

Окончание воспоминаний **Вяч. Вс. Иванова «Голубой зверь»** («Звезда», № 3, начало в № 1—2) охватывает огромный период, чуть не всю вторую половину века. Это автобиография ученого, которому не раз приходилось совершать общественные, социально значимые поступки. Один из ключевых эпизодов — поддержка автором Пастернака в момент, когда его травили за «Доктора Живаго». Этот случай отчасти определил и вектор научной судьбы Иванова после его увольнения с филфака МГУ. Мемуарист рассказывает о встречах с лингвистами, кибернетиками и семиотиками, о своем депутатстве в годы перестройки.

И завершим обзор исторической темы *эссеистической прозой* **Иосифа Бродского «Коллекционный экземпляр»** («Звезда», № 4; перевод с английского А. Сумеркина, как сказано, с обширной авторской правкой). Это размышления о природе шпионажа, поводом для которых стала судьба советского разведчика Кима Филби. Узнав о выпуске почтовой марки с портретом Филби, автор, «чтобы заглушить приступ сильного отвращения», собирает «на досуге все эти обрывки», вписывая случай Филби в контекст эпохи и в то же время пытаясь уяснить логику поведения этого джентльмена, предавшего Англию (из мести?) и поступившего на службу режиму, который оказался недолговечным. Бродский предполагает, что деятельность Филби способствовала процветанию мусульманского мира. В очерке возникают фигуры Рудольфа Абеля и А. Орлова. «Чем лучше у тебя шпионы, — замечает Бродский, осмысливая урок советского режима, — тем в большую зависимость ты впадаешь от того, что от них узнаешь. Ты уже не действуешь сам по себе, а только реагируешь».

В прозе, обращенной ***к сегодняшнему дню***, продолжает отзываться тема той далекой войны — в судьбах бывших фронтовиков, детей и внуков погибших, замученных в концлагерях, пропавших без вести. Но этими отзвуками тема войны в сегодняшней журнальной прозе не исчерпывается. Война продолжается в жизни — война продолжается в литературе. Абхазия, Чечня, воюющие русские солдаты, боевики, беженцы — тема нескольких, пока немногих прозаических публикаций, включая сюда и рассказ В. Маканина «Кавказский пленный».

Однако, даже в прозе, трактующей вполне, казалось бы, мирные сюжеты, — редкий случай, чтобы кого-то не застрелили,

не придушили, не зарезали. Если этого не происходит, то по чистой случайности — герои демонстрируют полную внутреннюю готовность к убийству и войне с ближними и дальними. Воюют кто за что — за выживание, за деньги, за власть, за женщину, за движимость и недвижимость. Убивают с заранее обдуманными намерениями, подкладывая взрывчатку или разряжая автомат, или просто так — по случайному вдохновению, в случайной драке или перестрелке. Трудно сказать, исходят ли импульсы к массовым литературным убийствам от беспрерывно стреляющего телевизора или от отечественной криминальной хроники. Но герои, ведущие даже идеологическую полемику, накаляют ее до такого градуса, на котором она становится взрывоопасной, приобретая угрожающий для жизни характер. Видимо, поэтому жанр идеологического монолога, имея явное преимущество с точки зрения безопасности, получает в журнальной прозе все большее распространение.

Закончен публикацией обширный **роман** живущей в Иерусалиме писательницы **Елены Макаровой «Смех на руинах»** («Знамя», № 3—4). Это экспериментальная проза в духе экспрессионизма, с гротескными изломами, деформациями, со сложным композиционным рисунком, образованным своевольно сходящимися и расходящимися сюжетными линиями. Автор водит за собой читателя по тупикам больного, обесцвеченного мира, погруженного в серую муть, — Швейцария, Израиль, Америка, Германия. Еврейская катастрофа времен второй мировой войны, яркие, талантливые, полные жизненных сил люди, погибшие в гетто и лагерях, тревожат души живых. У каждого из героев внутри — чья-то смерть: и у стариков, свидетелей и участников еврейской трагедии, и у молодых, отыскивающих следы родных и близких. Эта смерть делает свое разрушительное дело — герои ощущают себя руинами, «нагромождением серых деталей какого-то механизма, утратившего внутренний стержень и распавшегося на составные». Люди-руины продолжают жить — есть, спать, любить, рисовать, заниматься проституцией, наукой или бизнесом. И — помнить то, чего нельзя забыть...

В романе Григория Бакланова «И тогда приходят мародеры» («Знамя», № 5) писатель, ветеран войны Лесов, старея, расстается с любовницей-актрисой и погружается в воспоминания о военном и довоенном прошлом, о родных и близких. Разворачиваются поиски сведений об его пропавшем на войне брате Юре. В конце концов выясняется, что Юра был героем, а погиб по вине негодяя, с которым потом Лесов чуть ли не дружил. В этой связи возникает

тема морального размена и неоправданных компромиссов, на которые когда-то приходилось идти, чтобы довести до читателя-зрителя свои произведения через рогатки цензуры. В романе часто ведут разговоры на актуальные темы общественной жизни, здесь немало политической и моральной дидактики. В памятные дни августа 91-го года Лесов с сыном — на баррикадах у Белого дома, а вскоре после этого он нелепо гибнет от руки бандитов, вступившись за их жертву и поплатившись за это жизнью. Смерть героя как будто бы призвана актуализировать его жизненный опыт в сознании читателей — и в этой связи встает в ряд аналогичных смертей, которыми венчают свои недавние крупные произведения такие во всем остальном полярные писатели, как Искандер и Проханов.

Роман Александра Терехова «Крысобой» («Знамя», № 6) — остросюжетное сатирико-фантастическое повествование о событиях местного значения (отбрасывающих свет и тень общероссийских масштабов), случившихся в городке Светлояр (бывший Ягода) Тамбовской области. Два нищих ученых крысоведа, знающие до тонкостей крысиную психологию и организовавшие в Москве прогорающий кооператив по дератизации, — от лица одного из них, большого шутника и любителя совать нос в чужие дела, ведется повествование — получают срочный подряд от погруженного в меланхолию мэра города Светлояра, который посвящает их в свои заботы. В результате сложных манипуляций «в верхних эшелонах» Светлояр, в котором много «узких мест», удалось включить в перечень исторических памятников госзначения и присоединить к «Золотому кольцу» («где иностранцев возят... Нам бы хорошо иностранцев, у нас ликеро-водочный завод»). И Светлояру, сталинской новостройке 30-х годов, нужно срочно заиметь себе историю («старинный город и чтоб там же исток Дона, историческая река, борьба за свободу, то-сё»), для чего развернута бурная деятельность («Уже трубу к Дону тянем — будет исток! Завезли курганы с Украины, с Причерноморья, показательные раскопки, мечи собрали с музеев... Историков подключили, пробиваем в печати идею, что Ягодой город назывался не в честь сталинского палача, а основал Юрий Долгорукий на месте, где знакомая монахиня жила, или на месте, богатом малиной»). На торжественное открытие монумента «Исток Дона» должны прибыть президент и генеральный секретарь ООН, пресса и телевидение. Но город наводнен крысами, а в киноконцертном зале гостиницы, где должен состояться банкет, они просто падают с потолка — могут на голову, могут на стол, могут в салат.

Задача кооператоров-крысобоев — сделать так, чтобы хотя бы на один день, от которого зависит будущее процветание Светлояра, крысы исчезли из банкетного зала. Азартно торгующиеся крысоведы принимают заказ и — в надежде разбогатеть — приезжают в Светлояр, где с блеском выполняют свою работу. При этом они становятся свидетелями и активными участниками светлоярских исторических событий — губернатор-демократ из ветеринаров-алкоголиков борется с мэром-партократом, происходит несколько государственных переворотов местного значения, производится попытка покушения на так и не приехавшего президента и многое другое — с участием отдельного контингента войск и вечно живых «органов», на фоне процветания жульничества и коррупции, со стрельбой, заложниками, убийствами, отравлениями, с политмаскарадами, всеобщими переодеваниями, подменами и конспирациями. Крысобои оказываются то в роли жертв, то заложников, то террористов и еле уносят ноги, не забыв прихватить честно заработанный, а потом не раз отвоеванный в неравной борьбе мешок с деньгами. Фантасмагории, происходящие в романе, вполне реальны, соленый юмор рассказчика отдает горечью, а крысы подчас неразличимо схожи с людьми.

Роман Сергея Яковлева «Письмо из Солигалича в Оксфорд» («Новый мир», № 5), единственный герой которого оказался подвержен другому соблазну, представляет собой растянувшееся на сто журнальных страниц письмо, которое герой пишет знакомой англичанке-славистке из Оксфорда, опекавшей его там во время его недолгой научной командировки. Пребывание в Англии оказало сильнейшее впечатление на героя, сделав его англоманом, и вернувшись на родину, он живет этими впечатлениями, не уставая перебирать мельчайшие подробности тогдашних наблюдений, встреч, происшествий, переживаний и постоянно сравнивая их с безотрадной российской жизнью. Уклад английской жизни, незыблемость вековечных традиций, картины упорядоченного и устроенного быта, уважение к труду и достойное его вознаграждение — и российская грязь, торжествующее хамство, попрошайничество, воровство, пьянство и бесчестье. Эти сравнения сопровождаются рассуждениями о русской истории в чаадаевском духе, о народе и интеллигенции, об ущербном гуманизме русской литературы, созданной людьми с уязвленными самолюбиями, и проч., а также сетованиями героя на то, что угораздило его родиться в России с умом и талантом, и мечтами — как бы устроить так, чтобы броситься в ноги королеве Елизавете с просьбой о прописке в Оксфорде. Но денег на новую поездку

нет и герой в тоске по Англии едет в Солигалич, чтобы построить английскую цивилизацию в одном отдельно взятом теткином доме. Прелестный старинный городок Солигалич обрисован — в отличие от Оксфорда — с таким отсутствием местного колорита, что на его место вполне можно поставить Конотоп, а еще больше он смахивает на дачную местность в ближнем Подмосковье. Герой описывает, как — при малых деньгах и при отсутствии практических навыков — он пытался за одно лето преобразить дом на английский манер — очистить от грязи и старого хлама, оставшегося после покойной тетки, обновить фундамент, сменить гнилые венцы, заменить все ветхое, временное вечным, удобным и красивым. Но старый дом не выдерживает цивилизационного напора и начинает разваливаться. Герой возвращается в Москву проклинать свою русскую судьбу. Англия недоступна, в России жизнь неустроенна, тосклива и безысходна, что окрашивает монолог героя в меланхолические тона, сообщая роману интонацию пространной, несмолкаемой жалобы.

Не находя вокруг себя собеседников, свои одинокие мысли адресует в иное пространство и герой **повести Сергея Залыгина «Однофамильцы»** («Новый мир», № 6). На грани жизни и смерти старик-ветеран Бахметьев мысленно общается со своими однофамильцами из энциклопедического словаря, биологом и писателем-соцреалистом. Стариковские разговоры — попытка без особенных хитростей порассуждать о жизни, о причудах истории, о том, другом и третьем.

Повесть Юрия Кувалдина «Ворона» («Новый мир», № 6) — остроумный иронический римейк чеховской «Чайки», коллизии которой предельно актуализированы. В особняке коммерсанта Абдуллаева собираются осколки советской интеллигенции, ищущая творческая молодежь. Ведутся разговоры, в одночасье разыгрывается современная драма со смертельным исходом. Предмет авторской насмешки — нынешнее культурное общество, сильно измельчавшее за сто лет.

В повести, тоже со смертельным исходом, **Алексея Слаповского «Жар-птица»** («Волга», № 2, 3) простой хороший русский человек по фамилии Авизо ухватил за перо жар-птицу — многолетняя его мечта (в чем она заключалась, до конца повести сохраняется в глубокой тайне от читателя) вплотную приблизилась к воплощению, остались мелочи и нужда в пустяковой помощи со стороны. Герой в безмятежном предвкушении счастья и полноте распирающих его чувств обращается за этой помощью к нужным людям. Кто-то отказывает, а кто-то обещает помочь и

помогает. Траектория перемещений Авизо в пространстве и времени, а также игра по непонятным правилам, затеянная автором с читателями, заканчиваются в чистом поле, где беднягу Авизо, так и не достигшего своего конспиративного счастья, убивают случайные попутчики-злодеи.

В обширном **«сочинении» псевдонима Петра Злыгостева «Самодуриха. Неспетая песня»** («Волга», № 1—3) повествуется о «замечательно хорошей стране» Самодурихе, жизнь в которой течет в соответствии с «естественно-историческим процессом» из славного прошлого в не менее славное будущее под присмотром Стукана-памятника, Злодея Ивановича и Добрея Ивановича. Эта жизнь любовно наблюдается с целью бескорыстного сочинительства писателем Егорием Перезвоновым, уроженцем и горячим патриотом Самодурихи. Лукавые бытовые подробности, балагурства и скоморошества, сказки и присказки погружают повествование в игровую атмосферу абсурдов и идиотизмов.

В повести Геннадия Головина «Жизнь иначе» («Юность», № 4—5) бывший преуспевающий журналист, а ныне бич ДэПроклов разыскивает убийцу женщины, которую он когда-то любил, потом забыл, а теперь снова вспомнил. Его экспедиции на Камчатку и Кавказ оплачивает бывший партчиновник, а ныне мафиози, у которого есть основания предполагать, что ДэПроклов найдет анонимщика, когда-то испортившего карьеру этому деятелю. Теперь мафиози хочет мстить. В итоге поисков убийца и анонимщик соединяются в одном лице; это муж любимой женщины ДэПроклова. Журналист наводит мафиози на след этого ничтожного человечишки и в тихом укрытии дожидается вести о его смерти в результате несчастного случая. В повести доминируют два мотива: мщения — и угрызений совести, которые испытывает ДэПроклов, позволивший себе забыть любимую. Автор не сообщает, успокоился ли журналист после устранения мужа-убийцы.

Кавказская тема, боком всплывшая у Головина, выходит на первый план в двух коротких бесхитростных **рассказах С. Воронина. В рассказе «Молитва»** («Лит. Россия», № 24—25) старик Иван Степанович ищет пропавшего в Чечне внука, ищет, не понимая, как можно «пропасть без вести» в мирное-то время. И только увидев, как молится дочь, старик, «мучаясь и каясь за то, что... ни разу не перекрестился за всю свою жизнь, опустился на колени и с мольбой обратился к Всевышнему: «Господи, сохрани ему жизнь!» Бог становится последней надеждой тех, от кого отказались все земные инстанции. **В рассказе «Со святыми упо-**

кой» («Лит. Россия», № 15) — судьба женщины-беженки, убитой из-за денег, нежелание чиновников расследовать убийство и похороны, где героиню по имени Надежда отпевают как «убиенную мученицу», хороня с нею земную надежду на справедливость и уповая на высший суд.

Юрий Дружников, профессор Калифорнийского университета, **в рассказе «Медовый месяц у прабабушки, или Приключения генацвале из Сакраменто»** («Дружба народов», № 1) повествует о том, как американский полисмен взял в жены русскую студентку, приехавшую стажироваться в Америку. С нею он отправляется в медовый месяц погостить к ее прабабке в Сухуми, где полыхает война. Выбираться оттуда приходится с большими приключениями. Горечь у Дружникова густо приправлена юмором, возникающим всякий раз, стоит только американцу вспомнить о нормах цивилизованного общества в стране анархии и беспредела. И все же, утешает писатель, полисмен снова собирается поехать в Абхазию, чтобы всех там помирить.

Назира Шамба в рассказе «Никогда не говори никогда» («Лит. Россия», № 22), литературная безыскусность которого окупается искренностью, описывает историю короткой любви на фоне слепого безумия и бесчеловечности. Молодая самоуверенная девушка Ника (работает в одной из московских газет, печатается из номера в номер, сменила несколько поклонников) едет в родной город Гудауту. В аэропорту перед отлетом пожилая абхазка просит Нику узнать что-нибудь о ее погибшем сыне. На родине судьба сводит героиню с юношей, тяжело переживающем полученное на войне увечье (оторвана рука), который неожиданно оказывается сыном той самой женщины. В результате стремительного романа героиня становится его невестой. Но он погибает от рук ворвавшихся в дом бандитов.

Возвращаясь к мирной жизни, отметим **повесть «Кто стучится мне в ладонь» Виктории Фроловой** («Новый мир», № 6), где она пытается передать странный и причудливый опыт молодой женщины, вынашивающей ребенка. Беременность героини здесь оказывается фактором, определяющим ее мироощущение. Случайно зачатый ребенок вносит в довольно-таки пустую жизнь значительность и смысл.

В «маленькой повести» Григория Петрова «У нас в богадельне» («Новый мир», № 4) есть, как заведено у этого автора, врастающие в простонародный быт чудеса, есть ненавязчивая христианская мораль. Есть и литературно-исторические аллюзии. Дочери гонят старика-отца за порог, но тот, в отличие от короля

Лира, смиренно едет в дом престарелых: «Может, я больше перед ними виноват. Вот теперь мое искупление». А в доме всем командует старец Ефим Григорьевич: то ли действительно великий чудотворец, лекарь и учитель, то ли современный Фома Опискин, если не Григорий Распутин. Местные заговорщики выжили старца из богадельни — и ее тотчас откупил для себя некий коммерсант; тем и кончилось совместное житье довольно забавных персонажей, собранных автором в доме престарелых. Аллюзионный фон в повести, усложняя ее смысл, вносит в него и элемент неопределенности. Автор намекает, но не дает полной разгадки.

Ряд публикаций посвящен невеселой сегодняшней жизни городских обывателей. **«Осень, переходящая в лето» Валерия Попова** («Знамя», № 5), названная **хроникой**, — окрашенное грустным юмором повествование о городской жизни, с ее досадными мелочами, с царящим в ней сегодня хаосом. Анекдотические похождения горожанина в мире пошлости, глупости и варварства плавно перетекают в рассказ о путешествии литератора по Эгейскому морю в качестве участника развлекательного круиза. Питерский оптимист («Жизнь удалась») и остроумец в последнее время хандрит, как будто чем-то недоволен, и того гляди станет сатириком.

Рассказы Владимира Галкина («Октябрь», № 4) — сентиментально-жалостливые истории о причудах современной московской жизни. Брошенная родственниками старушка, не умея прожить на пенсию, подрабатывает в публичном доме для слепых. Мужичок-велорикша опять же от безденежья взялся возить на своем велосипеде приезжих с вокзала на вокзал, и недорого берет. Вечно пьяненький, обнищавший москвич находит способ похоронить умершую жену почти бесплатно. В манере Галкина есть почти болезненная надрывность. Он словно выписывает счет эпохе от имени всех униженных и обиженных, всех потерянных и растерянных.

В рассказах В. Яницкого («Дружба народов», № 11, 12) представлен образ жизни современного поселково-городского простонародья. Частью обзорно, часть детально показан злой, грязный, унылый быт духовно нищих людей. На фоне тусклого блуда, драк, избиений, случайных убийств наиболее подробно рассказано о молодежной поселковой компании. По наущению одной из девиц парни сообща без особой охоты изнасиловали в подвале другую, с чего все и началось, а закончилось, как водится, судом и сроками. «Житуха уличная, матерная». Автор привлекает

ресурсы современного жаргона, но не чужд и тщательного психологического анализа, не склонен намеренно примитивизировать героев. В рассказах есть точные подробности и острые характеристики: «Перед восемнадцатью годами скачками развивалось мужество, мужество ссоры, то есть не спасовать, не уступить, не испугаться, и мужество мордобития, другого мужества они не знали» и т.п. Яницкий являет себя наблюдательным физиологом улицы, умело скрывающим свое отношение к ее нравам и повадкам. Меж тем образ современности в его прозе на редкость убедителен, хотя утешиться здесь нечем.

В рассказе Владимира Кантора «Стоп-кран» («Октябрь», № 4) изображен бойкий на язык и даже несколько развязный московский подросток, который однако же, как выясняется, имеет душу чистую и чуткую. Отец отправляет его учиться в Германию, но мальчишка срывает стоп-кран в поезде, не в силах вынести соседство с развратником-соседом по купе, который покушается на честь и достоинство девахи-челночницы, покупая за валюту ее тело. Автора и его героя оскорбляют нравы в мире, где правит чистоган, где все продается и все покупается. Здесь воскресают давние традиции романтико-дидактической подростковой прозы советского времени. Гайдаровский барабанщик в подобных случаях брал в руки пистолет, у Кантора герой хватается за стоп-кран, спасая тем самым Германию от нашествия аморальных соотечественников. Остается открытым вопрос о том, можно ли еще спасти Россию даже при наличии таких замечательных подростков, как канторовский школяр.

А **в рассказе Валентина Распутина «В больнице»** («Наш современник», № 4) два соседа по больничной палате ведут в крайней степени раздражения политические споры, каждый знает только свою правоту и настаив**ает** на ней. Даже страх перед операцией не останавливает их политическую вражду. Писатель дарит свои симпатии одному из спорящих, но ни один из них симпатии не вызывает. Оба прожили жизнь, оба прошли войну, но из-за газет, из-за включения-невключения телевизора, из-за того, кто был в партии, а кто нет, кто работал в министерстве, а кто только в тресте и т.д., они не могут уняться даже перед лицом смерти.

Повесть Александра Трапезникова «Романтическое путешествие в Гонконг» («Москва», № 4), как и прежние повести этого автора, посвящены поискам положительного героя нашего времени. На сей раз это юный москвич-редактор, который трудится в литчасти «знаменитого театра», руководимого «Великой Актри-

сой» (видимо, имеется в виду Т. Доронина). Герой победителен, скептичен, остроумен и острокритичен («Мы живем в криминальном государстве, какого еще не знала мировая история. Весь фашизм и коммунизм — цветочки по сравнению с тем, что творится в нашей стране»). Юная героиня, с которой он знакомится, тоже участвует в телеконкурсе «Браки совершаются на небесах», за победу в котором обещан приз — бесплатное путешествие в Гонконг. Она — дочь поэта и переводчика («Мой отец преподавал в Риме русскую литературу, и я выросла возле Колизея»), благосклонно выслушивающего политические сентенции кандидата в зятья. Герои, участвуя в телепередаче и убеждаясь в достоинствах друг друга, вместе преодолевают препятствия, среди которых избиение демонстрантов омоновцами, взрывчатка, заложенная, чтобы сорвать вечер поэзии, и, наконец террорист, взявший их в заложники. Изо всех этих переделок находчивый герой выручает героиню, к концу повести с готовностью отдающей ему руку и сердце.

Свои проблемы у героини **повести Ольги Николаевой «Строгая дама»** («Знамя», № 6), скорее напоминающей конспект повести, но могущей заинтересовать пикантностью темы и откровенностью, с которой в ней трактуются садомазохистские сюжеты. Молодая столичная жительница Зоя, выпускница Института иностранных языков, насмерть обижена жизнью — и за себя, и за свою прабабку, которой не раз приходилось иметь дело с садистами и эпизоды из жизни которой через равные промежутки всплывают в повести. Дав в газете объявление: «Строгая дама. Отвечу на телефон», героиня постепенно обзаводится кругом клиентов мужского пола, которые получают сексуальное наслаждение, когда она бьет их хлыстом по мягким местам, и хорошо оплачивают эти сеансы. Ее необычное ремесло входит в моду, круг желающих подвергнуться экзекуции расширяется, «медленно, но без труда проникала Зоя в новый русский истеблишмент». Вершиной ее карьеры становится сближениее с неким значительным лицом, которое берет ее с ее ремеслом на полное содержание и в единоличное пользование, наделив частью своей власти над людьми. Но на горизонте появляется другая женщина, и сюжет завершается неловкой концовкой — неизбежен «турнир в женском разряде», и ни героиня, ни ее прабабка не выйдут из него победительницами.

Повесть Елены Сазанович «Это будет вчера...» («Юность», № 3) — напевно-романтическое, сентиментально-пафосное повествование о фотохудожнике-эгоисте, который блуждает по

жизни, нехорошо обходясь с женщинами, в конце концов несет за это кару и многословно кается перед смертью, осознав свою огромную вину. Высокопарный слог и причудливая композиция являются визитной карточкой беллетристки Сазанович, любимого автора журнала «Юность».

«Ветер. Повесть в рассказах» Михаила Тарковского («Москва», № 6) — цикл рассказов о заботах, трудах и днях таежного охотника за соболем на Енисее. Он же молодой столичный житель, вынашивающий мечту стать писателем — и пока жизнь не поставила перед выбором — пытающийся соединить московские асфальты и енисейские таежные тропы, любовь и волю, охотничий промысел и литературные мечтания.

В **цикле рассказов Генриха Сапгира «Летящий и спящий»** («Октябрь», № 6) — сказочные истории о чудесных превращениях. Два ангела-хранителя, опекающие супружескую чету, насмотревшись на их жизнь и соблазнившись человеческой участью, стали падшими ангелами, добровольно перейдя «из мира сияющих сущностей в мир грубых материй» (**«Ангел Алексей Иоаннович»**). А в **рассказе «Отражения»** меняются местами человек и его зеркальное отражение, но отражение недолго выдерживает жизнь, которая казалась из зеркала столь манящей, и возвращается обратно в свое зазеркалье. Герой **рассказа «Магнит»**, доцент-статистик, утомившись от числа женщин, которых тянуло к нему как магнитом и которые «повисали на нем гроздьями», обратился к экстрасенсу, который «размагнитил» его, после чего доцент, утратив всякую привлекательность для женщин и оказавшись в полном одиночестве, затосковал, захотел вернуть обратно свой магнит, но ничего из этого уже не вышло. В **рассказе «Летящий и спящий»** хирург, летящий в самолете, и человек, спящий в больнице, неуклонно идут на сближение, исполняя волю судьбы — хирург прилетит, поставит больному неправильный диагноз, неудачно прооперирует, и спящий умрет. Но самолет терпит аварию, жертвой судьбы становится хирург, а спящий человек пробуждается к жизни. Сказочник-мультипликатор Генрих из **рассказа «Голова Сказочника»** — необычный и фантастический человек, который исчезал во время разговора, обнаруживаясь между страницами книг, где он беседовал с их героями. Его обожали женщины, а он уходил от них, ускользал в свой сказочный мир, пока, наконец, не ушел насовсем и ото всех — в последний раз рассказчик увидел его огромную голову, скользнувшую в облаках, и огромную слезу, выкатившуюся из-под века.

В **рассказе Михаила Попова «Дворец»** («Москва», № 4) обсуждается тема неповторимости личной судьбы. Два молодых лейтенанта, университетских друга, возвращаясь с военных сборов, заезжают в местечко под названием Дворец, которое для одного из них окутано романтической дымкой. Его отец, в то время тоже лейтенант, после войны стоял здесь со своим полком и имел бурный роман со здешней учительницей, прекрасной полькой, о чем он не раз рассказывал сыну с непроходящим волнением. Сын отыскивает эту женщину и обращает свои ожидающие взоры на ее племянницу в надежде на повторение отцовского романа, но та предпочитает его друга.

Глеб Горышин в рассказах «Записки прошлого лета» («Москва», № 6) продолжает хронику своих дачных наблюдений о сегодняшней жизни нескольких деревень на Вепсской возвышенности. Темы его «записыванья с натуры» разнообразны — история брошенной собаки, проблемы коренных жителей, председатель рыболовецкого колхоза, смененный в перестройку, а через три года снова выбранный в председатели, разведение бобров и браконьерство, грибы-ягоды и прочее.

И завершим обзор журнальной прозы **мемуарами Михаила Рощина «Блок 1993—1994»** («Октябрь», № 6), где он, по собственному признанию, собрал «всякую всячину, заметки, страницы дневника, статьи и т.п.», считая, что «из всего этого, из пестроты и мозаики, все же проступает жизнь, как она есть», и предлагая читателю самому разбираться в том, что из опубликованного им ценно, а что мусор. В публикации есть и то и другое. Обращает на себя внимание главка «К приезду Солженицына», где автор, среди прочего, вспоминает историю своего знакомства с Солженицыным и историю прохождения «Ивана Денисовича» в «Новом мире».

2. Литературная критика

Общий взгляд на литературную критику второй трети года обнаруживает уже утвердившийся и ставший привычным набор тем: литературная ситуация, Букер, постмодернизм, конкретные разборы и анализы. Но отношения внутри этого набора заметно изменились. Обсуждение Букеровских дел зависит от сезона и по мере продвижения к финалу будет приобретать все более волнующий характер. Но постмодернизм сезонным колебаниям не подвержен, однако, недавние полемические бури вокруг него явно поутихли, темпераменты поостыли, сердито-обличительные ин-

тонации кое-где сменились даже веселыми нотками, и полемика, пройдя по пятому кругу, приобрела вялотекущий характер с локализованными рецидивами. Те, кто хотел высказаться по поводу казусности существования на отечественной почве литературы постмодерна в массовом варианте — как литературы не для чтения и не для читателей, в основном, уже высказались, очистив полемическое пространство для критика Вячеслава Курицына, неутомимо вопиющего в пустыне. Но для Курицына постмодерн — не артефакт, а состояние души.

Зато, за счет неучастия критиков в эпатажных разборках, инспирируемых адептами и апологетами постмодерна, возросло число критических осмыслений тех произведений текущей литературы, которые своей художественной доброкачественностью, симптоматичностью или писательскими эволюциями заслуживают серьезного критического внимания и обеспечивают критиков профессиональной работой, с которой интересно сверять собственные читательские впечатления.

Такова общая картина, а теперь займемся отдельными сюжетами, и прежде всего *критическими полемиками* вокруг произведений, ставших литературными событиями.

Разноречивые суждения вызвал рассказ В. Маканина «Кавказский пленный», на который оперативно откликнулась газетная критика. «Чудо и есть чудо. Пропустить такой удивительный рассказ — грех», — заметил в газете «Сегодня» **Андрей Немзер**, настоятельно рекомендуя его любителям российской словесности. Однако **Павел Басинский в статье «Игра в классики на чужой крови»** («Литгазета», № 23) обращает внимание на конъюнктурные особенности рассказа Маканина. Возникла, полагает он, мода на реализм, обществу «захотелось чего-то прочного, капитального, неоклассического, антисинявского». Маканин — «отличный барометр», он чутко откликается на мгновенные общественные и эстетические запросы. И вот «он пишет не просто хороший реалистический рассказ, но рассказ с явно выраженной "имперской" эстетикой». Писатель смакует подробности новой кавказской войны. «Неинтересное, неживописное, негероическое вызывает в авторе раздражение». По Басинскому, «отношения между сильным, красивым русским солдатом и прекрасным кавказским пленным приобретают легкий гомосексуальный характер» для того, чтобы выразить суть «державных отношений Малой и Большой наций». Эстетические достоинства «имперско-эстетского рассказа», считает Басинский, связаны с тем, что он «написан на крови. На чужой крови». Ему возражает **Алла Ла-**

тынина в статье «Не игра, а прогноз художника» («Литгазета», № 23). Называя рассказ Маканина «хрестоматийным», критик видит в нем (написанном до эскалации чеченской войны) сбывшийся прогноз, «предвидение» войны. Плен в рассказе имеет амбивалентный смысл. Это, может быть, не только пленение кавказского мальчика, но и плененность русского солдата Рубахина «красотой Кавказа». Вообще, полагает Латынина, рассказ не может разонравиться из-за какой угодно статьи о нем. Если произведение подкупает и впечатляет, значит, что-то в нем такое есть.

Продолжается обсуждение романа Ч. Айтматова «Тавро Кассандры». **Владимир Бондаренко в статье «Чингиз, не помнящий родства»** («Наш современник», № 4), считая роман «антихудожественным текстом», видит в нем «трагедию национального художника, отрешившегося от своей национальности, своей религии, своей культуры во имя полонившего его космополитизма». Вспоминая творческий путь писателя, критик считает, что, начиная с «Плахи», Айтматов «стал улавливать западную конъюнктуру». Писавший по-русски и многим обязанный русской литературе, в новом романе он «старательно, по-ученически, старается изъять из своей культурной памяти все русское влияние, создавая литературный американизированный клип», и более того — становится на антирусские позиции. Отрыв от национальной почвы, отказ от русской литературной традиции, «оголтелый атеизм» привели писателя к его «манкуртизации».

В полемику вокруг романа В. Астафьева «Прокляты и убиты» включается **Ксения Мяло в статье «Мертвых проклятья»** («Наш современник», № 6). Обращаясь к древнерусским повестям о войне и выраженному в них священному отношению к павшим воинам, критик обвиняет Астафьева в том, что он «отнимает Победу у мертвых, и потому, несмотря на внешне мощные религиозные обертоны романа... это самая безрелигиозная книга о войне в русской литературе».

Свой взгляд на нашумевший и активно обсуждавшийся в критике роман А. Королева «Эрон» высказывает **Алла Марченко в памфлете «Зовется vulgar»** («Новый мир», № 4), где, размышляя о рецептах изготовления книг, которые сегодня наверняка приведут автора к литературному успеху, говорит о замечательной в этом смысле симптоматичности творчества А. Королева («модного писателя», опекаемого критикой журнала «Знамя»). Его роман «Эрон» выделяется «откровенной, то есть установочной, сознательной, намеренной, а не природно-вынуж-

денной вульгарностью». Критик считает, что создается «новый, вульгарно-шикарный стиль: а la «новые русские».

Стремление писателя, хотя и в другом жанре, угадать общественный запрос и удовлетворить его отмечает и **Роман Арбитман в статье «Хороший, отличный, добрый»** («Сегодня», 30 июня), где пишет о новом романе Фридриха Незнанского «Марш Турецкого: Первая версия» и в этой связи характеризует эволюцию образа сыщика в советском и постсоветском детективе. Сначала это хороший человек и специалист. Потом плохой, продажно-мафиозный. После — «злой», жесткий, бесцеремонный борец за справедливость, который мало отличается от тех, кого он преследует. Наконец, у Незнанского появляется «симпатичнейший человек и никудышный сыщик» Турецкий. Это оттого, считает Арбитман, что читатель уже много не ждет от стража закона. «Главное, чтобы он не был сволочью, не состоял на жалованье у мафии, не сажал невинных (по возможности)».

Творческий путь известного писателя обозревает **Владимир Новиков в статье «По направлению к Бочкотаре. Как читать Василия Аксенова»** («Общая газета», № 26), приходя к грустным выводам: «Случай Аксенова — это путь от интенсивного письма к экстенсивному», конечная станция на котором — «Московская сага»: «политико-исторический пирог с клубничной начинкой», нечто, «решительно не годящееся ни в эпосы, ни даже в мыльные оперы». Брал же когда-то Аксенов другим, создавая «затягивающую человечную, интимную атмосферу».

В статье Никиты Елисеева «Тень Амаркорда» («Новый мир», № 4) сравниваются две опубликованные в 94-м году «ленинградские» повести: «Блок-ада» Михаила Кураева и «Свободное падение» Инги Петкевич (то есть главы из ее книги «Плач по красной суке»). Петкевич воспроизводит основную идею революционной разночинской литературы — «мысль о решающем, о непреодолимом влиянии среды на человека», — рассказывая, как из человека делают нечто отвратительное. У Кураева же нет всевластия среды: неодолимая сила вещей, мерзость окружающего мира оказываются обжитыми, преодоленными. «Здесь человек не то, что из него делают другие, а то, что он сам из себя делает». Отсюда и эмоциональный колорит произведений: в одном — ненависть, в другом — добродушие и юмор. В статье анализируется также книга Юрия Нагибина «Тьма в конце туннеля» — «истерическая почти до цинизма».

Групповой портрет в интерьере дает **Сергей Костырко в статье «От первого лица. Три профиля на фоне поколения»**

(«Новый мир», № 6), с похвалой отзываясь о «мемуарно-очерково-эссеистской прозе» С. Гандлевского, А. Дидурова и С. Буркова, где «время и эпоха отпечатываются необыкновенно выразительно и точно». В каждом из названных литераторов Костырко видит представителя определенного поколения, свидетельствующего об особом лично-поколенческом опыте.

К 55-летию Иосифа Бродского «Звезда» (№ 5) печатает подборку материалов. В нее входят и **два эссе Бориса Парамонова: «Флотоводец Бродский» и «Певец империи в стране зубных врачей»**. Критик находит у поэта тоску по старости, по развалинам — «то есть по вечности». «Империя хороша, когда ее переносят в музей», каковая процедура и совершается в поэзии Бродского.

Если уж мы заговорили о поэзии, обратимся к **статье Инны Ростовцевой «Поэт-пророк или поэт-мастер? Размышления о будущем современной поэзии»** («Литературная Россия», № 17). Одна из особенностей сегодняшней ситуации в поэзии, которую автор отмечает с сожалением, — многие поэты уклоняются от участия в литературном процессе, видимо, надеясь на «заслуженную посмертную жизнь». Однако «посмертное возвращение в литературу», расхожее представление о легкости которого основано на «односторонне осмысленном опыте» литературы Серебряного века, «может не получиться» по причине «выпадения из иерархии ценностей». С другой стороны, ситуация полной свободы, когда каждый может издавать книги «за свой счет», отсутствие «работы критической мысли», когда «поэтическое слово не получает резонанса», привели и к отсутствию каких-либо норм, определяющих достоинство поэтического текста. Говоря о поэзии Е. Шварц, Г. Русакова и А. Макарова, выдержанной, по мнению автора в русле классической русской поэзии, Ростовцева противопоставляет ей «темные спутанные формулы» поэзии, ориентированной лишь на оттачивание мастерства. Это столкновение двух концепций поэтического слова является, по мнению критика, основополагающим в разговоре о будущем современной поэзии.

О том, как неуютно классике в сегодняшнем дне, размышляет **Анатолий Найман в статье «Слова последних утешений»** («Октябрь», № 6), посвященной «Реквиему» А. Ахматовой. Отмечая многоголосие поэмы («безымянная всеголосность»), ее «шекспировский звук», прослеживая ее религиозный слой, реминисценции из Мандельштама, автор обращается к вопросу о месте «Реквиема», точнее, его неуместности в сегодняшнем дне: «Сейчас, в 1995-м, он

вернее всего был бы зачислен в литературу более или менее ретроградную, прозвучал бы неуместно». И — политически (изверившись в сегодняшнем порядке вещей, «люди готовы видеть ушедшую эпоху если не совсем как золотой век, то по крайней мере более приемлемой, чем наша, и не хотят верить, что это была унизительная мука, сумасшедший страх... кровь, подлость, предательство, а не пение патефона»). И — этически (мораль с тех пор еще более продвинулась «в направлении бесчеловечности, и нам уже довольно безразлично, что происходило т о г д а у нас в Москве или Ленинграде или сейчас происходит в Чечне, — лишь бы это происходило не с нами»). И — эстетически («в расцвет пост-пост-пост-изма ахматовский "Реквием" выглядит сродни похоронной процессии, врезавшейся в карнавальное шествие, или надписи "Memento mori" над входом в дискотеку...»).

Основная мысль статьи **Всеволода Сахарова «Свет во тьме. Перечитывая В. Набокова»** («Литературная Россия», № 23): «у себя на Родине Набоков приживается с немалым трудом и потерями...» Размышляя о некоторых биографических коллизиях, несоответствиях между «даром писателя Набокова» и «человеком» Набоковым, об отношении писателя к русскому литературному наследию, которое он «высокомерно отрицал», автор статьи заявляет: «мы вполне бы могли отдать его Западу и его любимой стране Америке — если эта страна до него доросла». Но, добавляет Сахаров, «любой русский читатель Набокова даже в "переводных", англоязычных его произведениях видит чисто национальную манеру мыслить и писать, чисто русскую традицию духовно-культурной изоляции, в которой изнемогает высокомерный талант и черствая душа».

Без обсуждения «постмодерновых» материй обзор будет неизбежно неполным, поэтому посмотрим, что замечательного явилось на свет в этом воинственном углу литературной критики.

Вячеслав Курицын в статье «О сладчайших мирах» («Знамя», № 4) пишет о «маргинальных» книгах Жолковского, Каца, Эпштейна, видя их достоинство в том, что там обнажены «проблемы невозможности прямого высказывания, непротиворечивого языка, виртуальных реальностей, постклассических субъектно-объектных отношений, некорректности объективации». Это вводит книги в контекст постмодерна и делает их очень своевременными.

У критика из Львова **В. Сердюченко**, как видно, лопнуло терпение молча наблюдать из ближнего зарубежья за «своевре-

менными» веяниями в сегодняшней русской литературе. В его **памфлете «Прогулка по садам российской словесности»** («Новый мир», № 5) клеймятся «закомплексованные, истекающие похотливой слюной юнцы», которые сегодня «подались в литературу», где «пакостничеством тщатся заменить дарование». Упомянуты Бородыня, Буйда, Галковский, Зуев, Курицын, Лимонов, Пискунов, С. Соколов, Сорокин, Ю. Алешковский. Вик. Ерофеев, Королев. Второй объект критики — «концептуалисты» (Пригов, Кибиров, Айзенберг, Красовицкий, Некрасов, Рубинштейн) с их необеспеченными реальным содержанием претензиями на интеллектуализм. У Сердюченко не вызывает энтузиазма ни литература «телесного низа», ни литература интеллектуального «верха». Он пессимистически заключает: «Русская литература прекратила на время течение свое», поскольку находится «в обмороке просвещенный слой нации».

Меж тем **Вячеслав Курицын в статье «Букер-95 и его армия»** («Литгазета», № 24) рецензирует список претендентов на премию Букера. По его мнению, фаворит — Владимов — в своей прозе неоригинален. Характеры ординарны, созданы по скучному социально-психологическому шаблону, фабульных сюрпризов нет. Владимов пишет плотно, мясисто, но незаурядное письмо «ни к чему не приложено». Выделяет Курицын, как и следовало от него ожидать, сочинения В. Сорокина: «из всего списка именно два его произведения с большим правом могут рассчитывать на заметное место в любой вменяемой истории отечественной словесности».

Вопрос о «вменяемости», но не истории словесности, а курицынского кандидата на премию Букера ставит **Арсений Гулыга** в сердитой **статье «О постмодернизме, художественной импотенции и прочем»** («Москва», № 6), где делится своими впечатлениями от творчества В. Сорокина. Отмечая характерные особенности его текстов — «тягомотина» с невнятным смыслом, страсть к сквернословию, эксгибиционизм, автор особое внимание уделяет устойчивому у Сорокина мотиву — поеданию экскрементов, видя в нем описанный Фрейдом симптом сексуальной неполноценности («это личная беда человека, а вовсе не абсурдность нашего бытия, на чем настаивает "просвещенная" критика. Такое передергивание — преступление... против цивилизации, которая во всех своих проявлениях с уважением относится к унитазу»), и заключает: «Нас уверяют, что любой текст есть литература. Но среди текстов есть и такой: история болезни».

Менее брезгливый **Бахыт Кенжеев в статье «Антисоветчик Владимир Сорокин»** («Знамя», № 4) уводит разговор из плоскости

патопсихологической в плоскость социально-советскую. Он полагает, что названный литератор — хороший писатель, но ограничен в средствах и в чувствах. Хорош Сорокин, когда спорит со стилем соцреализма, подрывая его изнутри и тем самым опровергая соцреалистическую иллюзию: «Сорокинское ощущение пустоты и абсурда (...) требует могучего фона, дающего чувство заведомо ложной цельности бытия». Но когда писатель избирает другой фон, прием перестает срабатывать. Сорокин не может без цитат из советской цивилизации — и в этом зависим от нее.

И в завершение обзора отметим еще одну публикацию — статью писателя из Смоленска **Виктора Смирнова «Кому принадлежит Твардовский?»** («Литературная Россия», № 23), посвященную премии «Василия Теркина», которую учредил Союз писателей России. Против этой премии и ее лауреатов выступили дочери поэта — Ольга и Валентина Твардовские в газете «Известия» (от 5 мая), считая, что учредили ее недруги отца. Полемизируя с этим утверждением, автор приводит различные доказательства того, что Твардовский никогда не считал своими врагами даже тех, кто подписал «письмо одинадцати» против «Нового мира». Из воспоминаний Солженицына о Твардовском в «Бодался теленок с дубом» автор заключает, что Твардовскому всегда были близки писатели «земного начала» — «деревенщики», через которых и родилась «замечательная идея о премии Твардовского и Теркина». Автор также цитирует воспоминания Твардовского, где тот пишет о невнимании дочерей к его приусадебному участку, из чего делает вывод, что «отец по крови» и «отец по Духу» — разные вещи. Называя Твардовского своим «крестным отцом» в литературе, Смирнов заверяет, что посвятит «оставшуюся жизнь» светлой, нетленной памяти поэта.

3. Культурология, философия

«Умом Россию не понять», — сказал поэт и дал дополнительный импульс всем, пытающимся Россию понять, объяснить и научить. Именно эти три момента в равной степени присутствуют в культурологической и философской публицистике последнего времени.

Что же нового принес нам 1995?

Полгода — срок небольшой, особенно для толстых журналов, с трудом протаскивающих массивное свое тело в оказавшиеся узкими для культуры двери рыночной экономики. И нет ничего удивительного в том, что в предлагаемом читателю «Континента»

библиографическом обзоре многие журналы отсутствуют, а названные зачастую представлены лишь одним или двумя номерами, а то и вообще помечены годом прошедшим, хотя появились на свет в этом году. А все-таки не советуем пропустить эти полгода жизни журналов, не отказавшихся на своих страницах от культурологической, философской и религиозной публицистики. И уж тем более — от решившихся посвятить себя исключительно этому недоходному нынче делу.

Прежде всего стоит обратить внимание читателя на то, как существенно изменился подход нашей публицистики к освещению основной для нее темы — ***темы сегодняшней России.*** Ныне все чаще ***общероссийский кризис рассматривается в контексте мирового общецивилизационного кризиса.***

Это не значит, что и в девяносто пятом читатель так уж редко встретится с вполне традиционными в подаче материала исследованиями. Такова **статья Н. Павлова «Русские: бремя выбора»** («Наш современник», № 1). Рассматривая основные бытующие мифы о причинах двух катастроф — 1917 и 1991 гг., Павлов замечает, что национальное самосознание русских сегодня столь низко, что не препятствует даже взаимоистреблению. Русские как нация переживают глубокий кризис. «Лозунг русского национализма в этом вопросе должен быть простым и ясным: нам чужого не надо, к военным авантюрам не стремимся, — пишет публицист, — но за свое будем воевать до Победы!»

Примерно о том же и **статья А. Ланщикова «Будет ли существовать Россия?»** («Москва», № 1), ставящего условием возрождения России создание национальной власти (его же — **«Почему я стал американофобом»**, № 2), и **статья К. Мяло «Под колокольный звон: возрождение или вырождение?»** (выступление на II Всемирном Русском Соборе, февр. 1995, «Наш современник», № 4), характеризующая происходящее в стране как сотворение «России без русских». Об общенациональном кризисе, о задаче «сбережения нашего народа» и **речь А. Солженицына** в Государственной Думе в октябре 1994 г., перепечатанная журналами «Посев», № 1 и «Мъра», № 4-94.

«Сейчас наш народ надо сберегать от "нового мирового порядка"» на основе американских "общечеловеческих" ценностей», — считает **М. Назаров**, автор **статьи «Запад, коммунизм и русский вопрос»** («Москва», № 6). Публикация посвящена критике последних работ и выступлений А. Солженицына. Пытаясь сформулировать «русский вопрос» конца XX века, автор говорит о необходимости *ответственно* ставить «задачи русского возрождения».

А философ **Н. Моисеев в статье «Россия — опоры и перспективы»** («Вопросы философии», № 4) предпочитает говорить не о кризисе, а о переживаемом нами Смутном времени. И очень надеется на способность России войти в «цивилизованный мир», уповая на главное, еще не растраченное национальное ее достояние — интеллект и образованность.

Публицисты журнала «Полис» также предпочитают термин «Смутное время». **Я. Браткевич в статье «Смуты в России: попытка оценок и прогнозов»** (№ 6-94) отмечает основной парадокс постсоциалистических преобразований: движущей силой крупномасштабных изменений стали не объективные интересы, а идеологические соображения. Сегодня политика приобретает субъективный, идеологизированный и личностный характер, и возможные сценарии развития страны колеблются от анархии до — военной диктатуры. Так или иначе, для автора статьи очевидно, что Россия выработает свой путь модернизации. Однако, например, **В. Тишков** («Вопросы философии», № 2) вообще предлагает отказаться от разговоров о «своем пути». **«Что есть Россия?»** — задается вопросом публицист, определяя «перспективы нацие-строительства». Ни до, ни после революции массовое сознание не ассоциировало себя с какой-то определенной нацией, считает автор. Национальная общность есть атрибут самосознания ее членов, и кроме, как в языке интеллектуалов, в России не было такой общности. «Интеллектуальные дебаты о русской/российской нации остались элитным проектом». И потому сегодня, по мнению Тишкова, для преодоления кризиса Россия может безболезненно применить стратегию постепенной деэтнизации государственности и деэтатизации этничности.

Таковы публикации на тему сегодняшней российской ситуации, выдержанные в более или менее традиционных, ставших уже привычными рамках проблемы. Но, как мы уже отметили, в журнальной публицистике все яснее прослеживается ***тенденция погружения проблем общероссийского кризиса в контекст мирового общецивилизационного.***

Журнал «Полис» (№ 6-94) печатает **статью А. Ахиезера «Социокультурное прогнозирование России на макро- и микроуровнях».** Автор отмечает, что прогнозирование социокультурной динамики России требует анализа ее движения между «полюсами оппозиции суперцивилизаций». Россия — страна, застрявшая между двумя цивилизациями. Специфика советской системы, бремя которой продолжает нести наше общество, состоит в попытке решить некоторые задачи либерального общества по-

средством сохранения исторически сложившихся ячеек традиционного общества. Советская же идеология представляет собой манихейский гибрид традиционализма и усеченного либерализма. В силу этого возможности развития страны носят троякий характер: развитие в сторону архаики, в сторону независимого от власти предпринимательства и — сохранение гибридных форм. Советский период рассматривается автором статьи как «историческая попытка» подняться на уровень либеральной цивилизации, используя неадекватные средства. И сегодня в обществе сохранилось господство «инверсионной логики», при которой способ осмысления проблем не соответствует их реальной сложности. Сегодня мы наблюдаем процесс неукоснительного ослабления ценности этического единства людей, который сопровождается встречным движением увеличения ценности отдельной личности. По мнению публициста, переживаемое нами накопление утилитарных ценностей само по себе не так уж плохо, ибо утилитаризм несет в себе конструктивное начало. В частности, закладывает основы формирования либеральных ячеек.

Иначе оценивает ситуацию **В. Шилов в статье «Социалистический консерватизм в посткоммунистических обществах»** («Свободная мысль», № 3), считая, что отечественный консерватизм возник как реакция на негативную практику либерального радикализма. И лозунги консерватизма становятся в странах бывшего СССР ведущими «лозунгами сегодняшнего дня».

В № 1 «Полиса» можно ознакомиться с материалами научной дискуссии **«Цивилизационная модель» международных отношений и ее импликация»**, разгоревшейся в ответ на **статью С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций»** («Полис», № 1-94). Среди участников — **И. Пантин, В. Хорос, А. Кара-Мурза, А. Панарин, В Умов, М. Ильин** и др. Отмечая возрастающее значение мировых цивилизаций во всемирном процессе модернизации, определяя Запад как единое культурное сообщество (Умов), участники дискуссии говорят о цивилизационной незрелости России. Поэтому будущее нашей страны — не в создании империи, а в построении прочного регионального политического и экономического Союза, сохраняющего реальную самостоятельность государств (Умов), в культурной «сборке» (Хорос), в обретении заново чувства национально- культурной идентичности, в определенной замкнутости. Равноправные и плотные взаимоотношения России с Западом сегодня построить невозможно, они — дело завтрашнего дня.

«Общественные науки и современность» (№ 3) предлагают новую статью самого **С. Хантингтона,** столь высоко оцененно-

го участниками дискуссии «Полиса». **«Столкновение цивилизаций и что оно может означать для России»** — так назвал автор свою работу. После окончания «холодной войны», пишет Хантингтон, культура уже не играет безусловно объединяющую роль, зачастую она выступает как фактор разъединяющий. Крупнейшими конфликтами будущего и станут конфликты различных культур, цивилизаций. Такой «мир цивилизаций» означает для России необходимость переосмыслить себя в общемировом контексте. Потеряв контроль над неправославными государствами Западной Европы, России приходится смириться с фактом, что они и далее будут стремиться определить свою идентичность в соответствии с традиционной культурной ориентацией. Тем не менее, с точки зрения автора, ошибочно не признавать значительную роль России в будущей судьбе мира. Ведь именно она понесет ответственность за стабильность среди православных народов. И уже сегодня нужно признать обязательным ее участие в будущих межцивилизационных организациях — участие на правах лидера государств, принадлежащих православной культуре.

В № 1 «Полиса» можно прочитать статью **К. Сорокина «Геополитика современного мира и Россия»**. Отмечая многополярность современной международной системы, автор статьи оценивает геополитическое положение нашей страны как нестабильное и выдвигает для нее идею рациональной стратегии «балансирующей равноудаленности», вплоть до отстраненности от дальнего зарубежья.

Эти же рекомендации поддержаны и мотивированы **Т. Айзатулиным, С.Кара-Мурзой** и **И. Тугариновым** в совместной **статье «Идеологическое влияние европоцентризма»** («Социс», № 4). Европоцентризм — как метаидеология западного общества — ныне в России выразился в тезисе: возврат в нормальную цивилизацию. Эта социальная философия перестройки и реформ представлена интеллигенцией и партийно-государственной элитой. Но сложные поликультурные и полиэтнические общества типа российского не позволяют навязывать им подобные «прогрессивные» западные нормы.

Четкие цивилизационные границы проводит и **С. Каспэ в статье «Российская цивилизация и идеи А. Дж. Тойнби»**, навеянной книгой Тойнби «Постижение истории» («Свободная мысль», № 2). «Универсальное государство» Тойнби (государство, «поглотившее» цивилизацию) позволяет говорить о его синонимичности «империи». В этом смысле весьма характерно отождествление понятий «российская цивилизация» и «русское национальное

государство». В истории монолитность российской цивилизации обеспечивалась государственными структурами России. И современная Россия, по мнению автора, нуждается в принципиально иных, нежели практикуемые, методах практического воздействия и теоретического анализа. Непригодность традиционного метода вполне доказана. Российский кризис может быть зафиксирован и осознан только в терминах кризиса цивилизаций.

О том же пишет и **А. Липкин в работе «Духовное ядро» как системообразующий фактор цивилизации: Европа и Россия»** («Общественные науки и современность», № 2). Для различия цивилизаций автор статьи вводит понятие «духовного ядра» (некоей системы идеалов, ставшей движущей силой существенных для общества процессов). Исследуя с этой точки зрения цивилизации Древнего Рима, западно-европейскую и русскую, автор отмечает: при явном несовпадении, даже противоположности, между западно-европейской и восточно-европейской цивилизациями нет пропасти антагонизма. Анализируя уже существующие основные проекты возрождения российского самосознания, автор отмечает привлекательность и перспективность для нас проекта субцивилизационной (национальной) российской общности в рамках европейской культуры.

Автора **«очерка российской трагедии» «Гибель «империи зла» А. Зиновьева** («Социс», № 10, 11—94; № 1, 2, 4-95) все это, напротив, привлекать не может, что очевидно из его утверждения, что происшедшее в России — дело рук сверхгосударственности Запада (о том же, что такое государственность, о ее уровнях, а также о русском народе-предателе, о «западнизме» — как более точном наименовании социального строя западных стран, взамен «капитализма» и «демократии», а также о демократии как поверхностном слое реальной власти, — обо всем этом читатель узнает, если прочтет пространный очерк известного публициста).

Итак, **«Какую Россию мы обретаем?»** — задается вопросом **Г. Марченко** («Октябрь», № 2—3). Ведь суть трагичности нашей истории, по мнению публициста, лежит в незавершенности процесса своей цивилизационной самоидентификации, в постоянном поиске места в мире. России приходится обретать себя на фоне общемирового цивилизационного кризиса. Наступил период конфликтов межнациональных, межкультурных, религиозных. Подробно останавливаясь на геополитических идеях Л. Гумилева, анализируя бытующие «проекты» спасения России (западную идею, евразийскую, мессианскую, имперскую), автор приходит к выводу: сегодня государственное единство России —

единственный способ выжить. Необходимо выйти из «федеративного тупика», в котором оказались российские власти, и направить процесс регионализации — как определяющий — в позитивное русло.

О кризисе самоидентификации пишет и **В. Шаповалов в статье «Неустранимость наследия»** («Общественные науки и современность», № 1). Проблема определения цивилизационного единства — это прежде всего проблема наследия, считает автор. Российская цивилизация является сыновней по отношению к греко-римской. От Византии Русью была принята не только религия, но и культура — со всей суммой знаний, опыта, юридических и этических норм, духовных ценностей, художественных идеалов. Игнорирование такого культурно-генетического кода цивилизации, ее внутренних механизмов самосохранения и самопроизводства может обернуться для современной России трагедией.

Статью «Век бифуркации. Постижение изменяющегося мира» Э. Ласло предлагает журнал «Путь» (№ 7). Современное поколение, по мнению австрийского философа, стоит перед задачей создания нового образа мышления, нового образа жизни. Рассматривая современную цивилизацию как сложную динамическую систему, автор отталкивается от понятия бифуркации — особенности поведения сложных систем, подвергшихся сильным воздействиям и напряжениям. Процесс бифуркации возникает при переходе от одного семейства аттракторов к режиму более сложному и хаотическому (напомним: аттрактор — сила, вынуждающая систему развиваться вдоль определенной «траектории». Советуем читателю обратить внимание на этот, ставший столь популярным среди современных культурологов, термин). Хаос при этом может оказаться лишь прелюдией к новому развитию. И в обществе, в отличие от точных наук, бифуркация не обязательно вызвана игрой случая. Деятели, создающие критические ситуации, могут управлять процессом. Ласло указывает на две, за последние сорок лет, волны бифуркаций, инициированные гуманистическими мотивациями и вызвавшие неожиданные последствия: явления деколонизации и гласности. Мир хрупок, замечает философ, подкрепляя свои выводы целым рядом статистических выкладок. Человечество приближается к крутому повороту глобальной мировой бифуркации. И реальная проблема на сегодня — не поиск виновных, но — необходимость взять на себя ответственность за исправление допущенных ошибок. Новый мир и должен быть создан. И нужен для этого вовсе не биологически «новый вид», но культурно новый «мутант».

О российском кризисе на фоне неизбежного планетарного пишет **Н. Моисеев в статье «Современный антропогенез и цивилизационные разломы. Эколого-политологический анализ»** («Вопросы философии», № 1). По мнению ученого, никакого устойчивого развития в нынешних условиях вообще не может быть. Хотя на сегодня нет единой картины развития цивилизаций, «феномен лемингов» (массовое самоубийство для предотвращения перенаселения и сохранения популяции) может рассматриваться как один из сценариев развития будущей истории. Предотвращение деградации человечества требует формирования принципиально новой цивилизации, полной и абсолютной перестройки содержания прежних целей, да и самого процесса антропогенеза, требует отыскания новой экологической ниши для человечества. И самые опасные противостояния Моисеев связывает не с модернизацией (которую принимают все традиционные цивилизации), но с экологией, с перестройкой экологической ниши человечества. Что же касается России, то как раз у нее в новой геополитической ситуации есть явные преимущества, такие как географическое положение и богатая традиция сочетания двух цивилизаций. (На тему геополитики читатель может также прочесть **статьи: И. Левяш «Средняя Европа: структура и геополитический выбор»; Ст. Сестанович «Воздать России должное»** — «Полис», № 1.)

Гораздо пессимистичнее смотрит на перспективы России в новой геополитической ситуации **Н. Покровский (статья «Вифлеемские звезды «глобализации»** написана по впечатлениям от XIII Всемирного социологического конгресса в Германии летом 1994 — «Социс», № 2). С падением коммунистического режима сложилась новая геополитическая ситуация в мире — с единым центром в США. Этот сдвиг носит, по мнению автора статьи, характер цивилизационный. Содержанием спорадического распространения новой единой цивилизации стала глобализация, иначе называемая постмодернизмом. В этой ситуации, считает Покровский, единственным требованием для человечества остается требование стабильности. Глобализация XX века несет в себе полное отмирание всех прежних традиций, снимает проблему национальной идентичности, несет полный отказ от прошлого. Для России же, пока мало включенной во всеобщий процесс глобализации, уже сегодня ситуация обернулась расколом на Россию «новых русских» и традиционную, пытающуюся выжить, хотя и «умом... не понять» как.

Исследование философско-мировоззренческой природы постмодернизма — одно из ведущих направлений развития сегодняшней

культурологии и философии. Его подробный анализ представляет, в частности, **М. Чешков в статье «Новая наука», постмодернизм и целостность современного мира»** («Вопросы философии», № 4). По мнению автора, постмодернизм еще и сегодня сохраняет свое литературно-критическое «происхождение». Его составной стала «критика разума». Враждебность логике и рационализму, распад субъекта, отсутствие личности, осознающей свою ответственность, самореализация индивида в русле логики потребления, отсутствие интереса к базовым правам человека, сексизм, неспособность противостоять власти, отсутствие чувства историчности — все это в полной мере присуще новой философско-мировоззренческой ориентации современного человека (автор статьи видит яркое воплощение постмодернизма в Японии).

В концепциях постмодерна наиболее адекватно и описывается характер современной культуры, — считает **Л. Ионин в статье «Идентификация и инсценировка (к теории социокультурных изменений)»** («Социс», № 4). Автор ставит задачу найти «собственно социологическое звено между микросоциологическими и социально-философскими подходами». Автор замечает, что процесс идентификации человека в любой новой культурной форме (будь то постмодерн или трудноопределимая ситуация в России) не начинается, а завершается формированием социального интереса, начинается же поведенческой презентацией (т.н. процесс инсценирования). В новой цивилизационной ситуации важны именно внешние признаки идентификации, усвоение поведенческого кода — важны «реквизит» и «сценическое движение». И лишь потом начинается освоение теоретического ядра и морально-эмоционального кодекса новой культурной модели. Модель же необходимо предполагает наличие ритуала, форм взаимодействия, особого рода коллективности. В России гибель советской моностилистической культуры привела к массовой дезориентации. Человек массы пока не способен себя идентифицировать ни феноменологически («не узнаю мира»), ни структурно («миру не соответствую»), ни — биографически.

Проблемы личности, ее функционирования и взаимодействия с посткоммунистическим государством, ее общественные, культурные и политические проявления тоже нередко анализируются сегодня на страницах толстых журналов. Так, **Т. Заславская** в своих заметках **«Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус»** («Общественные науки и современность»,

№ 1; «Социс», № 3) делает первоначальный социологический анализ нового бизнес-слоя, появившегося в пореформенной России. За прошедшее десятилетие в стране, по мнению социолога, сформировался не вполне развитый, слабо идентифицирующий со своим статусом, но достаточно массовый бизнес-слой. Его особенностью стало то, что грань между предпринимателем и остальными людьми сегодня в России определяется не сферой деятельности, но — типом личности. (О «новых русских» пишет и **Н. Шматко в статье «Становление российского патроната и бюрократический капитал»** — «Социс», № 6.)

Целый ряд статей затрагивает тему ***«личность и демократия»***. Уже и на уровне обыденного сознания подмечена особенность сложившихся в посткоммунистической России взаимоотношений личности и государства: изначальное недоверие и самоотстраненность человека толпы от власть имущих. Очевидно, этот социально-психологический феномен и заставляет **И. Качановского**, автора статьи **«Будущее либеральной демократии в России»** («Общественные науки и современность», № 2), говорить о том, что судьба либеральной демократии в нашей стране во многом зависит от конкретной фигуры Б. Ельцина. Ситуация в посткоммунистической России напоминает публицисту веймарскую Германию — авторитарностью общества как на уровне лидеров, организаций, так и на уровне масс. Потенциальная угроза для демократии содержится, по мнению Качановского, в самой российской демократии, в поддержке ею тоталитарных сил.

В том же номере журнала напечатан **Круглый стол «Демократия в России. Самокритика и перспективы»**. Его участники — **Г. Водолазов, Г. Бурбулис, Л. Пономарев, Е. Боннэр, Е. Гайдар, Г. Явлинский** и др. — обсуждают характер сложившейся в стране демократии, переживаемые ею трудности временного раскола.

Фундаментально выстраивает свои **«Размышления о либерализме» Д. Штурман** («Новый мир», № 4). Прослеживая ход российской истории от реформ Петра I, известный публицист приходит к выводу, что и сегодня России не хватает подлинного либерала — «властного и сильного, с четкой программой, не преступающего нравственного закона, практика, организатора, лидера».

Ну, а поскольку суперлиберала Россия не знала никогда, то актуально звучат и обе публикации «Нового времени», взятые из архивов российской публицистики: **П. Новгородцева «Демократия на распутье»** (№ 9) и **И. Ильина «Демократия? В России?»**

(№ 10). Здесь известные публицисты прошлого размышляют о невозможности демократии без поднятия нравственного уровня народа, о том, что демократия — лишь одна из форм правового государства, «только распутье, а не достигнутая цель» (Новгородцев), что «народ, лишенный искусства свободы, будет настигнут опасностью анархии, а потом — тирании», что без необходимых предпосылок для здоровой творческой демократии страна «не должна вводить у себя этого режима» (Ильин).

Вообще, вспоминая слова У. Черчилля, многие подчеркивают, что «демократия — самая плохая форма правления, если не считать все остальные». Демократия плоха «всеядностью, плюрализмом, толерантностью» — развивает мысль **М. Ильин в статье «Приключения демократии в Старом и Новом Свете»** («Общественные науки и современность», № 3). Однако автор отнюдь не агитирует читателей против демократического порядка; напротив, вслед за подробным экскурсом в историю, делает вывод: лишь с точки зрения эффективности плоха демократия, но она является «лучшей» по степени надежности. Преимущество же современной демократии перед классической — в последовательности и рациональном соединении испытанных временем политических структур.

Иных взглядов придерживается **Б. Парамонов**, исследующий **«Низкие истины демократии: демократия и власть»** («Звезда», № 4). Современная жизнь превратила людей в камердинеров, охочих до сплетен, считает автор статьи, останавливая свое внимание на двух традиционных формах правления: монархии (Англия) и демократии (США) — и их преломлении в современном сознании, на взаимоотношениях власти и народа.

«Новая демократия или новая диктатура?» — ставит вопрос **И. Клямкин** («Новый мир», № 4). Эти заметки, основанные на газетных публикациях автора за прошлый год, ставят целью «поиск демократической альтернативы тому варианту общественного развития, что осуществляется в последние годы». По мнению публициста, прошедшие реформы вылились в модернизацию элит, проблема же эффективного собственника по-прежнему осталась на повестке дня. Однако особенностью, скажем, региональной элиты является то, что она готова не только «урвать», как пишет автор, но и принять ответственность за решение общенациональных проблем. Задача же ясна: преодоление кризиса. И вот для ее выполнения следовало бы уяснить, что причиной кризиса стало то, что движение было начато с практического воплощения идеи демократии. Основным уроком прошедшего десятилетия реформ публицист называет тот упущенный факт,

что «неизбежная либерализация коммунистической экономики не требует последовательной либеральной политики и политиков, равно как и либеральной идеологии, а требует политического и идеологического прагматизма». Из загнивающей демократии вырастает фашизм; они и становятся реальными конкурентами: демократия и фашизм.

Возросший интерес к правым идеологиям отмечает и **А.Андреев в статье «В поисках органической политики»** («Москва», № 1). По мнению публициста, в случае продолжения нынешней политики властей приход к фашизму неизбежен. В статье подробно анализируются две бытующие мифологемы: «Сон и пробуждение Ильи Муромца» и «освобождение с Запада». Однако, отмечает публицист, реальная Россия переживает сегодня ситуацию идеологического вакуума, глубокого отрыва политики от общества. Массы ориентируются не на программы, а на лидера. Такое состояние общества не может не вызывать опасений. Именно потому автор пытается найти собственный «противовес»: политику национальной консолидации, практическое жизнестроение на основе народного самоуправления.

Пытаясь нащупать какое-то стержневое содержание в прошедшем десятилетии реформ, публицисты зачастую сходятся во мнении, что речь должна идти о ***процессе модернизации элиты.*** С этой точки зрения читателю будет небезынтересна статья **Д. Бадовского «Трансформация политической элиты в России — от «организации профессиональных революционеров» к «партии власти»** («Полис», № 6-94). Формирование новой политической элиты происходит, по мнению автора, на основе заимствования у старой, тоталитарной, ее персонала и набора новых «членов» с использованием прежних механизмов рекрутирования. Бадовский предлагает содержательное соотнесение понятия «номенклатура» с более широким кругом понятий «класс», «элита», «бюрократия». И выдвигает концепцию циркуляции и смены элит, согласно которой элитообразование происходит посредством механизмов оформления «контрэлит». Все пережитые страной «этапы большого пути» представляются автору статьи этапами формирования номенклатурной системы. А сегодняшний политический процесс — складыванием региональных инстанций, т.е. процессом формирования на местном уровне устойчивых политико-экономических группировок вокруг главы местной исполнительной власти.

О посттоталитарной элите пишут также **М. Афанасьев — «Изменения в механизме функционирования правящих региональ-**

ных элит», **М. Фарукшин — «Политическая элита в Татарстане: вызовы времени и трудности адаптации»** («Полис», № 6-94); **Г. Ашин — «Смена элит»**, **С. Крыштановская — «Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту»** («Общественные науки и современность», № 1).

О созревании в недрах пореволюционного общества контрэлит пишет и **Б. Пушкарев в статье «О правящем слое и власти»** («Посев», № 1). Однако «революцию» 1991 года он считает прежде всего обвалом тоталитарного строя, а не целенаправленной сменой старого на новый. И живем мы с «наследием недоделанной революции». Нынешний правящий слой разнороден, но его объединяют определенные психологические черты и ценностные установки (культ власти, идейный цинизм, смешение государственного и личного интереса и др.). Поэтому сегодня необходимо обновление ведущего слоя страны, формирование новой политической культуры, новая идея России, которой пока ни одна из партий не сформировала.

Еще одну статью на тему «номенклатурной революции» — **«Россия — 95» Е. Трифонова** — можно прочитать в «Посеве» (№ 2), а «Кентавр» (№ 6-94, № 1-95) печатает статью **Т. Штукиной «К новому измерению феномена политического лидерства»**, анализирующую феномен «истинного провидческого лидера», способного учесть не только будущее собственной партии, но и завтрашние потребности окружающего мира, необходимые поведенческие ограничения.

Характер новой элиты все-таки более открыт, чем номенклатурной, — продолжает ту же тему **Т. Наумова статьей «Интеллигенция и пути развития российского общества»** («Социс», № 3). И хотя нынешняя элита несет в себе угрозу авторитаризма и тоталитаризма, здесь следует обратить внимание на некий встречный процесс, заметный в сегодняшнем российском обществе: изменение стереотипа поведения интеллигенции, ее интерес к политике и вхождение в структуры управления. Что может иметь свое положительное значение в прослеживаемых негативных явлениях в элитообразовании.

Демократия и интеллигенция — еще один поворот той же темы. **Л. Никитинский** предлагает читателю свою точку зрения на **«Миллион терзаний» заблудшего интеллигента (поправки к парадигме)»** («Общественные науки и современность», № 2). Демократический способ государственного устройства видится автору как своеобразная балансировка между двумя крайностями: анар-

хией и тиранией. Парадигму либеральной советской интеллигенции предперестроечных лет публицист определяет как анархическое отрицание всякого права государства на принуждение. Сегодняшний день ясно доказал, сколь необходим был отказ от упрощенных идей нерегулируемой «демократии». Власть народа сегодня невозможна — если она возможна вообще, замечает автор статьи. От демократических подходов к правам человека надо перейти к либеральным и говорить не о власти народа, а власти для народа. Которая при определенных условиях может быть и авторитарной.

«Между авторитаризмом и демократией» — так ставят проблему и **И. Клямкин, В. Лапкин, В. Пантин** («Полис», № 2). Отмечая рост авторитарных настроений в российском обществе, авторы видят их причину в надежде на «жесткую руку», способную поправить дела в экономике, не затронув при этом политических свобод. И пишут об опасности иллюзий «либерального авторитаризма» на российской почве.

Подборка, напечатанная журналом «Человек» (№ 2), озаглавлена **«Раскол интеллигенции?»** (материалы семинара «Интеллигенция в условиях кризиса», проходившего в рамках Международной конференции «Россия на переломе эпох», организованной ИФ РАН). В обсуждении проблемы участвовали **А. Баранов, Ю. Борко, О. Вите, С. Ениколопов, П. Паршин, М. Рожанский** и др. Само понятие «интеллигенция», считают участники семинара, не определено ни в истории, ни в современном культурном словаре: люди, занятые интеллигентным трудом? группа, политически и идейно ангажированная на роль духовных отцов нации? личности со способностями к рефлексии? со ставкой на духовность? Или интеллигенция — вообще понятие, связанное с историческими ситуациями, а отнюдь не глобальное? Но хотя понятие неопределенно, участники семинара сошлись на том, что внутренний распад феномена был намечен уже в 60—70-е годы. Интеллигенция всегда была лишь внешне монолитна, сегодня же, когда идет процесс переструктуризации социума, она пытается заново переосмыслить себя в обществе и истории. Раскол интеллигенции, как любой раскол даже более цельных и определенных сообществ, делает невозможным диалог, столь необходимый для преодоления российского кризиса.

Дора Штурман в заметках **«После Катастрофы. По страницам сборников «Из глубины» и «Из-под глыб»** («Новый мир», № 2) опять, как во всех своих статьях последнего времени,

смотрит и на проблему российской интеллигенции с позиций *историзма*. Предлагая анализ известных ныне широкому читателю сборников, она замечает: «Надо было реагировать на нарастающую революцию *практически* и *общедоступно* — они рефлектировали *интеллигентно* и *рафинированно*».

«Размышления о Февральской революции» предлагает **А. Солженицын** («Москва», № 2). Обзорные статьи по Февралю были написаны писателем при работе над «Мартом Семнадцатого», но и сегодня эти заметки звучат как нельзя кстати. Революцию, размышляет писатель, «определял издавний страстный конфликт общества и власти — в интеллигентном ожесточении многих десятилетий, никогда не пересиленном властью». В Феврале сказалась полная потеря национального сознания и в этом «предупреждение для сегодняшней зыбкой политики».

Читателю будут небезынтересны и заметки **С. Залыгина «Два провозвестника»** («Новый мир», № 3), в которых известный писатель размышляет над «столкновением крайностей» российского мышления — Достоевским и Лениным.

Уроки истории пытается извлечь и **А. Янов**, главы из книги которого **«Происхождение автократии»** печатает журнал «Знание — сила» (№ 1). Публицист обращается к революции более отдаленной, чем события семнадцатого, — к опричнине Ивана Грозного, которая стала, по его мнению, не только «политической революцией, обрекшей страну на странное циклическое воспроизведение собственной истории — все новых и новых ее террористических взлетов, неизменно сменяющихся бесцветным прозябанием, все новых и новых, условно говоря, сталинистских и брежневских фаз; не только экономической революцией, обрекшей страну на периодическую смену судорожной модернизации и затяжного застоя... она была и культурной революцией, обрекшей многие лучшие умы России... на унизительную интеллектуальную зависимость от автократического стереотипа».

Вообще следует заметить, что в сегодняшней культурологической публицистике интерес к истории (как российской, так и мировой) весьма своеобразен. И дело даже не столько в том, что история волнует прежде всего теми своими уроками, которые она способна преподнести современности, сколько в том, что сама история воспринимается прежде всего (и только) как история духа, мысли, сознания, где факт носит характер служебный, иллюстративный.

Не потому ли, в частности, так основательно засело сегодня в умах такое, например, явление отечественной мысли как *евразийство*?

Так, **Н. Рязановский** в «Звезде» (№ 2) подробно знакомит российского читателя с **«Возникновением евразийства»**. Статья была впервые опубликована в 1967 году в Лос-Анджелесе, в 1993 перепечатана там же в сборнике статей автора, и вот впервые предстает перед нами. Рязановский подробно анализирует первые сборники нового по тем временам философски-мировоззренческого течения, их историографию, историю философии, социальные, культурные и психологические основы евразийства.

В. Сендеров обращается к истории течения в статье **«Евразия: прошлое или будущее, реальность или миф?»** («Грани», № 175). Отметив нынешнюю популярность евразийских идей, Сендеров пытается доказать, что в современной их трактовке «неверно почти все», что в «идеологии евразийства без труда просматриваются и большевистская, и фашистская компоненты», что «евразийство вовсе не так невинно, как кажется с первого взгляда».

Ю. Каграманов в статье «Империя и ойкумена» («Новый мир», № 1) также пытается оценить течение евразийства с точки зрения современника. И в главном совпадает с выводом Сендерова: «идеал евразийства есть, по сути, респектабельный двойник того режима, который установился в России при Сталине», ибо и для него имперское государственничество должно быть поставлено во главу угла, и модель орды оказывается «ближе русским людям, чем западные институты». Полагая евразийство за варварство, упрекая «историю по Гумилеву» в дурной бесконечности, автор статьи считает преодоление евразийства в российской душе выходом из «замкнутого круга» западно-восточного довлеющего себе варварства и уповает на возвращение на круги своя — то есть в Европу. Ибо христианство — а Россия безусловно христианское государство — зовет в Европу, а не в Азию. Бегло очертив историю духовного упадка Европы и Америки, Каграманов призывает отказаться от притягательности варварства, смелеющего во времена душевной смуты, — в том числе и от евразийского — и обрести совместно с Европой религиозно-нравственный «вектор» как основной цивилизационный критерий; встать на религиозно-нравственную точку зрения, делающую «христианскую совесть выше любых других соображений».

Крайне важной показалась публикация на тему евразийства и еще двум публицистам — **Н. Нарочницкой и К. Мяло**, из-за искажений в предыдущей публикации вторично напечатавших свою статью **«Еще раз о «евразийском соблазне»** («Наш современник», № 4). Авторы видят в происходящем разрушение исторической России и превращение русского народа с его сло-

жившимся национальным самосознанием в «народонаселение евразийского пространства» и ратуют за возрождение христианского сознания в виде «исконной православной державной идеи».

Обсуждение евразийской идеи, с интерпретаторами которой читатели, очевидно, еще не раз встретятся на страницах толстых журналов, — один из отголосков более широких споров — ***о русской ментальности, о проблемах национальной самоидентификации.*** Именно об этом и шла речь на **Круглом столе «Вопросов философии» «Евразийство: за и против, вчера и сегодня»** (№ 6). В обсуждении приняли участие **А. Панарин, В. Сендеров, Н. Цимбаев, И. Кравченко, Н. Гаврюшин** и другие. Были подняты вопросы генезиса евразийской концепции, места России в общем миропорядке, историософская проблема «русского пути», проблемы евразийства как новой идеологии, рассмотрены шансы практического воплощения идей этого философско-мировоззренческого движения. По мнению большинства участников Круглого стола, сегодняшняя популярность евразийства в большой степени вызвана пафосом «дисциплинированной государственности, способной отстоять национальные интересы и приоритеты», что особенно важно для переживающей смутные времена России. Было сказано немало и о евразо-большевизме как «красно-коричневой» крайности евразийства, этого сегодняшнего псевдонима «серьезнейших и актуальнейших тем нашего национального самосознания». (В том же номере опубликована и работа ученого из Германии **А. Игнатова «Евразийство» и поиск новой русской культурной идентичности».**)

К тому же общему руслу дискуссий вокруг проблемы «русской ментальности» относятся несомненно и многочисленные публикации, посвященные обсуждению ***проблем своеобразия русской философии.***

«Вопросы философии» (№ 2) продолжают публикацию откликов на дискуссию о русской философии (см. «Вопросы философии», № 1-94). На этот раз на страницах журнала высказались **З. Каменский, В. Пустарнаков, Л. Поляков, А. Ермичев.** Выступающие согласились в главном: общей культурной основой и евразийской, и так называемой русской философии является христианство; не существует двух онтологически различающихся моделей историко-философского процесса (русской и западной), но есть исторически детерминированные формы единой модели, и потому-то в отставании «русскости» и ощущается всегда некий «невроз уникальности».

Очевидно, с этим не согласится **К. Гарднер**, автор статьи **«Обетование русской философии: восточный «λογος» как поправка западного «ratio»** («Путь православия», № 3-94). Человечество, по мнению Гарднера, нуждается в «будущей философии», которая сможет восстановить в нас «чувства смысла и цели человеческих предприятий», чувство, сильно поколебленное упадком религии и богословия. Обращаясь к полузабытой статье А. Лосева «Русская философия», Гарднер отстаивает инородность русского «любомудрия» западному: его нелюбовь к абстрактному мышлению и упование на образ и символ (взамен логических понятий), занятие себя «реальной жизнью», синтез с литературой, сосредоточенность на вопросах духа, назначения человека и его отношения к Богу, опору, наконец, на Логос, Слово, но не на западное «ratio», разум. Именно эта «русская опора» — Слово — и привлекла внимание первых «диалоговых мыслителей» Запада (Розеншток-Хюсси, Мартин Бубер, Франц Розенцвайг, Ханс Эренберг). В развитии диалогового мышления на Востоке и Западе и видит автор возможность выработки философии третьего тысячелетия.

Журнал «Логос» (№ 6) предлагает на ту же тему статью **«Некоторые подходы к проблеме визуальности в русской философии» М. Маяцкого**. Прежде всего автор отмечает со «смешанными чувствами осознаваемое» современными философами доминирование в западной интеллектуальной истории зрения, визуальности, в русской культуре вытесняемой литературностью. Имея общий исток — греческую философию — Россия и Запад разделились в своих предпочтениях соответственно платоново-демокритовой традиции и аристотелевой. Это выразилось, по мнению философа, в так и не произошедшей в России эмансипации философии от богословия и литературы.

Автор «Вопросов философии» (№ 3) **Г. Тульчинский** сомнения в национальной специфике русской философии также, очевидно, не разделяет. Ведь размышляет он **«Об одной ошибке русской философии»**. Речь идет об отношении к социализму. Вспоминая известное чаадаевское: «социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его противники», — автор статьи пытается проанализировать, в чем же была неправота противников социализма: национал-монархистов, либералов, творческой интеллигенции. Социальным идеалом в русской философии, считает Тульчинский, был идеал всеединства, воплощение которого носит характер нравственно-религиозной утопии. При этом понятно, что социальная практика реализации этой утопии может быть любой. Именно утопизм и эсхатологизм, нравствен-

ный максимализм и правовой нигилизм сближают русскую философию с социализмом. Православного откровения о человеке в русской философии не состоялось. Национал-коммунизм же — реальность наших дней. И национальная философия — при доверительном к ней отношении — вносит в это «черно-красное» дело свой заметный вклад. Вот почему необходимо переосмысление наследия русской философии. Речь идет об опасности понимания особого русского пути как пути преимущественно социалистического.

Вопросом уже более общим: **«Что такое философия?»** задаются участники **Круглого стола МГУ**, состоявшегося в мае 1994, материалы которого напечатаны в «Вестнике МГУ. Философия», № 2. О природе философского знания, о философской истине, о степени «научности» философии спорили **А. Никифоров, В. Кузнецов, А. Панин, В. Бочаров, А. Чанышев** и др. Журнал же «Философские исследования», № 2 помещает статью **Л. Ляховецкого «Альтернативы, альтернативы, альтернативы...»**, где автор пытается определить выход из тупиков, в которых оказалась проблематика происхождения философии.

Проблемам феноменологии и философии языка посвящена подборка материалов «Логоса» (№ 6). Среди представленных работ — **«Брентано, Гуссерль и Ингарден об оценивающих актах и познание ценностей» Г. Кюнга; «Феноменология языка» М. Мерло-Понти; «Язык и трансценденция» В. Калиниченко** (статья посвящена анализу малоизвестной работы М. Мамардашвили и А. Пятигорского — «анти-постмодернистское послание в философии» — «Символ и сознание»); выдержки из **«Тетрадей 1914—1916» Л. Витгенштейна** и его же **«Несколько заметок о логической форме», «Заметки о философии психологии»; «Мой путь в феноменологию» М. Хайдеггера; «Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о «Чужом» Б. Вальденфельса.** «Вопросы философии», № 6 также помещают статью **Н. Мотрошиловой «Картезианские медитации» Гуссерля и «Картезианские размышления» Мамардашвили (двуединый путь к трансцендентальному Ego)».**

Листающему журналы за 95 год еще раз придется вспомнить исследователя феноменологии Гуссерля Б. Вальденфельса, познакомившись со статьей **«Чужое и свое» Ю. Каграманова** («Новый мир», № 6). Здесь также пойдет речь о «самости» и «чужести» — но уже безотносительно к феноменологическим материям (хотя они и напомнят читателю о себе). Определив нынешнее положе-

ние России словами Гёте: «больное царство мечется в бреду» и упомянув вскользь о беспомощности стоящих у постели врачевателей, автор обращается за истиной к истории. Правда, к истории Франции и Италии, проецируя их «беды» на Россию. Которую, вспоминает опять Каграманов, «умом... не понять». А вот «аршин» французской Вандеи и мафиозной Сицилии кажется публицисту вполне нашей меркой.

Много пишется сегодня об ***опасности «русского пути» схождения коммунизма и фашизма.*** **Г. Померанц** опубликовал на эту тему две статьи — **«Миф о Змее Горыныче»** («Новое время», № 4; «Общественные науки и современность», № 3), **«Уроки разбитых армий»** («Октябрь», № 6), считая массовые реактивные движения одним из проявлений кризиса современной цивилизации. Подборку на тему «Черный знак XX века — фашизм» дает «Полис» (№ 2). Здесь представлены статьи **А. Галкина «О фашизме — его сущности, корнях, признаках и формах проявления», З. Яхимовича «Исторический опыт антифашизма», Г. Дилигенского «Старый и новый облик фашизма», А. Зудина «Фашизм в России: образы и реальности новой опасности»** и другие.

В этом же ряду назовем и заметки известного философа-публициста **А. Гулыги «Понять Германию — понять Россию»** («Наш современник», № 2). Да, действительно, русскую идею можно толковать в духе Достоевского — как общечеловеческое объединение, считает автор. Здесь все взаимосвязаны и все сливаются в единое общечеловечество. Именно такой соборности — подлинной, высокой общности — ищет сегодня мир. И в идее этой, как таковой, нет ни черного, ни красного. Фашизм, по определению философа, это гипертрофированное, доведенное до изуверства национальное чувство, коммунизм — его полная потеря, готовность подчиниться любой антинациональной силе; «фашизм — типично немецкая реакция на «побитую морду», «коммунизм — русская готовность подставить свою физиономию, чтобы покрепче врезали». Русский духовный склад не допускает, по мнению публициста, подавления других народов, фашизма как такового.

«Приглашение к фашизму» озаглавил свою статью **Ч. Млынник** («Наш современник», № 5), считая, что «громкие, кликушеские высказывания ... относительно угрозы фашизма в России — это по сути дела замаскированное приглашение к единению всех демофашистских сил в России». А вот **П. Кандель в статье «Национализм и проблема модернизации в посттоталитарном мире»** («Полис», № 6-94), напротив, указывает на сродство национализ-

ма и тоталитаризма — в их антиплюралистичности, мифологичности, утопизме в отношении к истории, в подходе к общественной практике как пространству реализации установленных целей и т.п. Публицист указывает и на их взаимную мутацию. В условиях посттоталитарного мира национализм не способен служить средством модернизации, ведущей к демократии и рынку, ибо условие модернизации — критическое переосмысление прошлого и настоящего. Русский же национализм не выступает средством преодоления традиции, а опирается на нее. Так что, с точки зрения автора, наивны размышления о «просвещенном национальном чувстве».

В русле этой темы многим публицистам показался заманчивым и плодотворным ***сравнительный анализ истории двух государств — России и Германии***, — их истории и ее уроков, культуры, ментальности, способов решения национальных проблем. Так, «Вопросы философии» (№ 5) предлагают читателю материалы конференции **«Российско-германский диалог: насилие в посттоталитарных обществах»**, организованной в октябре 1994 Московским Философским Фондом, журналом «Вопросы философии», Гёте-институтом, РГГУ и издательством «Медиум». В конференции участвовали **В. Губин, А. Гуссейнов, К. Шлегель, Л. Гозман, Ю. Шеррер** и другие. О естественном праве насилия как «способе общения одного индивида с другим», о росте насилия как доминирующей тенденции во всем мире — в свете идеи «заката Европы» — пишет **В. Губин в статье «Русская культура и феномен насилия»**; о **«Моральной демагогии как форме апологии насилия» — А. Гуссейнов**; о метаморфозах насилия — **К. Шлегель («Новый порядок и насилие»)**; о **«Насилии и истории в посткоммунистическое время» — Д. Гайер**, считающий, что препятствием этой опасной тенденции современной цивилизации может стать только «стабильное правовое пространство».

«Полис», продолжая разговор о национализме, в № 1 печатает заочный **Круглый стол «Национальный интерес»**. Его участники — **М. Ильин, В. Цымбурский, Т. Алексеева, А. Кара-Мурза, В. Ильин, В. Пантин** и др. попытались определить само понятие «национального интереса и его место в современной политике». Прежде всего собеседники указали на сомнительность прежних критериев для определения понятия нации, говорили и о снижении полезности категории «национальный интерес», связанном с нарастающим кризисом полиэтнической модели «нации-государства», о нарастании этнонационализма. Двойственность самосознания России — как национального государства

и как империи — ставит сегодня совершенно особую задачу — «окукливания» (М. Ильин), то есть необходимости на собственной основе выработать внутренние предпосылки образования суверенного территориального государства, гражданского общества и объединяющей их нации. В стране со столь ослабленными экономическими позициями просто-таки нельзя думать об отмирании «национального интереса», ибо это может оказаться для России губительным (В. Цымбурский); главным для нее был и остается вопрос: способна ли Россия сформироваться как национальное государство? (А. Кара-Мурза).

О **«Национализме и будущем мирового сообщества»** размышляет и **А. Уткин** («Социс», № 3). Автор статьи считает, что движение за национальное самоопределение исчерпало свою легитимность; сегодня очевидна предпочтительность гражданского государства над этническим.

Но эта «очевидность» очевидностью признается не всеми. Скажем, именно о национальном контроле, о его необходимости говорит в своей статье **«Прощание с диктатором»** и **Ю. Евстифеев** («Москва», № 4). Публикация носит выраженную социальную направленность. Гигантских размеров разбой, захвативший сегодняшнюю Россию, носит, по мнению автора, обезличенно-пролетарский характер. Потому и спасти страну может только национально ориентированное правительство, мирным — пока — путем способное сместить «грабителей» всех мастей и, отпустив их с миром, навести необходимый порядок в России. **(«Так кто же у нас более русский, чем сами русские?»** — спрашивает в своих заметках и **Л. Аннинский**, размышляя о причинах обострения национальной вражды в эксСССР — «Дружба народов», № 1.)

И еще одна тема зазвучала со страниц толстых журналов достаточно сильно — ***экологическая***. На новизну «экологической идеологии» указывает **А. Горелов**, автор статьи **«Экологическая идеология и будущее России»** («Свободная мысль», № 1). Именно она способна преодолеть не только классовые, национальные и религиозные разногласия, но и антропоцентризм. Эта идеология солидарности человека и всего окружающего, по мнению автора, как нельзя лучше отражает особенности русского национального характера, традиционно тесно связанного с природным миром. Новая русская экологическая идея станет структурной модификацией все того же желания осчастливить мир. После мессианского православия и мессианского коммунизма Россия, без

боязни за последствия, должна выдвинуть идею мессианского экологизма, считает автор.

В свою очередь, «Вопросы философии» в № 3 предлагают целую подборку материалов на экологическую тему, озаглавив ее **«Экология, этика, религия»**. Именно эта триада и рассматривается всеми авторами статей. Так, **В. Курашов в «Экологии и эсхатологии»** пробует проследить «судьбы человеческого существования с религиозной и научной точек зрения» (таков подзаголовок статьи). Без привлечения религиозного мировоззрения и религиозной эсхатологии экологический призыв, по мнению автора, не может найти убедительного оправдания в научном знании. Загрязнение ментальной среды человека, сферы его сознания и духа значительно губительнее для человечества, чем загрязнение биосферы. **Л. Василенко в статье «Экологическая этика: от натурализма к философскому персонализму»** замечает, что признание человека существом, ответственным за природу, уже означает, что существует нечто более важное, чем сама цивилизация. Личностно развитый человек в этом смысле экологически перспективен. А вот **П. Гайденко**, обращающая читателя к **«Природе в религиозном мировосприятии»**, говорит о несовместимости религиозного и научного сознаний, так как они содержат две взаимоисключающие экзистенциальные установки: творца и тварного существа, рацио и веру. Научный, рациональный подход утрачивает контакт с тем, что есть и живет, в мире абстракций. Этот мир становится единственной реальностью для человека. Религиозный же мир создан единым творческим актом и понять его — не означает структурировать, но — увидеть в нем целое, бытие. Отсутствие подобного опыта превращает человека в раба собственной активности. Однако в **«Христианстве и экологии» Н. Гаврюшина** читатель столкнется с иной точкой зрения, согласно которой от идеи «софийного преображения мира» до тотального технократического насилия над природой всего один шаг. И совсем пессимистично заканчивает **И. Круть**, сведя **«Экологические коллизии России»** к тому, что кризис в посткоммунистических странах не позволит приступить к экологическому оздоровлению. Завершает же экологическую подборку «Вопросов философии» **публикация материалов Римского клуба** — его **«Декларация»** 1993 года и **«Миссия»** с изложением концепции Клуба, его методологии, плана действий и т.п.

Полемична статья **Д. Винера «Экологическая идеология без мифов»** («Вопросы философии», № 5). Анализируя ряд экологических идеологий Англии, Германии, России и США, автор

доказывает политическую природу всех этих (и всех иных) экологических воззрений и говорит об опасности не замечать связи любой философии с общим мировоззрением. Экология, считает Винер, приобретает сегодня статус спасительного мифа. Но самое простое обращение к истории экологической мысли (охрана природы у нацистов, в СССР, глубинная экология, культ Вернадского и ноосферы и пр.) показывает, что «мифы зачастую куда опаснее тех ситуаций, от которых они призваны нас спасти». Именно потому пафос статьи — демифологизация.

На тему экологии читатель может также прочесть в «Социсе» (№ 4) статьи: **О. Яницкий «Модели и механизмы реализации российской экополитики», Л. Корель «Экологическое сознание на дальнем острове», Б. Маклярский «Устойчивое развитие и экологические потребности»**; в «Вестнике МГУ. Философия», № 2 — эссе **Ф. Гиренока «Экология как косноязычие культуры».**

4. Религиозная мысль

«Христианство перед лицом современной цивилизации» — это название статьи **Р. Гальцевой** («Новая Европа», № 5—94) *вполне определяет основную тему современной религиозной публицистики.* Церковь стоит перед лицом вечности, но она не может не отвечать и на вызовы времени. Главная задача христианства сегодня, отмечает Р. Гальцева, — это самосознание перед лицом модернистской цивилизации. Не межконфессиональные споры, не борьба с атеизмом, но, учитывая феноменологию человека, — поиск «определения новой утопии». Человечество, по мнению автора, вступило в постхристианскую эру и переживает процесс, обратный вхождению христианства в историю.

Прошлые тенденции к секуляризации общества сами по себе не означали кризиса христианского дела. И даже Возрождение вполне и оправданно можно назвать еще и движением к христианскому гуманизму, установлению необходимого баланса между началом теократическим, божественным, и — человеческим. Именно Просвещение заявило впервые антитрадиционалистскую идею оптимистического секулярного прогресса. Умственная эмансипация от христианского миросозерцания к концу XIX века вышла далеко за пределы прогрессизма. Идея антиклассического вполне проявила себя и в философии, и в артистической элите, уже не на уровне ментальности, но в чувственности европейца. К началу XX века христианская ментальность не исчезла, но перестала представлять

жизненную среду. Обращаясь к ходу мировой истории, автор последовательно прослеживает ход дехристианизации европейского сознания и культуры. После второй мировой войны состояние человечества вновь оценивается словами Тертуллиана: «христианами не рождаются, но становятся». Церковь вновь вступает в катакомбную фазу. Новая модернистская идеология абсолютной относительности не опровергает Бога, она — равнодушна к нему. Автор считает, что сегодня и России предстоит выйти в мир религиозного индифферентизма. Так «что же делать христианину в постхристианском мире?» — задается вопросом философ и отвечает: осознать, что вы уже не у себя дома и — подниматься против течения. Христианское же сознание в целом не осознало произошедшей перемены, христианские мыслители и публицисты находятся под так называемым атавизмом диссидентской идеологии с исключительным упором на права и свободы; Церкви — и восточная, и западная — борются со следствиями, при невнимании к истокам.

«Когда Церковь устраивается в мире, она подвергается искушению ...«обмирщением». Когда Церковь отделяется от мира в ощущении своей радикальной «неотмирности», она подвергается ...опасности чрезмерного отрешения. Но есть еще и ...опасность двойной нормы» — так заканчивает свою статью **«Антиномии христианской истории: империя и пустыня» о. Георгий Флоровский** («Мъра», № 4). Опубликованная в 1957 году, эта работа известного богослова и религиозного публициста так же обращает читателя к проблемам существования исторической Церкви в современном ей мире, к соотношению духовности и государственности, к духовной отстраненности христианина от «чужой страны» и ответственности за ее целостность. «Христианство вошло в историю как ... новое социальное измерение», — пишет о.Георгий, оно всегда было не «учением», но именно — «общиной». Исследуя историю Римской империи и Византии, автор замечает, что Церковь для империи была вызовом, а империя для христиан — камнем преткновения. История Византии была печальным экспериментом, но судить о нем возможно только в ее собственных понятиях, при которых православие было «сверхнациональностью» Византии, основным элементом жизни государства и народа. Обвинение в цезаропапизме не выдерживает критики; когда Византия пала под бременем своих огромных требований как «государство христианское» (но никогда не принимавшее для себя «двойную норму»), она потерпела неудачу установить именно адекватное соотношение между Церковью и боль-

шим государством, Церковью и миром. Но это была неудача, несущая свет.

«Наш современник» (№ 8—12-94; 2, 4, 6-95) предлагает читателям «очерки христианской государственности» **митрополита Санкт-Петербургского Иоанна «Русь Соборная»**. Той же теме посвящена статья **«Гражданское общество: религиозное измерение проблемы» Е. Рашковского** («Путь», № 7). Автор размышляет о том, что проблематика гражданского общества есть проблематика не только социальная, экономическая, правовая и культурная, но и — теологическая, связанная с отношением к трансцендентному, сакральному.

В чем причины катастрофы, обрушившейся на Россию в XX веке? — задается вопросом автор статьи **«Мифотворчество и твердыня веры» игумен Иоанн (Экономцев)** («Путь православия», № 3-94). С точки зрения элементарной логики невозможно найти ответ. Но стоит сменить подход, обратиться к категории мифа, и разрозненные события и трагедии начнут складываться в целостную картину. Миф является душой каждой отдельной цивилизации. Каждая цивилизация имеет свой уникальный миф. Рассматривая мифологию Западной Европы, начиная от культуры Возрождения, миф Святой Руси, материалистический миф, автор статьи переходит к современной российской ситуации. По его мнению, никакого возрождения не будет, если не возникнет ясной, основополагающей идеи, нового мифа России, которая пока испытывает на себе напор и традиционного «свято-русского» мифа, и протестантского американского типа, и евразийского религиозно-дуалистического, и восточных мистических учений. «Другого выхода у нас нет», — заключает автор.

«Воля Христова на земле — это и социальная, и личная наша жизнь», — приводит слова о.Александра Меня журнал «Истина и жизнь» (№ 1). **Лекция о.Александра «О молитве»** была прочитана им в феврале 1990. В ней широко затронуты проблемы социальной активности верующего, взаимоотношений Церкви и власти, природы молитвы и практики молитвословия. (К 60-летию о.Александра Меня журнал публикует также интервью с французским исследователем **Ивом Аманом**, автором книги «Александр Мень — свидетель своего времени», и интервью с сыном Михаилом Менем, главой Фонда им. о.Александра Меня, депутатом областной Думы, — **«Мы не имеем права на уныние»**.)

О духовных исканиях воцерковленного человека говорит в интервью **«Самый прочный фундамент — духовность»** журналу «Истина и жизнь» (№ 2) **А. Воронов**, антрополог и этнолог,

председатель православного благотворительного центра социальной защиты «Омофор», участник научно-богословской конференции «Экономика, экология и жизнеспособное общество». Религия, по убеждению Воронова, является культуроформирующим фактором. Фундаментом российской государственности и русской нации было православие, наша традиционная культура развивалась в соответствии с воцерковленностью. Острота нынешней ситуации в России требует совместных усилий государства, христианской общественности и Церкви в их взаимодействии.

Целую **подборку материалов с Международной межконфессиальной конференции «Христианская вера и человеческая вражда»** (июнь 1994) поместил журнал «Теология» (№ 3-94). Среди них — **«Христианское отношение к политике» архиепископа Тадеуша Кондрусевича, «Христианское понимание и отношение к формам выражения национального самосознания» П. Коновальчика, «Святой престол и международное сообщество» монсиньора Ивана Юрковича, речь Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II на приеме в честь участников Конференции** и другие. Приняв Воззвание, участники Конференции отметили, что «сегодня последователи Христовы обязаны противопоставить войнам, насилию и вражде дела любви и мира».

Большинство же материалов этого номера посвящено ***проблеме экуменизма.*** Здесь читатель может ознакомиться с **Совместной декларацией папы Павла VI и патриарха Афинагора I и их Посланиями 1965 года об отмене анафем между Римом и Константинополем, с речью папы Иоанна Павла II в Вильнюсе в 1993** и, наконец, со статьей **архиепископа Тадеуша Кондрусевича «В поиске единства Народа Божиего (Экуменизм на II Ватиканском Соборе)».**

Журнал «Истина и жизнь» (№ 1) предлагает интервью с **о.Николаем Алексеевым,** настоятелем православного прихода г. Вязьмы **«Трудности диалога не в догматике, а во взаимных предубеждениях».** Трудности диалога с католиками, по мнению о.Николая, состоят не в догматических разногласиях, но в «горах мусора духовной вражды», накопленных за тысячелетия. Однако для человкека очень важно оставаться «в обряде отцов своих». (Кстати, заметим, что журналом проблемы экуменизма признаны приоритетными, и с 1995 года «Истина и жизнь» объявляет себя межконфессиональным, а не чисто католическим изданием. В своей практике журнал собирается «придерживаться молитвы-призыва Иисуса Христа «Да будут все едино».)

«Мъра» (№ 2-94) знакомит читателей со взглядами на проблему экуменизма **протонерея Георгия Флоровского**, стоявшего у истоков послевоенного экуменического движения и входившего в состав высших органов Всемирного Совета Церквей. Статья **«Об участии православных в экуменическом движении»** написана в 1949 году после создания в Амстердаме Всемирного Совета Церквей. Коротко изложенную в статье позицию Флоровского можно передать словами самого богослова: «Православие есть вселенская истина, истина для всего мира, для всех времен и народов, и потому Православная Церковь призвана и обязана свидетельствовать об истине Христовой всегда и повсюду, пред всем миром». Православное участие в экуменическом движении о.Георгий представлял в категориях миссионерского действия. Церковь призвана не только «назидать своих чад», но и свидетельствовать перед отделенными и внешними.

По проблемам экуменизма под заголовком **«Диалог с инославными не нужен»** журнал «Москва» (№ 2) печатает **«Послание Главам поместных автокефальных Православных Церквей» Патриарха Иерусалимского Диодора I** и в № 4 — заметки **священника Патрикия Рансона «Реформация Православия и экуменизм»**. Читатели встретят в этих публикациях резкое отвержение идеи экуменизма, непримиримое осуждение униатства, позиции Константинопольской патриархии, отрицание необходимости какого бы то ни было диалога с латинянами.

В рубрике «Торжество Православия» журнал «Православная беседа» продолжает публикацию статей по сравнительному богословию **священника Максима Козлова**. Опровергая одно из положений экуменического движения о том, что различия Западной и Восточной Церквей носят характер не «догматический», а «культурного вкуса», что «в основе споров между Римом и Грецией лежали ... не богословские причины, а чисто человеческие амбиции» («Теология», № 3 — **«В поисках единства Народа Божиева»**), в цикле своих бесед о.Максим Козлов исследует именно догматические разногласия. **Беседа шестая** (№ 1) посвящена католической сакраментологии, отступлениям католиков от древних преданий в совершении таинств; **беседа седьмая** (№ 2) — **«Римская курия»** — посвящена современному положению и структуре римско-католической церкви.

«Что нам нужно — это открытие заново ***истинного смысла и силы богослужения***, и это значит — его космической, экклезиологической и эсхатологической сущности». Эти слова известного

проповедника и богослова о.Александра Шмемана цитирует в своей статье **П. Мейендорф**, профессор кафедры Литургического Богословия им. Александра Шмемана Свято-Владимирской Православной Академии, США. **«Литургический путь православной церкви в Америке в XX веке»** — так названа эта работа, обращающая читателя к особенностям литургической традиции в опыте разных культур, принадлежащих одной вере — Православию («Новая Европа», № 5-94). В ней автор касается ряда болевых вопросов, которые, наряду с проблемой экуменизма, стоят перед Русской Православной Церковью и сегодня. Большинство изменений в Православной американской церкви, считает автор статьи, — чисто русского происхождения, они выражают преемственность, а вовсе не разрыв с историческим Православием. Корни этих изменений следует искать в России же конца XIX— начала XX веков, когда появились значительные работы по эволюции христианского богослужения, заложившие основу для дальнейших литургических реформ (среди важнейших — проблема литургического языка, вопрос о Типиконе, книге, регулирующей литургическую жизнь церкви). Основываясь на работах о.Александра Шмемана, П. Мейендорф уделяет особое внимание экклезиологическому смыслу богослужения. Литургия должна быть действом всей церкви — духовенства и мирян. Словами Шмемана автор обозначает и главную проблему: «богословие и секулярный век». Суть секуляризма — жить так, как будто Бог существует лишь для воскресного утра, для оставшегося дня Его нет. Секуляризм ведет к разрыву между богослужением и жизнью верующих. Для преодоления этого разрыва необходимо «учение и труд», «избавление от мертвого груза, который мы несем с собой, слишком часто принимая его за саму суть наших «традиций» и «обычаев».

Этой мысли П. Мейендорфа оказывается созвучен и доклад **священника Георгия Кочеткова «Наследие новомучеников и исповедников российских и проблема восстановления полноты церковной жизни»** (доклад прочитан на конференции «Исторический путь Православия в России после 1917 г.» в 1993; «Православная община», № 4—5-94). Перед слушателями доклада были определены реальные вопросы ***реформирования современной жизни Церкви***. Предыдущие горькие десятилетия привели к притеснению и «сужению реального русла церковной жизни в нашей церкви», — пишет автор. Вот почему столь актуальна проблема восстановления полноты ее. Собирание опыта церкви воедино, очищение его от примесей и вещей второстепенных, «обновление

в Церкви Христовой единства и свободы духа и смысла» — одна из важнейших задач. О.Георгий Кочетков пишет также о стремлении к простоте и полноте жизни в Церкви, о простоте отношений между клиром и народом, о простоте литургического языка, об опыте русификации и перевода на русский церковнославянских богослужебных текстов, о простоте и ясности форм богослужения, о творческом отношении к традиции Православия и т.д. (в том же номере журнала можно прочитать материалы Первой открытой встречи в Огласительном училище при МВПХШ, январь 1994, проводившейся Училищем и Братством «Сретение»).

«В угоду духу века сего» — так назвал свои заметки **протоиерей Димитрий Смирнов** («Православная беседа», № 2), посвященные проблеме раскола в исторической и современной Церкви. После экскурса в век XI и XVI, краткого обзора деятельности Патриарха Никона и Александра Введенского, автор пишет об украинском расколе «с национальным оттенком» и размышляет по поводу некоторых нововведений в приходах священников Георгия Кочеткова и Александра Борисова. По мнению автора заметок, пастырство этих священников можно «условно назвать интеллектуально-душевной прелестью», сродством с духом времени, но — не духом Церкви.

«Искушение Раскола и единство Православной Церкви в наши дни» — так названа еще одна статья номера — **протоиерея Владимира Воробьева**. Сегодня, пишет автор, по идейным устремлениям выделяется несколько основных типов «раскольничества»: националистическое, юрисдикционно-политическое и революционно-реформаторское. «Потеря единства всегда имеет пагубные последствия», — замечает о.Владимир. — Церкви же необходимо принять на себя инициативу назревших изменений, исправлений.

«Еще раз о церковных реформаторах» пишет и **протоиерей Александр Шаргунов** («Москва», № 3), критикуя священников Александра Борисова и Георгия Кочеткова за «протестантизм восточного обряда», «сомнительную публицистическую практику» и серьезные, на его взгляд, догматические искажения.

Тем не менее ***вопросы обновления церковной практики***, переводов текстов, русификации богослужения, проблемы пастырства и миссионерства то и дело поднимаются и религиозными, и светскими заинтересованными публицистами. Поиск обоснования этих вопросов уводит в *церковную историю*. Может быть, потому

столь широк интерес к ней, к ее самым болевым моментам. **«Патриарх Сергий и сергианство»** — так назвал свою статью **епископ Василий (Родзянко)** («Бежин луг», № 5-94). Полемика вокруг известной Декларации тогдашнего Предстоятеля Русской Православной Церкви митрополита Сергия, его политики компромисса с коммунистическим режимом в наши дни разгорается с новой силой. И есть в ней, кроме потребности извлечь из истории правильный урок, еще и спекулятивный интерес, и желание пошуметь о безблагодатности последователей Патриарха Сергия, и «невроз реформаторства». Взяв сторону «активии», участники этого «журналистского» спора, как определяет их о.Василий, хотят чистоты исполнения закона, «но не видят Промысла — «икономии». Суть же проблемы для оказавшейся под властью коммунистов Церкви сводится к одному вопросу: жертвовать ли чистотой своих риз ради спасения всей паствы, всей страны. Ответ на него дал еще Святитель Тихон: лучше ему лично войти в историю заклейменным, чем Церкви погибнуть. «И мне стала понятна и близка жертва Сергия!.. И суть и сила Промысла Божия, творящего из зла добро!» — заключает епископ Василий.

Журнал «К свету», в свою очередь, предлагает читателю дневник **митрополита Вениамина (Федченкова) «Святый Сорокоуст. Мысли по поводу указов Митрополита Сергия»** (№ 13). Эти удивительные по смирению, глубине переживания и духовных волнений записи многое могут объяснить современному православному в тех далеких событиях, над последствиями которых мы сегодня размышляем, от которых ограждаем себя. «Необходимо отдать «все» кесарево кесарю, чтобы он успокоился искренно. И *только тогда* можно нелицемерно, с открытым лицом проповедовать Евангелие и ему самому, и другим... Поэтому *лояльность необходима безусловно*. Именно *для христианских целей*, а отнюдь не для политических: здесь не христианство приводится в жертву, а наоборот, *мы жертвуем политикой, лишь бы иметь свободу Евангельской проповеди*», — делает запись митрополит Вениамин после долгих сомнений. И после всех житейских перипетий — активнейшего участия в Белом движении, долгих лет эмиграционных скитаний, после тяжелого личного выбора в момент выделения из Русской Православной Церкви Церкви Зарубежной, будет сформулирована новая задача: «показать, что христианство не есть плод ни ума, ни экономики человеческих, а плод Божией силы. Поэтому спасать веру тоже будут «буии» простецы и «худородные», то есть народ».

М. Курдюмов в статье «Подвиг святого Сергия Радонежского и дело митрополита Сергия» (там же, перепечатка из «Домостроя», 1992, № 40) замечает также, что русская эмиграция первой волны, приученная к абстрактному решению конкретных вопросов еще на родине, а в изгнании окончательно оторванная от народа, ударилась в «область безответственных химерических планировок русского будущего». Именно потому она не смогла адекватно оценить внутренний подвиг митрополита Сергия, трудность которого «усугубляется еще сознанием ... ответственности перед Богом за весь русский народ, за целостность Всероссийской Церкви».

«Божие — Богу» — вспоминает евангельскую истину и автор журнала «Путь православия» (№ 3-94) **В. Семенко**, выступающий против «сергианства» и его сегодняшней апологетики, видя в ней «принципиальное несоответствие учению о Церкви и государстве». Статья — ответ на публикацию диакона Андрея Лоргуса «Кесарю кесарево» (Журнал Московской Патриархии, № 11—12-92), «яркого образца сергианской экклезиологии». В. Семенко вспоминает о годах гонений, пережитых Русской Православной Церковью под коммунистическим режимом, говорит о неизбежном «двойничестве», растлевающем душу верующих и священнослужителей, о фактическом предательстве Церкви церковниками — «своим попустительством злу», о бездне падения, в которую привела церковное руководство «позиция лояльности». «Нераскаянность в грехе сергианства не дает нашей Церкви стать вровень с высотой своей миссии», — считает автор статьи.

«...Через горнило сомнений» — так назвал свое **интервью с архимандритом Агафангелом**, бывшим благочинным Старорусского округа Новгородской епархии **М. Горбаневский** («Посев», № 1). Православие как орудие политики, активизация сектантства в сегодняшней России, опасность экуменического движения, проблемы реформирования современной Русской Православной Церкви — вот темы, которые были затронуты собеседниками. **«Размышления о Расколе»**, о церковных реформах и традиции представляет и журнал «Старовер» (нам известен лишь один номер этого издания за 1994, выходящего в Горно-Алтайске.

Как всегда, в религиозной публицистике большое место занимает ***тема старчества.*** **Памяти преподобного Паисия Величковского** посвящены многие материалы «Даниловского благовестника» (выпуск 7). История старчества (а имя преподобного неразрывно связано с нею), «имея глубокие древние корни, продол-

жается и в наше время — время духовного подъема для одних и время духовного смятения для других». Читатель сможет ознакомиться в этом выпуске с жизнью и с духовной деятельностью преп. Паисия Величковского, с подборкой «О старчестве», содержащей мысли и наставления святых отцов и старцев о послушании, с записями старца Никона (Беляева), с материалами о Свято-Смоленско-Зосимовой пустыни.

«Северной Оптине» посвящен и № 14 журнала «К свету» (история Зосимовой, ее святыни, праздники, рассказ о старце Алексии Зосимовском, Поучения старца и другие публикации). Статью **«Старчество и русская религиозная жизнь» епископа Владимирского и Суздальского Евлогия (Смирнова)** предлагает «Путь православия» (№ 3-94). Возникшее не в России, старчество стало «удивительно русским явлением». Монастырь для русского человека ассоциировался с особо просвещенными людьми, достойными подражания, стоящими над миром. Старцы же были «церковными пестцами душ людских», ибо русская религиозная жизнь, полагает епископ Евлогий, не мыслит себя без глубокого попечительства, верно следуя завету: спасаться в смирении. Послушание приносит «добрый плод», «непослушание и есть недоверие к истине и противопоставление ей своим умом и суждением». (В том же номере читатель сможет прочесть статью **Т. Владышевской «Творческое наследие Оптиной пустыни»** и **«Беседы о преподобном Серафиме Саровском» протоиерея Валентина Свенцицкого).**

«Духовная жизнь — это не просто благочестие, не просто молитва, не просто даже подвиг или отреченность от мира. Она есть прежде всего красота... строгая упорядоченность в развитии, ... в приобретении добродетелей», — пишет в своей статье **«Святые как знак исполнения Божия обетования человеку» А. Осипов**, открывая перед читателем еще одну важную страницу богословской мысли («Русское возрождение», № 62; с прошлого года журнал печатается в России; «Православная беседа», № 2). Размышляя *о феномене святости*, Осипов уточняет, что речь идет не об этическом совершенстве, но — онтологическом превосходстве над миром, онтологическом пребывании вне здешнего. Причисляя христианина к лику святых, Церковь не просто предлагает пример веры и жизни, но «исповедует и утверждает великую истину... о богоподобной природе человеческого существа и указывает на характер той веры, которая силою Святого Духа» возвести может в состояние обетования. Отсюда и становится очевидным, заключает автор, насколько жизненно важно обращение к «системе духовного роста».

А. Осипов упоминает в своей статье две святые добродетели — смирение и христианскую любовь. **С. Аверинцев** предлагает «предметом статьи только одно слово, и притом в одном своем значении»: «ΣΠΛΑΓΧΝΙΑ» — «милосердный», «сострадательный» («Альфа и Омега», № 1). Тонкий, полный лингвистических неожиданностей анализ автора — «скромный пример», открывающий то, «как библейская символика вливалась в грекоязычную культуру, на века существенно меняя ее состав».

О смирении, «самом естественном чувстве у всех преуспевающих в добродетели», пишет и **архимандрит Георгий (Тертышников)** в статье **«Совершенство — высшая ступень состояния спасения»** («Путь православия», № 3-94). Взяв за основу своей работы творения Феофана Затворника, опираясь на то, что христианство не только предлагает верующему образец высокого совершенства, но и «все надлежащие средства для достижения цели», автор пишет об основных степенях возрастания духовного, о пути к живому богообщению.

Несколько материалов католического журнала «Благовестник» (№ 4-94) посвящено **святому Франциску Ассизскому:** «Совершенная радость», которая «не позволила отойти святому Франциску от Церкви, дала... терпение и любовь переносить заблуждения своих братьев, извращающих его идеал», позволила покинуть этот мир «с песней на устах и горячим желанием быть навеки со Всевышним, Всемогущим и вечным Отцом» (**о. Яцек Сорока**); **«Песнь Франциска»** — жизнеописание святого (**подготовлено П. Фомичевым**); **«О св. Франциске и св. Сергии Радонежском» (Л. Василенко)**. Последний материал обращает читателей к проблемам экуменизма. Критикуя исследование Н. Бердяевым западного и восточного типов христианской духовности в «Типах религиозной мысли в России», автор считает, что лучше не резко противопоставлять, но искать внутреннее единство различных форм святости на Востоке и Западе. Обращаясь к фигурам двух известных святых, автор настаивает на глубокой родственности их духовного опыта и его влиянии на поколения.

Значительное место среди публикаций этого полугодия занимают и ***материалы, обращенные к взаимоотношениям Русского Православия и Византии.*** Исследователи не стремятся извлечь из них исторический урок и христианство не рассматривают как исторический феномен, а историю — как историю проб, удач и ошибок, или как движение мысли, наконец (что отличает совре-

менную историко-культурологическую публицистику). «Христианский подход к истории, не отрицая реальность изменений, предполагает, что Бог, превосходящий историю, и уж, конечно, не обусловленный ее законами, вместе с тем являет Себя в исторических событиях, приобретающих вследствие этого нормативную и поэтому надысторическую значимость». Именно с этих позиций историка-христианина известный богослов **протопресвитер Иоанн Мейендорф** и писал свою **«Литургию или введение в духовность Византии»** («Альфа и Омега», № 1). Литургическая традиция, считал Мейендорф, всегда оставалась «основным выражением жизни в Теле Христовом, свидетельством ее постоянства и согласованности». Литургия была не только явлением повседневной жизни византийского общества, но и путем передачи византийской христианской цивилизации. Она была выражением единства в вере и в политическом взгляде на мир, что было большим, «нежели просто символ». Русская Церковь усвоила урок о том, что литургия Византии есть подлинное выражение веры, полученное в неизменяемой, совершенной форме. Отсюда — стремление дословной верности оригиналу (хотя Мейендорф замечает, что Византия соединяла практику литургического единообразия с принципом невозбранности переводов текстов на языки православных народов).

О том, как повлияло Православие, пришедшее на Русь из Византии, на главные пласты национальной культуры, на миросозерцание, интеллектуальную и эмоциональную жизнь, пишет **В. Щукин в статье «Христианский Восток и топика русской культуры»** («Вопросы философии», № 4). Продолжение темы мы находим в **«Византийской экзегезе 3:III век, Ориген» (Т. Миллер)** и **«Гомилиях на Песнь песней» Оригена**; также — в статье **о. Георгия Флоровского «О почитании Софии, Премудрости Божией, в Византии и на Руси»** («Альфа и Омега», № 1); у **митрополита Сурожского Антония (Блюма)** в статьях **«Духовность и духовничество»** («Православная община», № 4—5) и **«Церковь и Евхаристия»** («Новая Европа», № 5), в **«Заметках о византийской литургии» о. Георгия Чистякова** (там же).

Непосредственно к истории христианства обращает читателя и статья **В. Ребрика «Герметизм и христианство: точки соприкосновения»** («Мъра», № 2) — богатое фактами исследование философии герметиков (II—III век), указывающее на многочисленные точки соприкосновения этого религиозно-философского течения с христианством, на их взаимные симпатии и расхождения.

И конечно, особо в нашем библиографическом обзоре следует выделить ***публикуемые журналами проповеди.*** Журнал «Православная община» в специальном разделе каждого номера предоставляет своим читателям возможность ознакомиться с праздничными проповедями, произнесенными в московских храмах. Среди них — проповеди на пассиях в Богоявленском соборе **протопресвитера Виталия Борового, священника Георгия Кочеткова** во Владимирском соборе (№ 4—5), проповедь на Преображение **архимандрита Афанасия (Нечаева)** (№ 6). «Даниловский благовестник» (выпуск 7) печатает Рождественскую проповедь **архимандрита Алексия (Поликарпова)**; **«Избранные проповеди о преп. Серафиме Саровском» протоиерея Валентина Свенцицкого** печатает «Путь православия» (№ 3); «Москва» (№ 3) — Великопостные проповеди протоиерея **Александра Шаргунова**; «Альфа и Омега» (№ 1) публикует Пасхальную проповедь **митрополита Сурожского Антония (Блюма).**

В завершение укажем читателям, что в помощь ему в журнале «Христианство в России» (издается центром «Свет Христов» ежеквартально с 1994 года) появился «Летописчик» — большой раздел информации о главных событиях церковной жизни.

По проблемам культуры, философии, религии читатели могут также ознакомиться с работами:

Абеляр П. Диалог между Философом, Иудеем и Христианином. — «Вопросы философии», № 3.

Асмус В. Диалектика необходимости и свободы в философии истории Гегеля (к 100-летию со дня рождения В. Асмуса — также подборка воспоминаний о нем). — «Вопросы философии», № 1; **Философские задачи Логики. О творчестве Мусоргского.** — «Путь», № 7.

Батищев Г. Глубинное общение (о нем: В. Шердаков). — «Вопросы философии», № 3.

Бердяев Н. О хозяйстве (глава из книги «Философия неравенства») — «Человек», № 2.

Брентано Ф. Психология с эмпирической точки зрения. — «Вопросы философии», № 2.

Виноградов В. Письма к Н.М. Малышевой (20—30-е гг.). — «Новый мир», № 1.

Вышеславцев Б. Русский национальный характер. — «Вопросы философии», № 6.

Гроссетест Р. О свете, или О начале форм. — «Вопросы философии», № 6.

Лосев А. Этика как наука. — «Человек», № 2.

Плотин. О сущности души. — «Логос», № 6.

Поппер К. Что такое диалектика? (о нем: В. Садовский, В. Смирнов, В. Швырев, В. Библер). — «Вопросы философии», № 1.

Пул Р.Э. Русская диалектика между идеализмом и утопизмом (Ответы Вл.С. Соловьеву). — «Вопросы философии», № 1.

Спасовский М. Соборная монархия. — «Бежин луг», № 5-94.

Трубецкой С. Заметки по философии религии. — «Вопросы философии», № 2.

Успенский Л. Смысл и содержание иконы. — «Даниловский Благовестник», вып. 7.

Флоровский Г. Герцен в сороковые годы. — «Вопросы философии», № 4.

Юнг К. Эпилог. — «Человек», № 2; Индивидуальная символика сновидений, имеющая отношение к алхимии. — «Архетип», № 1.

50-летию Победы во второй мировой войне были посвящены следующие публикации в журналах:

«Грани» (№ 175) — **Б. Соколов. Собирался ли Сталин нападать на Гитлера?**

«Кентавр» (№ 1) — **Р. Медведев. Русские и немцы через 50 лет после мировой войны; В. Невежин. Собирался ли Сталин наступать в 1941 г.?.**

«Москва» (№ 3) — **А. Ланщиков. 1939-й год.**

«Москва» (№ 4) — **А. Ланщиков. От Версаля до Нюрнберга.**

«Новый мир» (№ 5) — **В. Вернадский. «Коренные изменения неизбежны...» (Дневник 1941 года).**

«Наш современник» (№ 5) — **В. Ганичев. Они выиграли войну... А вы?; Ф. Чуев. Не «списочный» маршал; В. Спарр. Георгий Константинович Жуков: спустя полвека.**

«Свободная мысль» (№ 2) — **Г. Куманев, Э. Шкляр. До и после пакта. Советско-германские отношения в преддверии войны; М. Наринский. Кремль и Коминтерн в 1939—1941 годах; А. Орлов. Партизаны в Великой Отечественной; А. Чубарьян. Война и судьбы мира.**

«Социс» (№ 5) — **П. Вещиков. Подвиг тыла; Н. Сиверцева. Великая Отечественная война и высшая школа; А. Князьков. Партизанское движение; В. Князев. Условия жизни лиц, подвергшихся преследованиям в годы нацизма.**

Письмо в редакцию

Многоуважаемый Игорь Иванович!

Разрешите искренне поздравить Вас с успешным продолжением московским «Континентом» линии того же журнала парижских времен — и, в частности, происходившего на его страницах «восточноевропейского диалога» (хотя и не в отдельной рубрике). В 83-м номере меня обрадовало помещение двух значительных материалов из Польши — статьи ксендза Тишнера об истоках религиозного интегризма и статьи Адама Михника об Анджее Вайде.

Вы совершенно правы, отмечая в связи с последней, что из-за насыщенности польскими реалиями, не всегда знакомыми русскому читателю, она нуждается в некотором комментарии. К сожалению, комментарий госпожи Н.В. Прасоловой не вполне удовлетворяет поставленной задаче. Позвольте мне указать некоторые содержащиеся в нем ошибки или неточности. Буду рад, если сочтете возможным ознакомить с моими замечаниями читателей Вашего журнала.

Итак — про цикл стихотворений Збигнева Херберта «Пан Когито» нельзя сказать, что это «произведение, навеянное мотивами вооруженной борьбы АК в годы оккупации». Герой цикла — современный (т.е. времени Польской народной республики) интеллигент, существующий в условиях «реального социализма» и пытающийся сохранить человеческое достоинство и элементарную порядочность. Представленные в этих стихотворениях ситуации относятся не к вооруженной борьбе, а к серой повседневности послевоенного времени, противостояние которой требовало героизма совершенно другого рода.

«Легенда Молодой Польши» («Молодой» с большой буквы!) — произведение Станислава Бжозовского, критикующее философию модернистского течения, господствовавшего в польской литературе конца XIX — начала XX века. Именно этому течению и всему периоду присвоено в истории польской литературы название «Молодая Польша».

«Апухтинская школа» не связана с именем малоизвестного в Польше русского поэта А.Н. Апухтина (1841—1893), а с именем

А.Л. Апухтина (1822—1904), попечителя варшавского учебного округа, рьяного русификатора, изгонявшего из школ учителей и учеников, уличенных, например, в разговорах на родном языке.

Про генерала Мочара недостаточно сказать, что это «польский государственный деятель», под руководством которого «в середине 60-х годов предпринимались попытки сплотить общество на основе националистических лозунгов». Мочар стоял во главе самой твердолобой фракции в Польской Объединенной Рабочей Партии. Стремясь захватить всю власть в партии и стране, он и его люди пользовались провокацией и демагогией, в том числе националистической, или точнее — национал-коммунистической. С именем Мочара связаны события марта 1968 года — запрещение поставленной К. Деймеком классической пьесы Адама Мицкевича «Дзяды» и жестокая расправа с протестующими студентами и писателями. Сопутствовавшая этому «антисионистская» пропаганда не имела ничего общего с якобы еврейской национальностью «значительной части польской интеллигенции». К примеру, наиболее пострадавшие писатели — избитый «неизвестным» Стефан Киселевский, оклеветанный и до смерти затравленный Павел Ясеница, изгнанный с университетской кафедры и вынужденный эмигрировать профессор Лешек Колаковский, доведенный до самоубийства Ежи Завейский — были «чистокровными» поляками. Тем не менее в результате антисемитской свистопляски мочаровцев также многие граждане еврейского происхождения почувствовали себя глубоко обиженными и покинули тогда Польшу.

Кшиштоф Комеда не был «известным актером», а талантливым музыкантом, композитором, одним из крупнейших создателей польского джаза.

«Кино морального беспокойства» — течение, представляемое в 70-е годы молодыми польскими режиссерами — такими, как Кшиштоф Кесьлёвский, Агнешка Холланд, Феликс Фальк и др. В смысле «настроений широких кругов общества» этот термин не употреблялся.

Примите, Игорь Иванович, заверения в моем настоящем почтении —

Виктор ВОРОШИЛЬСКИЙ
польский писатель,
член правления Польского ПЕН-клуба
Варшава, 19 июля 1995

От редакции

Редакция «Континента» благодарит замечательного польского литератора и общественного деятеля Виктора Ворошильского за его отклик на нашу публикацию статьи Адама Михника о творчестве Анджея Вайды. Мы признательны ему и за добрые слова о нашем журнале, и за ту корректность, с какой он информирует нас и читателей журнала о досадных неточностях и прямых ошибках в комментариях к статье. Мы приносим ему и всем нашим, особенно польским читателям, искренние извинения за эти огрехи. Известное, если не оправдание, то объяснение им может заключаться разве лишь в том, что присланную Адамом Михником статью, которая требовала очень большого количества примечаний, объясняющих русскому читателю малоизвестные ему или вовсе неизвестные польские реалии (их — около 60-ти), мы хотели предложить читателю, не откладывая ее на следующий номер, и потому торопились с ее подготовкой, а тут сказалась недостаточная опытность молодой переводчицы, которую мы просили сделать комментарий, — что, видимо, заслуживает некоторого снисхождения. Но это никак не освобождает, конечно, редакцию от обязанности более ответственно подходить к материалам, публикация которых требует особой редакционно-комментаторской подготовки.

К ЧИТАТЕЛЯМ «КОНТИНЕНТА»

Безвременная смерть основателя «Континента», знаменитого русского писателя Владимира Максимова, настигшая его 26 марта этого года, заставила редакцию переверстать 84-й номер журнала — мы хотели непременно откликнуться на это горестное для нас событие уже в набранном и отмакетированном, но не успевшем еще выйти номере, и подготавливая публикацию в нем обширного «Венка памяти Владимира Максимова» и внося другие изменения в оригинал-макет, основательно задержали выход номера в свет. В результате он поступил и к подписчикам журнала, и в розничную продажу с большим запозданием, а нарушенный ритм редакционного и производственного процессов выпуска

журнала привел, в свою очередь, к тому, что и 85-й номер «Континента», который читатель держит в руках, пришел к нему тоже с большим опозданием. Мы приносим ему в связи с этим наши извинения и приложим все усилия, чтобы выполнить свои обязательства перед нашими подписчиками и до конца года непременно выпустить 86-й номер журнала. Мы надеемся, что в 1996 году никакие непредвиденные экстраординарные события, ни радостные, ни даже скорбные, уже не помешают тому, чтобы подписчики регулярно и без опозданий получали в конце каждого квартала соответствующий номер журнала.

Художник В. Лаврентьева

ЛР № 010184
Подписано в печать 27.10.95. Формат 84x108.32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 22,68. Тираж 10 000 экз.
Цена договорная. Заказ № 310

Адрес издательства «Московский рабочий» и редакции журнала «Континент»:
101923, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8
Тел. редакции: (095) 928-97-42

Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати
107005, Москва, Денисовский пер., 30

1995 год, № 3

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Наш подписной индекс в каталоге «Роспечати»

73218

* * *

«КОНТИНЕНТ»

высылается по индивидуальным заказам агентством
«Книга-сервис» (тел.: (095) 129-29-09)

Жители Москвы и Московской области
могут покупать выходящие номера журнала в редакции,

а также:
в «Доме книги» (Новый Арбат);
в книжном салоне «19 октября» (Казачий пер.);
в магазине «Эйдос» (Чистый пер.);
в магазине «Человек читающий» (Зубовский бульвар)
и в киосках «Роспечати» Киевского района.

* * *

«КОНТИНЕНТ»

приглашает на льготных условиях распространителей
и рекламных агентов

ИЗДАТЕЛЬСТВО
(акционерное общество открытого типа)

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

101854, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8
Тел.: 921-07-35 ● Факс: (095) 924-42-33

Издательство предлагает:

1. **М. Метерлинк.** Разум цветов/Сост. В. Кулагина-Ярцева. М., Моск. рабочий, 1995. 20 л. (перепл.).

Мировую известность бельгийскому драматургу и поэту М. Метерлинку принесла пьеса «Синяя птица». А вот его натурфилософская проза известна немногим. «Разум цветов», «Жизнь пчел» полны тонких наблюдений над жизнью насекомых и растений; книги эти неотделимы от размышлений о человеке и обществе.

2. **Г. Кузнецова.** Грасский дневник. М., Моск. рабочий, 1995. 26 л. (обл.).

Галина Кузнецова — последняя любовь И. Бунина. Встретились они в Париже в начале 20-х годов. «Грасский дневник» полностью издается в России впервые. Более всего это книга о Бунине. В издание включены также автобиографическая проза и стихи Г. Кузнецовой, дарование которой высоко ценил Бунин.

3. **М. Пришвин.** Дневники. Книга третья. 1920—1922. М., Моск. рабочий, 1995. 25 л. (перепл.).

Впервые выходит в свет уникальный литературный документ — дневники Михаила Пришвина в шести томах. Это ранее не публиковавшиеся новые материалы из архива писателя. Три тома уже выпущены. Дневники писателя — история души художника, воплощение бесстрашного поиска истины в дни испытаний.

4. **В. Гюго**. Собр. соч. в 7 т. Т. 4. М., Моск. рабочий, 1995. 37 л. (перепл.).

В семитомное собрание сочинений В. Гюго включена художественная проза великого французского писателя. В 4-м томе продолжает печататься роман-эпопея «Отверженные» — одно из наиболее известных его произведений.

5. **А. Алтаев**. Леонардо да Винчи. Рафаэль. Микельанджело. М., Моск. рабочий, 1995. 30 л. (перепл.).

Книга о трех художниках эпохи Возрождения, снабжена хорошим иллюстративным материалом, в ней много фактического материала, примечаний и комментариев. Рассчитана на широкую читательскую аудиторию.

6. **Мы жили тогда на планете другой...** : Антология поэзии русского зарубежья 1920—1990 гг. в 4 т., каждый по 18 л. (перепл.).

Четырехтомная антология — издание уникальное. Впервые в таком полном составе в него вошли лучшие произведения поэтов-эмигрантов первой и второй волны. В антологии представлено 175 авторов, и среди них В. Ходасевич, И. Бунин, Г. Адамович, М. Цветаева, В. Набоков и другие.

7. **Андрей Седых**. Далекие, близкие. Сост. Конст. Каллаур. М., Моск. рабочий, 1995. 17 л. (обл.).

Герои воспоминаний автора — А. Куприн, И. Бунин, М. Алданов, А. Ремизов, Н. Тэффи, С. Рахманинов, Ф. Шаляпин, М. Шагал и др.

8. **Е.К. Герцык**. Воспоминания: Мемуары, записные книжки, дневники, письма. М., Моск. рабочий. 29 л. (перепл.).

Среди героев книги — Вяч. Иванов, Н. Бердяев, Л. Шестов, М. Волошин, М. Цветаева, А. Герцык, С Булгаков, П. Флоренский и др.

По вопросам реализации обращаться по телефонам:

921-01-86, 921-09-91

В разделе «РЕЛИГИЯ»

Статьи **Ива Амана, Владимира Ильюшенко,** о.**Вениамина Новика** и о. **Леонида Кешковского**, подготовленные авторами на основе их выступлений на 5-й Международной конференции памяти протоиерея Александра Меня

Статья **Сергея Аверинцева** о митрополите Сурожском Антонии

Статья **Александра Кырлежева** «Поствизантийская церковь»

Очерк **Зои Масленниковой** «Неизвестные речения Иисуса и новозаветные апокрифы в современной богословской литературе»

В разделе «ПРОЧТЕНИЕ»

Эссе **Юрия В. Давыдова** «Одно из предсказаний А. Герцена»

Статья **Анджея Лазари** «Достоевский в идеологической борьбе наших дней»

Статья **Жоржа Нива** «От Жюльена Сореля к Цинциннату (Стендаль — Набоков)»

Статья **Вольфа Шмидта** «Братья Карамазовы — надрыв автора»

В разделе «ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ»

Игорь Виноградов.«Литературные заметки 1. Третье возвращение Александра Солженицына. 2. Литературный дебют Сергея Бабаяна (еще один опыт «реальной критики»)»

Евгений Ермолин. Новая статья о современной ситуации в литературе

Марк Харитонов. Цикл эссе «Определения литературы»

В рубрике «Лицо журнала», которую редакция планирует сделать регулярной, начиная с № 87, — статья **Валентина Масловского** «Соло на других берегах» (о журналах «Соло» и «Другие берега»)

В разделе «ИСКУССТВО»

Статья **Льва Игошева** «Религиозное искусство: возможности и границы»

Статья **Лидии Польской** «ТВ вчера, сегодня, завтра»

Читайте также в нашем журнале постоянный раздел «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» — подробный аннотационный обзор прозы, литературной критики, культурологической, философской и религиозной мысли в текущей российской прессе.

ВЫ ЕЩЕ НЕ КУПИЛИ АВТОМОБИЛЬ?

Продажа в рассрочку:
АО "Автоплан"
тел. 276-87-80

"МОСКВИЧ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Оптовая продажа
тел. 276-83-08
276-82-32
факс 179-49-81

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ * ОПТОВАЯ ПРОДАЖА